TURCOLOGICA





АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ТЮРКОЛОГОВ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

TURCOLOGICA

К семидесятилетию академика
А. Н. КОНОНОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД · 1976

Сборник, посвященный семидесятилетию академика Андрея Николаевича Кононова, из-за ограниченного объема включает лишь часть статей, присланных его учениками и коллегами. Другие поступившие в сборник статьи публикуются в специальном номере журнала «Советская тюркология». Редакторы признательны всем, кто прислал свои статьи в эти юбилейные издания, и, в особенности, В. Г. Гузеву, И. В. Кормушину и Д. М. Насилову, принявшим участие в подготовке сборника к печати.

Ответственные редакторы

С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ, Ю. А. ПЕТРОСЯН,
Э. Р. ТЕНИШЕВ

Т $\frac{70104\text{-}514}{042\,(02)\text{-}76}$ 368-76

С. Н. Иванов

О НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОНОНОВА [1]

Уже почти полвека Андрей Николаевич Кононов работает в востоковедении как ученый и педагог. Научная деятельность и теснейшим образом связанная с ней преподавательская работа А. Н. Кононова характеризуются тремя основными направлениями: исследование грамматического строя тюркских языков, текстологические изыскания, изучение истории отечественного востоковедения, главным образом тюркологии.

Освещение научной деятельности любого исследователя, в особенности крупного ученого, может быть осуществлено лишь в связи с пониманием тех процессов, которыми отмечено развитие избранной им области знания.

Русское востоковедение XIX в., по всеобщему признанию, имеет мировое значение. Достижения, которые унаследовала отечественная тюркология нашего века от предшествовавшего, велики и неоспоримы. Столетний период развития русской тюркологии — от «Грамматики татарского языка» Иосифа Гиганова (1801) до классических трудов П. М. Мелиоранского «Памятник в честь Кюль-Тегина» (1899) и «Араб-филолог о турецком языке» (1900) — был насыщен напряженными исследованиями в области изучения тюркских языков и литератур. Трудами А. М. Казем-бека, О. Н. Бётлингка, И. Н. Березина, Н. И. Ильминского, В. В. Радлова, В. Д. Смирнова и др. были заложены основы той научной тюркологии, которая, говоря без какого-либо преувеличения, определила собою пути совершенствования тюркологических знаний в XX в. во всей мировой науке. Начало нынешнего века ознаменовалось в тюркологии появлением таких выдающихся трудов, как «Опыт исследования урянхайского языка. . .» Н. Ф. Катанова (1903), заключающие тома «Образцов народной литературы тюркских племен» (1907) и «Вводные соображения к описанию морфологии тюркских языков» (1909) [2] В. В. Радлова. Названные успехи отечественной тюркологии и образуют собою ту научную базу и тот фон, на которых возникла в нашей стране, уже в советское время, новейшая тюркология.

К концу XIX в. в связи с накоплением фактов и углублением исследований в русском востоковедении, в том числе и в тюркологии, отчетливо обозначился процесс дифференциации комплексного историко-филологического изучения культур Востока на отдельные дисциплины. Одно из главных мест в этом процессе заняло обособление собственно лингвистического изучения языка, которое противополагалось прежнему общефилологическому интересу к языку как средству проникновения в «заязыковые» культурные и исторические ценности. Этот процесс нельзя, естественно, рассматривать как разовую замену старого взгляда на язык новым подходом к нему как к объекту изучения закономерностей грамматического строя, его современного состояния и истории. Понятие о системности разнообразных явлений грамматического строя тюркских языков формируется на протяжении уже почти ста лет, претерпевая значительные трудности, определяющиеся как общеметодологическими неясностями этой проблемы в языковедении в целом, так и спецификой тюркских языков.

Можно утверждать поэтому, что тенденция к дифференциации тюркологии на отдельные отрасли, проявившаяся к концу XIX в., вплоть до 30-х гг. нашего века уравновешивалась обратной тенденцией к сохранению комплексного характера тюркологии: для деятельности тюркологов, которые в советское время оказались старшим поколением (В. А. Гордлевский, С. Е. Малов, А. Н. Самойлович), характерно сочетание исследовательских интересов к разнообразным подразделениям тюркологии — языку, литературе, истории, текстологии, этнографии и т. д.

Однако Великая Октябрьская социалистическая революция остро поставила вопросы языкового строительства в национальных окраинах страны как самостоятельную лингвистическую проблему первостепенной политической и научной значимости. Необходимость выполнения этой задачи требовала создания грамматик тюркских языков и выдвинула целую плеяду талантливых тюркологов-лингвистов — Н. К. Дмитриева, Н. П. Дыренкову, А. П. Поцелуевского, А. К. Боровкова, И. А. Батманова, В. М. Насилова, Н. А. Баскакова, А. Н. Кононова, В. В. Решетова. Их трудами было осуществлено важное дело создания научных грамматик тюркских языков нашей страны.

В 30—40-х гг. появляются «Грамматика кумыкского языка» (1940) и «Грамматика башкирского языка» (1948) Н. К. Дмитриева, «Грамматика ойротского языка» (1940), «Грамматика шорского языка» (1941) и «Грамматика хакасского языка» (1948) Н. П. Дыренковой, «Грамматика киргизского языка» И. А. Батманова (1939—1940), «Грамматика уйгурского языка» В. М. Насилова (1940), «Ногайский язык и его диалекты» Н. А. Баскакова (1940), «Основы синтаксиса туркменского литературного языка» А. П. Поцелуевского (1943), «Узбекский язык» В. В. Решетова (1946). В этом ряду видное место занимает и «Грамматика узбекского языка» А. Н. Кононова (1948). Но работа в области

изучения грамматического строя тюркских языков началась для А. Н. Кононова значительно раньше: «Грамматика современного турецкого языка», написанная им в соавторстве с преподавателем Ленинградского восточного института Х. Джевдет-заде, вышла в свет в 1934 г. Именно этим годом датируется начало плодотворной деятельности А. Н. Кононова в сфере исследования тюркской грамматики, отмеченной такими его трудами, как «Грамматика турецкого языка» (1941), уже упоминавшаяся «Грамматика узбекского языка» (1948), «Грамматика современного турецкого литературного языка» (1956), «Грамматика современного узбекского литературного языка» (1960).

Тот тип описательной грамматики конкретных тюркских языков, который сложился в отечественной тюркологии в 30—40-х гг., возник на основе грамматических достижений русской тюркологии прошлого века, частично переосмысленных в свете языковых концепций младограмматиков. Грамматическими трудами тюркологов минувшего века, оказавшими наибольшее воздействие на позднейшую грамматическую традицию изучения тюркских языков, явились три капитальных исследования: «Общая грамматика турецко-татарского языка» А. М. Казембека (второе издание — 1846), «Über die Sprache der Jakuten» О. Н. Бётлингка (1851) и «Грамматика алтайского языка», составленная Н. И. Ильминским, В. И. Вербицким и архимандритом Макарием (1869).

Основными исходными положениями названных трудов, прослеживаемыми и в более поздних работах по грамматике тюркских языков, были убежденность их авторов не только в изначальном родстве тюркских языков, но и в глубоком сходстве грамматического строя этих языков в их наличном состоянии, понимание необходимости изучения своеобразия грамматической структуры тюркских языков и углубленное внимание к особенностям отдельных явлений грамматического строя вне четкого представления о системе грамматических фактов. Последняя часть приведенного определения не должна звучать укором классикам тюркского языкознания.

Тенденция к точному наблюдению фактов, осторожность в выводах, недоверие к широким гипотезам и стремление к исторической интерпретации отдельных явлений грамматического строя, возобладавшие в период утверждения младограмматических концепций, отражают определенный этап в развитии языкознания — этап «первоначального накопления» материала. Эти особенности научного метода характерны и для более поздних периодов развития тюркского языкознания и, что наиболее существенно в данном случае, для более развитого индоевропейского языкознания. В этом плане важно отметить, что и в наиболее интересных трудах по русской грамматике 30-х гг. нашего века, например в «Русском синтаксисе в научном освещении» А. М. Пешковского (последнее прижизненное издание — 1927), преобладают атомистические тенденции: В. В. Виноградов называл

А. М. Пешковского «тонким наблюдателем отдельных грамматических фактов».[3]

Как уже говорилось, собственно лингвистические изыскания не занимали значительного места в научной деятельности старшего поколения советских тюркологов. Грамматики, составленные ими, — «Краткая грамматика крымско-татарского языка» (1916) и «Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка» (1925) А. Н. Самойловича и «Грамматика турецкого языка» В. А. Гордлевского (1928) — при всех их методических достоинствах не оказали большого влияния на последующие грамматические штудии в области тюркского языкознания. Поэтому можно с полным основанием сказать, что поколение советских тюркологов — авторов грамматик тюркских языков, вышедших в 30—40-х гг., — поколение, к которому принадлежал и А. Н. Кононов, наследовало главные свои общеграмматические принципы и методические установки не от «отцов», а от «дедов», т. е. от авторов упоминавшихся трех «китов» тюркской грамматики XIX в. и от младограмматических симпатий и устремлений В. В. Радлова и П. М. Мелиоранского.

Решающая роль в этом принадлежит П. М. Мелиоранскому. В предисловии к своей «Краткой грамматике казак-киргизского языка» (1894—1897) (т. е. казахского по современной терминологии, — *С. И.*) П. М. Мелиоранский впервые в тюркологии четко формулирует положение о том, что при описании грамматического строя того или иного тюркского языка необходимо решительно пресекать влияние иноязычных грамматических схем и устранять из описания языка чуждые данному языку черты, привносимые в изложение фактов грамматики вследствие явного или скрытого приравнивания свойств изучаемого языка к особенностям индоевропейских языков. Отвечая Н. П. Остроумову — автору рецензии на первую часть «Краткой грамматики. . .» — в этой рецензии, по мнению П. М. Мелиоранского, «затронуты некоторые основные вопросы турецкой (т. е. тюркской, — *С. И.*) лингвистики вообще»,[4] — П. М. Мелиоранский пишет: «. . .при изложении грамматики любого иностранного языка часто бывает весьма соблазнительно провести здесь и там параллель между родным языком и изучаемым; беды в проведении таких параллелей, по нашему мнению, нет, хотя при современном положении науки такие параллели между русским и киргизским языком лишены всякого научного значения. Ввиду этого нельзя видеть недостатка грамматики в отсутствии проведения таких параллелей; говорить о всем том, чего нет в киргизском языке, хотя бы сравнительно с русским, положительно лишнее».[5] «Грамматические термины, принятые в большинстве грамматик различных индоевропейских языков, — пишет в другом месте П. М. Мелиоранский, — оказываются лишь до известной степени пригодными при изложении грамматики любого из неиндоевропейских языков. . .».[6]

Анализ грамматических работ А. Н. Кононова в их развитии показывает постепенное углубление этих воспринятых им принципов интерпретации фактов тюркской грамматики.

«Грамматика современного турецкого языка», написанная А. Н. Кононовым в соавторстве с Х. Джевдет-заде (1934), представляет собой первый учебник турецкого языка на основе латинизированной графики, изданный после реформы алфавита в Турции. Учебные цели диктовали и построение книги: систематизированное изложение строя турецкого языка содержит лишь некоторые элементы самостоятельного теоретического освещения отдельных вопросов турецкой грамматики (см., например, оригинальное истолкование семантики прошедшего-настоящего времени, с. 131—133); структуре предложения отведено сравнительно скромное место.

«Грамматика турецкого языка», изданная в 1941 г., отмечена поисками оригинальной схемы описания грамматического строя турецкого языка, определившими в дальнейшем характерные черты грамматических исследований А. Н. Кононова в области тюркских языков. В особенности это сказалось на построении раздела синтаксиса и характере освещения вопросов, связанных со структурой турецкого предложения. В отличие от прежних грамматик турецкого языка (и некоторых других тюркских языков), в которых раздел синтаксиса строился как перечень турецких синтаксических конструкций, соответствующих тем или иным разновидностям русских предложений, синтаксис турецкого языка показан А. Н. Кононовым не как «экзотическое отклонение» от норм русского языка, а как своеобразный строй предложения, свойственный именно турецкому языку.

Те же принципы в более завершенном и развитом виде положены и в основу «Грамматики современного турецкого литературного языка» (1956). Этот труд явился наиболее полным описанием грамматического строя турецкого языка во всей тюркологической литературе. В данной работе, получившей высокую оценку как у нас в стране, так и за рубежом и удостоенной первой премии ЛГУ (1957), систематизирован огромный фактический материал, всегда строго документированный и в существенной его части впервые привлеченный для обобщения явлений морфологии и синтаксиса турецкого языка.

В этом труде А. Н. Кононова проявились лучшие стороны его научной деятельности: верность передовым традициям русского востоковедения, глубокое внимание к специфике объекта исследования и поистине всеобъемлющее знание тюркологической литературы. Нет ничего в творческом опыте предшественников, что не было бы учтено автором при освещении отдельных проблем турецкой грамматики. Вместе с тем эта работа представляет собой совершенно самостоятельное истолкование грамматического строя турецкого языка.

Одной из отличительных особенностей «Грамматики современного турецкого литературного языка» является пристальное внимание ее автора к морфологической характеристике частей речи. Этой своей стороной книга А. Н. Кононова полемически направлена против некоторых крайностей предшествующей традиции, одним из постулатов которой была недостаточная морфологическая определенность именных частей речи в тюркских языках. А. Н. Кононову удалось убедительно доказать, что кажущаяся недифференцированность турецких существительных и прилагательных, прилагательных и наречий при ближайшем рассмотрении и углубленном анализе оказывается мнимой: известное сходство непроизводных существительных с непроизводными прилагательными хотя и имеет место, но в контексте богатой системы словообразования, автономной для каждого из названных разрядов слов, и на фоне их специфических различий в сфере синтаксиса не может быть истолковано как нерасчлененность имени на существительные и прилагательные. Аналогично трактована и резкая грань, разделяющая имена прилагательные и наречия. А. Н. Кононов выступает против смешения морфологической и синтаксической точек зрения, против преувеличения синтаксических особенностей частей речи при суждении об их грамматических свойствах. Показ яркой морфологической определенности частей речи представляет собой принципиальную и последовательную концепцию А. Н. Кононова.

Сильную сторону раздела морфологии составляет насыщенность его этимологическими экскурсами в область истории отдельных словообразовательных и словоизменительных показателей. В этом проявился свойственный А. Н. Кононову исторический подход к объяснению грамматических явлений. Одну из особенностей научного метода А. Н. Кононова составляет его внимание к процессам, происходящим в языке. В этом плане заслуживает особого упоминания тот раздел работы, который посвящен прономинализации различных частей речи в турецком языке.

В «Грамматике современного турецкого литературного языка» чрезвычайно детально разработан раздел синтаксиса: по охвату и своеобразию истолкования синтаксического материала эта часть работы выгодно отличается от всех предшествующих грамматик турецкого языка. С особенной полнотой освещены вопросы, связанные с природой и структурой сложного предложения и так называемых развернутых членов предложения. Здесь подробно рассмотрен также и вопрос о бессоюзном подчинении. Эта проблема и в дальнейшем привлекала внимание А. Н. Кононова и в уточненном и детализированном виде послужила сюжетом нескольких работ.[7]

Большие заслуги принадлежат А. Н. Кононову в деле развития узбекского языкознания. В 1948 г. была опубликована созданная им «Грамматика узбекского языка», которая явилась первым полным описанием грамматического строя узбекского языка

и быстро завоевала популярность в Узбекистане как вузовский учебник. Как и в своих работах по турецкому языку, А. Н. Кононов в названной книге большое внимание уделяет синтаксису, строю предложения. Идеи и разработки, содержащиеся в данном труде (например, в разделе о сложном предложении), были восприняты авторами многих грамматических работ по тюркским языкам.

Грамматическая схема узбекского языка, очерченная в названном труде, развита и усовершенствована А. Н. Кононовым в «Грамматике современного узбекского литературного» языка (1960). Здесь обобщены многолетние разыскания ее автора в области тюркских языков вообще: отдельные явления узбекской грамматики и строй узбекского языка представлены в ней на широком общетюркологическом фоне и в связи с основной проблематикой тюркского языкознания в целом.

Из числа других грамматических исследований А. Н. Кононова должны быть отмечены интереснейшие статьи о прошедшем категорическом времени в тюркских языках и о деепричастии с показателем -п/-б, работы об узбекских послелогах и показателях собирательности-множественности в тюркских языках.[8]

Важное место в научной деятельности А. Н. Кононова занимают текстологические исследования. Работы этого плана продолжают традиции В. В. Радлова — «пионера тюркской текстологии»,[9] Н. И. Ильминского, П. И. Демезона, С. Е. Малова, А. Н. Самойловича. В 1940 г. А. Н. Кононов начал работу по составлению сводного текста произведения великого узбекского поэта Алишера Навои «Махбуб-ул-кулуб» («Возлюбленный сердец»). Это произведение имеет очень большое значение для изучения творчества и общественно-политических взглядов Навои, для понимания характерных особенностей его эпохи. А. Н. Кононов использовал все доступные ему списки «Махбуб-ул-кулуб» и прежние издания этого сочинения. Опубликованный в 1948 г. сводный текст «Махбуб-ул-кулуб» явился серьезным вкладом в изучение литературного наследия Алишера Навои.

Результат многолетней работы А. Н. Кононова представляет собой изданная в 1958 г. книга «Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского». Снабдив сводный текст этого сочинения, составленный по семи рукописям, переводом, обширными историко-филологическими комментариями и указателями, А. Н. Кононов предоставил в распоряжение историков Средней Азии источник первостепенного научного значения. Интересен также грамматический очерк языка этого сочинения, содержащий подробный анализ фонетических, морфологических и синтаксических особенностей этого памятника.

К этой группе трудов А. Н. Кононова примыкает и изданный им совместно с В. М. Жирмунским перевод В. В. Бартольда «Книги моего деда Коркута» (1962). Все работы текстологического характера, выполненные А. Н. Кононовым, отмечены строгостью филологического метода и точностью.

Значительным вкладом в советскую науку являются многочисленные работы А. Н. Кононова по истории советского востоковедения и тюркологии. В этой сфере своих научных интересов А. Н. Кононов — прямой продолжатель дела крупнейших советских востоковедов В. В. Бартольда и И. Ю. Крачковского. Ряд статей А. Н. Кононова по этой тематике был обобщен в фундаментальной книге «История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период» (1972). В 1974 г. вышел в свет «Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период», составленный при руководящем участии А. Н. Кононова (редактирование, введение, большое количество статей о наиболее крупных тюркологах).

За сорок пять лет педагогической деятельности А. Н. Кононов прочитал множество теоретических и специальных курсов по различным аспектам тюркского языкознания, вел семинарские занятия по древнетюркским памятникам и средневековым турецким текстам на восточном факультете ЛГУ. Среди теоретических курсов, оказавших большое влияние на подготовку специалистов-тюркологов на восточном факультете, следует назвать такие, как «Грамматика турецкого языка в научном освещении», «История турецкого языка», «Памятники древнетюркской письменности», «Введение в тюркское языкознание». Семинарские занятия А. Н. Кононова по чтению орхоно-енисейских памятников и старотурецких текстов всегда насыщены интереснейшими комментариями лингвистического и историко-филологического характера. Примечательной особенностью занятий А. Н. Кононова являются постоянные библиографические экскурсы, подробно освещающие литературу по общим и частным вопросам тюркологии. Многие ученики А. Н. Кононова плодотворно работают в научных учреждениях и вузах страны: в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Баку, Ашхабаде, Казани, Бухаре, Абакане и других городах.

А. Н. Кононов — ученый, исследовательская работа которого неразрывно связана с научно-организационной деятельностью: с 1949 по 1972 г. он руководил кафедрой тюркской филологии восточного факультета ЛГУ, в 1953—1954 гг. был деканом восточного факультета, в 1961—1963 гг. возглавлял Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. В настоящее время А. Н. Кононов является председателем Советского комитета тюркологов. Организованные по инициативе А. Н. Кононова и периодически продолжающиеся конференции тюркологов в Ленинграде (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975) превратились в представительные тюркологические симпозиумы, на которых обсуждаются наиболее важные проблемы тюркологии.

Говоря о научной деятельности А. Н. Кононова, нельзя не упомянуть многочисленные рецензии, написанные им и отличающиеся принципиальностью оценок, точностью и скрупулезностью анализа рецензируемых работ. Оппонентские выступления А. Н. Ко-

нонова всегда привлекают к себе внимание глубокой обоснованностью суждений.

Большое место в научной деятельности А. Н. Кононова занимает редакторская работа. За последние двадцать лет многие труды по тюркологии выпущены при ближайшем участии А. Н. Кононова в качестве ответственного редактора.

А. Н. Кононову свойственно глубоко заинтересованное, пристрастное отношение ко всему, что делается в тюркологии. Пристальное внимание ко всем отраслям тюркологии и понимание задач дальнейшего движения науки в области изучения тюркских языков и тюркоязычных литератур лежат в основе печатных выступлений А. Н. Кононова по кардинальным вопросам развития тюркологических знаний и организационной работы в сфере тюркологии.[10]

А. Н. Кононов — признанный глава советской тюркологии, наследник и продолжатель лучших традиций отечественного востоковедения. Избрание А. Н. Кононова членом-корреспондентом (1958) и действительным членом (1974) Академии наук СССР явилось признанием его выдающихся заслуг перед советской наукой. За многолетнюю и успешную научно-педагогическую деятельность А. Н. Кононов награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов и орденом «Знак Почета».

Труды А. Н. Кононова широко известны и за пределами нашей страны. Он избран почетным членом Турецкого лингвистического общества (1957), почетным членом Научного общества востоковедов Венгерской Народной Республики (1970), почетным членом Академии наук Венгерской Народной Республики (1973), почетным членом Польского товарищества востоковедов (1974), почетным членом Королевского Азиатского общества (Лондон, 1974), членом-корреспондентом Общества финно-угроведения в Хельсинки (1974).

Необычайно целеустремленный и последовательный в своих научных исканиях, ученый большого научного кругозора, исключительного трудолюбия и поистине энциклопедической эрудиции в области тюркологии, А. Н. Кононов полон новых творческих замыслов. Внимательный к своим коллегам и неизменно доброжелательный, А. Н. Кононов относится с большим пониманием не только к близким его научному творчеству направлениям, но и к иным научным устремлениям. Все эти качества большого ученого и крупного организатора науки, принципиального и строгого в оценках, но благожелательно относящегося к окружающим человека снискали А. Н. Кононову в кругу тюркологов и в среде широкой научной общественности высокое уважение и непререкаемый авторитет. Многочисленные ученики и коллеги А. Н. Кононова желают ему в день его славного юбилея новых значительных свершений и дальнейшего столь же яркого служения науке.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Биографические сведения об А. Н. Кононове доступны по следующим публикациям: Векилов А. П., Иванов С. Н. К шестидесятилетию Андрея Николаевича Кононова. — ИАН. Сер. литературы и языка. Т. XXV, вып. 5. М., 1966, с. 454—455; Векилов А. П., Иванов С. Н. Андрей Николаевич Кононов. — НДВШ. ФН. 1966, № 4, с. 190—191; Щербак А. М. Андрей Николаевич Кононов. (К шестидесятилетию со дня рождения). — НАА, 1966, № 5, с. 213—215; Узоқов Ҳ. Ўзбек тилшунослари. Тошкент, 1972, с. 43—48; см. также: БСЭ, т. 13, 1973, с. 34; МСЭ, т. 4. М., 1959, стб. 1145; КЛЭ, т. 3. М., 1966, стб. 705.

[2] Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen. — ЖС, 1909, t. II—III, S. 191—205.

[3] Виноградов В. В. Современный русский язык. I. М., 1938, с. 69.

[4] Мелиоранский П. М. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. II. СПб., 1897, с. VII.

[5] Там же, с. IX—X (разрядка автора).

[6] Там же, с. 35; см. также с. 45.

[7] Кононов А. Н. 1) Türkçede birleşik cümle problemi. — Türk Dil Kurultayında okunan Bilimsel Bildiriler. VIII, 1957. Ankara, 1960, s. 175—179; 2) Китаб-и Дедем Коркут (Грамматические заметки). — Изв. АН Азерб. ССР. Сер. общ. наук, 1965, № 4, с. 73—78; 3) О некоторых типах бессоюзного сложно-подчиненного предложения в турецком языке. СТ, 1971, № 4, с. 3—11; 4) Некоторые проблемы исторического синтаксиса тюркских языков. — В кн.: Восточная филология, III. Тбилиси, 1973, с. 166—174.

[8] Кононов А. Н. 1) Происхождение прошедшего категорического времени в тюркских языках. — ТС I. М.—Л., 1951, с. 112—119; 2) Опыт реконструкции тюркского деепричастия на -$^{(\text{о})}$п, -$^{(\text{о})}$б, -(j)$^{\text{о}}$б, -$^{(\text{о})}$пан, -$^{(\text{о})}$бан, -$^{(\text{о})}$баны, -$^{(\text{о})}$баның (н). (Материалы к сравнительно-исторической грамматике тюркских языков). — ВЯ, 1965, № 5, с. 100—111; 3) Послелоги в современном узбекском литературном языке. Ташкент, 1951; 4) Показатели собирательности-множественности в тюркских языках. Сравнительно-исторический этюд. Л., 1969.

[9] Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 105.

[10] См., например: Кононов А. Н. 1) О некоторых вопросах дальнейшего развития тюркского языкознания в СССР. — ВАН СССР, 1959, № 5, с. 140—141; 2) Тюркская филология в СССР. 1917—1967. М., 1968; 3) Тюркское языкознание в СССР за пятьдесят лет. — СТ, 1972, № 6, с. 3—19; 4) Некоторые итоги развития советской тюркологии и задачи Советского комитета тюркологов. — СТ, 1974, № 2, с. 3—12.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. А. Аврорин

ВОКАЛИЗМ И ЕГО ГАРМОНИЯ В МАНЬЧЖУРСКОМ ПИСЬМЕННОМ ЯЗЫКЕ

Описание вокализма маньчжурского языка подготовлено на основании изучения памятников различных жанров, изданных преимущественно ксилографически в XVII—XIX вв., свидетельств авторитетных специалистов — авторов опубликованных словарей и грамматик,[1] а также прекрасных знатоков маньчжурского языка П. И. Воробьева и Б. И. Панкратова, под руководством которых автору посчастливилось сорок лет тому назад сделать первые шаги в изучении этого языка.

В маньчжурской письменности имеется шесть букв для обозначения гласных звуков, но кардинальных фонем в языке на одну меньше. В переднем ряду — одна гласная фонема *и*, в смешанном ряду — две: *э*, *а*, в заднем ряду — также две: *у*, *о*. Гласная переднего ряда *и* имеет верхний подъем; в смешанном ряду *э* — среднего подъема, *а* — нижнего; в заднем ряду *у* — верхнего подъема, *о* — среднего. Состав гласных можно представить в виде такого треугольника.

и   *у*

э *о*

а

Шестая гласная буква, обозначаемая в европейской транслитерации то как *у* с надстрочным знаком, то как *о* с надстрочным знаком, представляет собой не более как чисто графический вариант буквы, обозначающей *у*. Вариант этот замещает основную букву в позиции после согласных *к*, *г*, *х* в словах с гласными *а*, *о*, иногда также *и*, *у*, но не *э*. В остальных случаях, которых значительное большинство, употребляется основной вариант.

Сравнение с родственными языками тунгусо-маньчжурской группы позволяет думать, что ранее кардинальных фонем было на две больше: в переднем ряду, кроме *и* верхнего подъема, была еще одна фонема *і* приподнято-среднего подъема, а в заднем ряду, кроме *у* верхнего подъема и *о* среднего подъема, была еще фонема *ў* опущенно-верхнего или приподнято-среднего подъема.

Но к тому времени, которое отражено письменными памятниками, в маньчжурском языке от второй фонемы переднего ряда не осталось никаких следов, а от третьей фонемы заднего ряда остался след в виде указанного выше графического варианта.

Оппозиция огубленный/неогубленный для гласных не является релевантной. Огубленность — это сопутствующий признак всех гласных заднего ряда, и только этих гласных.

Кардинальные гласные отличаются нормальной длительностью и простотой структуры (артикуляционной однородностью). Кроме них система гласных фонем включает в себя одну гласную повышенной (как можно думать, удвоенной) длительности, это фонема *ō* (долгое *о*), обозначаемая на письме удвоенной соответствующей буквой.

Отмечен один случай употребления на письме удвоенной буквы *u* в слове *uu* 'его' (род. пад.). К этому можно добавить немалое число случаев сочетания двух *u* в формах род. пад. от слов, основы которых оканчиваются на *u*, например: *нами u* 'одежды из кожи', *кэли u* 'свояка', *хоки u* 'сообщника', *бакси u* 'учителя', *туэри u* 'зимы', *варги u* 'запада'. Это, казалось бы, можно считать по аналогии с *ō* обозначением долгой фонемы *ū*. Но против этого говорит то, что мы имеем дело с изолированными случаями, где вполне отчетлива морфологическая членимость на два *u*, из которых первое относится к основе, а второе является аффиксом род. пад. Слово же *uu* 'его' есть вариант (возможно, диалектный) нормативной формы *ини*. Скорее всего в данном случае мы имеем дело с удвоенным (двухвершинным) *u*, противостоящим обычному не как долгая фонема краткой, а как две рядом стоящие одинаковые фонемы — одной. Двухвершинность здесь создается присутствием йотообразного призвука в начале второго *u*.

Простым (однородным по артикуляции) гласным фонемам, которые были перечислены выше, противостоит несколько сложных. Это прежде всего дифтонги. Наиболее употребителен тип дифтонга со вторым *u*-образным компонентом: *аи*, *эи*, *ои*, *уи*. Например: *аи* 'что, какой', *гаису* 'возьми', *даруханu* 'часто, постоянно', *фэибихи* 'дождевой червь', *пэи* — междометие сожаления, *оилори* 'снаружи', *боихон* 'земля', *тоин* 'духовная особа', *уихэ* 'рог', *гуисэ* 'комод, сундук', *дуин* 'четыре'. Менее, но все же достаточно употребительны дифтонги с начальным *у*-образным компонентом: помимо уже отмеченного *уи*, это дифтонги *уа*, *уэ*. Для дифтонга *уи* транслитерация та же, а дифтонги *уа* и *уэ* в транслитерации выглядят как *ува*, *увэ* и других обозначений не имеют. Примеры: *куа* 'светло-желтый', *ǯуан* 'десять', *ǯуэ* 'два', *хуэтхэ* 'нерпа'. Часто встречается также дифтонг *эу* (в транслитерации *эо*), например: *лэулэн* 'беседа', *гэудэн* 'обман', *илǯэхэдэу* 'злой дух'. Много реже встречаются (почти исключительно в заимствованных словах)

дифтонги *оа*, *ао*, напр: *јоан* 'плитка для растирания туши, красок', *фоаламби* 'поднимать подол платья', *х'оан* 'усталый', *чао сэмэ* (в транслитерации так же) 'без оглядки', *к'ао сэмэ* (в транслитерации *кијао*) 'ловко', *пао* (в транслитерации *поо*) 'пушка', *даохан* (в транслитерации *доохан*) 'мост'. Транслитерация дифтонга *ао* совпадает с орфоэпией только в очень немногих исконно маньчжурских словах образной семантики. В большинстве же случаев он встречается в заимствованных из китайского словах и обозначается двойным *о*, что порождает омограммы, читаемые как *ō* или как *ао*.

Фонемной самостоятельностью обладает также трифтонг *уаи* и, возможно, также *уэи*, например, в словах: *гуаидамби* (в транслитерации *гуваидамби*) 'облокачиваться', *хуаисэ* (в транслитерации *хуваисэ*) 'семена акации', *хуаитамби* (в транслитерации *хуваитамби*) 'привязывать', *јуэи* 'Кохинхина, то есть южная часть Вьетнама' (кажется, это единственный случай употребления такого трифтонга). Нельзя не отметить, что трифтонги присутствуют почти исключительно в заимствованных словах.

Таким образом, к пяти кардинальным (простым кратким) гласным фонемам следует добавить одну простую долгую фонему, девять дифтонгов и два трифтонга. Система гласных фонем маньчжурского письменного языка насчитывает всего семнадцать единиц: *и*, *э*, *а*, *о*, *у*, *ō*, *аи*, *эи*, *ои*, *уи*, *уа*, *уэ*, *оа*, *ао*, *эу*, *уаи*, *уэи*, причем фонематичность последнего трифтонга остается под сомнением.

Главной фонетической закономерностью маньчжурского языка является гармония гласных, представляющая собой их дистантную ассимиляцию в пределах слова. Эта закономерность сохраняет свое универсальное значение, несмотря на то что к началу письменного периода развития маньчжурского языка она под воздействием контактирующих языков уже подверглась некоторому разрушению. Условности орфографии еще более углубили этот процесс. Сыграла свою роль также все нарастающая традиция словосложения.

В связи с гармонией все кардинальные гласные (а вместе с ними и прочие) разделяются на подчиняющиеся этой закономерности, которые можно назвать альтернативными, и не подчиняющиеся ей, или нейтральные. Альтернативными являются гласные среднего и нижнего подъемов — *а*, *э*, *о*, нейтральными — гласные верхнего подъема — *и*, *у*.

Альтернативные гласные образуют следующие оппозиции: *а* противостоит *э*, *о*; *э* противостоит *а*, *о*;* *о* противостоит *а*, *э*.

* Сочетание в транслитерации гласных *эо* не нарушает строгости этой оппозиции, так как оно представляет собой условный прием обозначения на письме дифтонга *эу*, не имеющего иного обозначения.

Но отношения в оппозициях не вполне равны: одинаково противостоят друг другу *а* ∼ *э*, *э* ∼ *о*, оппозиция же *о* ∼ *а* обладает меньшей силой.

В своем исходном состоянии, которое можно предположительно восстановить с помощью внутренней реконструкции и сравнения с родственными языками, гармония гласных служила строгим регулятором вокализма внутри каждого отдельного слова. Слова же имели вокализм одной из трех серий: первой — *а*, *і*, *ӳ*, второй — *э*, *и*, *у* или третьей — *о*, *і*, *ӳ*. В словах с вокализмом первой серии не могло быть гласных ни второй, ни третьей серий, в словах с вокализмом второй серии не могло быть гласных ни первой, ни третьей серий. В словах же с третьей серией вокализма положение более сложное. В них после *о* могли следовать гласные *о*, *і*, *ӳ* (но не могли следовать *а*, *э*, *и*, *у*), а после гласных *і*, *ӳ* могли следовать или они же, или *а* (но не *о*!). Следовательно, в словах первой и второй серий ассортимент кардинальных гласных фонем, как было сказано, ограничивался тремя, причем в каждом конкретном слове присутствовали не обязательно все, не обязательно только по одному и не обязательно в строгом порядке. Это правило распространялось на все слово от начала до конца и потому имело тотальный характер. В словах же третьей серии ассортимент кардинальных гласных несколько шире: в них с учетом сказанного выше относительно количества и порядка следования фонем возможен был такой ассортимент гласных фонем: *о*, *о*. . , *і* (*ӳ*). . , *а*, *і*, *ӳ*. В этом случае гармония имеет уже не тотальный, а ступенчатый характер. Все зависит от предшествующей гласной: если это *о*, то после него может идти то же самое *о* или же *і*, *ӳ*, а за *і* или *ӳ* гласная *о* следовать уже не может, она должна заменяться гласной *а*, и весь последующий вокализм перестраивается на первую серию. В этом и проявляется отмеченная выше слабость оппозиции *о* ∼ *а* (если *а* исключает возможность следования за ней *о*, то *о* не исключает возможности следования за ней *а*).

Изложенное правило неукоснительно действовало как внутри корня, так и внутри целого слова, т. е. корня+тот или иной набор аффиксов. Корни по своему вокализму стабильны. Иное дело — аффиксы. По вокализму они делятся на два типа: к первому типу относятся содержащие гласные выше среднего подъема (*и*, *у*, *і*, *ӳ*); их можно назвать аффиксами с верхним вокализмом; ко второму типу относятся содержащие гласные среднего и нижнего подъема (*а* ∼ *э* ∼ *о*); их можно назвать аффиксами с нижним вокализмом. Следуя за корнем или друг за другом, аффиксы ассимилятивно адаптируют свои гласные предшествующим им в пределах того же слова гласным.

Произошедшая в более поздний период (к моменту зарождения письменности) интеграция двух гласных в один, как в переднем, так и в заднем ряду (*и* ∼ *і* > *и*; *у* ∼ *ӳ* > *у*), несколько видоизменила систему вокализма и присущую ей гармонию. Гласные выше

среднего подъема перешли в нейтральную позицию по отношению к гармонии гласных, тогда как гласные среднего и нижнего подъемов сохранили свой альтернативный характер. В результате этого вокализм аффиксов первого типа стал неизменным, не подверженным чередованиям, не зависящим от предшествующих гласных, а вокализм аффиксов второго типа сохранил обязательное чередование гласных *а* ∼ *э* ∼ *о*, благодаря чему каждый такой аффикс имеет по три фонетических варианта. К аффиксам первого типа относятся, напр.: *-и* ∼ *-ни* — род. пад., *-мби* — наст.-буд. время изъявит. накл., *-фи* — деепричастие разноврем., *-бу* — побудит.-страд. залог, *-ну* — совместн. залог. Все они в равной мере приложимы к любой основе слова, независимо от серии ее вокализма, например: *арафи* 'сделав, написав', *гэнэфи* 'отправившись', *соӈгофи* 'заплакав, поплакав'; *арабумби* 'заставить сделать, написать', *гэнэбумби* 'заставить отправиться, отправить', *соӈгобумби* 'заставить плакать, довести до слез'. К аффиксам второго типа относятся, например: *-са/-сэ/-со* — мн. ч., *-ха/-хэ/-хо* — прош. время причастия, *-нǯа/-нǯэ/-нǯо* — вид постоянства. Выбор одного из трех вариантов этих и подобных им аффиксов определяется предшествующим вокализмом слова, что видно из следующих примеров: *араха* 'сделал, написал', *гэнэхэ* 'отправился', *соӈгохо* 'плакал, поплакал'. Перестройка вокализма после нейтральной гласной в слове с корнем третьей серии может быть иллюстрирована таким примером: *соӈгобуха* 'заставил плакать, довел до слез' (ср. *соӈгохо* 'плакал, поплакал').

Сложнее обстоит дело с вокализмом аффиксов второго типа в словах, корни которых содержат только нейтральные гласные. У одних таких слов аффиксы имеют гласные первой серии (*а*), а у других — гласные второй серии (*э*), напр.: *илиха* 'встал', *исиха* 'достиг', *иǯиха* 'причесал', *унуха* 'взвалил на спину', *сучуха* 'напал', *икуха* 'сморщился', *фулибуха* 'пустил ростки', но *иркихэ* 'раздразнил', *исихихэ* 'отряхнул', *укухэ* 'окружил', *чубухэ* 'оказался стесненным', *уӈгихэ* 'послал', *уфихэ* 'сшил'. Язык письменного периода не дает никаких указаний для выбора одного из двух вариантов аффикса. Это отголосок далекой истории, о чем убедительно свидетельствует сравнение с таким близко родственным языком, как нанайский, в котором гармония гласных имеет строго регулярный, классический вид. Совершенно очевидно, что в дописьменный период первые семь из приведенных выше слов содержали исчезнувшие позднее гласные *i*, *ў*, относившиеся к первой серии, а последние шесть и ранее содержали гласные *и*, *у*, относившиеся ко второй серии.

Таким образом, предпочтительными (сказать обязательными здесь мешает большое число исключений) в письменном маньчжурском языке и обязательными в его дописьменном состоянии, если не учитывать различия между *i*, *ў* и *и*, *у*, можно считать следующие цепочки гласных в пределах слова: *а. . .а. . .и(у). . .а* (I серия), *э. . .э. . .и(у). . .э* (II серия), *о. . .о. . .и(у). . .а* (III

серия), *и. . .и(у). . .а* (I серия), *и. . .и(у). . .э* (II серия), *у. . . и(у). . .а* (I серия), *у. . .и(у). . .э* (II серия).

В письменном языке накопилось большое число разного происхождения нарушений правила гармонии гласных. Позволительно говорить об этом правиле, как о продолжающей еще сохраняться наиболее регулярной общей норме, постепенно размываемой все нарастающим потоком исключений. Часть из них, возможно, представляет собой продукты орфографической нормализации. В связи с этим можно упомянуть инвариантное написание ряда аффиксов и частиц, напр.: *дэ* — дат. пад., *бэ* — вин. пад., *-мэ* — одновременное дееприч., *-ӈгэ* — субстантивация, *-аку*, *-раку* — глаг. отрицание, *-сака*, *-мэл'ан* — словообразование прилагательных, *-о* — вопросит. частица и др. Среди иных исключений можно упомянуть непоследовательное написание аффикса причастия настоящего-будущего времени *-ра* / *-рэ* в словах первой серии, слитное написание сложных слов с компонентами разных серий типа: *аибидэ* 'где' (*аи* + *бидэ*), *аисэрэӈгэ* 'что ты говоришь?' (*аи* + *сэрэӈгэ*), *инэӈгидари* 'ежедневно' (*инэӈги* + *дари*), *голдэрэ* 'стеллаж для вещей' (*голмин* + *дэрэ*), *агэ* 'старший брат' (*а* + *гэ*), *саимэӈгэ* 'твердая и сладкая конфета' (*саин* + *мэӈгэ*), приближенное к оригиналу написание заимствованных китайских и санскритских слов, таких как *босэ* 'сверток', *саисэ* 'небольшой крендель', *масэ* 'рябины на лице', *ǯоаӈгэ* 'отдел', *лудон* 'плетеный закром', *Эсрува* — одно из названий Будды, *jога* 'святой, подвижник', *доктама* 'размышление'.

Встречаются орфографические дублеты, из которых один с выдержанной гармонией гласных, другой с нарушенной, например: *аǯиган* ~ *аǯигэн* 'малютка, дитя', *ара* ~ *арэ* — междометие боли и испуга, *эимпэ* ~ *эимпа* — название одного из диких злаков, *эн'эн* ~ *эн'ан* 'самка лося', *эхэл'эӈгу* ~ *эхэл'аӈгу* 'глупый, слабоумный', *эф'эн* ~ *эф'ан* 'игра, забава, игрушка', *эрулэмби* ~ *эромби* 'мучить, пытать', *идурэмби* ~ *идурамби* 'дежурить, караулить по очереди', *кэӈкэшэмби* ~ *кэншамби* 'выпрашивать милостыню', *гэрилэмби* ~ *гэриламби* 'мерцать, сверкать' и мн. др.

В большом числе случаев нарушения гармонии гласных не находят удовлетворительного объяснения. Приведу в пример лишь немногие из них: *аихумэ* 'ларец из кожи' (ср. *аихума* 'черепаха'), *ибашэн мукэ* 'талая вода' (ср. *нимашан мукэ* — то же), *окэ* 'тетя, жена младшего брата отца' (ср. нан., ороч. *эукэ*), *обг'а* 'ловушка на орлов', *jōнамби* 'покрываться язвами', *н'охэ* 'волк, волчья шкура', *норан* 'куча хвороста, костер', *бэкто* 'слепень', *сэлабун* 'радость, веселье', *томэ* 'каждый, всякий', *дадэн* 'недостаток, увечье' (ср. *дадан* 'калека, увечный'), *фосок'амби* 'горячиться, вспыхивать' и мн. др.

Не исключено, что неожиданное появление *а* после *о* или *э* после *а* может быть поставлено в связь с действующей в эвенкийском языке закономерностью соотношения долгих и нормальных гласных, согласно которой после долгого *о*(*ō*) следует *а* (*о* следовать не может), а после долгого *а* (*ā*) следует или *э*, или *ā* (*а* следовать не может). Возможно, что и в маньчжурском языке *о*, предшествующее *а*, и *а*, предшествующее *э*, тоже некогда были долгими. Если это так, то вслед за тем возникает вопрос — имеем ли мы дело с генетически общим явлением или же с результатом контактного влияния. Этот вопрос остается пока открытым.

Гармония гласных в маньчжурском, как и в других обладающих ею языках, представляет собой важнейшее средство фонетического цементирования слова, особого рода «пограничный сигнал», позволяющий ощутить единство целого слова и отграничить его от других слов в потоке речи. С анатомо-физиологической стороны это система трех чередующихся настроек органов речи: широкого неогубленного, узкого неогубленного и широкого огубленного. Настройка происходит перед произнесением слова и сохраняется или на всем его протяжении (в словах первых двух серий) или изменяется внутри слова при первой же нейтральной гласной (в словах третьей серии).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Захаров И. И. 1) Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875; 2) Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879; P. G. von Möllendorff. A Manchu grammar. Shanghai, 1892; Hauer E. Handwörterbuch der Mandschusprache. Wiesbaden, 1952—1955; Haenisch E. Mandschu-Grammatik mit Lesestücken und 23 Texttafeln. Leipzig, 1961.

В. Д. Аракин

СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ — ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ ЦВЕТА В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Образование слов путем соединения двух основ способом примыкания — один из самых распространенных приемов создания новых слов. Среди моделей, с помощью которых образуются сложные слова, существует модель A+N, т. е. модель, первым компонентом которой является основа прилагательного. В составе слов, образованных по этой модели, в турецком языке выделяется группа сложных слов, первым компонентом которых служат прилагательные, обозначающие цвет. Как показывает собранный материал, эта группа довольно обширна в числовом отношении. Поэтому представляет несомненный интерес выяснение тех семантических сфер, к которым относятся эти образования.

Использование прилагательных цвета как первого компонента сложных слов имеет широкое распространение не только в турецком языке. Достаточно познакомиться с примерами использования прилагательных *ak* — 'белый' и *kapa* — 'черный' в словаре В. В. Радлова и «Древнетюркском словаре», чтобы убедиться в распространенности этой модели во всех тюркских языках современности [1] и древности.[2]

Образованные по приведенной выше модели сложные слова представляют собой лексические образования, значения которых несводимы к сумме значений составляющих их компонентов, хотя в основе процесса наименования лежат конкретные цветовые ощущения, воспринимаемые как признаки, характеризующие называемый предмет.

Анализ значений сложных слов с первым компонентом — прилагательным позволяет выделить ряд различных семантических групп.

Весьма производительной является группа «люди и их качества». Например, aksakal [3] — первоначально атрибутивное словосочетание ak sakal со значением 'белая борода'. Вследствие прочной ассоциации седой бороды с почтенным возрастом человека произошел сдвиг значения по сходству, в результате чего

наблюдается такое развитие словосочетания ak sakal → aksakal 'старый человек' → aksakal 'старец, почтенный человек'. Последнее значение мы находим уже в XI в. в словаре Махмуда Кашгарского.[4] Позднее это слово приобрело значение 'старшина'.

akağa < ak + ağa 'ага' — 'белый евнух'. Соответствия этому существительному в других тюркских языках нет ввиду отсутствия этого института у других тюркских народов. Обычай держать евнухов был, по-видимому, усвоен турками от византийцев, где он существовал с давних времен, уходя своими корнями к эпохе ассирийцев и древних персов.

karabaş < kara + baş 'голова'. Так турки называют армянских духовных лиц, головной убор которых всегда черный. Здесь имеет место перенос названия части на целое. Название karabaş было также перенесено на многолетнее растение лаванду, по-видимому, из-за ее темно-фиолетовых цветов.

Качества людей отражены в сложных существительных karacehennem < kara + cehennem 'ад' — 'человек с дурным (адским) характером'.

karakaytaz < kara + kaytaz 'прическа, украшение на голове' — 'суетливый, беспокойный человек'.

karakoca < kara + koca 'муж' — 'старик с темными, непоседевшими волосами'.

kızılcahil < kızıl+cahil 'невежда' — 'круглый ('пламенеющий') невежда'.

Цвет волос также получил отражение в турецкой лексике. Известно, что в Иране уже давно был широко распространен обычай красить волосы и бороду хной, вследствие чего они имели определенный рыжевато-красноватый оттенок. Этот обычай послужил причиной для образования турецкого слова kızılbaş < kızıl + baş 'голова', т. е. красноголовый, со значением 'перс, иранец' (ср. каз. и кирг. *кызыл-баш*). А так как персы — мусульмане-шииты, то в турецком языке за словом kızılbaş постепенно закрепилось значение 'шиит'.

Использование прилагательных цвета в качестве первого компонента сложных слов мы находим в названиях внутренних органов.

Из персидского языка было в свое время заимствовано слово ciger 'печень', 'сердце', вообще 'нутро'. По аналогии с персидским ciger sefıd 'белая печень, белое нутро', т. е. 'легкое', было образовано турецкое akciger 'легкое'. А для различения 'печени' от 'легких' было создано сначала устойчивое словосочетание kara ciger 'печень', впоследствии постепенно превратившееся в сложное слово karaciger с тем же значением.

Более темный цвет венозной крови отразился на названии тех кровеносных сосудов — damar, по которым она течет; образовалось сложное существительное karadamar 'вена'.

Белый цвет одной группы кровяных шариков, лейкоцитов, получивших свое название от греческого λευκὸς 'белый', отра-

зился в их турецком имени akyuvar, где ak 'белый', и yuvar 'шарик'. Его красный собрат получил название alyuvar, где al 'красный, алый'.

Болезни человека и животных часто характеризуются различными цветовыми показателями. Так, можно назвать три заболевания, которые характеризуются покраснением внешних покровов: скарлатина (с типичной для нее красной сыпью, откуда и ее общеевропейское название от позднелатинского scarlatum — ярко-красный цвет), карбункул и рожистое воспаление. Скарлатина по-турецки kızılhastalığı < kızıl 'красный' + hastalık 'болезнь'; карбункул — kızılyara < kızıl + yara 'рана'. Наконец, рожистое воспаление, развивающееся, как правило, быстро, получило отражение в турецком kızılyürük < kızıl + yürük + 'быстроход, скороход' при наличии другого турецкого существительного для обозначения этой болезни yılancık.

Беловатое пятно болезненного происхождения, возникающее на роговой оболочке глаза, и помутнение хрусталика, называемое катарактой, привели к появлению в турецком языке таких сложных слов, как akbenek < ak 'белый' + benek 'пятно' — 'бельмо'; aksu < ak + su 'вода' — 'катаракта' и akbasma < ak + basma — вероятно, 'отпечаток', 'налет'.

По-видимому, с черной окраской связано название сибирской язвы karakabarcık < kara 'черный' + kabarcık 'волдырь', и другое ее название karayanık < kara + yanık 'ожог', так как образующийся при кожной форме болезни пузырек лопается и образует черный струп.

Kara в значении 'темный' послужило основой для образования сложного существительного karasu 'темная вода', заболевания глаз, связанного с атрофией зрительного нерва и приводящего к слепоте.

Наконец, прилагательное kara используется также в переносных значениях 'мрачный, суровый, тяжкий', что можно видеть в названиях таких заболеваний как karasarılık — холера, т. е. 'тяжелая желтуха', болезнь, которая до недавнего времени была смертельной; karahumma 'тиф', 'тяжелая лихорадка'.

Особенно четко выступает переносное значение kara в словосочетании karasevda 'меланхолия' < kara + sevda 'любовь, страсть'. Аналогию этому турецкому слову можно видеть в русском словосочетании «черная меланхолия», обозначающем особенно мрачное настроение.

Широкое распространение получили в турецком, как, впрочем, и в других тюркских языках, сложные слова рассматриваемой структуры, относящиеся к предметам и существам окружающей нас живой природы — растениям, деревьям и кустарникам, насекомым, рыбам и пресмыкающимся, птицам, животным.

Так, один из видов чемерицы — çöpleme 'белая чемерица', так же как и в русском языке, получил название akçöpleme с пер-

вым компонентом ak 'белый' от беловато-зеленоватой окраски цветков.

Анализ существующих названий цветов с kara позволяет сделать вывод, что прилагательное kara как первый компонент названия приобретает несколько отрицательный характер. Так, по сравнению с культурными цветами и растениями прилагательное kara привносит значение «сорняк». Например, в сложном слове karaçayır 'плевел, сорная трава' < kara + çayır 'луг, лужайка', karapazı 'лебеда' < kara + pazı 'белая свекла, сорняк'; karayandık 'бодяг полевой' < kara + yandık 'вид чертополоха'.

Особенно много названий деревьев образовано с помощью прилагательных цвета в качестве первого компонента сложного слова. Так, береза получила название akağaç < ak 'белый' + ağaç 'дерево' — по белому цвету своей коры. В противоположность березе вяз носит название karaağaç, видимо, связанное с темно-бурым ядром его древесины.

Широко распространенный в Турции тополь — kavak также получил различительные признаки по цвету своих листьев. Так, серебристый тополь, листья которого с обратной стороны покрыты беловатым налетом, получил название akkavak < ak + kavak 'тополь'. Его близкий родственник, тополь обыкновенный, в отличие от akkavak, стал называться karakavak, что совпадает с его латинским названием populus nigra 'черный тополь'.

Ольха носит имя kızılağaç < kızıl 'красный' + ağaç 'дерево' по свойству древесины этой породы деревьев приобретать под действием кислорода воздуха красноватый оттенок.

Существительное söğüt 'ива', сочетаясь с тремя вышеназванными прилагательными, дает три сложных существительных: aksöğüt 'белый тальник' — по серебристому цвету листьев, kızılsöğüt 'красная верба' — по окраске ветвей и karasöğüt 'обыкновенная ива'. Терн, небольшой кустарник или деревцо с колючками — karaçalı < kara + çalı 'кустарник', получил свое название от темно-синего, почти черного цвета плодов, а кизиловое дерево kızılcık — от ярко-красной окраски плодов. Тюркское прилагательное *кизил* вошло в русский язык и было переосмыслено как существительное — название этого дерева; однако язык — источник этого заимствования пока не установлен.[5]

Среди названий насекомых мы находим исключительно сложные существительные с прилагательным kara, что отражает черную окраску тела насекомых: karafatma < kara + fatma — 'настоящая жужелица', имеющая черную окраску туловища; karaiğne — 'черный муравей'; karasinek — 'черная муха'.

Названия многих рыб и пресмыкающихся связаны с прилагательными цвета: akbalık < ak + balık ('рыба') — голавль с характерной для него белесой головой. Его латинское название Leuciseus также отражает этот признак.

Красные плавники красноперки — пресноводной рыбы семейства карповых — послужили основанием для образования сложного слова

kızılkanat < kızıl + kanat 'крыло, плавник' (ср. тат. *кызыл канат* — 'красноперка').

Зеленая окраска головы одного вида черепах дала основание для возникновения существительного yeşilbağa < yeşil 'зеленый' + bağa — 'зеленая черепаха'.

Окраска оперения птиц также отразилась в названии многих из них. Белое оперение одного из видов цапли обусловило название akbalıkçıl 'белая цапля'.

Один из видов казарки из-за белого оперения на голове так и называется akbaş < ak + baş — 'белая голова'.

Следует отметить интересное явление: одно и то же сложное слово может в различных тюркских языках обозначать совершенно различные предметы. Так, в татарском языке сложное слово того же состава *акбаш* обозначает не птицу, а растение медуницу.

Названия птиц, имеющих черное или темное оперение, обозначаются словами, в которых первым компонентом является прилагательное kara. Например: karakuş < kara + kuş 'птица' — 'орел' (ср. тат. *каракош* 'орел'); karatavuk < kara + tavuk 'курица' — 'черный дрозд'.

В названии птички овсянки sarıkuş < sarı 'желтый' + kuş 'птица' отражены коричневато-желтоватые оттенки ее оперения.

Синевато-зеленоватый оттенок перьев на голове селезня, что отличает его от уток-самок, отразился и в его названии: yeşilbaş < yeşil 'зеленый' + baş 'голова'.

Особо следует отметить метафорический характер названий двух пород птиц — грифа и баклана.

akbaba — 'гриф'. Это название произошло, по-видимому, из-за внешнего сходства голых, без оперения, головы и шеи птицы с облысевшей головой старика, 'отца' (baba), прежде седовласого (akbaba).

Другое существительное karabatak 'баклан' сложилось на основе двух слов: kara 'черный' и batak 'топь, болото, трясина'. Название это, видимо, связано со способом питания этих птиц.

Среди не особенно многочисленных названий животных, образованных по структуре A + N, заслуживает внимания aktavşan < ak + tavşan 'заяц' — 'тушканчик светло-палевой окраски'. Название karakulak — 'шакал' (один из видов) < kara 'черный' + kulak 'ухо' — возникло в связи с более темной окраской ушей животного по сравнению с окраской туловища.

Любопытно также сложное слово karakedi 'черная кошка', которое используется в выражении aralarından karakedi geçti 'между ними пробежала черная кошка'.

Многие названия веществ и некоторых предметов неживой природы также обязаны своим возникновением цветовым признакам. Так, сложное слово aksülümen 'хлорная ртуть' (порошок бе-

лого цвета) имеет в своем составе компонент ak 'белый'. Нефть, характеризуемая черным цветом, носит название karayağ < kara + yağ 'масло'.

Различный цвет железа, зависящий от методов его обработки, дал начало двум сложным словам: akdemir — кованое железо, имеющее светлый блеск, потому и воспринимаемое как «белое», и karademir — литое железо, создающее впечатление «черного» железа.

До сих пор мы рассматривали прилагательные цвета в их основном номинативном значении. Но эти же прилагательные участвуют в образовании сложных слов, имея переносное значение. Так, прилагательное kara может означать 'суровый', 'холодный', что мы и находим в словосочетаниях karakış, < kara + kış 'зима' — 'суровая зима, самое холодное время зимы', 'сердце зимы'; karayel < kara + yel 'ветер' — 'холодный, северо-западный ветер'; прилагательное ak в уменьшительной форме akça 'беленький' привносит оттенок приятности, что можно видеть в слове akçayel < akça + yel 'ветер' — 'юго-восточный, теплый ветер'. Прилагательное kızıl 'красный' по аналогии с красным цветом раскаленного металла может выражать идею жары, что прекрасно видно в словосочетании kızılısı < kızıl + ısı 'жара', т. е. 'раскаленная докрасна жара', название июльской жары, обычно наступающей в Турции во второй половине июля.

Особое место в образовании сложных слов занимает слово karagöz < kara + göz 'глаз' — знаменитый турецкий театр теней, а также и отдельный комический персонаж этого театра.

Существует еще много сложных существительных, в том числе и имена географические, такие как Akdeniz — Средиземное море, Karadeniz — Черное море, первым компонентом которых являются прилагательные цвета. Но поскольку ко всему вышеизложенному они ничего принципиально нового не прибавляют, останавливаться на них не имеет смысла.

Подытоживая все сказанное, можно сделать кое-какие выводы.

1) Прилагательные цвета образуют наиболее продуктивную группу сложных слов, включающихся в модель A + N; наибольшее количество сложных слов — около 53% — образовано с прилагательным kara; далее в количественном отношении следуют сложные слова, образованные с ak, — около 29%, еще меньше — с прилагательным kızıl и совсем немного с прилагательными sarı и yeşil.

2) Основная масса сложных слов представляет собой образования метонимического типа: называние целого по его части — человека по его бороде — aksakal; растения по его плодам — kızılcık; дерева по окраске его ствола — akağaç, ветвей — kızılsöğüt; рыбы по ее плавникам — kızılkanat; птицы по оперению ее головы — akbaş, и т. д.

3) Ряд сложных слов возник как метафорические образования по сходству: называние болезни по определенному ее признаку — akbenek, kızılyara, по характеру явления — karakış, в результате полной метафоризации всего образа — akbaba, karabatak.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] РО, I, стб. 86—94; II, стб. 132—137.

[2] ДТС, с. 422—424.

[3] Орфография сложных слов дается по словарю Türkçe Sözlük, изд. 5. Ankara, 1969, s. XV, 829, и по орфографическому словарю «Yeni yazım (imlâ) kılavuzu», изд. 6. Ankara, 1970.

[4] Divanü lugat-it-türk tercümesi. Çeviren Besim Atalay. T. I. Ankara, 1939, s. 81.

[5] Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962, с. 537.

Г. Ф. Благова

О СООТНОШЕНИЯХ ПРОЗАИЧЕСКОГО И ПОЭТИЧЕСКОГО ВАРИАНТОВ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТЮРКСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА XV—НАЧАЛА XVI в.

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

1. «Специально стихотворный чагатайский язык в отличие от прозаического», первому из которых свойственны «незначительные архаизмы уйгурского характера и. . . более значительные элементы „огузско-туркменские“», вполне четко выделил в 1927 г. А. Н. Самойлович.[1] Дифференцированное изучение с последующим сопоставлением языка прозаических и поэтических жанров в творчестве одного писателя (прежде всего Захир эд-Дина Бабура, отчасти также Алишера Навои) позволяет, опираясь на учение о так называемых функциональных разновидностях или типах речи, характерных для того или иного языка в разные периоды его исторического развития,[2] воспользоваться понятием «вариант литературного языка»[3] (целесообразность привлечения его раскрывается ниже). Введение этого понятия, как нам представляется, может помочь в известной мере «прояснить очень сложную картину „диалектальной пестроты“ в языке XV и начала XVI в.».[4]

2. Во всяком случае, четкому выделению прежде всего специально поэтического варианта среднеазиатско-тюркского литературно-письменного языка (ЛПЯ) способствует уже то, что в XV в., когда прозаические сочинения составляли принадлежность литературы духовной, религиозной, поэтические жанры представляли уже литературу светскую и были вполне сложившимися и наиболее развитыми, к тому же объединенными весьма устойчивыми и активно действовавшими общими традициями, в том числе и языковыми. По-видимому, именно это обстоятельство в первую очередь позволило К. Броккельману сделать предметом своего описания «язык исламских литературных памятников Средней Азии с времен исламизации тюрков в X в. до перехода их к государственной самостоятельности. . .»; примечательна оговорка, что это «не язык

единого народа, но письменный язык, который в отдельных трудах окрашен местными диалектами их составителей».[5]

В свою очередь А. М. Щербак полагает, что «... в эпоху Навā'ӣ „чагатайский" язык имел уже большую историю и оторвался от той или иной конкретной диалектной базы. Во всяком случае, в XV в. он существовал в том виде, который принято называть классическим».[6]

Так или иначе, в соответствии с происходившим в разные исторические периоды существования среднеазиатско-тюркского ЛПЯ модулированием диалектных основ (караханидско-тюркской, хорезмийско-тюркской и др.) поэтический вариант ЛПЯ вбирал в себя их элементы, как и элементы, являющиеся результатом влияния других языков. Именно для поэтического варианта в первую очередь справедливы распространенные утверждения о языковой неоднородности, смешанности. Подобная смешанность была возведена в традицию, на которую вполне сознательно ориентировались и поэты, и переписчики, писавшие в разное время и в различных тюркоязычных областях Средней Азии. С точки зрения методической весьма показательно, что к сугубой осторожности в оперировании «поэтическими формами» — гетерогенными явлениями, принадлежащими различным хронологическим пластам, — призывает вслед за А. Мейе Э. А. Макаев; подчеркивая, что именно эти формы по ряду причин оказывались законсервированными в том или ином индоевропейском языке, ученый в качестве одного из наиболее важных критериев исследования истории языка выдвигает жанрово-стилистический фактор, нацеливающий на отграничение поэтических форм,[7] требующих специализированного рассмотрения.

Историческая обусловленность «диалектальной пестроты» среднеазиатско-тюркского ЛПЯ в XV—начале XVI в. оказывается как бы переведенной в план контекстной жанрово-стилистической обусловленности в связи с активным развитием также и прозаических жанров в этот период и соответствующей дифференциации прозаического и поэтического вариантов ЛПЯ (об этом см. раздел 3).

Если староуйгурские элементы по характеру употребления их в поэтическом варианте ЛПЯ, как это показали исследования А. Н. Самойловича, можно рассматривать как своего рода объективно-структурные качества системы стиля, то использование «огузско-туркменских» грамматических элементов здесь, напротив, не укладывается в рамки единой стилистической системы. В самом деле, «огузско-туркменские» формы в поэтическом варианте ЛПЯ XV—начала XVI в. составляют некую широко разветвленную соотносительность, в известной мере симметрично охватывающую имя и глагол (элементы падежного склонения — элементы глагольного спряжения; послелоги, служебные имена — вспомогательные глаголы); правда, эта соотносительность не является пропорциональной из-за разрозненности и нерегулярности

«огузско-туркменских» форм, которые именно поэтому могут быть лишь частично предсказуемы. Ущербность такой непропорциональной соотносительности состоит еще и в том, что она в пределах поэтического варианта ЛПЯ конца XV—начала XVI в., с одной стороны, противопоставлена гетерогенной системе адекватных грамматических средств (поэтому подобную непропорциональную соотносительность условно можно назвать «ущербной периферийной системой»), а с другой — контаминируется с ней, способствуя возникновению своеобразной «синонимии» грамматических средств, в том числе и парадигматических форм. Из числа таких адекватных парадигматических форм «огузско-туркменские» не были информативно нагружены уже потому, что они использовались никак не для заполнения «пустых клеток» в системе ЛПЯ XV в., а лишь для частичной подмены наличных адекватных форм ЛПЯ. Таким образом, ясно, что существование парадигматической избыточности в поэтическом варианте ЛПЯ XV в. не было связано с действием внутрисистемных факторов.

Перефразируя слова Л. В. Щербы, можно сказать, что в поэтическом варианте ощущение «нормы» было слабее именно от наличия сосуществующих формальных параллелей, которые, видимо, были недостаточно дифференцированными для одной части носителей литературно-письменного языка, а для другой их части некоторые из таких параллелей осознавались как чужие, с сугубо поэтической эмоциональной окрашенностью; так или иначе, в поэтическом варианте имелась возможность выразить одно и то же содержание, используя гетерогенные параллельные формы.[9] Гораздо менее разветвленная вариативность форм признается современными языковедами за одно из внутренних проявлений литературного языка, наделенного разнообразными культурно-историческими признаками, которые — для среднеазиатско-тюркского ЛПЯ особенно — не укладываются в рамки строго регулярной системы. Широкие возможности выбора адекватных гетерогенных форм, с одной стороны, обусловливали динамичность текста и служили своего рода творческим импульсом к созданию определенных художественных эффектов, а с другой— являлись предпосылкой для использования поэтического варианта ЛПЯ в различных тюркоязычных областях Средней Азии, поскольку дифференциация локального характера в сфере морфологии как бы перекрещивалась здесь с жанровой дифференциацией вариантов ЛПЯ.

3. Роль Алишера Навои как основоположника «узбекского литературного языка» обычно видят в том, что поэт упорно и успешно вел «борьбу за родной язык в условиях, когда литературным языком служил усвоенный ненациональный язык», возродил и отстоял родной язык, создал литературный язык и колоссальную литературу на нем, заложив тем самым прочные формы его

развития.[10] Здесь важно подчеркнуть, что Навои, который, по словам С. Е. Малова, сам «отчасти двигал и направлял этот поток языка и литературы»,[11] не только совершенствовал поэтические жанры и соответствующий поэтический вариант ЛПЯ. Плодотворно разрабатывая прозаические жанры на среднеазиатско-тюркском ЛПЯ, он положил начало отграничению прозаического и поэтического вариантов ЛПЯ. Принципиальное значение этого факта станет яснее, если учесть высказывание Абу-л-Гази: те, «кто слагали до нас историю тюрок, чтобы показать народу свой талант и искусство, . . .тюркскую речь превращали в рифмованную прозу»[12] (т. е. в поэтическую разновидность; разрядка наша, — *Г. Б.*). Слова Навои о том, что в своем прозаическом сочинении «Mīзāн ал-awзāн» он «обратился. . . к тюркскому языку и всяческие достоинства, кои были употреблены ими (арабскими и персидскими литераторами, — *Г. Б.*) на украшение девушки — Смысла, . . . выразил чагатайской речью, а эти упомянутые язык и речь являются основанием [литературной речи], чего не дано было ни одному поэту и не стало возможным ни для одного писателя»,[13] могут быть истолкованы именно в плане создания этим могущественным бойцом за родной язык (Н. И. Ильминский) прозаического варианта ЛПЯ.

Дифференциация поэтического и прозаического вариантов ЛПЯ особенно хорошо прослеживается в тех произведениях Навои, где прозаическое изложение перемежается стихотворными вставками, например в стиховедческом трактате «Mīзāн ал-awзāн» («Весы размеров»)[14] или в дидактическом произведении «Maḥбӯб ул-ḳулӯб», написанном как раз рифмованной прозой (А. Н. Кононов определяет его как своего рода «стихотворение в прозе»).[15] Навои был, таким образом, первым писателем, в чьих произведениях отразилась своеобразная диглоссия, определявшаяся тем, что старые традиции ЛПЯ в XV в. получили активное развитие в условиях новой диалектной среды. Именно в том, что Навои стремился в известной мере согласовать свой прозаический идиолект,[16] который именно и лег в основу прозаического варианта ЛПЯ XV—начала XVI в., с новой диалектной основой, и состоит объективно его роль «основоположника. . . литературного языка».

4. Касаясь падежного склонения в языке Навои, особое внимание мы уделяем соотношению именной и посессивно-именной парадигм, поскольку в тюркских языках категория падежа перекрещивается с категорией принадлежности. В прозаическом идиолекте Навои как в именной, так и в посессивно-именной парадигмах представлены падежные форманты именно с консонантным началом (род. *-ніŋ*, вин.*-ні*, дат.-напр. *-ġа*); интерфикс *-н-* в локативных падежах имен, снабженных аффиксом принадлежности 3 л., отсутствует; налицо, таким образом, основные признаки, присущие узбекско-уйгурскому типу падежного склонения.[17]

В поэтическом идиолекте того же писателя именная парадигма характеризуется падежными формантами с консонантным началом.

Что же касается посессивно-именной парадигмы поэтического идиолекта, то здесь на фоне род. и вин. падежей с формантами, имеющими только консонантное начало (*МА* LXIV$_3$ *баҕр-і-ні* 'его печень', *МК* 7$_1$ *öз-ÿм-ні* 'меня самого' — узбекско-уйгурская черта), неодинаково частотно встречаются элементы огузского типа склонения (присущие также кыпчакскому типу): дат.-напр. падеж (после аффиксов принадлежности 1 л. ед. ч.) представлен показателем как с консонантным, так и с вокалическим началом; точно так же в локативных падежах (после аффикса принадлежности 3 л.) возможен интерфикс *-н-*, хотя распространены и формы без него. Подчеркнем, что наличие одной из названных «огузско-туркменских» падежных форм отнюдь не обусловливает наличие другой, гомогенной первой. Таким образом, в поэтическом варианте ЛПЯ системных отношений нет ни между «огузско-туркменскими» парадигматическими падежными формами, ни между гетерогенными адекватными падежными формами. Примеры из стихов «Мīзāн ал-awзāн»: ср. в туйюге LXVII$_{9-11}$: *д͡жан-ім-а̣* 'моей душе', но *ķаш-і-ҕа̣* 'к ней'; ср. также *кöӈл-у̣м-а̣* LXVI$_3$ 'моему сердцу' и *кöӈл-у̣м-га̣*. XLVII$_{10}$ (дважды); в бейте на стр. XXXIX$_{10-11}$ *ҕам-ім-а̣* 'моей печали' и *алам-ім-ҕа̣* 'моему горю'; *ÿст-і-н-а̣* LXVIII$_{10-11}$ (дважды) 'на него', но *ел-і-ҕа̣* LVII 'его народу'; из стихов «Маḥбӯб ул-ķулӯб»: *дамāҕ-ім-а̣* 6$_1$ 'в мой мозг'; *сöз-і-га̣* 123$_{18}$ 'его слову', 128$_{9-10}$ *аҕз-і-ҕа̣* 'его рту' и *дард-і-га̣* 'его страданию'; *ал-і-н-да̣* 10$_{17}$ 'перед ним', но *ікі-сі-да̣* 123$_7$ 'в двух его', *ішлар-і-дін* 122$_4$ 'от его (их) дел'.

Отметим непропорциональность объективно-структурных характеристик поэтического идиолекта Навои. Так, послелоги *ічрä* 'в, внутри', *ара* 'между, среди', восходящие к староуйгурской традиции, а также «огузско-туркменские» послелоги *іла̣* 'с, совместно с' (используется наряду с *біла̣* — ср. *МК* 122$_{10}$ *іла̣*, 123$_{10}$ *біла̣*), *кібі* 'как, подобно' и вспомогательный глагол *ол-* 'становиться' в «огузско-туркменской» же форме 1 л. ед. ч. (*-а̣м*) довольно безразлично употребляются рядом с соответствующими гетерогенными формами. Например, *МК* 90$_{13-14}$ *ічрä*, но *болҕай*; 92$_{5-6}$ *кібі*, *ічрä*, но *біла̣*; ср. *МА* LXIV$_9$ *ул кöз ḥід͡жр-і-да̣ бīмāр ол-міш-а̣м* 'я стал больным в разлуке с теми глазами', LII$_{15}$ *білу̣р кі фурķат-і-дін öл-міш-а̣м* 'она узнает, что я умер от разлуки с ней', стр. LIV$_{11}$ *істамаса̣ӈ есламаса̣ӈ біз-ні *мен öп-а̣р-а̣м йолу̣ӈ ÿзä із-ні* 'когда ты не желаешь и не вспоминаешь нас, * я целую на твоем пути следы'. В трех последних примерах «огузско-туркменские» глагольные формы (вспомогательный глагол *ол-*, прошедшее на *-міш*, как и настоящее-будущее на *-а̣р*, с кратким «огузско-туркменским» показателем 1 л. ед. ч. *-а̣м*) и староуйгурский послелог *ÿзä* 'на' соседствуют с падежными формами, характерными для узбекско-уйгурского типа склонения (вин. пад. *-ні* для

имени и местоимения — *біз-ні* 'нас', *із-ні* 'след'; отсутствие интерфикса *-н-* в местн. и исх. падеже посессивно-именной парадигмы — *hіджр-і-дa* 'в разлуке с ней', *фурḳат-і-дін* 'от разлуки с ней').

Прозаический идиолект Навои гораздо более единообразен и последователен в отборе используемых грамматических средств. Это прежде всего относится к системе падежного склонения, выдержанной в целом в принципах узбекско-уйгурского типа (см. выше), а также к глагольному склонению. Тем не менее и в прозаическом идиолекте Навои в отдельных местах по разным причинам иногда еще прорываются «огузско-туркменские» и староуйгурские элементы. Так, характеризуя в своем похвальном слове сборники стихотворений («диваны») Султана Хусейна, Навои переходит в прозе на явно одический стиль и, естественно, обращается к языковым средствам более высокого — поэтического варианта ЛПЯ, которые инородными блестками рассыпаны на фоне преобладающих форм его прозаического идиолекта. См. *МА* $LXXI_{6-8}$ ... *öз діwанларін кі джамі' даwаwін ара-сі-да баданлар ара джан-дек-дур wа каwакіб ічрä хуршід-і рахшан-дек wаḳі' бол-уб-тур* '... его собственные диваны, которые среди всех диванов [остальных поэтов] являются подобно душе среди [неодухотворенных] тел и подобно лучезарному солнцу среди звезд' — здесь употреблены «поэтические» послелоги *ічрä* 'внутри', *ара* 'среди' рядом с присущими прозаическому идиолекту поэта уподобительным послелогом *дек* (ср. «поэтические» параллели *йаӈліғ, кібі*), вспомогательным глаголом *бол-* 'становиться' (ср. «поэтическую» параллель *ол-*), посессивно-падежной словоформой *ара-сі-дa* 'среди них' без интерфикса *-н-*.

Между тем местн. падеж имен с аффиксами принадлежности 3-го лица и в прозаическом идиолекте Навои встречается иногда с интерфиксом *-н-*, причем чаще всего в составе соответствующих форм служебных имен. Примеры из «Таріх-і мулук-і 'аджам»: *су(w) іч-і-н-дa, сандуḳ іч-і-н-дa ТМ* $59_{10,11}$ [18] 'в воде', 'внутри сундука', *аніӈ ḳаш-і-н-дa ТМ* 80_9 'перед ним', *чадір іч-і-н-дa ТМ* 85_{1-2} 'внутри шатра'; из «Муhакамат ул-луғатайн»: *бу ẓа'іф ал-і-н-дa* МЛ 30_{10} 'перед этим слабым',[19] *аніӈ сöз-і-н-дa* МЛ 3_{11} (так же в ркп № 5829 стр. 5_1) 'в его слове'. См. еще использование «поэтических» параллелей — послелогов *ара, іла*, глагола *ол-* в прозе Навои: *чағатай халḳі ара МА* $LXVII_4$ 'среди чагатайского народа'; *ул лібас іла ТМ* 102_8 'с теми одеждами'; *текурміш ол-ғай МА*[20] 'пусть станет досадившим', ... *бу 'умрда кім ніhайті ол-мас-дур МАБ* 221_2 '... в этой жизни, у которой не будет предела', *бу хабäр-дін wаḳіф ол-ғач ТМ* 57_5 'как только стал осведомленным об этом известии'. В прозаических и поэтических произведениях Навои используется также специфическое служебное имя *ілай-і-дa* 'перед ним' наряду с омонимичным и более обычным для ЛПЯ XV — начала XVI в. *ал-і-дa* (см. пример их параллельного употребле-

ния — *МК* 12_{17} — 13_{1-2}). Еще более специфичным является послелог *дегінча* | *дегунча* 'до, вплоть до', встречающийся в прозаическом идиолекте Навои. Послелог этот, управляющий дат.-напр. падежом, представляет собой, по всей видимости, реинтерпретацию староуйгурского послелога *teginč* 'до' (с тем же управлением),[21] причем трансформация его производилась одновременно по двум линиям: 1) послелог *teginč*, глагольный по своему происхождению, с формальной стороны был отождествлен с современной Навои деепричастной формой на *-гунча* | *-гінча*; 2) инициаль реинтерпретированного таким образом послелога подверглась озвончению на «огузско-туркменский» лад: *t-* ∼ *d-*. Послелог *дегінча* | *дегунча* встречается во многих прозаических трудах Навои: *бу шаҟтҟа дегінча* *МА* $XVII_{1-2}$ 'до этого времени', *бітатка дегунча* *ТМ* 56_{13} 'до Битата'; см. в «Муһакамат ул-луғатайн»: *кічікіга дегінча*, *бекіга дегінча* 'до их [тюрков] малых', 'до их князей', *бу кӳнга дегінча* 'до этого дня', *ланға дегунча* 'до лошади, старше шести лет';[22] в «Кітаб-і мунши'ат»: *бір айға дегінча*[23] 'до одной луны [полнолуния]'.

Итак, в прозаическом идиолекте Навои присутствует достаточно большое количество «огузско-туркменских» и староуйгурских форм (перечень может быть увеличен); правда, они явственно фрагментарны и чаще всего без труда могут быть опознаны именно как «поэтические» параллели к тем или иным языковым средствам собственно прозаического варианта ЛПЯ, которые и составляют основной языковой фон, обладая наиболее частотными характеристиками. Тем не менее самый факт наличия «поэтических» параллелей в прозе Навои указывает на то, что писатель не достиг еще окончательной поляризации грамматических средств в двух используемых им вариантах ЛПЯ: при Навои было положено начало их дифференциации, однако завершена она еще не была.

5. Дифференциация прозаического и поэтического вариантов ЛПЯ по используемым в них грамматическим средствам была последовательно продолжена всей литературной деятельностью Бабура и доведена им до почти классического завершения благодаря сознательному и последовательному отказу от использования в этом именно варианте «огузско-туркменских» и прочих «поэтических» параллелей,[24] иными словами — благодаря стремлению нормализовать прозаический вариант ЛПЯ.[25] Именно в этом, по нашему мнению, заключается прежде всего историко-лингвистическое значение наследия Бабура.[26]

Поэтический идиолект Бабура в основных своих грамматических чертах совпадает с таковым у Навои.

Между тем прозаический идиолект, представленный в «Бабурнаме», характеризуется весьма строгой выдержанностью: здесь почти нет «огузско-туркменских» форм, какие отмечались в прозе Навои. Нет здесь огузских послелогов, хотя совокупность послелогов и служебных имен достаточно своеобразна (ср., например, отсутствие аффикса принадлежности в падежных формах слу-

жебных имен *ара* и *урта*: *бір кечä урта-да̣ БН* 120_{2-3} 'в середине одного вечера', *айаҕлар ара-да̣ БН* 23_{16} 'между его ног', *баҕ-і д͡жіhан ара-да̣ БН* 238_{10-11} 'в Баг-и Джихан'; такая же форма в «Мубаййн»[27] л. $41а_8$ *йол ара-да̣* 'среди дороги'); из огузских глагольных форм отмечена отрицательная форма 1-л. ед. ч. настояще-будущего глагола на *-ма̣н* (точнее — одна словоформа, правда довольно частотная: *білман* БН 212_{23}, 213_{10-11}, 217_{21}, 241_4, 402_{4-5}, 432_3, 446_8 'я не знаю'). Несколько более ограниченно, чем в прозаическом идиолекте Навои, здесь представлено прошедшее время на *-міш* (значительно реже — *-міш ерді*), которое сохранялось от староуйгурской традиции при активной поддержке позднейшего «юго-западного» влияния.[28]

Заслуживает специального рассмотрения идиолект Бабура, представленный в его дидактическом стихотворном трактате «Мубаййн» («Объясняющий»), который был предназначен для подрастающего сына писателя — Хумаюна. Умеренная дозировка «огузско-туркменских» форм (по крайней мере в посессивно-именном склонении и в глагольном спряжении) здесь как раз может свидетельствовать о том, что для юного читателя, еще не приобщившегося к «высокому» языку поэзии, эти формы были непривычными; из этого можно сделать вывод, что обиходной живой речи среднеазиатских тюрков начала XVI в. они были несвойственны. С точки зрения используемых грамматических средств язык трактата «Мубаййн» представляет собой переходное звено в литературной диглоссии Бабура.

6. Примечательно, что выделить со всей четкостью грамматические элементы как поэтического варианта ЛПЯ, так и прозаического идиолекта Навои, стало возможным, исходя именно из проделанного анализа языка «Бабур-наме», в котором впервые в истории среднеазиатско-тюркского ЛПЯ воплотился четко отграниченный прозаический вариант ЛПЯ. Только изучение этого последнего дало, так сказать, фон, учет которого в полной мере позволяет определить характер поэтического варианта ЛПЯ, оценить его место и роль в истории ЛПЯ и истории тюркских языков Средней Азии в целом. Принимая во внимание сказанное, пора пересмотреть утвердившееся еще в прошлом веке положение, что Навои «был почти единственным (разрядка наша, — *Г. Б.*) или, по крайней мере, могущественнейшим бойцом за родной язык»:[29] у него был достойный и могучий последователь и продолжатель, который довел до конца дело, начатое великим поэтом, — окончательно закрепил дифференциацию поэтического и прозаического вариантов ЛПЯ, доведя ее до завершения. Пришло время по достоинству оценить роль Захир эд-Дина Мухаммеда Бабура в истории среднеазиатско-тюркского ЛПЯ.

Таким образом, мы утверждаемся в мысли, полярно противоположной точке зрения, которая была сформулирована, правда, почти полтора десятка лет назад: тенденция «поддержать связи с естественной языковой средой, чтобы не сделать литературный

язык совершенно искусственным», «. . . проявлялась с большой силой в самом начале возникновения староузбекского языка (разрядка моя, имеется в виду конец XIII в. и весь XIV в., — *Г. Б.*), а затем постепенно ослабевала, так что в конце концов староузбекский язык подвергся почти полной консервации»; [30] исходя из этого признается, что и во времена Навои и Бабура «. . . борьба за простоту литературного языка не шла дальше теоретического обоснования ее необходимости. . .».[31] Нам представляется, что формировавшийся трудами Навои и Бабура прозаический вариант ЛПЯ как раз отталкивался от уже имевшегося поэтического варианта с его широко известной «диалектальной пестротой», в то же время ориентируясь на естественную языковую среду (отсюда и «простота» языка «Бабур-наме»). Именно это «отталкивание», яснее всего ощутимое в прозе Бабура, не позволяет рассматривать названные варианты всего лишь как различные стили литературных произведений, якобы отражающих разные стороны единой стилистической системы языка. Каждый из вариантов ЛПЯ представляет собою систему особого рода: прозаический вариант — парадигматически замкнутую грамматическую систему (особенно это видно на примере «Бабур-наме»), поэтический — парадигматически разомкнутую грамматическую систему, широко открывающую доступ гетерогенным «поэтическим параллелям» (подчеркнем, что разомкнутость поэтической системы понимается нами здесь в сугубо специальном, а именно — чисто морфологическом аспекте). Признание различной природы поэтического и прозаического вариантов ЛПЯ не позволяет подходить недифференцированно к изучению среднеазиатско-тюркского ЛПЯ по произведениям как поэтическим, так и прозаическим в их совокупности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Самойлович А. Н. 1) Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атай. — ЗКВ, т. II, вып. 2, Л., 1927, с. 262; 2) Чагатайские туюги Лютфи. — ДАН СССР. Сер. В, 1926, май—июнь, с. 72, а также: Боровков А. К. Очерки истории узбекского языка. II. Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского «тефсира» XIV—XV вв. — СВ, т. VI, М.—Л., 1949, с. 51; Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 35 и сл.

2 См. об этом: Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — ВЯ, 1955, № 1, с. 66, а также его фундаментальные труды по стилистике. Ср.: Баскаков Н. А. Структурные и функциональные стилистические модификации современных тюркских языков. — В кн.: Тезисы докладов конференции «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР». Ашхабад, 1966.

3 Применение этого понятия см., например, в сб. «Лингвистическая карта Швейцарии». Л., 1974.

4 Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963, с. 21.

5 Brockelmann C. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954—1956, S. 1.

[6] Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 13.

[7] См.: Макаев Э. А. 1) Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.—Л., 1964, с. 20 и сл.; 2) Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970, с. 12 и сл.

[8] См.: Благова Г. Ф. О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в. — В сб.: Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. М., 1960.

[9] См.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 36 и прим. 11.

[10] Боровков А. К. Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка. — В сб.: Алишер Навои. М.—Л., 1946, с. 97, 92, 117.

[11] Малов С. Е. Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии. — ИАН ОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 6, с. 480.

[12] Цит. по кн.: Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана Хивинского. М.—Л., 1958, с. 36.

[13] Цит. по статье: Боровков А. К. Алишер Навои. . ., с. 102.

[14] См.: Алишер Навоий. Мезонул авзон. Кригик текст тайёрловчи И. Султонов. Тошкент, 1949 (далее — *МА*).

[15] Алишер Навои. Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил А. Н. Кононов. М.—Л., 1948 (далее — *МК*), с. 5.

[16] Так для краткости мы будем называть прозаический (или поэтический) вариант ЛПЯ, представленный в прозаических (соответственно поэтических) произведениях одного и того же писателя. Ср.: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 165.

[17] См.: Благова Г. Ф. О типах и структурных разновидностях падежного склонения в тюркских языках. — ВЯ, 1975, № 1.

[18] «Таріх-і мулук-і ʻаджам» (далее *ТМ*); Quatremére E. M. Chrestomathie en turc oriental. Paris, 1841.

[19] Цит. по кн.: Quatremére E. M. Chrestomathie en turc oriental, (далее — МЛ). Ту же самую форму с интерфиксом *-н-* показывает список «Муһакамат ул-луғатайн», хранящийся в Рукописном отделе ИВ АН УзССР под № 5829 (далее — № 5829), см. стр. 51_5.

[20] Цит. по кн.: Березин И. Н. Турецкая хресгоматия, ч. 1—2. Казань, 1857, с. 210_7 (далее текст *МА* в этом издании обозначается *МАБ*).

[21] См.: ДТС, с. 548; Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, с. 430.

[22] Цит. по кн.: Quatremére E. M. Chrestomathie en turc oriental, 6_{14-15}, 19_{5-6}, 16_3.

[23] Цит. по кн.: Березин И. Н. Турецкая хрестоматия, 194_{8-9}.

[24] Грамматическую характеристику прозаического идиолекта Бабура см.: Благова Г. Ф. Очерк функциональной морфологии языка «Бабур-наме». — В сб.: Исследования по истории тюркских языков (в печати).

[25] Ср.: Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка, с. 13.

[26] Это значение литературно-языковой деятельности Бабура ощущал Н. И. Ильминский, когда в своем предисловии к впервые им издаваемому «Бабур-наме» писал о простоте и естественности представленного в произведении языка, см.: Бабер-намэ или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским], Казань, 1857 (далее — *БН*), стр. II. См. также: Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка, с. 44.

[27] Использовалась рукопись «Мубаййн», хранящаяся в рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР под шифром А 104.

[28] См.: Боровков А. К. Очерки по истории узбекского языка. I. Определение языка хикматов Ахмада Ясеви. — СВ, т. V, 1948, с. 249.

[29] Ильминский Н. И. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. Казань, 1862, с. 36.

[30] Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка, с. 223.

[31] Там же, с. 13. Кстати, с этим не согласуется утверждение автора, что «язык Бабур-наме весьма прост» (там же, с. 44).

Н. З. Гаджиева

ЗНАЧЕНИЕ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Ареальная лингвистика, самым тесным образом связанная с детальным изучением диалектных данных, значительно расширяет возможности компаративиста. Компаративист пользуется довольно ограниченным набором данных для сравнения, нередко стремится представить процесс развития звуков, форм линейно, отмечая на этой линии возможные этапы развития. Последнее может привести исследователя к довольно односторонним выводам. Так, например, первоначальный *й* трансформируется в *дж* — эта сравнительно обедненная схема исторического развития не дает детального представления, как такой фонетический процесс мог происходить в действительности; исследователь в таком случае может только гипотетически предполагать возможные промежуточные звенья развития этих звуков. Преимущества лингвиста, занимающегося проблемами ареальной лингвистики, заключаются в том, что он, благодаря большому количеству зафиксированных состояний звуков, форм на различных территориях, имеет возможность составить более наглядное и реально ощутимое представление об этих процессах. Так, например, материалы ареальных исследований свидетельствуют о том, что вышеупомянутый переход *й* > *дж* не был внезапным, а вначале имели место многочисленные колебания, постепенный захват старого *й*. Зарегистрированные зоны вибраций *й*, *дж*, *ж* отражают такие состояния языков, когда либо начинается аффрикатизация *й*, но она не полностью завершилась, либо, наоборот, происходит йетизация *дж* вследствие контактирований. Действовала и тенденция освободиться от старого *й*, как звука более слабого, и заменить его аффрикатой *дж*. Сам процесс аффрикатизации *й* сохранил в реликтовом состоянии промежуточные ступени, в числе которых одной из ранних является ступень *й* > *д*/*д'*, а вся схема может быть представлена в виде ряда *й* > *д'* > *дж* > *ж'* > *ж* > *з*. Ср. говор казахов Кустанайской обл.: *дұзік* ~ *жүзік* 'кольцо', *дүз* ~ *жүз* 'сто' (Байжолов, 11); галля-аральский говор Самаркандской обл., узб. яз.: *дастық* вм. *жастық* 'подушка' (Эгамов, 11); к-калп. диал. *дастык*, аз. диал. *думрух* вм. *йумрух* 'кулак' (Шира-

лиев, 85); к.-балк. диал. *дулдуз~жулдуз~зулдуз* 'звезда' (Аппаев, 48).

Ареальные исследования языков позволяют в известной мере определить истоки, начало явления, обнаруживаемое на одних территориях и получившее продуктивное развитие на других территориях. Ареальная лингвистика обнаруживает подходы к будущему изменению. Так, например, десингармонизация части узбекских диалектов, в частности ослабление палатальной гармонии, была усилена иноязычным влиянием. Истоки же этого сложного фонетического явления коренятся в самой системе вокализма тюркских языков. Неустойчивость фонемы *а*, ее потенциальная склонность к разного рода фонетическим трансформациям (ср. *а~ы*, *а~о*, тенденции к опереднению, явление умлаута), совпадение фонем *ы* и *и*, *о* и ө (ср. узб., уйг., кирг. говоры) — все это приводило к ослаблению сопротивления гласных фонем по ряду, а последнее имело своим результатом десингармонизованные ряды. Этот перебой рядов, как импульс дальнейших изменений, нашел отражение в различных диалектах и говорах тюркских языков (ср. ноокат. говор кирг. яз.: *этäӊä* вм. литер. *атаӊа* и т. д.). Истоки разрушения палатальной гармонии следует искать и в таких внутрисистемных особенностях фонетической структуры тюркских языков, как более задняя артикуляция умлаутированных гласных в кыпчакских языках, повышенная склонность к редукции в кыпчакских языках, тенденция к опереднению *к* и его трансформации в *ҳ* — факты, широко отмеченные на материале живых диалектов среднеазиатских тюркских языков, которые могли приводить к ослаблению сопротивляемости по ряду, а тем самым и к десингармонизации. Истоки фонетического явления оканья можно зарегистрировать также там, где фиксируется некоторая открытость слегка редуцированного начального *а* первого слога (типа *кåра*). Исторические фазы развития оканья (при его усилении в иноязычном окружении) хорошо просматриваются в системе узбекских диалектов и соприкасающихся с ними других диалектов тюркских языков, где зарегистрированы поэтапные внутрисистемные изменения фонетической структуры. Появление фонемы *å* обусловливает характер и распределение фонем *ä* и *а*. Зарегистрированные к юго-востоку от Ташкента в районе Ангренской долины, в местах, где не было особого смешения с таджикским населением, многочисленные случаи неустойчивости, вибрации оканья и аканья отражают и сам процесс становления и угасания оканья.

В связи с преимуществами ареальных исследований, которые предоставляют лингвисту в живом их выражении зарегистрированные промежуточные этапы в развитии отдельных звуков, форм, уместно привести одно довольно образное высказывание немецкого диалектолога Райнера Хильдебрандта. Характеризуя «Диалектологический атлас немецкого языка», который в одном синхронном срезе дает возможность представить как бы всю

историю языка, автор замечает по этому поводу следующее: «Оптически синхронная картина немецкой языковой области образцово представлена сотнями карт. Все немецкие диалектные ландшафты могут быть показаны со всеми подробностями на многочисленных картах. Такие примечательные изменения звуков в истории немецкого языка, как верхненемецкое передвижение согласных, нововенемецкая дифтонгизация и монофтонгизация, а также многие случаи территориально ограниченных изменений звуков, предстают в одном синхронном срезе перед глазами».[1]

Данные ареальных исследований дают возможность зафиксировать реликты древних, ныне исчезнувших форм.

СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА НА *-ИҢ/-ЫҢ* В МЕСТОИМЕНИЯХ

Ср. туркменские диалекты: човдурский, ёмутский, сарыкский, эрсаринский, ставропольский: *бизиӊ дилимизде* 'в нашем языке', *бизиӊ ерлеримиз* 'наши земли' (Очерк диал. турк., 241). Форма *бизин* зарегистрирована в кубинском диалекте, закатальско-кахских говорах азербайджанского языка. В качестве нормативной эта форма принята в ногайском и кумыкском языках; [2] в языке западносибирских татар форма *минеӊ* соответствует литер. тат. *минем*.[3] Притяжательное местоимение типа башк. *минеӊ* как развившееся на базе родительного падежа хронологически возникло позже (другая модель притяжательных местоимений образовалась на базе притяжательных аффиксов — тат. *минәм* 'мой', тур. *benim*).

В икано-карабулакском говоре узбекского языка сохраняется форма родительного падежа на *-ыӊ* (при литер. узб. *-ныӊ*). Ср. *а : дыӊ* 'твое имя'.[4]

СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ ДАТЕЛЬНО-НАПРАВИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА НА *-К*

Существование некого самостоятельного падежа на *-к* прослеживается в диалектах тюркских языков.[5] Ср. эрсар. диалект турк. яз.: *Керven Керкә:к гелйө:р, соӊра гьайра өтйө:р* ~ *Керven Керкә гелйәр, соӊра гайрак гечйәр*; *илери:к* ~ *илери*; *ичери:к* ~ *ичери* (Аннануров, 145—146).

Особый аффикс направления -q//-k отмечает и Н. К. Дмитриев: jerik 'на место', joqarьq 'вверх', nirək 'куда'. Этот аффикс особенно характерен для текинского диалекта. Ср. еще *ичер-ӣк* 'внутрь', *бир ер-ӣк* 'куда-нибудь в одно место, куда-то', *аӊрӯк бә̄р-ӣк* 'туда и сюда'.[6]

СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ НАПРАВИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (ДЕТЕРМИНАТИВА) НА *-Н*

До настоящего времени следы детерминатива на *-н* исследователи усматривали в окончаниях некоторых послелогов, а также в аффиксе исходного падежа на *-дан*. Ср. чув. послелог *таран*,

означающий 'до': *çырмара шыв пилĕк таран* 'в речке вода по пояс'; тат. *карт алга табан атлады* (Идел белән Урал арасында. Казань, 1970, с. 42) 'старик шагал вперед'. Ср. еще ног. *тамаган* 'к': *кешке тамаган* 'под вечер' (Ног., 330) или чув. послелог-аффикс *-чен* (*-ччен*), указывающий на предел, ограничение во времени какого-либо действия, например: *тăхăр сехетчен* 'до девяти часов'. Сохранение детерминатива на *-н* Б. А. Серебренников видит и в форме чувашского дат.-вин. пад. *-на/-не* вм. *-а/-е*: *лашана* 'лошади', *ĕнене* 'корове'.[7]

Результаты исследования тюркских языков в ареальном плане подтверждают гипотезу об исторически существовавшем детерминативе на *-н*. Последний сохраняется в особой форме дат. пад. типа *маган*, зарегистрированной во многих диалектах тюркских языков Средней Азии. Ср. каз. *маҕан* 'мне', *саҕан* 'тебе', *оҕан* 'ему'; узб. диал. *маҕан, саҕан, уҕан.*[8]

СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ ИНСТРУКТИВА НА *-ЫН*

Гипотеза о существовании инструктива на *-ын* могла строиться на основании материалов зарегистрированных ранних памятников тюркских языков. Ср. среднеазиатский тефсир XII—XIII вв.: *імлäді анлар таба ҟашїн кöзін* 'подавал ему знаки бровями и глазами' (Боровков, 206) и т. д. Модель глагольных словосочетаний с именем в инструктиве на *-ын* не встречается в современных тюркских языках. Можно говорить лишь об отдельных следах этого падежа. Реликтом инструктива являются образования, встречающиеся во многих литературных тюркских языках, типа к-калп. *джазын* 'летом', *гюзин* 'осенью' и т. д. Остатки инструментального падежа сохранились в некоторых образованиях современного чувашского языка. Ср. *аллăн пар та уран ут* (посл.) 'руками отдай, а ходи ногами'; *куçăн кур* 'своими глазами видеть, воочию видеть' (Мат. гр., 27). Остатки древнего инструментального падежа В. В. Радлов усматривает в якутском показателе совместного падежа *-лыын*, возникшего якобы из древнего инструментального падежа прилагательных на *-лык/-лых* с приращением афф. *-ын* (*аҕалыын* из *аҕа+лыҕ+ын*).[9] Живые диалекты тюркских языков сохраняют следы употребления инструктива *-ын*. Ср. западный диалект казахского языка: *көктегіні ҟолын созып алҕандай* вм. *көктегіні ҟолымен созып алҕандай* 'как будто он рукой достает то, что находится на небе' (Аманжолов, 317); барабинский диалект западносибирских татар: *цәйні сӧ̆ті йуҕын цәтім* 'я пью чай без молока' (Тумашева, 1969, 33).

СОХРАНЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ ФОРМЫ НА *-ЧА*

Материалы диалектов тюркских языков свидетельствуют о необходимости разграничивать падеж на *-ча*, имеющий направительное значение, и падеж на *-ча*, имеющий сравнительное значение.

В татарском, узбекском, уйгурском языках показатель дат.-напр. пад. *-ча* сохранился в образовании *-гача*. Ср. уйг. *Қудрәт сәһәрдин та һазирғичә буғдай ориди* (Босаков, 10) 'Кудрет с утра до настоящего момента жал пшеницу'. В ранних памятниках тюркских языков зарегистрировано и производное от направительного пролативное значение: уйг. пам. XIII в. . . . öŋi jolča jorutdy. . . 'проводил другой дорогой' (Малов, 1951, 137).

Сравнительный падеж на *-ча*, зарегистрированный в ранних памятниках тюркских языков, сохранился и в современных языках и их диалектах. Ср. Кюль-Тегин: *қаныӊ субча jÿгÿртi* . . . 'твоя кровь бежала (там), как вода' . . . (Малов, 1951, 39); ташкентский говор узб. яз.: *семъзлъгъ сэнчә бәр* 'его полнота, примерно как у тебя' (Гулямов, 1968, 48). Сравнительное значение показателя *-ча* сохранилось в современных тюркских языках в целом ряде образований (преимущественно наречных) типа *русча* 'по-русски'. По-видимому, сравнительный падеж на *-ча* восходит к *-ча*, имеющему значение уподобительности, приблизительности, что опять-таки нашло отражение в материалах диалектов среднеазиатских тюркских языков. Ср. ноокатский говор кирг. яз., бытующий в Ошской обл.: *үч пärккäчä* 'до трех листьев' (Бакеев,12). Значение приблизительности есть основания связывать со значением уменьшительности, отсюда и возможная связь этого аффикса *-ча* с аффиксом уменьшительности.

СОХРАНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ *-СЫ* МЕСТОИМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Диалекты киргизского языка сохраняют в реликтовом состоянии любопытный местоименный элемент *-сы*, родственный, очевидно, усилительной частице. Ср. джергетальский говор кирг. яз.: *кышындасы* 'зимой', *кечиндеси* 'вечером' (Мукамбаев, 15); тулейкенский говор кирг. яз.: *жазындасы* 'летом, весной', *түндөсі* 'ночью' (Туряджанова, 15).

Не исключена возможность, что усилительная частица *-сы* материально родственна притяжательному аффиксу *-сы* (ср. тат. *анасы* 'его мать'). Вероятность такого предположения обосновывается тем, что притяжательные аффиксы в тюркских языках восходят к местоименным основам. Усилительные частицы, как показывают материалы многих языков, восходят к местоименным основам, поэтому не исключена возможность, что какая-то местоименная основа *-сы* в одних случаях превращалась в усилительную частицу *-сы*, а в других случаях послужила основой для образования варианта притяжательного аффикса 3 л. ед. ч. *-сы*, выступающего обычно после основ на гласный.

РЕЛИКТЫ ДРЕВНИХ ПРИЧАСТНЫХ И ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ФОРМ

Аффикс *-к* существовал уже в общетюркскую эпоху, где он образовывал причастия, реликты которых сохраняются в современных тюркских языках, — ср. каз. *қорқақ* 'трусливый' (первоначально 'боящийся'), тат. *кисәк* 'кусок' (первоначально 'отрезанный') и т. д. Диалекты тюркских языков до настоящего времени сохраняют эти реликты в живом состоянии. Ср. карачаевский диалект карачаево-балкарского языка: *oqurуq* 'тот, кто будет учиться' (по любезному сообщению У. Б. Алиева). В диалектах туркменского языка (эрсаринском, човдурском и др.) аффиксы *-ик*, *-ук*, *-үк*, *-к*, *-ике* функционируют как деепричастия. Ср. эрсар. диал. *урукъ гъашдыхъ* вм. *уруп гачдык*; *гөрүк гъайтды* вм. *гөрүп гайтды* (Аннануров, 171); салыр. диал. *дурыкъа җогъап берди* вм. *дурагадан җогап берди* (Атаджанов, 13).

Деепричастная форма *-ан*, зарегистрированная в современном якутском языке, корреспондирует с реликтовыми образованиями, сохранившимися в ряде живых диалектов тюркских языков. В диалектах узбекского языка, у западносибирских татар, а также в диалектах туркменского языка зарегистрирована отрицательная форма деепричастия *-майын*, *-ман*, содержащая элемент *-н*, который лежит и в основе аффикса *-ан*. Ср. бахмалский говор узб. яз.: *бармайын қойды* вм. *бормасдан қуйды* 'перестал ходить' (Данияров, 12); тюменский говор: *үсләре правленьяга цагырып әйтмәйен, мин эштә пуламын* 'пока они сами не вызовут меня в правление и не скажут, я буду работать' (Тумашева, 1956, 116); туркменская пословица: *док чайканман, ач доймаз* 'пока не возволнуется сытый, голодный не насытится' (Аннануров, 7).

Деепричастие *-ан* прослеживается и в усложненной форме *-ыбан*, зарегистрированной и в диалектах среднеазиатских тюркских языков. Ср. ташкентский говор узб. яз.: *сәкрәбән тә: мънггә чъхтъм бър қъзъл әлмәнг учун* 'я, выскочив, влез на крышу твоего дома за твоим красным яблоком' (Гулямов, 1968, 137).

Тот же элемент *-н* лежит в основе усложненных форм: *-гачын*// *-гәсен*, *-дыкчан*. Ср. казмашевский говор башк. яз.: *үзең иркәләмәгәсең, мин дә иркәләмәйем* 'раз ты сам не ласкаешь, и я не буду ласкать' (Ишбулатов, 103); кубинский диалект аз. яз.: *Биз кид-дикчән јул да узанади* (Рустамов, 262).

РЕЛИКТЫ ДРЕВНЕГО ДЕЕПРИЧАСТИЯ НА *-ЧА*/*-Ч*

В тюркских языках имеются следы деепричастия на *-ча*. Ср. тат. *алмыйча* 'не беря'. Тот же элемент *-ча*, очевидно, лежит в основе следующих деепричастных образований. Ср. *-гыча*, *-гуча*, *-ганча*: кирг.: *ар арыкты казгыча, Муса да келип калат* 'пока он докопает арык, и Муса подойдет' (Мураталиев, 16); говор кашгарских уйгуров: *ба(р)ҕунча* 'пока дойти' (Кайдаров, 100);

-гач: човдурский диалект туркм. яз.: *базардан гелгеч, ише гиттим* 'как только пришел с базара, пошел на работу' (Машков, 84); *-дыкча*: акногайский диалект: *оьзуь айтпадыкъша сорама* 'пока сам не скажет, не спрашивай' (Калмыкова, 19).

РЕЛИКТЫ ПРИЧАСТНОЙ ФОРМЫ *-ДЫК*

Не только огузские, но и кыпчакские языки сохранили причастную форму на *-дык*. Ср. алт. туба: *мöру, мöрӱ, сен дьедик кой кöрӱп салдым — деп айткан* 'волк, волк, я видела овец, которых ты мог бы съесть' (Баскаков, 1965, 28); наряду с текинск. диалектом турк. яз. *бармадыкъ ери гъа:лмады* (Очерк диал. турк., 322) 'не осталось места, куда бы он не ходил'. Ср. еще эрсар. диалект: *ги:рдиги йо:къдур* вм. *гирйəн дəлдир* (Аннануров, 169) 'он не входил'.

Модель полной формы *-дыг* сохранилась в качестве формы прошедшего категорического, как известно, в ранних памятниках тюркских языков. Ср. *олар таӈка аӈдук* 'они взошли на гору'; *мəн мунда турдуk* 'я здесь встал' (МК III 61), и т. д. Форма *-дык* в качестве прошедшего категорического времени сохранилась в некоторых диалектах тюркских языков. Ср. айрумский говор аз. яз.: *Əли, гəдеjи чаӈырмадыq мы һəлə дə сəн*? 'Али, ты еще не позвал мальчика?' *Елə qин, гəлдиq, гөрдүq jохум, да гөздəмəӈинəн мəни* 'Как только пришел, увидел, что меня нет, уже не жди меня' (Садыхов, 1966, 180).

СОХРАНЕНИЕ ПРИЧАСТНОЙ ФОРМЫ *-МЫШ* В КЫПЧАКСКИХ ЯЗЫКАХ

Не только в огузских, но и в кыпчакских языках сохраняется форма причастия на *-мыш*. Ср. говор казахов Кустанайской обл.: *айтылмыш* 'сказанное', *озмыш* 'обгоняемый' (Байжолов, 20); мангышлакский говор каз. яз.: *тұрмыс* 'жизнь', *қылмыс* 'преступление' (Омарбеков, 20); ташкентский говор узб. яз.: *кълмъш — къдърмъш* 'делавший другим зло — человек, искавший для себя зло' (буквально: 'делавший — искавший') (Гулямов, 1968, 133).

РЕЛИКТЫ ДРЕВНЕГО ПРИЧАСТИЯ НА -(*У*) *ЛЫ*

На западе Казахстана довольно распространена глагольная форма прошедшего времени на *-улы*~*-улi* вместо ожидаемых форм прошедшего времени на *-ган* или *-ып*, *-п*. Ср. *Омар Москва барулы* 'Омар съездил в Москву', *келулi* 'оказывается приехали'. Есть основания считать, что форма прошедшего времени на *-улы* могла развиться на базе причастных свойств этого образования. В этой связи следует отметить, что Н. И. Ильминский рассматривал форму *-улы*, как обладающую причастными свойствами.[10] Ж. Дени полагал, что в основе афф. *-ылы* (этимологически родственного *-улы*) лежит аффикс *-ы*, осложненный показателем стра-

дательного залога. Сами производные он квалифицировал как обычные причастия, получившие, благодаря форманту-*л*, страдательное значение.[11]

Э. В. Севортян подчеркивает, что пассивное значение производных образований, в частности от имен с *-ылы*, объясняется, видимо, сочетанием имени действия и аффикса *-лы*. Ср. аз. *јаралы* 'раненый', *дамғалы* 'клейменый', каз. *тұсаулы* 'стреноженный'.[12] Автор показывает удельный вес такого типа образований в отдельных тюркских языках, отмечая, что происхождение производных от глагольных основ можно объяснить действием аналогии.[13] Ср. аз. *јазылы* 'написанный' от *јаз* 'писать', турк. *бакылы* 'откармливаемый, откормленный' от *бак* 'пасти, кормить'.[14]

Нам представляется, что в основе такого типа образований лежит тот же древний причастный элемент *-л*, что и в основе формы *-улы*, но осложненный другими родственными показателями *-ы/-у-л-ы*. Такое предположение подтверждается тем, что в тюркских языках, хотя и в незначительной степени, но прослеживаются образования с аффиксом *-л*, которые могут иметь значение результата действия. Ср. тур. çökül 'ил, осадок (речной)' (т. е. первоначально — то, что осело) от çök- 'оседать', др.-тюрк. kartal в kartal et 'мясо, разделенное на куски'.[15] Ср. еще кирг. *жыргал* 'удовольствие, наслаждение, благоденствие' от *жырга-* 'получать удовольствие, наслаждаться, блаженствовать', башк. *бөгәл* 'излучина' (т. е. то, что согнуто) от *бөк* 'гнуть'.[16]

Вышерассмотренный материал свидетельствует о существовании отглагольных образований, содержащих аффикс *-(ы)л*, с которым можно связать специализированное значение причастия прошедшего времени. Сохранились реликты, указывающие на возможность контаминации показателя *-л* с близкими по значению аффиксами (как известно, контаминируются аффиксы, близкие по значению); такие усложненные контаминированные образования могут выражать названия действия. Ср. афф. *-гил* (*-г/к*+*-(и)л*): др.-тюрк. bïčγïl 'рваный, растрескавшийся' от bïč- 'резать'; узб. *откул* 'место перехода, перевал' от *от-* 'переходить, проходить'.[17] Аффикс *-овул* (=aγul>-awul>-aul:-aγu+l): кирг. *чабуул* 'быстрая езда, скачка, набег' и др. от *чап-* 'быстро бежать' и др.; *жортуул* 'грабеж' от *жорт-* 'рыскать (в поисках врага, добычи)', каз. *жортуыл* 'набег' и др. от *жорт-* 'бежать мелкой рысью' и т. д.[18] Аффикс *-ылты* (*-(ы)л*+*-ты*). По наблюдениям Ж. Дени и вслед за ним Э. В. Севортяна, в образованиях на *-ылты* содержится идея устойчивости, постоянства . . . она проявляется здесь в форме повторения или устойчивости какого-либо шума (или движения, сверкания).[19] Ср. аз. *динкилти* 'шатание, подпрыгивание, тряска, пляска', *кумбулту/куппулту* 'бухание, грохот', *миjовулту/мовулту* 'мяуканье'.

Таким образом, широкое использование показателя *-(ы)л* в образованиях, передающих названия действия, процесса, его результат, свидетельствует о том, что сама передача процесса

действия могла возникнуть на базе древнего причастного значения, поскольку, как известно, причастное значение связано с передачей устойчивого результата действия, а последнее оказалось пригодным для обозначения постоянного признака.

Итак, название признака действия может развиться на базе причастия (ср. еще башк. *бөгәл* 'излучина', 'то, что согнуто').

Итак, в форме *-улы* есть основания видеть реликт древнего причастия на *-л*. На причастный характер этой формы *-улы* также указывает передаваемое им значение прошедшего неочевидного. Ср. аналогичное развитие модального значения неочевидности на базе причастия *-ган*.

Гипотетически можно предположить, что причастный элемент *-л* содержится и в зарегистрированной в киргизском языке связке *эле*, аналогичной общетюркской *эди*.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Hildebrandt K. Der Deutsche Wortatlas als Forschungsmittel der Sprachsoziologie. — In.: Nordgeographie und Geselschaft. Berlin, 1968, S 140.

[2] Исхаков Ф. Г. Местоимения. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, II. М., 1956, с. 218—219.

[3] Ахатов Г. Диалект западносибирских татар. Уфа, 1963, с. 158.

[4] Поливанов Е. Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933, с. 27.

[5] Б. А. Серебренников след этого падежа видит в окончании инфинитива -mak, -mek — см.: Серебренников Б. А. К вопросу о происхождении элемента (g, q, γ) в окончании дательно-направительного падежа в тюркских языках. — КСИНА, вып. 83, 1964, с. 69.

[6] Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962; Туркменские народные сказки. М.—Л., 1954, с. 51.

[7] Серебренников Б. А. О некоторых проблемах исторической морфологии тюркских языков. — В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971, с. 283. О фузии, как технике образования аффиксальных морфем см.: Кононов А. Н. О генезисе тюркских аффиксальных морфем. Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. М., 1974, с. 38—40.

[8] См., например, Боровков А. К. Вопросы классификации узбекских говоров. — Изв. АН Узб. ССР, 1953, № 5, с. 73.

[9] Харитонов Л. Н. Современный якутский язык. Якутск, 1947, с. 113.

[10] Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского языка. Казань, 1861, с. 20.

[11] Deny J. Grammaire de la langue turque. Paris, 1921, S. 853.

[12] Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966, с. 266.

[13] Там же.

[14] Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования. . ., с. 267—268.

[15] Там же, с. 192—193.

[16] Там же, с. 193.

[17] Там же, с. 194.

[18] Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования. . ., с. 238—239.

[19] Deny J. Grammaire de la langue turque, § 858; Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования. . ., с. 184—185.

СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аманжолов — Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 1959.

Аннануров — Аннануров А., Бердыев Р., Дурдыев Н., Шамурадов К. Эрсаринский диалект туркменского языка. Ашхабад, 1972.

Аппаев — Аппаев А. М. Диалекты балкарского языка в их отношении к балкарскому литературному языку. Нальчик, 1960.

Атаджанов — Атаджанов М. Салырский диалект туркменского языка. Ашхабад, 1959.

Байжолов — Байжолов А. Языковые особенности казахов Кустанайской области. Алма-Ата, 1964.

Бакеев — Бакеев К. О. Ноокатский говор Ошской области. Алма-Ата, 1952.

Баскаков, 1965 — Баскаков Н. А. Диалект черневых татар (Туба—Кижи). М., 1965.

Боровков — Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963.

Босаков — Босаҵов Ж. Ҵайнам. Алмута, 1964.

Гулямов, 1968 — Гулямов Я. Г. Грамматика ташкентского говора. Ташкент, 1968.

Данияров — Данияров Х. Бахмалский говор узбекского языка. М., 1955.

Ишбулатов — Ишбулатов Н. Х. Говор деревни Казмашево Абзелиловского района БАССР. М., 1955.

Кайдаров — Кайдаров А. Т. Развитие современного уйгурского литературного языка. Алма-Ата, 1969.

Калмыкова — Калмыкова С. А. Акногайский диалект ногайского языка. М., 1965.

Малов, 1951 — Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.

Мат. гр. — Материалы по грамматике современного чувашского языка. Чебоксары, 1957.

Машков — Машков Х. А. Човдурский диалект туркменского языка. Ашхабад, 1949.

Мукамбаев — Мукамбаев Ж. Джергетальский говор киргизского языка. Фрунзе, 1955.

Мураталиев — Мураталиев М. Придаточные предложения времени в киргизском языке. Фрунзе, 1962.

Ног. — Ногайско-русский словарь. Под ред. Н. А. Баскакова. М., 1963.

Омарбеков — Омарбеков С. Мангышлакский говор казахского языка. Алма-Ата, 1960.

Очерк диал. турк. — Туркмен дилиниң диалектлериниң очерки. Ашгабат, 1970.

Рустамов — Рустамов Р. А. Глагол в диалектах и говорах азербайджанского языка. Баку, 1964.

Садыхов — Садыхов Б. П. О некоторых кыпчакских элементах в айрумском говоре азербайджанского языка. В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку, 1966.

Тумашева, 1956 — Тумашева Д. Г. Язык татар Западной Сибири (тюменский говор). — Уч. зап. Казанского гос. ун-та, т. 116, кн. II. Казань, 1956.

Тумашева, 1969 — Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам. М., 1969.

Туряджанова — Туряджанова М. Тулейкенский говор киргизского языка. Фрунзе, 1954.

Ширалиев — Ширалиев М. Азәрбајчан диалектолокијасынын әсаслары. Бакы, 1962.

Эгамов — Эгамов В. Галля-аральский говор Самаркандской области. Самарканд, 1954.

Т. М. Гарипов

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КЫПЧАКСКИХ ЯЗЫКОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Многообразный и разнородный фактический материал по современным кыпчакским языкам Урало-Поволжья — башкирскому и татарскому с их пятью диалектами и едва ли не вдесятеро большим количеством говоров, охватывающим обширные пространства Евразии от бассейна Волги на западе до Сибири на востоке[1] — требует рассмотрения под разными углами зрения.

При рассмотрении названных лингвистических общностей в генетическом аспекте устанавливается происхождение их из единого языкового источника — тюркского праязыка.

Структурно-позиционный подход с его четкой стратификацией лингвоединиц по ярусам и звеньям синхронно описываемых систем знаков на различных эволюционных фазах их диахронии дает возможность, с одной стороны, противопоставить явления языка как совокупности инвариантов (прежде всего семиологических) и речи как варьирующихся наборов аллоэмических элементов; строго разграничивает, с другой стороны, внешне- и внутрилингвистические факторы исторических изменений в характеризуемых структурах, включая утверждение зависимости пострадикальных уподоблений и выделение роли контактных (иноязычных) вхождений. При типологическом анализе выявляются изоморфные и алломорфные черты в планах выражения сопоставляемых языков при относительной константности их универсалий в плане содержания.

Далее, ареальная лингвистика предоставляет в распоряжение исследователя пространственное размещение изоэм и аллоэм как в пределах родственных языков, так и между гетерогенными компонентами языковых союзов.

Наконец, материалистическая глоттология прочно базируется на принципе неразрывности истории языка с историей его носителя-народа, хотя связь эта преимущественно опосредована. Во всяком случае, пути этно- и глоттогенеза чаще пересекаются и расходятся, нежели следуют параллельно.

Так, складывание башкирской и татарской народностей, несмотря на превалирующее сходство их языковых структур, осу-

ществлялось далеко неадекватно. Новейшие воззрения на этническую историю башкир свидетельствуют о чрезвычайно сложной и пестрой картине формирования данной социальной популяции на базе местного автохтонного начала — так называемого дотюркского субстрата Приуралья — и при широком участии миграционных потоков, связанных с великими переселениями древних народов Евразии, особенно центральноазиатского и приаральского происхождения.[2]

Не менее противоречива история проникновения тюркоязычного этникума в Поволжье с последующим распределением соответствующих черт материальной и духовной культуры между татарскими и чувашскими племенами.

В сложении же башкирского и татарского языков, помимо исходной общетюркской основы и входивших в них (по мере продвижения «протобашкир» и «прототатар» на территории своего нынешнего расселения) индоевропейских и финно-угорских элементов, принимали достаточно деятельное участие неоднократные воздействия тюркского же этнолингвистического материала, но восходящего к разным классификационным группам.

К каким же установлениям историко-языковедческого характера приводит наше исследование, комплексно использующее и данные, полученные в итоге компаративистских штудий, и сравнительно новые методы ареалистики и контактологии, и отдельные приемы структурно-типологического анализа?

Расположим свои суммарные наблюдения и выводы в порядке «возрастания» относительно-хронологической перспективы от первых засвидетельствованных в Урало-Поволжье языковых фрагментов вплоть до их современных рефлексов в сочетании с неизбежными инновациями, а также с попытками предугадать дальнейшее региональное развитие глоттогонической ситуации в доступном прогнозу будущем.

Для удобства рубрикации обозначим каждый этап в соответствии с наиболее характерным для него, доминирующим языковым источником.

I. Дотюркский этап не имеет верхней лингво-хронологической границы. Судя по археологическим квалификациям этнокультурного состава населения древнейшего Урало-Поволжья, последний к III в. н. э. складывался в основном из ираноязычной (сарматской) и финно-угорской общностей.

К сожалению, иранские языковые реликты не опираются на памятники, зафиксированные письменностью, не локализуются хотя бы маргинально и относятся нерасчлененно ко всему тюркскому этносу, а не только к его урало-поволжской периферии.[3]

Контуры финно-угорского, особенно древнемарийского и отчасти древнемадьярского субстрата в тюркских языках Поволжья—Приуралья начинают вырисовываться все очевиднее благодаря трудам Б. А. Серебренникова в этой области. В последние годы исследователь вплотную подошел к обоснованию идеи

о реальном существовании Волго-Камского языкового союза в составе финно-угорских и тюркских языков, доказательством чего служит тотальное распространение в них таких отличительных черт, как редукция задне- и переднерядных гласных, лабиализация *а*, тенденция к ослаблению смычки при произношении аффрикат, очевидная общность выражения грамматических значений в сферах морфологии и синтаксиса.[4]

Присоединим сюда лексические финно-угризмы, специальный анализ всего выявленного количества которых пока еще ставится как задача на будущее: башк. и тат. *бура* из марийск. *пура* 'сруб'; *бүкэн* 'чурбан' из удм. *пукон* 'стул'?; [5] башк. *ма-тур* и тат. *ма⁰-тур* из мар. *мотор* 'красивый'; соотв. *мышы* и *пöши* 'лось' из фин.-уг. *пучо/пужей* 'олень'.[6]

Не исчерпала себя и гипотеза, выдвинутая Н. К. Дмитриевым, о сдвиге тюрк. *с-* в башк. *h-*, типологически поддержанном его аналогом в иранских и, возможно, финно-угорских языках.

II. Тюркский этап начался задолго до прихода тюркоязычных кочевников на Урал и Волгу, в эпоху существования праязыка. Примерно из 1200 описанных нами исконно тюркских словоформ, в подавляющем большинстве своем представляющих односложные корни и простейшие дериваты, до 1000 лексем, или 83%, уверенно возводятся к пратюркской эпохе либо реально фиксируются как межтюркские параллели.[7] Однако фономорфемный состав и дистрибуция аллофонов не были однородными в пределах всего праязыкового континуума, который сам расчленяется на ряд срезов.

1. Раннепратюркское состояние, вероятно, не дифференцировалось по диалектам и характеризовалось неразличением согласных по силе и слабости, а гласных по ряду и подъему. В целом о пратюркской фонологической системе в компаративистике высказывались достаточно определенные предположения В. В. Радловым, Г. Рамстедтом, М. Рясяненом, Л. Базэном, Н. Поппе, В. М. Илличем-Свитычем, К. Х. Менгесом, Н. А. Баскаковым, А. М. Щербаком и др. Если попытаться кратко обобщить позиции этих исследователей, то окажется, что фонемный состав пратюркского ранней поры мог включать в себя от 28 до 42 структурных единиц: 20—26 согласных и 8—16 гласных. Господствующим в гипотетических построениях является признание самостоятельными звукотипами двух рядов гласных: кратких и долгих.

Выясняется также, что остаточный синкретизм между консонантами и гоморганными гласными (губные согласные — огубленные гласные, соответственно палатальные — переднерядные, велярные — заднерядные и т. п.) должен как будто бы свидетельствовать в пользу догадки о некогда едином типе первоначальных фонационных элементов — силлабем, силлабофонем, протофонем, группофонем, недифференцированно включавших в себя прообразы нынешних согласных и гласных, которые выполняли свою смыслоразличительную функцию лишь совместно в составе

слога, равного односложному слову (см. глоттогонические разыскания В. К. Журавлева, А. А. Леонтьева и др.).

Однако, основываясь на этом, нельзя утверждать, на наш взгляд, примат той или иной категории фонем, как это пытались делать Я. ван Гиннекен, И. Крамский и М. Моллова, опираясь на положение Г. Шарафа о «безгласности» звукоподражаний типа тат. *пшт* 'шу-шу', с чем не согласился Н. С. Трубецкой.[8] Даже если признавать отсутствие полноценного гласного в мимеме *ҡлт* (подражание внезапному, неожиданному), — в чем до экспериментальной проверки этого явления мы позволим себе усомниться, — отсюда вовсе не следует, что могут существовать тюркские слова из одних консонантов: просто в подобном случае *л* должен расцениваться как слогообразующий согласный, функционально равный гласному.

Дискуссионными вопросами для раскрытия раннепратюркского состояния остаются также восстановление *җ* Н. Поппе и К. Х. Менгесом, постулирование А. М. Щербаком *ç*, фонематичность долгих гласных (сам факт существования долгот, за крайне редкими исключениями, не подвергается сомнению), характер переднерядного широкого гласного (*э* и/или *ә*) и т. д.

Особенно много споров ведется вокруг деления пратюркских согласных на инициально-анлаутные и все последующие (постлаутные). В основном здесь противоборствуют, как известно, две концепции: допускающая функционирование в абсолютном начале слова звонких (Г. Рамстедт, М. Рясянен, К. Х. Менгес и др.) и считающая возможным в указанной позиции участие лишь сильных-глухих-несонантных (А. М. Щербак); ср. гипотезу В. В. Радлова о неразличении глухости-звонкости в древнеуйгурском, которую недавно подтвердил новыми аргументами Э. Р. Тенишев. Из всего этого комплекса вопросов кажется бесспорным лишь мнение о численном — приблизительно двойном — превосходстве неначального консонантизма над начальным.

2. Остальные моменты могут быть успешнее решены, будучи перенесены в несколько иную языковую плоскость, — назовем ее условно среднепратюркской. Здесь уже определенно допускается сосуществование глухих и звонких — на первых порах, вероятно, как аллофонов, реализующих консонантное начало в условиях внешнего сандхи. Так, наряду с прежним *п-* мог появиться его оппонент *б-*, рядом с *ч* — *җ* и т. п. Инициальный *й*, видимо, был первичен (перед «не-*й*») и ранее, но выступал не как сонант, а как обычный шумный. Возможно, сюда же следует отнести возникновение конфронтации отдельных частей праязыковой общности по ламбдаизму — сигматизму и ротацизму — зетацизму.

Наконец, с этим же срезом пратюркского может быть связано «расщепление» гипотетического Schwa turcicum на *э* и *ә*.[9]

3. Позднепратюркский в нашем представлении отмечен значительными диалектными колебаниями, приведшими его в конце концов к распаду по крайней мере на 5 классификационных зон,

прямое воздействие которых на языки нашего ареала обобщается ниже. Пока же обратим внимание на возможность появления *м-* как нового члена оппозиции билабиальных и широкую аллофонию практически по всем фонемам, унаследованным современными тюркскими языками, включая и нулевые (например, долгие гласные, иррелевантные для кыпчакских языков).

4. Древне-, средне- и новотюркское время достаточно охарактеризовано в специальной литературе, поэтому непосредственно обратимся к последствиям контактирования местных языков Урало-Поволжья с представителями разных диалектных ветвей тюркского праязыка.

1) Гуннское нашествие (III в. до н. э.—V в. н. э.) вовлекло в свою орбиту разноплеменное, в том числе и тюркоязычное, население, о чем можно судить по немногим сохранившимся глоссам: гунн. *tʿuk tâng* ʻудержатьʼ / башк. и тат. *тӧт-* ʻдержатьʼ, *туꝁта-* ʻостановиться, перестатьʼ;[10] гунн. *var* ~ чув. *вар* / башк. *үҙ*, тат. *үз* ʻсередина, животʼ, гунн. *hăr-kä* (имя жены Аттилы), ср. герм. женск. имя ʻЭрикаʼ / башк. и тат. *иркә* ʻнегаʼ.[11]

2) Булгарский племенной союз (II—IX вв. н. э). оставил в языках Поволжья—Приуралья первый мощный пласт, что эксплицитно выразилось в его унаследовании чувашским языком, заимствовании не менее 227 лексических булгаризмов венгерским, а имплицитно выявляется также в татарском и башкирском: ср. венг. *alma* и башк. *алма*, тат. *aᵒлма* ʻяблокоʼ, соотв. *kender* и *киндӗр* ʻконопляʼ и др.

Подобные сопоставления дают ряду исследователей повод для широких этнокультурных и языковых экстраполяций булгарского присутствия в Поволжье и Северном Предкавказье на такие общности, как чувашская, татарская и башкирская. При этом все большим сочувствием пользуется не столько признание булгарского субстрата лишь в одном каком-либо народе и языке, сколько более конструктивная теза о параллельном обнаружении (разумеется, в разных масштабах) булгарского стратума в становлении всех трех народов, антропологически немонолитных даже каждый сам по себе, но тесно связанных между собою узами близкого (для башкир и татар) и отдаленного (для них же и чувашей) языкового родства.

Меньшей популярностью обладает идущая от З. Гомбоца теза о предполагаемой идентичности древнебулгарского если не с пратюркским, то с орхоно-енисейским, особенно в сфере вокализма.

К булгарскому же периоду отнесем утрату смычки у аффрикат *ч* и *җ*, спирантизацию их в башк. *с* и *ж*, тат. *ч* и *җ*ʼ, что могло быть вызвано и финно-угорским окружением.[12]

3) Огузское влияние на языки Урало-Поволжья носило, по-видимому, менее интенсивный характер и в силу своей относительной непродолжительности, к тому же еще и небеспрерывной (с VIII по XII в. н. э.), и вследствие смешанного огузо-кыпчак-

ского состава новых (после гуннов и булгар) кочевых волн, двигавшихся с востока на запад.

Огузским по происхождению считается *й-* в башкирском и мишарском (возможно, и в сибирско-татарском) вместо «кыпчакского» *җ*' в казанском. Близким к аналогичной характеристике является частное озвончение башк. и сиб. *к-* и *ҡ-*: *алты геше* 'шесть человек'. То же историческое ослабление *т-* наблюдается в нукратском и мензелинском говорах, мишарском фольклоре,[13] айском говоре.[14] Кстати, башкиры-айцы квалифицируются в этнографической литературе как огузские пришельцы с берегов Сыр-Дарьи.[15]

4) Среднеазиатско-тюркский слой усматривается предпочтительно на уровне книжно-письменной речи и, стало быть, тяготеет к истории казанско-татарского литературного языка, который черпал свои традиции из недр таких культурных центров, как Булгар, Сарай и прочие ставки золотоордынских ханов. Из факторов домонгольской поры необходимо назвать довольно оживленные торгово-экономические и культурно-клерикальные связи Поволжья, в меньшей степени — Приуралья, с Мавераннахром, что заметно укрепило позиции локального варианта «тюрки» и его наследника — старотатарского литературного языка. Среднюю же Азию следует признать основным поставщиком множества арабизмов и персизмов, проникавших и после установления Золотой Орды предпочтительно не устным путем.

В башкирском же известную конкуренцию потоку ориентализмов составили, начиная с XVI в., старорусизмы, поскольку башкиры, как и многие другие тюрки-кочевники, подпавшие под эгиду ислама, до самого Октября значились плохими мусульманами — во всяком случае, по сравнению с оседлыми татарами, узбеками и др.

В чисто лингвистическом плане между кыпчакским Урало-Поволжьем и карлукским Двуречьем установились общие изоглоссы вроде тат.-башк. *бул-* и узб. *бўл*'- 'быть', тат. *ҡа°лҕан* и башк., уйг. *ҡалҕан* 'остался он', тат. *та°w*, башк. *таw* и узб. *тоҕ*, уйг. *таҕ* 'гора'; см. также сохранение глухих *к-* и *ҡ-* при их интервокализации в тат. *икĕ кĕшĕ* 'два человека'.

5) Связи с сибирско-тюркским ареалом коснулись более всего наречий татар Сибири, возникших в результате смешения племенных диалектов кыпчакского типа с местными восточно-тюркскими языками.[16] Отдельные черты сходства, особенно по линии глухости/звонкости согласных, обнаруживаются между зауральско-башкирскими говорами и хакасским языком.

Периферийными должны признаваться и отношения с нетюркскими языками Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока — монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, а также с китайским. Как и следовало ожидать, подобные контакты характерны для большей части восточноазиатского массива тюрков, чем для их отдельных группировок, продвинувшихся на запад и за Урал.

Примеры монголизмов: башк. и тат. *буран* 'буран', *нык̧* 'крепкий', *к̧ула* башк. 'ведро', тат. 'жесть', башк. *батыр*, тат. *ба°тыр* 'богатырь', соотв. *тамға* и *та°мға* 'тамга', башк. *к̧ǒнажын* 'кобыла 2-3 лет', тат. *на°рат* 'сосна' и др.

Ср. также немногочисленные китаизмы: башк. и тат. *мәңгě* 'вечный', башк. *ысын* и тат. *чын* 'истинный' и пр.

6) Кыпчакизация тюркских языков Европы явилась решающим этапом их развития, определившим всю последующую классификационную характеристику. Начавшись с появлением в бассейнах Волги и Яика крупных масс степняков (печенегов с VIII в. н. э., половцев с XI в.), кыпчакская этноязыковая экспансия достигла своего апогея в XIII—XIV вв., т. е. в первые столетия монголо-татарского господства. Именно этим временем может быть датирована кардинальная перестройка местных тюркских наречий, исключая чувашское, на кыпчакской основе, что привело их после XV—XVI вв. к окончательной консолидации в общенародные башкирский и татарский языки.[17]

Кыпчакский период принес урало-поволжским языкам не столько количественные, сколько глубокие качественные изменения. Из уже приведенного числа в 1200 тюркских лексем лишь около 200 (или 17%) определяются как сугубо кыпчакские, в том числе по 60 (по 5%) как общекыпчакские и урало-поволжские, а остальные 80 (7%) как разностные башкирские и татарские.[18]

Гораздо более ощутимые последствия для выделения названной подобщности кыпчакских языков имели свершившиеся в них звукопреобразования *э* в *и*, *ө* в *ү*, *о* в *у* и некоторые консонантные расхождения.

Считающийся обычно кыпчакским *ж-*, *ж̧-*, *ж̧'-* в действительности характеризует и другие классификационные группы тюркских языков. Поэтому его лучше именовать «неогузским».

Почти то же можно сказать о форме на *-ған*.

7) Последним по времени из межтюркских контактов в исследуемом ареале было и есть тесное башкирско-татарское языковое взаимодействие, наиболее активно протекавшее с XVIII—XIX вв. Впрочем, ср. название книги, изданной в 1923 г. в Уфе: Ф. и С. Сейфи. «Самоучитель татаро-башкирского языка или руководство научиться без помощи учителя читать, писать и говорить по татаро-башкирски». Термин «татаро-башкир» употреблялся даже в официальном делопроизводстве как название национальности и т. д.

Главными итогами этого сложного процесса наряду со становлением соответствующих национально-литературных языков было образование переходной диалектной зоны на северо-западе Башкирии и востоке Татарии (мензелинский говор), а также речевое размывание границ отдельных этнических групп в иноязычном окружении (тептяри, гайнинцы и др.). Продолжающееся взаимодействие башкирских и татарских говоров является постоянным

объектом пристального внимания и изучения со стороны многих языковедов Уфы и Казани.[19]

Итак, сочетание внутренних и внешних факторов генетического и ареального развития кыпчакских языков Урало-Поволжья обусловило их специфику среди остального тюркоязычного мира.

Школа неолингвистики (Дж. Бонфанте и др.), сильно упрощая действительное положение вещей, вполне могла бы представить историю башкирского языка как последовательное наложение друг на друга и вытекающее из этого смешение таких подчас генетически далеких, но чаще структурно сходных систем, как субстратно индоевропейская и финно-угорская + булгарская + огузская + кыпчакская + (отчасти) сибирская.

Положение татарского языка с этих же позиций выглядело бы почти так же, но с обязательным включением узбекско-уйгурского компонента и, пожалуй, без заметного участия индоевропейского.

Следовательно, структурно-типологические характеристики двух близкородственных языков разнились бы при таком подходе одним-двумя собственно-тюркскими показателями: огузско-сибирским в I случае, среднеазиатским во II. Однако критериальная оценка сущностных параметров башкирского и татарского языков вряд ли значительно выходит за пределы понятия «булгарская и кыпчакская языковая среда с весьма ощутимой финно-угорской подосновой». Поэтому в известной классификации тюркских языков в целях вящей хронологической последовательности стоило бы поменять местами составные части сложного наименования соответствующей лингвистической рубрики, представив ее как «булгарско-кыпчакскую подгруппу кыпчакской группы тюркских языков».

Ведущим же методом определения места и взаимоотношений исследуемых общностей, составляющих тюркскую языковую семью, остается, по нашему убеждению, выявление совпадающих и коррелирующих слов при тщательном учете изофон, изоморф и изосем, а также отграничении иноязычных заимствований.

Основанное на подобной методике описание материального строя и системных отношений на фонемном, морфемном и лексемном уровнях двух близкородственных кыпчакских языков Урало-Поволжья предложено нами в работе, готовящейся к изданию отдельной книгой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Диалекты башкирского языка: восточный (в составе 5 говоров — айского, аргаяшского, кызылского, миасского, салйутского) и южный (5 говоров — бурзянский, демский, ик-сакмарский, инзер-еземский, каридельский).

Татарские диалекты: казанский (свыше 25 говоров, в том числе заказанская, кряшенская и нагорная группы говоров), мишарский (до 13 говоров, преимущественно за пределами ТАССР) и сибирский (в составе тоболо-иртышского, барабинского и томского наречий с их 7 говорами и 2 подговорами).

[2] См.: Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.

[3] Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, с. 131; Немет Ю. Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии. — ВЯ, 1963, № 6, с. 128; Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, с. 142; Clauson G. An Etymological Dictionnary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972, p. 308, 771.

[4] Серебренников Б. А. 1) О некоторых следах влияния финно-угорского субстрата в языке казанских татар. — В кн.: Академику В. В. Виноградову к его 60-летию. Сборник статей. М., 1956, с. 214—224; 2) К вопросу о связи башкирского языка с венгерским. Уфа, 1963; 3) О некоторых отличительных признаках Волго-Камского языкового союза. — В кн.: Языковые контакты в Башкирии. Уфа, 1972, с. 7—17; 4) Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 352.

[5] Егоров В. Г. Этимологический словарь, с. 165, 163.

[6] Щербак А. М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках. — В кн.: Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961, с. 1427.

[7] См.: Гарипов Т. М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья (опыт синхронической и диахронической характеристики). М., 1974, с. 18—20.

[8] Соответствующую литературу вопроса и ее критику см. в кн.: Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 138—141.

[9] Детальнее об этом: Гарипов Т. М. К установлению типологических черт восточно-кыпчакского вокализма. — В кн.: Вопросы тюркских языков и взаимоотношения их с другими языками. Баку, 1972, с. 116—119.

[10] Benzing J. Das Hunnische, Donaubolgarische und Wolgabolgarische. — In: Philologiae Turcicae Fundamenta, T. I. (Wiesbaden), 1959, S. 686—687.

[11] Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969, S. 376 B und 48 B.

[12] Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 271.

[13] Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казан, 1969, 621-енче бит.

[14] Максютова Н. Х. Говор башкир долины реки Ай. — В кн.: Башкирский диалектологический сборник. Уфа, 1959, с. 19—21.

[15] Кузеев Р. Г. Этнический состав, история расселения и происхождение башкирского народа (историко-этнографическое исследование). М., 1971, с. 39.

[16] Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам. М., 1969.

[17] Фасеев Ф. С. Краткий грамматический справочник татарского языка. — В кн.: Татарско-русский словарь. Около 38 000 слов. М., 1966, с. 809.

[18] Специально об этом см.: Гарипов Т. М. Башкирско-татарские языковые параллели. — В кн.: Языковые контакты в Башкирии. Уфа, 1972, с. 59—211.

[19] См., например: Языковые контакты в Башкирии. Тематический сборник. Уфа, 1972, с. 276 сл.; Афлетунов А. Ш. Языковые особенности татар западной и юго-западной части БАССР. Казань, 1961.

В. Г. Гузев

СИСТЕМА ИМЕННЫХ ФОРМ ТЮРКСКОГО ГЛАГОЛА КАК МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАРОАНАТОЛИЙСКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Вопрос об именных формах глагола относится к числу наиболее важных вопросов, разрабатываемых в тюркском языкознании. Его важность обусловливается той большой ролью, которую играют именные формы глагола в строе тюркских языков. Во-первых, они составляют мощный и чрезвычайно развитый блок морфологических форм со сложной семантикой. Во-вторых, они-то и являются причиной проявления одной из черт своеобразия тюркского синтаксиса, заключающейся в том, что тюркские языки не испытывают структурной потребности как в сочинительных, так и в подчинительных союзах и в значительной мере способны обходиться без придаточных предложений индоевропейского типа. С учением об именных формах глагола связаны теснейшим образом такие теоретические вопросы, как вопрос о разграничении словообразования и словоизменения, о делении слов на лексико-грамматические классы (части речи), о разграничении словосочетаний и предложений и др.

Среди исследований по грамматике тюркских языков имеются работы, специально посвященные интересующей нас теме,[1] однако представляется, что проблема еще нуждается в дальнейшем осмыслении. Ниже излагается точка зрения, которая была разработана автором этих строк в процессе изучения материала староанатолийско-тюркских памятников и современного турецкого литературного языка. Будут затронуты наиболее важные, принципиальные вопросы теории именных форм глагола, такие как морфологическая природа этих форм, их грамматическое значение и языковая функция, группы, в которые они объединяются, что собой представляет каждый их разряд, чем в морфологии является та общность, в которую они все входят. Будем при этом исходить из того, что функциональные (синтаксические) особенности именных форм уже достаточно полно описаны на материале разных тюркских языков.

Полезно напомнить, что существует тенденция разграничивать понятия «отглагольные имена» и «глагольные имена». Под первыми понимаются образованные от глаголов слова именных классов (т. е. существительные, прилагательные и т. д.), под вторыми — словоизменительные формы глагола.[2]

В состав глагольных имен многие исследователи включают только имена действия, причастия и формы на *-duk* и *-(j)ağak*, не включая в это понятие деепричастия. Представляется, что принадлежность деепричастий к глагольным именам достаточно убедительно обоснована Н. А. Баскаковым.[3]

Важным достижением тюркского языкознания следует считать разграничение понятий — части речи и функциональные категории.[4] Если первые представляют собой классы, объединяющие лексические, словарные единицы, вторые представляют собой лишь образования, относящиеся к числу словоизменительных форм. Исследовательская практика убеждает, что главными критериями, лежащими в основе деления словарных единиц на классы, т. е. части речи, и функциональных форм на разряды, являются критерии семантические. Морфологические особенности и синтаксическое использование слов или форм оказываются в конечном итоге производными, вторичными по отношению к их значениям. Именно в зависимости от того, обозначают ли слова предметы, признаки, обстоятельства, действия и т. д. (или то, что осознано как таковые), слова делятся на имена существительные, прилагательные, наречия, глаголы и т. д. Классификация функциональных форм также должна основываться на их семантике.

Представляется, что соотносимые слова и функциональные формы имеют разную семантическую структуру. Семантика слова более стабильна. Она воспринимается как его постоянный, сложившийся компонент. В этом смысле каждая часть речи объединяет слова, главным, основным значением которых являются или предметы, или признаки, или обстоятельства, или действия и т. д. Переход слова из одного класса в другой означает смену его специализации, замену одного его п о с т о я н н о г о категориального (на лексическом уровне) значения другим. Значения слов — сложившиеся результаты восприятия и интерпретации человеком явлений объективного мира.

Семантика функциональных форм более подвижна, имеет преходящий, окказиональный характер и вместе с тем обладает более сложной структурой. По-видимому, за каждой функциональной формой стоит некая разработанная языковым мышлением, типизированная семантическая операция, которая заключается в том, что одно явление (например, местонахождение предмета) истолковывается как другое, служит средством обозначения другого связанного с ним явления (например, признака предмета). Такое представление местонахождения в пространстве или приуроченности к какому-либо времени в качестве признака предмета наблюдается в турецких и староанатолийско-тюркских атрибутив-

ных образованиях на -*ki*: evimdeki 'находящийся в моем доме', bu günkü 'сегодняшний'. Окказиональная субстантивация форм типа evimdekiler 'те, которые находятся в моем доме' отражает еще более сложную семантическую операцию: признак, содержанием которого является положение во времени или пространстве, используется как средство обозначения предмета, обладающего этим признаком. Хотя приведенный пример и выходит за рамки темы настоящей статьи, он наглядно демонстрирует семантическое содержание функциональных форм.

Совершенно оправдана точка зрения, согласно которой именные формы глагола представляют собой глагольные функциональные формы.[5] Их словоизменительный характер доказывается тем, что они 1) всегда обозначают действие (или представляют иные явления в виде действия), 2) сохраняют глагольное управление, 3) способны выступать в продуктивных залоговых формах, 4) способны образовывать отрицательную форму «глагольным» способом, т. е. с помощью аффикса -*ma*, 5) могут оформлять сложные глагольные образования (например, перифрастические, формы возможности и невозможности).

Если анализировать глагольные функционально-именные формы с изложенной выше семантической позиции, то окажется, что они служат целям окказионального представления, истолкования действия как предмета, признака или обстоятельства. Их классификация сведется к выявлению рядов форм, объединяемых одной и той же семантической структурой.

В исследуемом материале находим ряд форм, за каждой из которых стоит семантическая операция «опредмечивания». Это — имена действия, или глагольные субстантивы. Для староанатолийско-тюркского характерны имена действия на -*mak* и -*maklyk*: ägär ošbu kīni *alyvermäkdä dürišmäklik* göstärmäzisäŋ (КД) 'если ты не проявишь усердия, чтобы быстро отомстить вот за это. . .' В современном турецком языке — это формы на -*ma*, -*mak*, -*maklık*, -(*y*)*ış*.[6]

Оставляя в стороне вопрос о семантических различиях между названными формами, важно подчеркнуть, что передаваемое каждой из них действие лишено какой-либо временной характеристики и мыслится вне связи с его субъектом.* Однако представление действия в качестве предмета имеет следствием то, что субъект действия, если есть потребность указать на него, предстает как предмет, которому принадлежит выражаемое функционально-субстантивной формой «опредмеченное» действие, и передается с помощью средств, служащих для выражения принадлежности: baŋa hämišä sänüŋ šol gandüzüŋ *görmäkligüŋ* . . ., ma'lūm idi (КД) 'мне всегда было известно это твое свойство уважать себя'.

---

* Не имея возможности рассматривать здесь интересный вопрос о взаимоотношениях залоговых и именных форм глагола, условимся говорить лишь о действии, выражаемом глаголом в основном залоге. Термин «субъект» используется здесь для краткости вместо термина «производитель действия».

Предметное значение функциональных форм должно рассматриваться как причина того, что они способны присоединять аффиксы именных категорий и используются в субстантивных синтаксических функциях (в приведенных примерах имеем функции дополнений и подлежащего). Неспособность же турецкой формы на *-mak* принимать аффиксы родительного падежа, принадлежности и множественного числа свидетельствует, возможно, только о том, что она находится в отношении дополнительного распределения с формой на *-ma*, которая эти аффиксы легко присоединяет, и, следовательно, аффиксы *-mak* и *-ma* являются алломорфами одной морфемы. Подтверждением этого является полная взаимозаменяемость этих форм в формах косвенных падежей.[7]

Таким образом, под именами действия следует понимать глагольные именные формы, представляющие действие, мыслимое без временных характеристик и вне связи с субъектом, в качестве предмета.

Следующий ряд образуют глагольные формы, которые обозначают действие, представляемое или понимаемое как признак какого-либо предмета. При этом действие мыслится как сопряженное со своим субъектом. Определяемое при определениях, выраженных этими формами, обозначает субъект действия. Речь идет, следовательно, о глагольных адъективных или атрибутивных формах, имеющих «агентивное значение».[8] Именно такие формы и должны, по-видимому, называться причастными. В их число входят формы на *-(j)an*, *-(A)r* и *-myš*, характерные и для современного турецкого языка: täŋriji *görän* kiši gözlär ačar 'у человека, видящего бога, раскрываются глаза'; *bilür* kišinüŋ düšmanlygy *bilmäz* kišinüŋ döstlygyndan ǰegdür (M) 'враждебность знающего человека лучше, чем дружба невежественного человека'. В случае субстантивации или субстантивного использования (т. е. окказиональной субстантивации) этих форм они обозначают предмет, совершающий действие: ǰaradan (Ч) 'творец', совр. тур. ǰazar 'писатель'; ср. также: *diŋläjanüŋ* gidä göŋli guṣṣasy (ЮЗ) 'у слушающего проходит сердечная тоска'.

В отличие от причастий на *-(j)an* и *-(A)r* причастие на *-myš* представляет в качестве признака не столько само действие, сколько его результат или состояние, наступившее в результате этого действия: äsir *olmyš* kiši sin (P) 'ты — плененный человек'.

На фоне сказанного причастия на *-(j)an* в конструкциях типа bülbül öten yer [9] (совр. тур. яз.) 'место, где поет соловей', в которых определяемое не выражает субъекта действия, выступают как реликтовые, сложившиеся, возможно, до того, как в форме на *-(j)an* развилось агентивное значение.

Из сказанного следует, что причастия — это глагольные именные формы, представляющие действие, сопряженное с субъектом и связанное с каким-либо временным планом, в виде признака предмета.

Третий ряд глагольных функционально-именных форм образуют имена на *-duk*, *-(j)ağak*, *-(j)asy*. Их объединяет то, что они способны представлять действие и как предмет, и как признак предмета. Действие при этом мыслится вне связи с его производителем, но как сопряженное с каким-либо временным планом. Форма на -duk указывает, что действие протекает в плане прошедшего или настоящего времени, формы на *-(j)ağak*, *-(j)asy* относят его к будущему времени. Временная актуализация придает действию более конкретный характер.

При субстантивном использовании эти формы отличаются от имен действия тем, что они не просто называют действие, а сообщают о факте его совершения, который имел, имеет или будет, должен иметь место. Это видно из сравнения следующих трех турецких предложений: müdür gelmenizi söyledi 'директор сказал, чтобы вы пришли'; müdür geldiğinizi söyledi 'директор сказал, что вы пришли (или идете)'; müdür geleceğinizi söyledi 'директор сказал, что вы придете'.

При атрибутивном использовании рассматриваемые формы отличаются от причастий отсутствием агентивного значения и каких-либо указаний на субъектно-объектные связи действия. Эта семантическая особенность, т. е. представление действия, взятого вне его субъектно-объектных связей, как признака, имеет своим следствием ту особенность определительных конструкций с этими формами в роли определений, что конструкция сигнализирует лишь о том, что действие есть признак предмета, называемого определяемым, а каковы реальные взаимоотношения между предметом и действием, из самой конструкции заключить нельзя.[10] Так, словосочетание čykasy jol (КД) означает 'выход, путь, которым можно выйти'; sygynağak jer (КД) — 'место, где можно укрыться'; gäläğäk näsnä (Ч) — 'то, что должно наступить'.

Отметим, что предмет, выражаемый определяемым в таких конструкциях, коль скоро он может быть в любых отношениях с действием, передаваемым глагольной основой, способен быть также субъектом этого действия, как в последнем из приведенных примеров. Возможно, что именно эта особенность определительных конструкций с рассматриваемыми формами способствовала распространению в тюркском языкознании мнения, что они представляют собой причастия. Однако такое использование — лишь одна из многочисленных функциональных возможностей этих форм, обусловливаемых их семантикой. А последняя ставит их в иной ряд — в ряд форм, которые можно было бы именовать субстантивно-адъективными. Такое название отражает как их семантические свойства, так и их синтаксические особенности.

В староанатолийско-тюркском языке продуктивны все три названные субстантивно-адъективные формы глагола.

Форма на *-duk* использовалась, как и ныне в турецком языке, преимущественно с аффиксами принадлежности, т. е. с аффиксами, дополняющими семантику формы информацией о субъекте дей-

ствия, называя лицо субъекта. Употребление ее без аффиксов принадлежности носит явно реликтовый характер, поскольку она выступает в атрибутивной или, совсем редко, в предикативной функциях и всегда с отрицательной формой глагола:[11] iš *görmädük* kišiläri . . . ulaltmak (КД) 'возвеличивать. . . не занимающихся делом людей'; ol xabär kim *gälmädükdür* dillarä [12] 'известие, о котором не заговорили'.

В формах категории принадлежности и склонения форма на -duk может выступать в любой субстантивной (в примере 1 она выступает в роли подлежащего, в примере 2 — в роли косвенного дополнения) и атрибутивной (3) функциях:

1) Dimnajy aŋa *veribidügüm* uz dägüldi (КД) 'то, что я послал Димну к нему, не было разумно';

2) su'al äjläjisärlar *etdügüŋdän* (Ч) 'спросят о том, что ты сделал';

3) bän *kyldugum* išlärdän pišmān oldum (СМД) 'я раскаиваюсь в тех делах, которые я натворил'.

В староанатолийско-тюркском языке очень употребительна форма на -(j)asy, значительно реже встречающаяся в современном турецком языке.[13] Она указывает на то, что действие может или должно произойти в будущем, используется как в атрибутивной (в примере 1), так и в субстантивных функциях, причем эта форма склоняется как существительное с аффиксом принадлежности 3 л., т. е. с согласным -n- перед падежными аффиксами (пример 2). Как в субстантивных (3), так и в атрибутивных (4) функциях указание на субъект действия осуществляется средствами, выражающими принадлежность:

1) šimdi zaxm *jejäsi* vaqtdur (КД) 'наступило время получить рану';

2) bālā nädän *gäläsin* aŋlardy (М) 'он понимал, откуда придет беда';

3) anda nä *olasymuz* bajyk dagül[14] 'чем мы там станем, не ясно';

4) vä kalan *dejäsüm* sözlära xalvät gäräk (КД) 'а остальные слова, которые я скажу, требуют уединения'.

Форма на *-(j)ağak* в староанатолийско-тюркском языке — грамматический синоним формы на *-(j)asy*. Именно эта форма значительно потеснила с веками форму на *-(j)asy*, заняв ее место в современном турецком языке и в качестве субстантивно-адъективного глагольного имени, и в качестве основы будущего времени.

В староанатолийско-тюркском языке употребление этой формы характеризуется тем, что в сфере ее атрибутивного использования реализуется одна из хорошо известных по другим тюркским языкам (напр., по узбекскому [15]) структурных возможностей тюркских языков — указывать на субъект действия путем присоединения аффикса принадлежности к существительному-определяемому:

varağak jerüŋ (Ч) 'место, куда ты поедешь';

varağak jerümüz (М) 'место, куда мы поедем'.

Четкое временное значение форм на -(*j*)*asy* и -(*j*)*ağak* (они обе указывают на то, что действие относится к плану будущего времени) позволяет им, выступая в функции сказуемого, выражать будущее время:

ajruk kušlaruŋ pādyšāhy *olasy dägülsin* (КД) 'ты больше не будешь царем птиц';

kamumuz anuŋ ẓulmy odyndan göjinäsivüz (КД) 'мы все сгорим от огня его жестокости';

bilmäzüz ki här bir kiši nä *edäğäkdür* (М) 'мы не знаем, что сделает каждый в отдельности'.

Такие примеры ярко демонстрируют временную семантику форм. Однако само по себе предикативное использование не может служить классификационным признаком форм, поскольку все они способны выступать в этой функции.

Итак, ряд форм, способных представлять действие, не сопряженное с субъектом, но характеризуемое временем его протекания, как в виде предмета, так и в виде признака предмета, следует отличать как от имен действия, так и от причастий. Эти формы, исходя из их семантико-грамматических свойств, можно было бы называть субстантивно-адъективными.

Четвертый ряд глагольных функционально-именных форм особенно многочислен по своему составу. В него входят обстоятельственные формы глагола, или деепричастия, т. е. такие формы, которые представляют действие, не сопряженное с субъектом, в качестве обстоятельства какого-либо другого действия или события. В староанатолийско-тюркском языке это формы на -(*j*)*up*, -(*j*)*uban*, -(*j*)*ubany*, -(*j*)*ubanun*;[16] -(*j*)*A*; -*madyn*; -(*j*)*yğak*, -(*j*)*yğagaz*; -(*j*)*ynğa*, -(*j*)*ynğak*, -(*j*)*ynğagaz*; -*dukča*; -(*j*)*aly*, и др.[17]

Не имея возможности подробно раскрыть здесь семантику каждой формы, отметим, что деепричастие на -(*j*)*up*, -(*j*)*uban* и т. д. имеет наиболее общее значение, т. е. сигнализирует лишь о том, что действие, передаваемое глаголом в этой форме, есть обстоятельство, не уточняя конкретного отношения этого действия к другому. Остальные формы в разной степени конкретизируют характер действия-обстоятельства: -*madyn*, например, указывает на отсутствие действия, -(*j*)*ynğa* представляет действие как конечный или начальный предел другого действия и т. д. Несколько примеров:

kāfirlär daga *čykamajup* ol dagy kušadup Nästorla qarār kyldylar (СМД) 'неверные, не сумев взобраться на гору, окружив ее, вместе с Нестором стали лагерем';

hämišä *bakuban* säni görürsin (Р) 'всегда глядя, видишь себя';

jetišmädin saŋa va'dä gözüŋ ač (Р)' раскрой глаза, пока не наступил смертный час';

oturuŋ ta bän gerü *gälinğä* (КД) 'сидите, пока я не вернусь'.

По-видимому, именно отсутствие у деепричастий агентивного значения делает возможными абсолютные деепричастные обороты:

Mälik der buny *dolup gözläri jaš* (СМД) 'Мелик говорит это, в то время как его глаза наполняются слезами'.

Таким образом, на основании того, какая семантическая операция — представление действия в качестве предмета, признака предмета или признака-обстоятельства, а также на основании некоторых других семантических признаков — наличие или отсутствие агентивного значения, указание на время протекания действия — глагольные функционально-именные формы в староанатолийско-тюркском и в современном турецком языках объединяются в четыре морфологических ряда: 1) субстантивные формы (имена действия); 2) адъективные формы (причастия); 3) субстантивно-адъективные формы; 4) адвербиальные формы (деепричастия).

Каждый из этих рядов, если под морфологической категорией понимать «ряды словоформ, объединенных категориальной функцией»,[18] должен рассматриваться как глагольная морфологическая категория. Но эти категории тесно связаны между собой. Прежде всего тем, что за каждой из них стоит семантическая операция над д е й с т в и е м, т. е. представление действия в качестве предмета, признака или обстоятельства. Эта семантическая общность позволяет их рассматривать как единый блок категорий, как более общую глагольную категорию. Поскольку эта категория включает в свой состав и м е н н ы е формы глагола (по аналогии с тем, что существительные, прилагательные и наречия, т. е. классы слов, обозначающих предметы, признаки и обстоятельства, считаются именными), ее можно было бы именовать глагольной категорией н о м е н а л и з а ц и и (< nomen) д е й с т в и я.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., например: С о к о л о в С. А. О некоторых отглагольных именах в турецком языке. АДД. М., 1953; И в а н о в С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на *-ган* и ее производные). Л.. 1959; Б а с к а к о в А. Н. О классификации причастий в турецком языке. — ВЯ, 1959, № 6, с. 110—114; К у з н е ц о в П. И. Происхождение прошедшего времени на *-ды* и имен действия в тюркских языках. — В кн.: Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. М., 1960, с. 40—71; Г р у н и н а Э. А. К вопросу о развитии семантики глагольных имен в тюркских языках. — В кн.: Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика институти. Илмий асарлар. 42 том, 1 китоб. Тилшунослик масалалари. Ташкент, 1963, с. 237—253; Н а с и л о в В. М. Глагольные имена в их развитии в тюркских языках. — В кн.: Вопросы тюркской филологии. М., 1966, с. 131—140; Д ж а н а ш и а Н. Н. Глагольные имена в турецком языке. — В кн.: Труды Тбилисского государственного университета, 118. Сер. востоковедения, VI. А. Г. Шанидзе, к 80-летию со дня рождения. Тбилиси, 1967, с. 139—151; Л ю б и м о в К. М. Система причастий в современном турецком языке. — В кн.: Исследования по восточной филологии. К семидесятилетию профессора Г. Д. Санжеева. М., 1974, с. 133—148.

[2] См.: Г р у н и н а Э. А. К вопросу о развитии. . ., с. 237.

[3] Б а с к а к о в Н. А. Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология. Часть I (части речи и словообразование). М., 1952, с. 413—473.

[4] Там же, с. 149—161.

[5] Ср.: Баскаков Н. А. Каракалпакский язык, с. 413—473.

[6] См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 454—470.

[7] См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 458, § 921.

[8] Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 137.

[9] См.: Ciopiński Jan. Remarques sur les constructions syntaxiques du type bülbül öten yer et leur réalisations dans la langue turque. — Folia orientalia, t. X, 1969, p. 59—63.

[10] Попытку исчисления на материале узбекского языка возможных взаимоотношений между предметом, выраженным определяемым, и действием, передаваемым определением, в функции которого выступает аналогичная глагольная форма, см.: С. Н. Иванов, Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 49—51.

[11] Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 439, § 877.

[12] Brockelmann C. Altosmanische Studien I. Die Sprache ʽĀšyqpāšās und Ahmedis. — ZDMG, B. 73, Leipzig, 1919, S. 18.

[13] См.: Михайлов М. С. О форме на -(y)ası в турецком языке. — В кн.: Вопросы языка и литературы стран Востока. М., 1958, с. 141—154.

[14] Brockelmann, S. 17.

[15] Ср.: Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 51—54.

[16] См.: Хаджиолова К. А. Глагольная форма на -р° в турецких литературных памятниках XIII—XVI веков. — СТ, 1972, № 6, с. 83—90.

[17] Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 474—487.

[18] Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 27.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

КД — Kälilä vä Dimna («Калила и Димна»). Изд.: Zajączkowski A. Studja nad językiem staroosmańskim I. Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu Kalili i Dimny. Kraków, 1934.

М — Marzubānnāmä («Книга Марзбана»). Изд.: Korkmaz Zeynep. Şadru'd-din Şeyhoğlu. Marzubān-nāme tercümesi. Inceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım. Ankara, 1973.

СВ — тюркские стихи Султана Веледа. Изд.: Mansuroğlu M. Sultan Veled'in Türkçe manzumeleri, Istanbul, 1958.

СМД — Qyşşa-i Mälik Danišmänd («Сказание о Мелике Данышменде»). Список датирован 1622 г. и представляет язык XIII—XIV вв. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Шифр: Дорн, № 578.

Р — Risālat al-Nuşḥijja («Книга советов»). Изд.: Gölpınarlı A., Yunus Emre. Risâlat al-Nushiyya ve Divân. Onsöz-Lûgat-Açılama. Istanbul, 1965.

Ч — Çarxnāmä («Поэма о превратностях судьбы»). Изд.: Mansuroğlu M., Ahmed Fakih. Çarhname. Yayımlayan ve işleyen Mecdut Mansuroğlu. Istanbul, 1956.

ЮЗ — Jūsuf ū Zulaixa («Юсуф и Зулейха»). Изд.: Dilçin D., Hamza Şeyyad. Yusuf ve Zeliha. Nakl eden: Dehri Dilçin. Istanbul, 1946.

А. Дилячар

ЗАМЕТКИ О СИНТАКСИСЕ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Н. Хомский в своей работе «Синтаксические структуры» обсуждает вопрос о независимости грамматики, пытаясь утвердить это в качестве основного принципа. «Всякая грамматика, — говорит он, — соотносится со всей совокупностью предложений языка, который она описывает способом, заранее предусмотренным лингвистической теорией для всех грамматик».[1] Данное определение позволяет провести наши наблюдения путем сравнения, не пытаясь обсуждать в этом вопросе внутреннюю структурную ценность языка. Шекспиру, как романтическому поэту, нравились сравнения, и в «Много шума из ничего», превознося наблюдения над сходством и различием, он сказал: «Сравнение благоуханно». Вскоре другой поэт, более сдержанный — Джон Донн в своих «Элегиях» предпочел этому высказыванию другое: «Сравнения отвратительны». Благоуханны ли сравнения, или отвратительны, но они неизбежны, поскольку большая часть наших знаний основана на них. Правильное сравнение не обязательно должно означать вычисление внутренней ценности или оценку практического достоинства. Это — простое исследование различий и сходств без субъективной оценки. Мне понадобилось это краткое введение, поскольку я собираюсь иметь дело с несколькими языками с различной «рыночной стоимостью» в отношении синтаксической структуры.

История английского, французского, русского и немецкого языков как современных мировых языков хорошо известна, так как они являются детьми единого праязыка, чья история была детально, шаг за шагом восстановлена с доисторических времен до настоящего времени. Турецкий же язык в этом отношении находится в менее выгодном положении, так как его происхождение затерялось во мгле доисторического времени. О. Соважо в своей работе «Исследование словаря урало-алтайских языков» заметил: «Время и эволюция, подвергшие эрозии поверхность Северной Сибири, так же стерли своеобразие отдельных алтайских языков, уподобив их друг другу. Этот процесс шел своим путем и завершился значительно раньше, чем сформировались все про-

чие известные явления».[2] Судя по таким морфологическим и семантическим связям, как турецкие kas-mak, kıs-mak, kes-mek, которые объединены вокруг семантического ядра 'ограничивать, сокращать, урезать', можно предположить, что в эволюции тюркских языков существовал вид фоно-семантической модуляции коренной гласной, нечто вроде индоевропейского чередования гласных или, скорее, качественного чередования гласных (ср., например: греч. legō 'я говорю' и logos 'слово'; лат. tego 'я покрываю' и toga 'мантия'; англ. sing и song; дцсл. teką 'я бегу' и tokŭ 'поток').

В лингвистической классификации, исходящей из внешнего типа языка, термин «агглютинативный» применительно к тюркским языкам совершенно непригоден. Типичный пример, на который столь часто ссылаются, sev-iş-tir-il-e-me-mek показывает морфологию и последовательность инфиксов-суффиксов, но не имеет никакого отношения к синтаксису. Тюркский синтаксис может быть охарактеризован, по-видимому, как комплексивный в отличие от синтаксиса индоевропейских языков, который является линейным.

Эта «комплексивность» тюркского синтаксиса обусловлена отсутствием связующих элементов, которые в языках, обладающих ими, напоминают звенья цепи, связывая несколько фраз или части предложения в линейном порядке, в то время как тюркское предложение представляет собой общую «груду». В качестве примера возьмем английское предложение I went to Istanbul. Оно органически завершено, но если к нему добавить другую фразу, то получится предложение I went to Istanbul + to meet my friend, которое также органически завершено. Таким образом, добавляя последующие звенья, получаем: I went to Istanbul + to meet my friend + who had just arrived from Glasgow + where he had gone to study shipbuilding + for four years + at the University + on the recommendation of our teacher и т. д. Главная часть I went to Istanbul — первое и основное звено в цепи. Турецкий перевод будет выглядеть иначе, начинаясь с эквивалента к словам our teacher и заканчиваясь эквивалентом к I went: Hocamızın tavsiyesiyle üniversitede dört yıl gemi inşaati ögrenmek üzere Glasgow'ya giden ve son günlerde yurda dönen arkadaşımı görmek üzere Istanbula gittim. В английском языке все второстепенные предложения и его части следуют за основной частью, т. е. подлежащим-сказуемым, тогда как в турецком второстепенные предложения и части предшествуют основной части, а основной глагол образует заключительную часть.

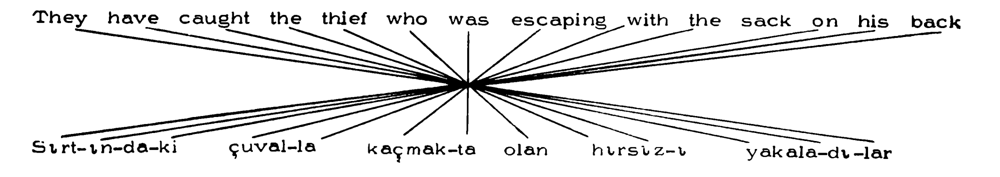
Эти языки — английский и турецкий, представляют собой два типа языка, каждый из которых характеризуется своим «семантическим складом». Один язык считает: «Важно, чтобы глагол был впереди, а затем детали», другой отвергает это: «Сначала объяснения, которые описывают обстоятельства действия, а затем важная и заключительная часть — глагол».

Турецкий язык не имеет ни относительных местоимений, ни относительных наречий (наречий, которые вводят подчиненные предложения и служат в качестве и наречия, и союза). В нем нет даже точного эквивалента английскому союзу and (лишь в некоторых диалектах birle, bile, ile = 'with' означает также and). Место союзных слов замещают здесь разнообразные деепричастия (Konverba). Союз ki (=which, who, that) — персидское заимствование. Ср., например: Biliyordum ki yapmayacak и Yapmayacağını biliyordum 'Я знал, что он не сделает этого'; некоторые деепричастия играют также роль союза and — gidip geldi = he went and returned. В турецком языке нет четкого различия между тем, что во французском называется mot variable и mot invariable, например, турецкие послелоги могут склоняться подобно именам существительным и местоимениям: kapımin önündedır=it is in front of the door.

Два брата, принадлежавшие к турецкой аристократии и обучавшиеся во Франции, пытались смоделировать турецкий синтаксис по французскому образцу: Sizden dilemekle şerefleniyorum ki bana çabuk bildiresiniz, aldınız mı paketi ki gönderdim adresinize geçen hafta 'Имею честь просить Вас сообщить мне по возвращении, получили ли Вы посылку, которую я отправил в Ваш адрес на прошлой неделе'.[3] Ясно, что эта смелая попытка потерпела полную неудачу.

В турецком и английском языках очень часто составные части предложения находятся в обратном порядке; ср. тур. Sırtındaki çuvalla kaçmakta olan hırsızı yakaladılar; англ. They arrested the thief who was escaping with the sack on his back.

Приведем сравнительную диаграмму:



Турецкий синтаксис имеет другую важную особенность — слово, предшествующее глаголу, несет основное значение и семантическую выразительность. Например:

1) Yarın ben annemle birlikte uçakla Londraya gideceğim; здесь представлен обычный порядок слов: 'Завтра вместе со своей матерью я полечу самолетом в Лондон' (подчеркивается: именно в Лондон, а не в какое-либо другое место).

2) Yarın ben annemle birlikte, Londraya uçakla gideceğim (подчеркивается: не каким-то другим способом, а именно самолетом).

3) Yarın ben uçakla Londraya annemle birlikte gideceğim (подчеркивается: именно с моей матерью).

4) Yarın uçakla Londraya annemle birlikte ben gideceğim (подчеркивается: именно я, а не кто-нибудь другой).

5) Ben, annemle birlikte uçakla Londraya yarın gideceğim (подчеркивается: именно завтра).

Эти примеры на фоне других языков показывают относительную гибкость и яркую выразительность турецкого синтаксиса. Один из индоевропейских языков — немецкий имеет более сложный синтаксис, чем турецкий. Этому языку свойственны глаголы с отделяемыми приставками: machen Sie die Tür zu (ср. еще англ. give up и нем. aufgeben; англ. give in и нем. nachgeben), а также предложения со «вставными» предложениями или оборотами (Schachtelsatz). Сравним порядок слов в предложениях на четырех языках:

1) англ.: The boy lying on the grass which is withered under the sun.

2) франц.: L'enfant qui s'est couché sur l'herbe desséchée sous le soleil.

3) тур.: Güneşten kurumuş olan cayırın üstünde yatan çocuk.

4) нем.: Der in dem von der Sonne gedörrten Grase liegende Knabe.

В расчлененном виде получаем:

англ.: The boy

The lying boy
The boy lying on the grass
The boy lying on the withered grass
The boy lying on the grass which is withered under the sun.

франц.: L'enfant

L'enfant qui s'est couché
L'enfant qui s'est couché sur l'herbe
L'enfant qui s'est couché sur l'herbe desséchée.
L'enfant qui s'est couché sur l'herbe desséchée sous le soleil.

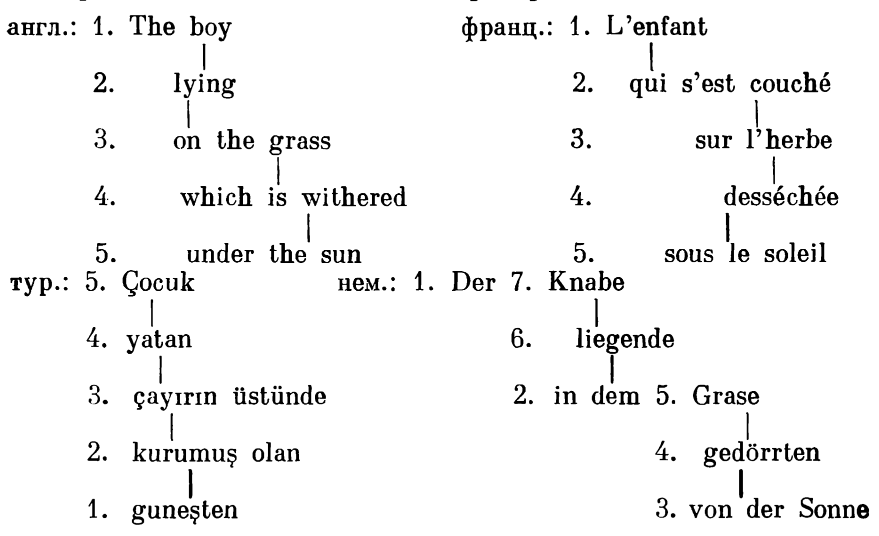
тур.: Çocuk

Yatan çocuk
Cayırın üstünde yatan çocuk
Kurumuş çayırın üstünde yatan çocuk.
Güneşten kurumuş olan çayırın üstünde yatan çocuk.

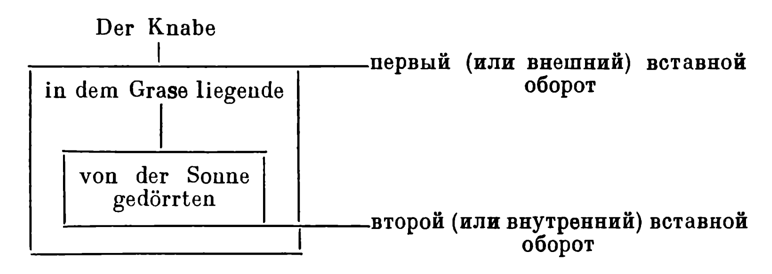
нем.: Der Knabe

Der liegende Knabe
Der in dem Grase liegende Knabe
Der in dem gedörrten Grase liegende Knabe.
Der in dem von der Sonne gedörrten Grase liegende Knabe.

Вот грамматические связи в этих примерах:



Для большей наглядности диаграмма немецкого предложения может быть представлена в следующем виде:



С другой стороны, в турецком предложении обороты, определяющие подлежащее (çocuk), одинаково последовательны: 1) Yatan çocuk = the boy lying; 2) Çayırın üstünde yatan çocuk = the boy lying on the grass; 3) Güneşten kurumuş olan çayırın üstünde yatan çocuk = the boy lying on the grass which is withered under the sun. Сравнивая с английским и французским порядком слов, мы видим, что турецкие фразы нумеруются последовательно в обратном порядке: 5, 4, 3, 2, 1, тогда как в немецкой диаграмме порядок цифр не последователен: 1, 7, 6, 2, 5, 4, 3.

* * *

Теперь обратимся к грамматической функции и ее большой значимости. Происхождение большого разнообразия функций может быть объяснено в нескольких словах. Первым изречением доисторического человека (монолог или сообщение), в котором

был смысл, была голофраза, нечто, не поддающееся анализу в отношении определенных связей фонем, морфем и семем. Со временем, еще в дограмматическую эпоху, эти компоненты развились из голофрастического ядра и образовали поддающиеся анализу предложения. Последние несли в себе дискретные, грамматически самостоятельные речевые единицы, изменяющиеся в меньшие единицы речи, формы и значения. В начальной стадии формы имели ограниченную сферу значений, но постепенно дополнительные значения начали обрастать вокруг основного ядра, что часто приводило к разрушению семантического поля формы, а также к разрыву связей между знаками и тем, к чему они относились. Так как истоки языка — в психологии, то это объясняет безграничность функций и, наоборот, ограниченность формы. Отсюда большая значимость функции в грамматическом анализе.

Современные лингвисты, прокладывающие путь к утверждению функционального взгляда на язык, должны считать своим предвестником Адольфа Нурена из Швеции.[4] Затем вышла работа Отто Есперсена в 1924 г.[5] и в наши дни книга А. Мартинэ.[6] Необходимо упомянуть также работу Г. Гугенхейма.[7]

Поскольку объем данной статьи ограничен, то из всей структуры турецкого языка я выбрал для краткого рассмотрения только категории падежа и наклонения. Грамматисты обычно считают, что понятие падежа определяется через склонение, в котором действуют падежные окончания. В этом смысле — это морфологическая категория (ср. Klisis, ptosis; declinatio, casus; Beugung, Fall, склонение, падеж). Но более широкое функциональное понятие падежа иное. Возникает вопрос, какая существует разница с функциональной и семантической точек зрения между англ. to the door и тур. kapıya. Оба — направительные; первый — аналитический с предлогом (в данном случае называемый «косвенный объектный» или «предложный дательный»); второй — синтетический с падежным окончанием (франц. desinence casuelle, в данном примере называемый дательным); семема та же самая. Нурен в своей книге упоминает об использовании двух различных терминов в связи с этой семемой: падеж (Case, Kasus, тур. hal) и статус (State, Status, тур. durum); первое относится исключительно к морфологическому образованию «имя существительное + падежное окончание», второе — к позиции в предложении с семантической точки зрения. Нурен перечислил всего 175 статусов (States), а также установил, что финское склонение имеет 16 падежей, а грузинское — 23.[8]

В старо- и среднетурецком языке было 9 падежей, не считая именительного: винительный, родительный, дательный, местный, исходный, инструментальный, направительный, сравнительный и приватив (отрицательный). В системе склонения современного турецкого языка нет инструментального падежа, но это не значит, что грамматика не нуждается в нем и лишена инструментальной функции. Понятие и функция инструментальности существуют

в тур. яз. в форме статуса, т. е. «имя существительное + послелог», например: kalem ile > kalemle (kalem + энклитический -le). В тур. склонении ударение падает на падежное окончание, но в данном случае оно падает на последний слог основного слова, а не на окончание -le (kalémle). Здесь мы должны различать также инструментальное -ile и совместное -ile (напр.: annemle 'с моей матерью'), которое является другим статусом. С функциональной точки зрения более сложным является окончание исходного падежа -dan/-den, которое загружено примерно 30 функциями.[9]

Богатая терминология Нурена может и, я полагаю, должна быть использована для описания большинства таких функций, напр., köye bu yoldan gidilir, где основное значение -dan не исходное, а пролативное, т. е. не 'уходить', а, наоборот 'не покидать, идти, следовать по дороге'. В тур. яз. такие термины, как çıkma hali, ayrılma hali, uzaklaşma hali, kopma hali, видимо, с функциональной точки зрения используются неправильно для исходного падежа. Следующий пример в достаточной мере подтверждает это. Ön kapıdan girdi binanın yan kapısından çıktı 'он вошел через парадную дверь, а вышел из дома через боковую'. Здесь невозможно использовать термин çıkma hali для обоих kapıdan, поскольку глаголы girmek и çıkmak являются антонимами. Термин -dan/-den hali должен оставаться также полисемантичным символом, для которого различные функции должны быть перечислены и показаны наглядно.

Теперь последний пункт моих заметок — о наклонении. Для обозначения этого понятия в европейских языках обычно используется слово, происходящее от латинского корня modus, эквивалента греческого diathesis, означающее 'манера, особая форма, стиль'. Но английское слово mood отличается от них и не происходит от латинского корня. Это — германское слово, переводимое как 'сознательное, душевное состояние', 'склонность', 'настроение'. И данное значение хорошо отражает сущность наклонения в грамматике. Так, в действительности число грамматических наклонений почти безгранично, их столько, сколько человек имеет или может иметь склонностей разума и души. Оно не может быть ограничено тем весьма незначительным количеством, которое грамматисты перечисляют по пальцам: изъявительное, повелительное, условное, сослагательное, предположительное, желательное, запретительное и некоторые другие, основанные на морфологии и модальных аффиксах. О. Есперсен в своей книге пишет: «Если покинуть спасительную область глагольных форм, то в языке можно обнаружить множество наклонений»,[10] и перечисляет 20 смысловых наклонений, разделенных им на две группы: 1) содержащие элементы желания и 2) не содержащие элементы желания.

В своей статье я привел список из 61 наклонения турецкого глагола, одни из которых основаны на элементах модальности, другие — чисто смысловые и не зависят от словообразовательных инфиксов и суффиксов.[11] Турецкий глагол по количественным

показателям и тонкостям различия может соперничать с шумерским глаголом.[12] Сравним некоторые английские примеры из книги Есперсена с моими, приведенными в вышеупомянутой статье.

Есперсена: понудительное: he has to go; долженствования: he ought to go; совета: you should go; просительное: please go; пригласительное: let us go; разрешительное (пермиссивное): you may go if you like; обещательное: I will go.

Мои: изъявительное: gider, gidiyor, gitti, gidecek; категорическое: gitmiştir, gidiyordur; эмфатическое: gitti mi gitti; предположительное: kalkar giderim, görür gelirim; просительное: ah, Allahım şu adam buradan gitse; благословительное: üniversiteye gidesin, buyük adam olasın; угрожающее: hele gitsin kılığını görür; протестующее: gittin he, seni gidi; увещевательное: git, git, iyi olur; предостережительное: sakın gitme, iyi olmaz; обманчивое: meğer gitmiş; разрешающее (пермиссивное): evet gidebilirsin, iznin geldi; волюнтативное: ister gitsin, ister gitmesin; дозволительное: canım, varsın gitsin, ne olur; предположительно-необходимое: gide imiş; условно-необходимое: gitmeli ise; нереально-условное: gitseydi onu görürdü; нереально-предположительное: ah, keşke gitseydi; предположительно-желательное: gide imiş; предположительно-повелительное: gitsinmiş, и т. д. Это лишь 20 турецких глагольных наклонений из бесчисленных склонностей (настроений) человеческой души!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Chomsky N. Syntactic structures. s'-Gravenhage, 1957; рус. пер. см.: Хомский Н. Синтаксические структуры. — В кн.: Новое в лингвистике, II. М., 1962, с. 417.

[2] Sauvageot A. Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaïques. Paris, 1929.

[3] «Revue International de l'Enseignement», January 15, 1935, Paris; а также: «Yücel», N 46, December, 1938, Ankara.

[4] Noreen A. 1) Vårt Språk, I—IX. Lund, 1903—1925; 2) Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Halle, 1924.

[5] Jespersen O. Philosophy of grammar. London. 1924; рус. пер. см.: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

[6] Martinet A. 1) Functional view of language, Oxford, 1962; 2) Language et Fonction. Paris, 1969.

[7] Gougenheim G. Morphologie et fonctions grammaticales. — Journal de Psychologie, Paris, 1959, p. 417—425.

[8] Noreen A. Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. S. 329—366.

[9] Dilâçar A. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi. — TDAY, 1971, s. 83—145. Ср.: в турецкой грамматике, написанной А. Н. Кононовым в 1956 г., выделено 12 основных функций исходного падежа в нескольких подразделах, а в грамматике Г. Льюиса (1967) — 7 основных функций с подразделами.

[10] Jespersen O. Philosophy of grammar, p. 319—320.

[11] Dilâçar A. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi. S. 107—109.

[12] Deimel A. Das Šumerische Verbum. Rome, 1935.

Перевод с английского А. Г. Сазыкина

М. З. Закиев

КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ТЮРКОЛОГОВ И ГРАММАТИКИ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

(КОНЕЦ XIX И НАЧАЛО XX В.)

В своем капитальном труде по истории изучения тюркских языков А. Н. Кононов справедливо отмечает, что «научное востоковедение в России — и в том числе тюркология — за два с лишним века своего существования проделало большой и трудный путь, придя к Великой Октябрьской социалистической революции с общепризнанными достижениями, которые стали надежной основой для успешного развития отечественного востоковедения в послеоктябрьскую эпоху».[1] В этих достижениях определенная заслуга принадлежит и казанской школе тюркологов, представители [2] которой в течение XIX в. создали прекрасные труды по старотюркскому литературному языку и по нескольким живым тюркским языкам, в первую очередь по казанско-татарскому. Надо заметить, что утверждение А. Е. Крымского об уменьшении количества и ухудшении качества пособий по казанско-татарскому языку во второй половине XIX в.[3] не соответствует действительности. В первой половине века почти все труды основывались на анализе старотатарского, старотурецкого и старочагатайского литературных языков, которые мало чем отличались друг от друга. Некоторое исключение составляет «Татарская грамматика» М. Иванова.[4]

Только во второй половине XIX в. в связи с началом формирования татарской нации появляются первые печатные труды по казанско-татарскому языку, в которых получили дальнейшее развитие грамматические концепции первой половины века. В качестве доказательства достаточно вспомнить труды М. Махмудова,[5] К. Насырова,[6] С. Кукляшева,[7] А. Вагапова [8] (его самоучитель для русских по-татарски, для татар по-русски с 1850 по 1911 г. выдержал 18 изданий), Ш. Ахмерова,[9] Н. Ильминского,[10] Н. Катанова.[11]

При внимательном изучении нетрудно установить, что работы названных авторов — не элементарные грамматики, а основательные труды своего времени, в которых раскрываются основные грамматические закономерности татарского языка. Такую же

оценку этим трудам давали и современники. Так, например, проф. И. Н. Березин в своей рецензии на «Руководство. . .» М. Махмудова отзывается о ней следующим образом: «Те, которые будут иметь надобность познакомиться с этим специальным сочинением, будут приятно изумлены, найдя в нем не только практическое руководство, но и превосходное изложение теории татарского языка или, точнее, наречия, употребляемого в Казанской и в смежных с нею губерниях. Автору, при глубоком и основательном знании своего родного наречия, не чуждо знакомство с успехами новейшей филологии».[12]

Вторая половина XIX в. характеризуется еще и тем, что в научном изучении татарского языка принимают активное участие сами татары, появляются первые грамматики на татарском языке. Авторы этих пособий воспитывались под непосредственным влиянием казанской школы тюркологов, которая формировалась и существовала в 30—50-х гг. в Казани с центром на восточном разряде Казанского университета, и внесли определенный вклад в развитие тюркского языкознания.

В этой статье мы не останавливаемся на анализе пособий на русском языке, содержание их нашло освещение в различных трудах. Наша цель — дать краткую характеристику грамматик, написанных на татарском языке.

Первая грамматика на татарском языке вышла в свет из типографии Казанского университета в 1887 г. Автор — Габдулгаллям Фейзханов — отмечает, что в языке каждого культурного народа различаются морфология и синтаксис, которые служат правильному устному и письменному применению родного языка. Наши муллы и шакирды, по 10—15 лет обучавшиеся в медресе по «бухарскому методу», неправильно преподают татарский язык. Учитывая это обстоятельство, он составил первые морфологию и синтаксис на казанско-татарском языке.[13]

Из печати вышла лишь морфология; синтаксис, видимо, не напечатан, и рукопись не найдена, хотя сам автор обещал читателям опубликовать его в ближайшее время.

Г. Фейзханов четко определяет звуки и буквы, насчитывая 32 буквы. Все слова в языке, по его мнению, делятся на группы имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов и вспомогательных слов. Все категории этих частей речи заимствованы из русских грамматик того времени, оригинальными являются лишь разряды глаголов. К вспомогательным словам относит он союзы, послелоги, частицы и междометия. В настоящее время это пособие имеет лишь историческое значение как первая попытка как-то систематизировать родной язык казанских татар.

Вторая грамматика на татарском языке составлена К. Насыровым (см. прим.[6]) и является результатом более чем тридцатилетней работы автора в качестве преподавателя родного и русского

языков и составителя татарских и русских грамматик для учащихся.

Основные грамматические концепции К. Насырова формировались еще в 50-х гг. под влиянием казанской школы тюркологов, о чем можно судить по уже упоминавшейся «Краткой татарской грамматике, изложенной в примерах» на русском языке. Грамматика же 1895 г. является дополненным и значительно переработанным вариантом последней. Вместе с тем в ней чувствуется более сильное влияние системы арабских грамматик: в грамматической терминологии наряду с новообразованиями, которые затем вошли в национальный литературный язык, употребляется много арабских слов. «Энмүзәҗ» К. Насырова — первая грамматика, составленная на высоком уровне, многие ее разделы и сегодня имеют практическое и научное значение.

В самом начале XX в. появляется несколько руководств по морфологии и синтаксису татарского языка, которые составлены под влиянием арабской грамматической системы и являются продолжением традиции К. Насырова. К ним относятся работы Г. Тауфика, Г. Начиза, М. Умидбаева, А. Сиразетдина, А. Мухаммедрахима, А. Мустафы, Х. Макка [14] и др. Эти пособия носили узко практический характер и сейчас имеют лишь историческое значение.

Позднее под влиянием первой русской революции 1905 г. развитие общественной мысли и среди татар приобретает широкий размах. В связи с этим появляется масса трудов по самым различным проблемам татарского литературного языка, в том числе и грамматики-пособия на татарском языке. Среди них заслуживают внимания пособия, в которых определены существенные особенности грамматического строя татарского языка. Первым следует назвать объемистое пособие Ш. Иманаева «Синтаксис и морфология татарского языка»,[15] составленное по образцу русских и французских грамматик того времени. Здесь вырисовывается система частей речи и их основных категорий. Впервые вводится понятие об односоставных предложениях, исчерпывающе характеризуются средства передачи определенности и неопределенности, правильно решается основной вопрос о прямом и обратном порядках слов и т. д.

В 1910 г. Ахмедхади Максудов выпускает отдельными книгами тюркские морфологию и синтаксис.[16] При составлении обоих руководств автор творчески использовал некоторые положения арабских, персидских, французских и русских грамматик, поэтому многие вопросы грамматического строя татарского языка трактуются им на уровне того времени.

«Төрлек» («Грамматика») Г. Нугайбека,[17] впоследствии известного языковеда, отличается тем, что автор, во-первых, пытается найти в татарском языке все основные категории, отмеченные в русских школьных грамматиках того времени; во-вторых, стре-

мится ввести в обиход татарскую лингвистическую терминологию вместо заимствованной.

Этапными в развитии грамматических взглядов татарских лингвистов являются «Морфология» и «Синтаксис» Г. Ибрагимова,[18] вышедшие первым изданием в 1911 г. При составлении этих пособий автор, творчески используя теоретические положения русского языкознания, обобщил положительные традиции русской тюркологии в области создания пособий по грамматике. Прочные основы школьных учебников и татарской грамматической терминологии были заложены именно в этих трудах Г. Ибрагимова.

В пособии по морфологии после краткого описания звуков и букв автор переходит к объяснению темы «Слово и значение». Из частей речи он подробно останавливается на именах существительных, прилагательных, числительных, местоимениях, частицах, вспомогательных словах, междометиях. Наречия в его системе отсутствуют. Особенно подробно изучены глаголы. Заслуживает внимания выделение в особый раздел парных слов (слов-спутников, *юлдаш сүзләр*), которые, по мнению Г. Ибрагимова, могут представлять все части речи типа: *ут-күз* 'огонь', *кеше-кара* 'человек', *хатын-кыз* 'женщина', *аллы-гөлле* 'разноцветный', *ул-бу* 'это', *андый-мондый* 'такой', *ялт-йолт* 'сверкать' и т. д.

В синтаксисе Г. Ибрагимов рассматривает простое предложение и его разновидности, члены предложения, сложные предложения, пунктуацию и интонацию, период. Сложные предложения, по мнению автора, делятся на сложносочиненные, сложноподчиненные и сложновторостепенные. В составе сложноподчиненного предложения имеются главное и придаточное (в современном понимании — аналитическое придаточное), а в составе сложновторостепенных — главное и второстепенное (по-нашему, — синтетическое придаточное) предложения. Второстепенные предложения, — признает он, — это те же второстепенные члены, выраженные не словами, как обычно, а предложениями.

Морфология и синтаксис татарского языка Г. Ибрагимова приобрели такую популярность, что до Октябрьской революции переиздавались несколько раз. Сразу же после революции на их основе коллективом авторов во главе с Г. Ибрагимовым был составлен обстоятельный школьный учебник в трех частях.

Авторы всех других школьных пособий, вышедших до революции, в той или иной степени повторяли положения Г. Ибрагимова, внося лишь некоторые уточнения в объяснение грамматических явлений татарского языка.[19]

Таким образом, разработка грамматики татарского языка в конце XIX и в начале XX в. является детищем русской тюркологии, развитием соответствующего учения казанской школы тюркологов. Вобрав в себя основные достижения последней, они обогатили их конкретными примерами из татарского националь-

ного языка, внесли достойный вклад в разработку многих грамматических положений тюркологии. В начале XX в. авторы татарских грамматик впервые среди тюркологов начали творческое использование достижений грамматического учения передовых русских лингвистов.

Особо следует отметить этапные работы К. Насырова и Г. Ибрагимова, которые являлись не только пособиями для изучения родного языка, но и научными изданиями по грамматике, фонетике и орфографии, на них воспитывалось несколько поколений учителей и ученых-грамматистов.

Имея большую традицию и вышеописанные достоинства, татарские грамматики конца XIX и начала XX в., говоря словами А. Н. Кононова, стали надежной основой для успешного развития исследований грамматической структуры татарского языка в послеоктябрьскую эпоху.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Л., 1972, с. 256.

[2] О составе и о характере деятельности казанской школы тюркологов см.: Закиев М. З. Влияние Казанского университета на развитие тюркологии в первой половине XIX века (до 1855). — В сб.: Вопросы татарского языкознания. Казань, 1965, с. 357—393.

[3] Кримьский А. Е. Тюрки, iх мови та литератури, I. Тюркские мови, вып. II. Киiв, 1930, с. 168—172.

[4] Иванов М. Татарская грамматика. Казань, 1842.

[5] Махмудов М. Практическое руководство к изучению татарского языка. Казань, 1857.

[6] Насыров К. 1) Краткая татарская грамматика, изложенная в примерах. Казань, 1860; 2) «Энмүзәҗ». Казань, 1894; 3) Полный русско-татарский словарь. Казань, 1892.

[7] Куклящев С. 1) Татарская хрестоматия. Казань, 1859; 2) Словарь к татарской хрестоматии. Казань, 1859.

[8] Вагапов А. А. Самоучитель для русских по-татарски и для татар по-русски. Казань, 1846.

[9] Ахмеров Ш. Синтаксический разбор глагола в казанско-татарском наречии. Казань, 1895.

[10] Ильминский Н. И. Учащательная форма татарского глагола. — Уч. зап. Казанского ун-та, 1863, вып. 1.

[11] Катанов Н. Ф. Материалы к изучению казанско-татарского наречия. Казань, 1898.

[12] ЖМНП, ч. 47, 1858, отд. VI, с. 56.

[13] Фейзханов Габдулгаллям. Татар тәлигә кыскача гыйлем сарыф (Краткая морфология татарского языка). Казань, 1887.

[14] Тауфик Г. Сарыф төрки (Тюркская морфология). Казань, 1900; Начиз Г. Сарыф төрки (Тюркская морфология). Казань, 1900; Умидбаев М. Татар нәхүсенең мөхтәсәре (Краткий татарский синтаксис). Уфа, 1901; Сиразетдин А. Төрки тел (Тюркский язык).Казань, 1902; Мухаммедрахим А. Төрки сарыфы (Тюркская морфология). Казань, 1905; Мустафа А. Төрки сарыф (Тюркская морфология). Казань, 1905; Макка Х. Мохтасар яңа сарыф төрки (Краткая новая тюркская морфология). Казань, 1907.

[15] Иманаев Ш. Татар теленең нәхүе һәм сарыфы (Синтаксис и морфология татарского языка). Казань, 1910.

[16] Максудов Ахмедхади. 1) Төрки сарыфы (Тюркская морфология). Казань, 1910; 2) Төрки нәхүе (Тюркский синтаксис).

[17] Нугайбек Г. Төрлек (Грамматика). Казань, 1911.

[18] Ибрагимов Г. 1) Татар сарыфы (Татарская морфология). Казань, 1911; 2) Татар нәхүе (Татарский синтаксис). Казань, 1911.

[19] Кабутари Х. Кыскача татарга сарыф (Краткая татарская морфология). Казань, 1913; Сагъди Г. 1) Яңа һәм җиңел тәртиптә телебезнең сарыфы (Морфология нашего языка, изложенная по-новому и легким путем). Казань, 1913; 2) Яңа һәм җиңел тәртиптә телебезнең нәхүе (Синтаксис нашего языка, изложенный по-новому и легким путем). Казань, 1914; 3) Уз телемезчә мөкәммәл сарыф, нәхү (Дополненные морфология и синтаксис нашего языка). Казань, 1915; Валиди Дж. Татар теле имла һәм сарыф вә нәхү кагыйдәләре (Правила орфографии, морфологии и синтаксиса татарского языка). Казань, 1915, и др.

С. Н. Иванов

К ОБЪЯСНЕНИЮ СИСТЕМЫ ВРЕМЕН ТУРЕЦКОГО ИНДИКАТИВА

Разветвленная система временных форм глагола в тюркских языках неизменно привлекает к себе внимание тюркологов.[1] Значительный вклад в изучение названных форм внесен А. Н. Кононовым, перу которого, помимо детального описания форм времени в турецком и узбекском языках,[2] принадлежат и специальные исследования по данному вопросу.[3]

Так как совокупность значений временных форм в тюркских языках, в частности и в турецком языке, может считаться установленной в основных своих чертах, задача современного изучения тюркских глагольных времен состоит в том, чтобы уяснить систему времен, т. е. те многообразные отношения, которыми связаны все формы времени между собой — каждая со всеми остальными.

В настоящей статье предпринята попытка разъяснения некоторых особенностей системы времен турецкого индикатива на основе методологических установок, сформулированных автором применительно к другой категории, характеризующейся также многочленным противопоставлением форм, — категории падежа.[4] Названные методологические принципы базируются на учении диалектической логики о соотношении общего и единичного.

Анализ категории падежа показал, что многочленное противоположение форм в ней реализуется в виде подразделения всего ряда форм на два «малых» ряда. При этом каждая падежная форма проявляет двойственность значений, проистекающую из двоякой оппозиции каждой формы — с одной стороны, формам «своего», «малого» ряда и, с другой стороны, формам другого «малого» ряда в рамках категории в целом. Иначе говоря, каждой падежной форме с неизбежностью свойственно вхождение в два ряда противопоставлений. Ниже формулируется аналогичный взгляд и на противоположение форм в категории времени в развитие тех положений, которые в предварительном виде и применительно к староузбекскому языку уже были высказаны автором настоящей статьи.[5]

В сфере категории времени в турецком индикативе отчетливо противопоставлены два ряда форм со следующими формальными показателями:

-acak	-acaktı
-ar	-ardı
-mak üzere	-mak üzereydi
-yor	-yordu
-makta	-maktaydı
-mış	-mıştı
-dı	-dıydı

Из этого сопоставления могут быть выведены следующие заключения.

а) Два указанных ряда отражают собой противопоставление двух фонов времени, двух временных планов — временного фона момента речи с нулевым показателем фона (левый ряд форм) и временного фона, отнесенного в прошлое, с формальным показателем -dı с вариантами (правый ряд форм);

б) противопоставление двух временных фонов в сфере времен глагола имеет соответствие в аналогичном противоположении двух значений времени у именного сказуемого (ср.: işçiyim 'я рабочий', işçiydim 'я был рабочим') с частичным отклонением в образовании форм 3 л. обоих чисел именного сказуемого в настоящем времени (аффикс -dır);

в) если отвлечься от сравнительно поздних образований с показателями -mak üzere и -makta и «вычесть» их из обоих рядов, противопоставление форм двух рядов будет выглядеть (а исторически так оно и было) как четкая оппозиция простых (фон момента речи) и сложных (фон прошлого) форм времени;

г) в ряду простых временных форм фона момента речи -acak, -ar, -yor, -mış, -dı отчетливо видна постепенная градация временных значений: будущее, настояще-будущее, настоящее, прошедшее-настоящее, прошедшее, причем в этой градации между формами, выражающими действие как процесс, связываемый с тремя простейшими («естественными») временными представлениями — будущим -acak, настоящим -yor и прошедшим -dı, располагаются промежуточные звенья с ярко выступающими качественными значениями -mış и -ar (подробнее об этом — ниже);

д) более поздние звенья этой градации -mak üzere и -makta также входят в цепь временных значений, смыкающихся друг с другом, и располагаются симметрично по обе стороны от формы с показателем -yor (см. левый ряд форм) как формы, выражающие настоящее, готовое перейти в будущее (-mak üzere), и настоящее (-makta), «картинно» развернутое как длящийся во времени динамический признак (ср. значение статического признака у формы с показателем -mış);

е) противопоставление двух фонов времени, закрепленное в турецком языке в оппозиции пар аналогичных форм, может быть рассмотрено в связи с известным в литературе различением индикативного и релятивного употребления глагольных времен: индикативное (прямое) употребление глагольных времен определяют как использование их по отношению ко времени речи, а релятивное (относительное) употребление — как использование их по отношению к какому-либо другому временному фону (в данном случае — к фону прошедшего времени).[6]

Рассмотрим подробнее некоторые вопросы, связанные со следствиями, которые были выведены выше из внешней картины времен турецкого изъявительного наклонения.

1. О КАЧЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЗНАЧЕНИЯ В ФОРМАХ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ -MIŞ И -AR

Временная форма с показателем -mış характеризуется такой совокупностью значений, которую связывают с понятием перфекта: она обозначает «каков кто есть в силу прежде совершенного действия» [7] или нечто «раз и навсегда приобретенное» в результате прошлого действия.[8] Эти качественные, определительно-результативные оттенки семантики перфекта [9] в турецкой его разновидности хорошо показаны А. Н. Кононовым.[10] Значение неочевидного, «заглазного» действия, присутствующее в определенной сфере употребления данной формы в современном турецком языке,[11] является производным от собственно перфектного значения.[12] Качественные значения турецкого перфекта проявляются с большой четкостью и наглядностью. Он обозначает наличный результат как состояние, наступившее вслед за недавним действием (а), или как состояние, приобретенное в силу более или менее давнего действия (б).

а) Ben bitirdim efendim! Hanımlar bir türlü yazamadılar. Kendilerine başka işler verilmiş, dedi (S. Ali). 'Я-то завершил (работу), эфенди. (Однако) машинистки никак не смогли переписать (ее). Им даны другие задания, — сказал он'.

Yalnız öyle dikilmiş dursa iyi, ellerini iliklenmiş caket düğmesinin üstüne koymuş, boynunu kırmış iki büklüm (A. Nesin). 'Хорошо, если бы он только стоял, как вкопанный, — он еще сложил руки поверх пуговиц своего застегнутого пиджака, согнув (при этом) шею вдвое'.

Belli ki, içtiği rakı, karnına uğramadan doğruca kafasına çıkmış (A. Nesin). 'Ясно, что водка, которую он пил, минуя желудок, ударила ему прямехонько в голову'.

б) Senin çok iyiliğini görmüşüz (A. Nesin). 'Мы видели от тебя много хорошего'.

Hıdırlık tepesinde gâvur zamanından bir kaval top nasılsa kalmış (A. Nesin). 'В Хыдырлыке на холме еще со времен нечестивцев каким-то образом сохранилась пушка'.

Herkes u n u t m u ş beni, unuttu kızım. U n u t u l m u ş u m (N. Hikmet). 'Все забыли меня, забыли, дочка. Я забыт'.

Понятно, что качественность значений перфекта тесно связана с его «причастной» сущностью.[13]

В современном турецком языке имеется специфический тип употребления перфекта — с постановкой вслед за личным показателем аффикса -dır (единого для всех лиц). Такое использование перфекта связывают иногда с понятием об особом времени — прошедшем-настоящем.[14] Думается, однако, что вернее будет говорить именно об особом типе употребления единой временной формы с показателем -mış, которая во всех своих проявлениях, в том числе и в перфектных значениях, точнее всего может быть квалифицирована как прошедшее-настоящее время. Аффикс -dır в данном случае следует рассматривать как формальное средство акцентирования собственно перфектного значения состояния, наступившего в результате прошлого действия. Потребность в таком акцентировании возникла вследствие развития в перфекте вторичных значений с модальными оттенками неожиданной новизны сообщения, неуверенности в сообщаемом, опосредствованного знания, предположительности. Названный аффикс нейтрализует указанные модальные значения.

Belki onun ne harikulâde olduğunu o anda a n l a m ı ş ı m d ı r (N. Hikmet). 'Пожалуй, я именно в этот момент понял, сколь она необычайна'. Ben, dedi, Göksel. Belki bu ismi d u y m u ş s u n u z d u r (N. Hikmet). 'Я, — сказал он, — Гёксель. Вы, наверное, слышали это имя'.

Качественные же оттенки значения, но уже с иной направленностью, свойственны и временной форме с показателем -ar, которая обозначает «постоянное свойство предмета».[15]

2. О ПРЯМОМ (ИНДИКАТИВНОМ) И ОТНОСИТЕЛЬНОМ (РЕЛЯТИВНОМ) УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕН

Выше было сказано, что соотношение двух временных фонов с идентичным для каждого из них набором временных форм (см. выше два противостоящих друг другу р я д а форм) имеет определенную аналогию с известным в литературе различением прямого (по отношению ко времени речи) и относительного (по отношению к какому-либо другому времени) употребления времен глагола.

При всей несомненности этого факта, очевидного даже при чисто внешнем взгляде на формальные приметы турецких глагольных времен, картина функционирования времен турецкого индикатива была бы неполной и неверной по существу, если ее свести т о л ь к о к различению индикативного и релятивного у п о т р е б л е н и я одних и тех же форм. Иначе говоря, нельзя утверждать, что в современном турецком языке имеется лишь первый ряд форм, релятивно и с п о л ь з у е м ы х и в плане

прошедшего времени (второй ряд форм). Факты показывают, что общая система функционирования временных форм индикатива гораздо сложнее и указанное соотношение составляет лишь ч а с т ь, лишь о д н у с т о р о н у этой системы.

Основными факторами, нарушающими и «возмущающими» соотношение прямого и относительного употребления времен первого и второго рядов, являются взаимодействие времени с формантом -dı со сложными формами фона прошедшего времени и явная морфологизированность последних. Как мы видели, форма -dı входит в ряд форм, выражающих значения времен в их отношении ко времени речи. Сложные формы второго ряда выражают время по отношению к фону прошедшего времени. В этом втором ряду полной параллелью к форме -dı первого ряда, казалось бы, должна быть форма -dıydı. Однако на самом деле это не так. Форма -dı с а м а взаимодействует с формами второго ряда, а форма -dıydı носит яркие черты обособленности среди форм второго ряда. Взаимодействие формы -dı с формами второго ряда проявляется в том, что формы -mıştı, -ardı, -yordu, -acaktı выражают в различных видоизменениях значения фона по отношению к действиям, обозначенным формой -dı*: -mıştı — ʽфон-состояние’ (а), -ardı — ʽфон-обыкновение’ (б), -yordu — ʽфон-действие’ (в),[16] -acaktı — ʽфон-намерение’ (г).

а) Şehrin sonuna g e l m i ş t i m. Gene yürüdüm... Demiryolu köprülerinin altından, buz tutmuş kanallarının üstünden yürüdüm (S. Ali). ʽЯ дошел до края города. Я все шел. Прошел под железнодорожным мостом, затем — через каналы, схваченные льдом’.

б) Erkekler benden i ğ r e n i r l e r d i... Kız arkadaşlarım da a l a y e d e r l e r d i... Sonra bana yüz yirmi yaşinda Kızılderili bir kadın bir ilâç söyledi (A. Nesin). Мужчины питали ко мне отвращение. Мои подруги-девушки — и те потешались. . . Потом одна стодвадцатилетняя женщина из Кызылдери сообщила (мне) одно средство’.

в) Hep yürüdüm. Saatlerce yürüdüm. Hiçbir şey d ü ş ü n m ü y o r d u m. Soğuktan gözlerimi k ı r p ı y o r ve koşar gibi hızlı adımlarla i l e r l i y o r d u m. İki tarafımda muntazam dikilmiş çam ormanlari vardı. Arasıra dallardan yere pat! diye kar parçaları d ü ş ü y o r d u. Yanımdan bisikletli insanlar ve uzaktan yerleri sarsarak bir tren g e ç i y o r d u. Yürüdüm... (S. Ali). ʽЯ все шел. Шел много часов. Я ни о чем не думал. От холода я щурил глаза и двигался стремительными шагами, почти бегом. По обе стороны от меня высились огромные сосны. Время от времени с веток с шумом срывались пласты снега. Рядом со мной мчались люди на мотоциклах и проносился поезд, еще издали сотрясая землю. Я шел. . .’

---

* Ср. градацию этих фоновых значений с градацией значений форм времени в ряду форм плана времени речи, показанной выше.

г) Tam y a t a c a k t ı m ki, pencereden dışarıya bakmak geldi aklıma (N. Hikmet). 'Я уже совсем хотел было лечь, как вдруг мне пришло в голову взглянуть через окно наружу'.

Эти факты показывают, что форма -dı тяготеет по значению к формам прошедшего времени второго ряда, с которыми эту форму связывают отношения противопоставления: с динамическим, «двигающим события» значением прошлого действия, выражаемым формой -dı, соотнесены не двигающие событий и потому более статичные «фоновые» значения сложных форм второго ряда. В этой группе временных форм, которую образуют формы второго ряда в м е с т е с формой -dı, нет места форме -dıydı. Эта последняя форма обособилась в значении прошедшего времени «припоминательного» («был такой факт, что такой-то делал то-то»):

Kendimi hiç bu kadar şık giyinmiş g ö r m e d i y d i m (N. Hıkmet). 'Я никогда еще не видывал себя столь шикарно одетым'.

Hani hatırlıyorsun ya, dedim. Sonradan sana s ö y l e d i y d i m, kardeşin Ayşeyi senin odana kadar g e t i r d i y d i m (N. Hikmet). 'Ты ведь помнишь, — сказал я, — да я и говорил тебе (об этом) впоследствии, это я провожал (тогда) твою сестру Айше до твоей комнаты'.

Это обособление проявляется и в возможности особого оформления данной формы — в постановке аффикса 3 л. ед. ч. п о с л е личного показателя прошедшего времени, когда личный аффикс, предшествующий конечному аффиксу -dı, обозначает субъекта действия, а конечный аффикс -dı показывает бытие данного ф а к т а в прошлом и не имеет отношения к выражению субъекта действия:

Kömürcü, kaç defa k a r ş ı l a ş t ı k t ı (N. Hikmet). 'Угольщик. . . (знаю. . .) сколько раз встречались!'

«Karım ol Ayşe» diye f ı s ı l d a d ı n d ı (N. Hikmet). 'Ты тогда шептал: «Будь моей женой, Айше»'.

3. ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ ВТОРОГО РЯДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФОНУ ВРЕМЕНИ РЕЧИ

Весьма ярким фактом, подтверждающим безусловную морфологизированность форм второго ряда, является способность их употребляться не в повествованиях о прошлом, т. е. не в значениях, отражающих фон того действия, которое обозначено формой -dı (см. выше, разд. 2), а п о о т н о ш е н и ю к ф о н у в р е м е н и р е ч и. При этом в формах второго ряда проявляются о с о б ы е з н а ч е н и я, отличные от значений, реализующихся в них при использовании данных форм по отношению к фону прошлого. Наиболее ярко это выражено у форм -mıştı, -ardı и -acaktı. Так, например, если форма -mıştı по отношению к фону прошлого обозначает состояние, наличное в прошлом (см. выше, разд. 2, примеры «а»), или действие, предшествовавшее другому

прошедшему действию (а), то по отношению ко времени речи она выражает абсолютную давность действия (б)[17] или неожиданность обнаружения в данный момент какого-либо факта (в).

а) Yatağa daha yeni g i r m i ş t i m, kapının tokmağı vuruldu (A. Nesin). 'Я только-только лег в постель, как в дверную колотушку постучали'.

Ne t a l e b e t m i ş t i m bu kızdan ki onu reddediyordu? (S. Ali). 'Что такого я потребовал от этой девицы, что она отвергала это (предложение)?'

б) Vallahi, dedim. Aynı soyadını birçok insanlar alıyor ama, sizinkisini hatırlıyorum. Gazeteler dünyanın bilmem hangi bucağından çok zengin, hattâ milyoner bir vatandaşın İstanbula geldiğini, Anadoluda büyük endüstri teşebbüsüne geçeceğini y a z m ı ş t ı (N. Hikmet). 'Помилуй, господи! — воскликнул я. — Такие же имя и фамилию носят многие люди, но ваши я припоминаю. Газеты писали о том, что — не помню только из каких краев земли — в Стамбул приехал некий очень богатый, будто бы даже миллионер, гражданин и собирается приступить к организации крупной промышленности в Анатолии'.

Sizin en dost talebem olmadığınızı çok eskiden a n l a m ı ş t ı m (N. Hikmet). 'Я уже очень давно понял, что вы не являетесь моим самым доброжелательным учеником'.

в) Herşeyi anlıyorum artık. Göksel soyadının bana neden yabancı gelmediği ortaya ç ı k m ı ş t ı, şimdi (N. Hikmet). 'Теперь я все понимаю. Вот и прояснилось, почему имя Гёкселя не оказалось для меня неведомым.'

Üst göze anahtarı sokarken Raif Efendinin senelerdenberi oturduğu iskemlede olduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi f a r k e t m i ş t i m (S. Ali). 'Когда я сунул ключ в верхний глазок, я только теперь представил себе, что я сижу на стуле, на котором в течение долгих лет сидел Раиф-эфенди, и что я повторяю движение, которое он совершал каждый день по нескольку раз'.

Формы -ardı и -acaktı по отношению ко времени речи имеют значение сослагательности.

Zaten başka ne s ö y l i y e b i l i r d i m ki buna! (N. Hikmet). 'И что в сущности я мог бы сказать на это!'

Peki öyle ise, daha ne istiyorsun, seni paşa mı y a p a c a k l a r d ı? (A. Nesin). 'Ну хорошо, чего же еще ты хочешь, — уж не того ли, чтобы тебя сделали пашой?'

Приведенные факты представляются вполне достаточными для того, чтобы говорить о принципиальной возможности объяснения системы турецких глагольных времен на основе понятия о двух «малых» рядах в рамках категории времени — рядах, различающихся ф о н а м и времени: первый ряд форм состоит из времен, соотносимых со временем речи, второй — из времен, соотносимых с фоном прошедшего времени. С и с т е м а функци-

онирования обоих рядов, т. е. категории времени в целом, представляется в виде совокупности оппозиций каждой временной формы одного из рядов другим формам своего ряда и ф о н у другого ряда (именно фону, а не каждой форме этого ряда). Этими двумя противопоставлениями, т. е. вхождением каждой формы в два ряда оппозиций, определяется двойственность значений каждой временной формы. Формы первого ряда соотнесены между собой своими простейшими временными значениями (прошедшее—прошедшее-настоящее—настоящее-длительное—настоящее—ближайшее будущее—настоящее-будущее—будущее), которые обозначаются по отношению к фону времени речи, а по отношению к фону прошедшего времени эти формы имеют различные «обстановочные» значения (см. разд. 2). Формы второго ряда по отношению друг к другу обозначают различные оттенки прошедшего действия, а по отношению к фону времени речи имеют особые значения абсолютной давности, сослагательности и т. д.

Эти свойства оппозиций форм времени имеют несомненные черты сходства с противопоставлением форм в рамках другой многочленной категории — категории падежа. Подобно тому как двойственность значений каждого падежа определяется двояким противопоставлением падежа — формам «своего», «малого» ряда и формам другого ряда падежей в системе склонения в целом,[18] точно так же и двойственность значений каждой временной формы определяется двояким противоположением ее — формам «своего», «малого» ряда и формам другого ряда в системе категории времени в целом. При этом противопоставление значений в «своем» ряду форм в основном семантично, т. е. основывается на различиях грамматических значений, тогда как оппозиции форм одного ряда формам другого ряда базируются на более «далеких» различиях семантико-синтаксического порядка. Возьмем в качестве иллюстрации какую-либо одну падежную форму и какую-либо одну форму времени. Исходный падеж в «своем» ряду падежей соотнесен со своими ближайшими коррелятами — дательным и местным падежами своими обстоятельственными значениями (откуда—куда—где), а с формами другого ряда — основным, винительным и родительным падежами соотнесен как форма дополнения, которая вместе с объектными значениями дательного, местного и винительного падежей противостоит основному падежу как падежу подлежащего.[19] Форма -mıştı в «своем» ряду форм прошедшего времени отличается от последних особым значением прошедшего действия — предшествующего другим прошлым действиям, а по отношению к формам другого ряда, т. е. к формам фона времени речи, обозначает абсолютную давность действия.

Охарактеризованная выше система турецких глагольных времен выявляет также глубоко диалектичное соотношение формирующих ее элементов. Она состоит как бы из двух подсистем, наложенных одна на другую. Соотношения между первым и вторым рядами форм в этих подсистемах различны. В одной под-

системе первый и второй ряды соотнесены друг с другом как два типа употребления одних и тех же времен: использование их по отношению ко времени речи (первый ряд форм, индикативное употребление) и по отношению к фону прошедшего времени (второй ряд форм, релятивное употребление). В другой подсистеме первый и второй ряды форм противостоят друг другу как самостоятельные и морфологически закрепленные различные формы времен, причем здесь не только первый ряд форм, но также и второй ряд характеризуется возможностью индикативного употребления, т. е. использования по отношению ко времени речи.

Вряд ли можно сомневаться в том, что первая из этих подсистем представляет собой консервативный элемент системы времен в целом, тогда как другая подсистема является прогрессивным элементом этой же системы. Консервативный элемент, как отражающий собой прежнее состояние системы времен, функционирует в составе современной системы времен в преобразованном, преодоленном виде, т. е. в рамках сложнейшего взаимодействия с прогрессивным элементом.[20]

Таковы некоторые черты системы временных форм, дальнейшее изучение которой должно выявить весь механизм оппозиций отдельных ее форм. Думается, что возможности методологического подхода, изложенного выше, смогут принести пользу подробному изучению системы времен тюркского глагола.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Ғуломов А. Ғ. Феъл. Ташкент, 1954; Орузбаева Б. О. Формы прошедшего времени в киргизском языке. Фрунзе, 1955; Кокл янова А. А. Категория времени в современном узбекском языке. М., 1963; Насилов Д. М. Структура времен индикатива в древнеуйгурском языке (по памятникам уйгурского письма). АКД. М., 1963; Серебренников Б. А. Система времен татарского глагола. Казань, 1963; Юлдашев А. А. Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965; Чарыяров Б. Времена глагола в тюркских языках юго-западной группы. АДД. Ашхабад, 1970.

[2] Кононов А. Н. 1) Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 218—248; 2) Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 202—237.

[3] Кононов А. Н. 1) Турецкая глагольная форма на *-мыш*. — Уч. зап. ЛГУ, № 20, сер. филол. наук, вып. 1, Л., 1939, с. 34—49; 2) Происхождение прошедшего категорического времени. — ТС I. М.—Л., 1951, с. 112—119.

[4] Иванов С. Н.: 1) «Родословное древо тюрок» Абу-л-гази-хана. Грамматический очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969, с. 49—99; 2) К истолкованию многозначности грамматических форм (На материале тюркских языков). — ВЯ, 1973. № 6, с. 101—109; 3) О сохранении в строе языка следов его прежних состояний (по материалам турецкого языка). — СТ, 1973, № 6, с. 9—16.

[5] Иванов С. Н. «Родословное древо тюрок» . . ., с. 135—150.

[6] См., например: Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947, с. 568—569.

[7] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958, с. 256.

[8] Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, с. 223.

[9] См.: Виноградов В. В. Русский язык, с. 562.

[10] Кононов А. Н. Турецкая глагольная форма на *-мыш*. . ., с. 44.

[11] Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 231—233.

[12] Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на *-ган* и ее производные). Л., 1959, с. 14—20.

[13] Там же, с. 38.

[14] Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 233—234.

[15] Гордлевский В. А. Избранные сочинения. Т. II. Язык и литература. М., 1961, с. 81. Подробнее об этом см.: Любимов К. М. О настоящем-будущем времени в турецком языке. — В сб.: Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятипятилетию. М., 1953, с. 163—167.

[16] О фоновом значении формы-yordu см.: Кошмидер Э. Турецкий глагол и славянский глагольный вид. — В сб.: Вопросы глагольного вида. М., 1962, с. 382—394.

[17] Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 241.

[18] Иванов С. Н. К истолкованию многозначности грамматических форм. . ., с. 107—109.

[19] Там же.

[20] Иванов С. Н. О сохранении в строе языка следов его прежних состояний. . ., с. 9—16.

И. В. Кормушин

О ПАССИВНОМ ЗНАЧЕНИИ КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

В целом ряде алтайских языков каузативные формы глагола могут участвовать в выражении пассивных отношений. Вот как, например, это явление описывается в «Грамматике тувинского языка» «. . . понудительный залог имеет следующие основные значения: 1) понудительное — ‘заставлять делать что-либо’, 2) страдательное — ‘подвергаться какому-либо действию, допускать сделать что-либо с собой’. . .Смысловую схему предложения с глаголом в понудительном залоге можно представить так: „Предмет А заставляет (побуждает) предмет Б сделать что-то с предметом В“. Данная схема подходит и для второго (страдательного) значения понудительного залога. Это частный случай приведенной выше общей схемы: „Предмет А заставляет (побуждает) предмет Б что-то сделать с ним (с предметом А)“, т. е. „предмет А подвергается данному действию со стороны предмета Б“».[1]

Аналогичная особенность каузативных форм отмечена в грамматиках алтайского,[2] хакасского,[3] каракалпакского,[4] а также бурятского [5] и маньчжурского [6] языков.

Процитированные и упомянутые выше аналогичные в целом описания вызывают некоторые возражения. Дело в том, что русские лексические эквиваленты, совпадающие, кстати, почти дословно у всех авторов, упоминающих о страдательном или пассивном значении каузативов, неточно раскрывают грамматическое значение рассматриваемых форм.

Для доказательства сказанного разберем несколько типичных примеров.[7]

1) *Атахпын ықка ытыртардым* ‘Собака укусила мне ногу’ [букв.: ‘Я позволил (допустил) укусить мою ногу собаке’; *атах-п-ын* ‘ногу-мою- (вин. пад.)’; *ық-ка* ‘собака- (дат. пад.)’; *ытыр-тар-дым* ‘укусить- (кауз. афф.)-(афф. прош. вр. 1 л. ед. ч.)’].

2) *Ямаанайнгаа һүүл шонодо абхууласи* ‘Ты дал волку откусить хвост твоей козы’ [*ямаан-ай-нга* ‘коза- (род. пад.)-(афф. возвр. притяж.)’; *һүүл* ‘хвост’; *шоно-до* ‘волк- (дат. пад.)’; *аб-хуул-аа-ш* ‘оторвать- (кауз. афф.)-(афф. прош. вр.)-(2 л. ед. ч.)’].

3) *Куобах сохсого баттаппыт* 'Заяц придавлен плашкой' [букв. 'Заяц плашке позволил (допустил) придавить (себя)'; *сохсо-го* 'плашка-(дат. пад.)'; *батта-п-пыт* 'придавить-(кауз. афф.: *-т-* перед согласным *п* > *-п-*)-(афф. перфекта)'].

4) *Тэрэ муу шолмодоо мэхэлүүлжэ, табан зуун алтан зоосоо алдабаа* 'Будучи обманут тем противным чертом, я потерял пятьсот золотых монет' [букв.: 'Тому плохому черту дав (допустив) обмануть (себя). . .'; *шолмо-доо* 'черт- (дат. пад. с возвр. притяж.)'; *мэхэл-үүл-жэ* 'обманывать- (кауз. афф.)-(афф. соединит. деепр.)'].

Первую (и, с соответствующими изменениями, вторую) фразу вне реальной ситуации можно понимать по-разному:

а) 'Я (нарочно) заставил (принудил и т. д.) собаку (с какой-л. целью) укусить мою ногу';

б) 'Я (невольно, по оплошности) допустил то, что собака укусила мне ногу';

в) 'Я (сознательно) позволил (допустил), чтобы собака укусила мне ногу'.

Возможность различных значений одного и того же предложения создается благодаря разному семантическому «наполнению» соотношения членов одной и той же грамматической конструкции:

а) N_1 (субъект действия) — инициатор действия; N_2 (реальный исполнитель или агенс) — противится действию; из данного соотношения N_1 и N_2 создается значение «понуждения» связывающего их каузативного глагола, которое и обозначим термином собственно-каузативное или фактитивное значение каузатива;

б) N_1 — не является инициатором, N_2 — инициатор осуществления действия; при таком соотношении N_1 и N_2 у каузативного глаголя — значение «невольного допущения» или инволитивно-пермиссивное;

в) N_1 — инициатор действия, N_2 — не противится осуществлению действия; при таком соотношении N_1 и N_2 у каузативного глагола — значение «сознательного допущения» или волитивно-пермиссивное.

Таким образом, указанные значения конституируются различным соотношением по признаку активности/инактивности субъекта и агенса действия: в случае *а* субъект активен, агенс инактивен (повелевают, заставляют и т. п. против воли агенса); [8] в случае *б* субъект инактивен, агенс активен; в случае *в* активны субъект и агенс.

Реализация той или иной возможности (значений *а*, *б* или *в*) зависит от речевого замысла, и экспликация этого замысла не обязательно может находить выражение в контексте. Во фразах с глаголами негативного действия [9] наиболее часто реализуемым и наиболее ожидаемым является значение инволитивно-пермиссивное, что не дает, впрочем, права при грамматическом описании конструкции забывать об остальных менее типичных ее значениях.

Обращаясь к анализу примеров 3 и 4, укажем, что данные конструкции отличаются от 1 и 2 эллипсисом: 3а. 'Заяц плашке

[себя] дал (невольно допустил) придавить'; следовательно 3 < *3а, 4 < *4а. Конструкции 1, 2 и 3а, 4а однотипны и различаются лишь лексическим наполнением объекта: в 3а и 4а объект — это субъект, представленный возвратным местоимением; в 1 и 2 объект является либо частью субъекта, как в 1, либо принадлежит ему — в 2.

Как и в конструкциях 1 и 2, так и в 3а и 4а, при любых, в том числе и негативных, глаголах возможна любая из реализаций *а*, *б* или *в*, но в случае эллипсиса рефлексива при негативном глаголе, т. е. в 3 и 4, устойчиво закрепившейся реализацией является *б* (инволитивно-пермиссивное значение), и, наоборот, сохранение рефлексива при негативном глаголе будет скорее сигналом реализации *а* или *в*.

Таким образом, близкое к пассивному значение в конструкции с каузативным глаголом возникает в частном ее случае, когда, во-первых, субъект равен объекту, во-вторых, этот объект, равный субъекту, испытывает неприятное отрицательное воздействие, в-третьих, формально объект эллидирован из высказывания.

Частичная (в 1 и 2) или полная (в 3а и 4а) однореферентность объекта и субъекта действия фактически наполняют эту конструкцию рефлексивным содержанием.[10] Направленность действия (от субъекта вовне, извне на субъект и т. д.) является центральным моментом в определении залога.[11] В рассматриваемых случаях действие исходит от субъекта (во всяком случае, при реализациях *а* и *в*) и затем вновь возвращается на субъект, что и характеризует рефлексивное значение. Когда рефлексивное значение находит морфологическое выражение в глаголе, то говорят о наличии возвратного залога. В отличие от собственно-рефлексивной конструкции с глаголом в возвратном залоге конструкция каузативно-рефлексивная содержит указание на то, что субъект не является агенсом — исполнителем действия, что агенс кто-то или что-то другое. В этом отношении указанная конструкция сходна с пассивной, поскольку в обеих субъект подвергается действию со стороны агенса. Однако каузативная форма глагола поддерживает иллюзию инициации действия со стороны субъекта (субъект как бы «сам виноват» за то, что с ним произошло), тогда как в пассивной конструкции в качестве инициатора действия мыслится только агенс. Вот почему в каузативно-рефлексивной конструкции возможен неодушевленный агенс, тогда как в собственно-пассивной конструкции агенс должен быть одушевленным, а неодушевленным он может быть в случае, если его действие обеспечено одушевленным предметом, либо при метафорическом переосмыслении. В русском переводе указанные оттенки значения — семантические ингредиенты каузативной формы — не могут быть выражены достаточно экономно и гладко, поэтому подобного рода фразы (3 и 4) по-русски, собственно говоря, не переводятся, а перерабатываются в возможно более близкий смысловой эквивалент.

Выражение пермиссивного значения каузативными формами глагола можно признать продуктивным явлением только для некоторых алтайских языков, в частности для тувинского, монгольского, бурятского, маньчжурского и некоторых других. В абсолютном большинстве языков сохранились лишь следы подобного явления в виде залексикализовавшихся и потому полностью принадлежащих словарю значений ограниченного числа каузативных глаголов. Однако и в языках, сохраняющих продуктивность пермиссивного значения, частный его вид — инволитивно-пермиссивное значение все же, по-видимому, непродуктивно, кроме маньчжурского языка, где, судя по описанию, оно реализуется достаточно широко.[12] Следует заметить, что вопрос о степени продуктивности обоих подвидов пермиссивного значения нуждается в дополнительном изучении по текстам и в живой речи.

Обращение к описанному непродуктивному (или близкому к этому, как мы думаем, в ряде случаев) явлению глагольной морфологии имеет важное значение для сравнительно-исторических построений. Пермиссивное значение в его двух подвидах занимает, как мы видели, промежуточное положение по отношению к пассивному и каузативному, почему в литературе издавна указывается на связь пассива и каузатива.[13] Некоторые пассивные и каузативные показатели могут быть генетически отождествлены в отдельных алтайских ветвях уже в реконструкциях позднего праязыкового состояния: для общетунгусоманьчжурского это **-б-/-п-*, отразившийся в пассивном *-б-/-п-* и каузативных *-вкан-*, *-в-*, *-ван-*, *-буван-*; [14] для общемонгольского это **-г-/-к-* в пассивном *-гда-* и каузативных *-га-*, *-лга-*, *-гул-*; для общетюркского это **-к-*, сохранившийся в немногочисленных глаголах то как показатель интенсива, то как показатель медиопассива, то как показатель пассива. [15] При восстановлении более ранних состояний в ветвях и при попытке реконструкции гипотетического алтайского уровня открывается заманчивая, хотя и опасная, перспектива сопоставления «накрест»: например, тюркского пассива *-л-* и монгольского каузатива *-л-* и т. д. Однако необходимо помнить и о втором пути возникновения пассива, а именно из безлично-медиальных показателей. Для проверки подобных версий нужна еще углубленная проработка материала в рамках автономных реконструкций.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961, с. 274.

2 «Грамматика алтайского языка, составлена членами алтайской миссии». Казань, 1869, с. 51—52.

3 Дыренкова Н. П. Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология. Абакан, 1948, с. 69.

4 Баскаков Н. А. Каракалпакский язык, т. II, ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1952, с. 341—342.

[5] «Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология». М., 1962, с. 202 и сл.; см. также: Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. М., 1963, с. 20.

[6] Захаров И. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879, с. 160—162.

[7] Примеры заимствованы: 2 и 4 — из упоминавшейся «Грамматики бурятского языка», с. 214—215; 1 и 3 — из кн.: Харитонов Л. Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.—Л., 1963, с. 64. Здесь и далее орфография и переводы заимствованных примеров сохраняются.

[8] Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. Л., 1971, с. 15—19 (далее сокращенно: Недялков).

[9] Недялков, с. 90, 168—169; Летягина Н. И., Насилов Д. М. Пассив в тувинском языке. — СТ, 1974, № 1, с. 21—22.

[10] Недялков, с. 10, 30, 60—61, 85—89 и сл.

[11] М. М. Гухман определяет «смысловую структуру» залоговой оппозиции как характеризующуюся «противопоставлением направления процесса: центробежность/центростремительность» (Гухман М. М. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. М., 1964, с. 8). Э. В. Севортян, учитывая систему залогов тюркских языков, определяет содержание категории залога более общо, как «отношение действия к грамматическому субъекту» (Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, с. 455—456).

[12] Захаров И. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879, с. 161.

[13] Недялков, с. 161 и сл.

[14] Кормушин И. В. Категория каузатива в алтайских языках. АКД., Л., 1968, с. 10—12.

[15] Кононов А. Н. [Рец. на кн.:] А. М. Щербак. Огуз-наме. Мухаббат-наме. Щербак А. М.: 1) Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. — ВЯ, 1963, № 5, с. 138; 2) Актуальные тюркологические заметки. — СТ, 1975, № 2, с. 83.

Е. А. Крейнович

ОБ ОДНОЙ ТЮРКСКО-ПАЛЕОАЗИАТСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

В тюркских языках широко распространен суфф. *-лы*.[1] При его помощи образуются прилагательные, означающие «обладающий таким-то предметом. Это наиболее древнее и все еще продуктивное значение формы *-лы*» постепенно «развивается в значение обладающий свойством (качеством), признаком».[2] Некоторая часть слов, образуемая с помощью суфф. *-лы*, относится в этих языках к существительным.

Генетически близок к *-лы* суфф. *-лык* (*-лыг*, *-лыҕ*, *-лыҟ* и т. д.), при помощи которого образуются слова, относимые в тюркских языках в большей своей части к существительным и в меньшей — к прилагательным.[3] Происхождение и роль конечного консонантного компонента в этом суффиксе еще мало исследованы.

Мы предполагаем, что рассматриваемый аффикс достался тюркским языкам в наследство от других, каких-то очень древних, неведомых нам языков. Основанием этого предположения служит то обстоятельство, что аналогичный суффикс встречается в некоторых палеоазиатских языках. При обзоре этих языков мы будем следовать с юга на север вдоль северо-восточного побережья Азии. Начинаем с нивхского языка.

В сахалинском диалекте нивхского языка функционирует вспомогательный глагол *латнт* (осн. *лат-*) ʻобладать каким-либо предметным признакомʼ. При его помощи образуется небольшое количество слов, которые в зависимости от их синтаксической функции могут выступать в роли качественных глаголов или субстантивированных причастий либо субстантивированных прилагательных: *покулатнт* ʻбыть горбатымʼ, ʻгорбатыйʼ, **поку* ʻгорбʼ; *ӈаурлатнт* ʻбыть беременнойʼ, ʻбеременнаяʼ (досл.: ʻживот имеющаяʼ) от *ӈаур* ʻживотʼ;[4] *к'ызлатнт* ʻбыть удачливым в промыслахʼ, ʻудачливыйʼ, ʻсчастливыйʼ от *к'ыс* ʻудачаʼ, ʻсчастьеʼ.

Основа *лат-*, по-видимому, сложная и состоит из компонентов *ла-* и *-т-*. Первый в нивхском языке оформляет в атрибутивной позиции многие качественные основы и некоторые глагольные основы, обозначающие различные состояния человека: *паҟнт* ʻкороткийʼ, но *паҟла-ғалмр* ʻкороткая доскаʼ (*ҟалмр*

'доска'); *јафт'нт* 'терпеть', но *јафт'ла-нӣвӈ* 'терпеливый человек' ('терпением обладающий человек'). Суфф. *-ла* оформляет качественные основы и в предикативной позиции, при этом чередование гласных *а* ∼ *ы* и количественное их усиление способствуют выражению большей или меньшей степени качества: *туд ыкиjонт* 'этот плоховатый' (*ыкинт* 'быть плохим', 'плохой'); *тудэшкӈ урлы̄нт* '(а) вот этот чуть получше' (*урнт* 'быть хорошим', 'хороший'); *туд урла̄нт* 'этот самый хороший'.

Участие суфф. *-ла-* в оформлении качественных основ (прилагательных) в нивх. яз. позволяет сближать его с суфф. *-лы-* в тюркских языках; что касается *-т-*, то в нивхском он встречается только в качестве компонента основы *лат-* 'обладать чем-либо'.[5]

В ительменском языке, расположенном севернее нивхского, прилагательные образуются при помощи суфф. *-лах*: *омлах* 'теплый', *иулах* 'длинный' и т. д.[6]

Суфф. *-лах* сложный и состоит из двух компонентов — *-ла-* и *-х*. Так, по данным А. П. Володина, при оформлении прилагательного суффиксом инструментального падежа *-л'-* компонент *-х* опускается, а между *-ла* и суфф. *-л'-* появляется *-н'-*: *ам-лах* 'глубокий', но *ам-ла-н'-л'* 'глубоким'; *атх-лах* 'белый', но *атх-ла-н'-л'* 'белым'.[7] Таким образом, мы вправе выделить в качестве основного словообразовательного компонента прилагательных суфф. *-ла-*. А. П. Володин справедливо указывает на материальную и функциональную близость ительменского суффикса образования прилагательных *-лах-* с аналогичным суфф. *-лаах-* в якутском языке. Однако для нас в данном случае в чисто сопоставительном плане важно то, что в качестве словообразовательного показателя прилагательных в ительменском выступает суфф. *-ла-*, сближающийся с аналогичным суффиксом в нивхском и в тюркских языках.

Нельзя не отметить, что между нивхским и ительменским вклинился эвенский язык, относящийся к группе тунгусо-маньчжурских языков. Интересно, что в нем при помощи суфф. *-лач-* ∼ *-лэч-* ∼ *-лат-* ∼ *-лэт-* ∼ *-нач-* ∼ *-нэч-* ∼ *-нат-* ∼ *-нэт-* образуются отыменные глаголы со значением обладания предметом: *д'у-лат-таj* 'иметь жилище' (*д'у* 'жилище'); *ор-нат-таj* 'иметь домашних оленей' (*орон* 'домашний олень').[8] Нетрудно увидеть, что нивхская глагольная основа *лат-* материально и семантически совпадает с одной из форм суффикса обладания в эвенском языке *-лат-*. Этот суффикс сложный и состоит из компонентов *-ла-* ∼ *-лэ-* ∼ *-на-* ∼ *-нэ-* и *-т-*. Доказательством этого служит то, что при их помощи также образуются прилагательные: *ач-хут-лэ* 'бездетный' (не имеющий детей), где *ач-* — префиксальная частица со значением отрицания 'не', *-лэ* — показатель обладания; а *хут* 'ребенок'; *хут-э-т-тэj* 'иметь сыном, дочерью', где *-т-* суффикс, при помощи которого образуются глагольные основы со значением 'иметь кого-либо или что-либо кем- или чем-либо'.

Эвены пришли на Охотское побережье намного позже палеоазиатских народов. Как-то трудно предположить, что из их языка с одной стороны в нивхский, а с другой — в ительменский проник суффикс образования прилагательных *-ла-*. В каждый из них он, вероятно, проник из одного более древнего источника.

Если в отношении рассмотренных языков, где обнаруживается сходный показатель образования слов со значением обладания признаком (в нивх. *-лат-*, *-ла-*, в эвен. *-лат-* ~ *-лач-* и др., в ительменском — *-лаӽ*, *-ла-*), невольно может возникнуть предположение, не заимствовали ли они эти показатели друг от друга, то применительно к языкам, расположенным севернее, подобное предположение отпадает.

В корякском языке, бытующем северней ительменского, при помощи сложного суфф. *-лв-* образуются слова 'обозначающие предмет (лицо) через обладание каким-либо признаком'.[9] В корякском эти слова относятся к категории имени деятеля.[10] *Wала-лв-ән* 'имеющий нож' (*Wала* 'нож'); *кэтγу-лв-ән* 'обладающий силой' (*нә-кэтγу-кин* 'сильный'), *уjңэ-лв-ән* 'не обладающий ничем' (*уйңэ* 'не').[11]

Значение обладания в корякском выражается также при помощи комитатива, образуемого префиксом *γэ-* ~ *γа-* и личными окончаниями. Приводим эти формы в сопоставлении с личными формами качественных прилагательных.

γа-кмиң-и-γәм 'с детьми я', *н-илγ-и-γәм* 'белый я' 'детный я'
γа-кмиң-и-γи 'с детьми ты', *н-илγ-и-γи* 'белый ты' 'детный ты'
γа-кмиңэ-лин 'с детьми он', *н-илγә-ӄин* 'белый он' 'детный он' [12]

Сопоставление префиксов *-γа* и *н-*, с одной стороны, и сложных показателей 3 л. ед. ч. *-л-ин* и *-ӄ-ин*, с другой, дает основание для уточнения их значения. Поскольку префикс *γэ* ~ *γа-* является показателем комитатива[13] и обладания предметом, не являющимся органической принадлежностью обладателя, постольку и компонент *-л-* в сложном суфф. *-лин* ~ *-лэн* является показателем обладания предметом, не являющимся органической принадлежностью обладателя.[14] В противоположность им префикс *н-*[15] и компонент *-ӄ-* в сложных суфф. *-ӄ-ин* ~ *-ӄ-эн* являются показателями органического обладания признаком (ср. 'детный я' и 'белый я'). То же самое можно сказать об этих суффиксах и в чукотском языке.

В чукотском языке, расположенном еще севернее корякского, при помощи суфф. *-л̂ʔ-эн*, соответствующего коряк. *-лв-н-* (*-лв-ән*),[16] образуются слова, обозначающие лицо, обладающее каким-либо предметом, качественным или процессуальным признаком: *поjγә-л̂ʹʔэн* 'имеющий копье' (осн. *поjγ-* 'копье'); *илʹγэ -лʹʔэн* 'белогвардеец, беляк', досл. 'имеющий белизну' (осн. *илʹγ-* 'белый');

сʹэјвә-д̂ʹʔән ‘ходок, идущий (издалека)’, досл. ‘обладающий ходьбой’ (осн. *сʹэјв-*).[17]

Сопоставление чукотских слов *эрмэ-д̂ʹʔән* ‘силач < обладающий силой’ (ср. *эрәм* ‘начальник’) и *эрмэ-сʹʔән* (1. ‘первый в поселке по достатку (хозяин первой яранги)’, 2. ‘глава (в жилище)’) позволяют выделить в чукотском языке *-д̂ʹ-* в качестве показателя обладания.[18]

При помощи суфф. *-д̂ʹʔән* и, по-видимому, *-сʹʔән* выражается обладание постоянным признаком, а при помощи конфикса *γэ-/γа- — -лэн/-лин* временным: *мид̂ʹγэрәд̂ʹʔән* ‘имеющий ружье’ (как предмет постоянной принадлежности, хотя в данный момент обладатель этого предмета может быть и без него); *γэ-мид̂ʹγэр-лин* ‘он с ружьем’, ‘он имеет ружье’ (в момент речи, причем ружье может и не быть предметом постоянной принадлежности, а находится во временном употреблении).[19] В суфф. *-л-ин/-л-эн* при его сопоставлении с чукотским суффиксом образования прилагательных *-ӄ-ин/-ӄ-эн* также выделяется показатель обладания *-л-*.

Переходим теперь к крайней северной точке наших сопоставлений — к эскимосскому языку. В языке азиатских эскимосов посредством суфф. *-лык* от именных основ образуются имена, обозначающие обладание чем-либо. Примеры: *тылянанʼалык* ‘имеющий парус’, ‘с парусом’ от *тылянанʼа* ‘парус’.[20] Указанный показатель встречается в стяженной форме *-лг-*: *ан‘ьялык* ‘имеющий байдару’, *ан‘ья-лг-ыт* ‘имеющий байдары’ (*-лык* > *-лг-*);[21] а также без конечного *-к* в форме *-лы-*, что следует из сопоставления слов: *камы-к* ‘обувь’, *камы-лык* ‘обувь имеющий’, *камы-лы-нʼа* ‘обувь имеющий я’.[22] Мы полагаем, что основным носителем значения обладания в эскимосском языке является суфф. *-л-*. Этот вывод подсказывается следующими сопоставлениями: *к‘икми-к‘* ‘собака’, *к‘икми-лык* ‘имеющий собаку, собак’, *к‘икм-и-л-н‘у-к* ‘не имеющий собак’, *к‘икмӣ-лг-у-н‘а* ‘собак имею я’, *к‘икм-ӣ-л-н‘у-н‘а* ‘собак не имею я’, ‘не имеющий собаки я’.[23] Е. С. Рубцова определяет суфф. *-ӣ-* как показатель отрицания.[24] Компонент же *-н‘у-*, следующий после суфф. *-л-*, отождествляется с первым компонентом суфф. *-н‘ӯна-*, *-н‘унā-*, который «обозначает отсутствие предмета у субъекта»: *сяви-н‘уна-н‘а* ‘без ножа я’, *сяви-* — основа слова нож.[25] Следовательно, *-л-* перед суфф. *-н‘у-* определяется как показатель обладания, значение которого устраняется двумя отрицаниями. Как показатель обладания *-л-* выступает, по-видимому, и в сложном суфф. *-лгўа-*, придающем отыменным глаголам значение ‘иметь названное’: *к‘уйн‘и-лгўа-к‘ук‘* ‘он имеет оленей’ (*к‘уйн‘ик* ‘олень’).[26] Возможно, что этот же показатель обладания выступает и в суфф. *-лг‘и-*, при помощи которого в эскимосском образуются причастия и прилагательные.[27]

Примечательно, что далеко за пределами евразийского континента — в Северной Америке в языке эскимосов Аляски имеется тот же суфф. *-lik* для образования слов со значением обладания предметом: *qayalik* ‘имеющий каяк’ от *qayak* ‘каяк’. Этот же

самый суфф. *-lik* существует и в языке эскимосов Гренландии: qaqalik 'обладающая горами', 'гористая местность' от *qaqak* 'гора'.[28]

Рассмотренные суффиксы образования прилагательных и существительных со значением обладания можно представить в следующей таблице:

Тюркские языки	*-лы, -лыг, -ла* и др.
Нивхский язык	*-лат, -ла-, -лы̄-*
Ительменский »	*-лаӽ, -ла-*
Корякский »	*-лъ-, -л(-ин), *-л-*
Чукотский »	*-л̭ʹʔ-, -л̭ʹ(-ин), *-л-*
Язык эскимосов Азии	*-лык, -лы-, -л-*
Язык эскимосов Аляски	*-lik*
Язык эскимосов Гренландии	*-lik*

Приведенные факты показывают, что интересующий нас суффикс со значением обладания имеет в современных тюркских и палеоазиатских языках исключительно широкое распространение — от берегов Средиземного моря на юге до берегов Гренландии на севере. Его начальный консонантный компонент *-л-* во всех сопоставляемых языках тождествен. В общих чертах тождественна и его функция. Примечательно, что в нивхском языке обнаруживается основа глагола *лат-* 'обладать чем-либо', а в юкагирском основа переходного глагола *ли-* 'обладать чем-либо'. Они дают повод полагать, что суфф. *-лы* ~ *-ли* и т. д. в тюркских языках мог развиться от знаменательной, но ныне утраченной основы со значением обладания, либо он достался им только в виде аффикса.

Г. А. Меновщиков первый сопоставил суффикс обладания *-лык* в эскимосском языке с суффиксом обладания *-лы*, *-лык* в каракалпакском, староузбекском и новоуйгурском языках. Он считает, что «эти совпадения, по-видимому, совершенно случайны».[29] Отмечая близость эвенских суффиксов, при помощи которых образуются топонимы, с аналогичными суффиксами в чукотском, эскимосском и в алтайских языках, К. А. Новикова полагает, что они должны иметь один источник.[30] Но как можно представить себе подобный источник? Как праязык? Однако эскимосский и узбекский вряд ли происходят от одного праязыка.

Вероятно, создание общих понятий и выражающих их слов надо приравнять к великим техническим изобретениям древности, которые народы заимствовали друг от друга и разносили в самые дальние углы своего обитания. Абстрактное понятие 'иметь', образовавшееся, по-видимому, из конкретного представления совместности, явилось могучим стимулом развития нового словотворчества. При помощи слова, обозначавшего это понятие, можно было представить себе обладание не только предметом, но и любым признаком. (В этой связи нельзя не вспомнить роли основы

со значением обладания в формировании грамматической категории времени в некоторых индоевропейских языках). Естественно, что такое опорное понятие, облегчавшее словотворчество, человеческое общение и передачу опыта, не могло замкнуться в среде создавшего его народа. Оно неизбежно, подобно техническим усовершенствованиям, должно было восприниматься соседними народами и, таким образом, постепенно распространиться на огромные пространства.

Поскольку трудно представить себе, что эскимосы Гренландии, Северной Америки и крайнего севера Азии могли заимствовать свой показатель обладания у тюркских народов, приходится предположить иное. Вероятно, глагол «иметь» с начальным согласным *л* создали еще какие-то охотники древнего каменного века (может быть, прото-прото-прото-эскимосы), следовавшие с юга Евразии на крайний север. От них-то в результате заимствований и смешений с другими народами и их языками это важное опорное понятие вместе с выражавшим его словом, а затем показателем распространилось по той огромной территории, на которой оно теперь обнаруживается.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Аз. *-лы*∼ *-ли*∼ *-лу*∼ *-лӱ*; тат. *-лы*, *-ле*, *-лач*; чув. *-ла*∼ *-ле*; як. *-лаах*; хак. *-лыг*∼ *-лиг*, *-ныг*∼ *-ниг*, *-тыг*∼ *-тиг* и т. д. — Тюрк. языки.

[2] Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966, с. 8—9, 56—57.

[3] Там же, с. 20, 46—48, 53—54.

[4] Основе *лат-* сахалинского диалекта в амурском диалекте нивх. яз. закономерно соответствует основа *лыт-*, имеющая там значение 'делать что-либо', но не 'обладать чем-либо': *н'и му лытт'* 'я лодку делаю (сделал)'. Видимо, эта основа в амурском диалекте имеет также значение 'сделаться каким-либо', т. е. приобрести какое-то качество: *покулытт'* 'быть горбатым', 'горбатый' и др.

[5] Рассматриваемый *-т-* материально и семантически как-то тяготеет к показателю совместности и обладания в монгольских языках: *-taĭ* ∼ *-tā* ∼ *-tā* ∼ *-tĭ* (Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. М., 1953, с. 173). К монгольскому же тяготеет показатель обладания *-ту-* в кетском языке (Крейнович Е. А. Кетский язык. Языки народов СССР, т. V. Л., 1968, с. 459).

[6] Bogoras W. Chukchee. Handbook of american indian languages. Washington, 1922, p. 712.

[7] Володин А. П. Грамматика ительменского языка. (В печати). Поскольку реликтовый суфф. *-н'-* в ительменском встречается в формах слов со значением качества, нельзя не указать, что при помощи подобного суффикса *-н'э-* в юкагирском образуются основы качественных глаголов (об этом см. ниже, прим. 15).

[8] Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Л., 1947, с. 111, 165—166.

[9] Жукова А. Н. Грамматика корякского языка. Л., 1972, с. 143—144.

[10] Возможность отнесения этой группы слов к категории имени деятеля впервые отмечена в указанной монографии В. Богораза (Chukchee, см. с. 717). Поскольку это указание заключено в скобки и сопровождено знаком вопроса, надо полагать, что оно принадлежит редактору работы Ф. Боасу. Относит эту группу слов к категории имени деятеля и Г. М. Корсаков. Самоучитель нымыланского (корякского) языка. Л., 1940, с. 178.

[11] Жукова А. Н. Грамматика корякского языка, с. 138—139.

[12] Там же, с. 164—165.

[13] Примечательно, что коряк. (и чук.) показатель комитатива преф. *γэ-~γа* совпадает с показателем комитатива суфф. *-γэ* (двойств. ч.), *-γо-* (мн. ч.) в нивх. яз.

[14] Однако в составе сложного суфф. *-лв -л-* может быть показателем органического обладания признаком, точно так же, как и *-т'-* (*-ч-*) в сложном суфф. *т'в-* (*-чв-*): *атӄ-ъ̆-лв-н* 'хромой' и *kэтγу-т'в-н* 'сильный'. Примеры из личных материалов.

[15] Поскольку префиксу коряк. (и чук.) языка в другом языке может соответствовать суффикс (см. прим. 13), допустимо словообразовательный показатель прилагательных — преф. *н-* в коряк. (и в чук.) яз. сопоставить со словообразовательным показателем качественных глаголов (прилагательных) — суфф. *нэ-* в юкагирском языке, который также, по-видимому, выражает значение обладания, ср.: *т'оӡу-нэ-j* 'узкий', 'тонкий' и *т'оӡу-ӡа-рэ-і-м* 'обузил' и т. д. (Крейнович Е. А. Юкагирский язык. — В кн.: Языки народов СССР, т. V. Л., 1968, с. 447). Так как в некоторых тюркских языках и в эвенском *-л-* чередуется с *-н-*, можно предполагать, что юкагирский показатель *-нэ-* генетически восходит к показателю обладания и совместности **-лэ~ -ла- ~ -лы*. Распространение показателя *-н'э- ~ -нэ-* со значением совместности и обладания в нен., юкаг., эвен. и эвенк. яз. может составить тему специального исследования (см.: Крейнович Е. А. Юкагирский язык. М.—Л., 1958, с. 249—250).

[16] Приношу свою благодарность научному сотруднику Института языкознания АН СССР П. И. Иненликею, с которым обсуждены все приводимые здесь примеры по чук. яз. Поскольку в научных работах по чук. яз. используется упрощенная орфографическая транскрипция, затрудняющая установление соответствий с другими языками, мы приводим здесь чукотские слова в фонологической записи по произношению П. И. Иненликея.

[17] Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. М.—Л., с. 384. В чукотском этот разряд слов квалифицируется как имя-причастие.

[18] Возможно, что коряк. показатель *-т'-* (*-ч-*) в *-т'вн* (*-т'въ̆н*) и чук. показатель *-с'-*(*-ч-*) в *-с'ˀэн* могут быть сопоставлены в тюркских языках с показателем *-чы-*, при помощи которого образуются имена существительные со значением имени деятеля (Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования. . ., с. 83—92). Примеры из чук. яз. сообщены мне П. И. Иненликеем.

[19] Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка, с. 358.

[20] Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I. М.—Л., 1962, с. 101.

[21] Там же, с. 50.

[22] Там же, с. 104.

[23] Рубцова Е. С. Материалы по языку и фольклору эскимосов. М.—Л., 1954, с. 172.

[24] Рубцова Е. С. Эскимосско-русский словарь. М., 1971, с. 597.

[25] Рубцова Е. С. Материалы. . ., с. 442; Рубцова Е. С. Эскимосско-русский словарь, с. 604; Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов, с. 224.

[26] Рубцова Е. С. Эскимосско-русский словарь, с. 599.

[27] Богораз В. Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949, с. 75, 86.

[28] Примеры из языка эскимосов Аляски и Гренландии приводятся из работы: Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I, с. 102.

[29] Там же, с. 103. См. также: Меновщиков Г. А. Имена обладания в эскимосском языке. — В кн.: Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 1958, № 11, с. 93.

[30] Новикова К. А. Структурные типы топонимов северо-восточной Сибири. — В кн.: Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973, с. 135.

К. Г. Менгес

ТЮРКСКОЕ IďI 'ГОСПОДИН', НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕФЛЕКСЫ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ И ПАРАЛЛЕЛИ В ДРУГИХ ЯЗЫКОВЫХ СЕМЬЯХ

Более пятидесяти лет назад В. Банг уже писал об «. . . именных основах, распространенных притяжательным суффиксом»,[1] которые выступают главным образом в терминах родства и названиях частей тела, но ни в коем случае не ограничиваются этой областью лексики.

Ниже речь пойдет об одном таком слове: древнетюркском idi, iďi, iďä 'господин, владетель' — и его формах, осложненных притяжательным суффиксом, которые встречаются, помимо упомянутых Бангом южно-сибирских языков (как, напр., в хакасских диалектах притяж. ф. 3 л. ед. ч. ä-zi при дальнейшем изменении: ä-zi-m — притяж. ф. 1 л. ед. ч., ä-zi-ŋ — притяж. ф. 2 л. ед. ч.), также в древне- и среднеосманском. Разнообразные развития, которые получило др.-тюрк. idi в ходе истории в отдельных тюркских языках, были приведены Бангом [2] и М. Рясяненом.[3] Эти данные можно дополнить: др.- и ср.-осм. is, issi наряду с ys (последнее есть у Рясянена), yssy и ejä, ijä, аз. (РО) jäjä, ног. ije, саг. (РО) ī, из новых русских словарей тув. ā̤. Рясянен не упоминает отмеченных М. А. Кастреном форм: койб. eä, караг. ē.[4] Указанные формы (ā̤ и т. п.) в хакасском являются тувинизмами, заимствованными, в свою очередь, из алтайского (ойротского), так как древний инлаутный дентальный давал в хакасском z, а в тувинском d и лишь в алтайском j с последующим его выпадением и стяжением гласных. Направление заимствований должно бы иметь определенное значение для истории религии. Приведенная Кастреном койбальская форма izä 'хозяйка' была бы фонологически ожидаемым соответствием древне- и пратюркскому idi, iďi, idä, но по семантическим соображениям правильно сопоставление Кастрена койб. izä с id'ä 'мать'.[5] Семантически это поддерживается приведенными Кастреном синонимами кач. inej, койб., сойон. enej, по-видимому, вокативными формами от inä, enä 'мать', у Кастрена в койб. кондаковский говор 'сестра отца, жена стар-

шего брата и дяди'. Чувашские формы ĕje (нет у Рясянена), ijĕ, ī (нет у Ашмарина) и ĕjje '(злой) дух' [6] выведены Рясяненом из казанско-татарского, откуда они были заимствованы также в марийский и в обско-угорские (Ряс. ЭС 169). В башк. ejä; [7] в кар. jäsi, притяж. ф. 3 л. ед. ч. jasi-si, выступает не только в говорах Луцка и Трок, но и в крымском говоре (РО III, 337). Рясянен вслед за казахским iā̈ упоминает языки барабинцев, качинцев, койбальцев и кюериков; в казахском, впрочем, интересующее нас слово не двусложно, как может сначала показаться: оно состоит из долгого ā̈ с протезой i; остается неясным, следует ли считать i протетическим также и в формах других перечисленных языков. Радлов дает ā̈ для алт., телеут., леб., шор., саг., койб. и сойон., е для кач., для которого приведена также форма iā̈, а для саг. и койб., кроме того, форма ī, что доказывает не совсем обычное богатство содержания в этой относительно небольшой, но весьма дифференцированной области южно-сибирско-тюркских языков.

В алтайских диалектах Баскаковым записаны формы куманд. ā̈ [8] и в диалекте Йыш-кижи (туба) тоже ā̈.[9] В якутском 3 формы iččі, itči и irči,[10] которые основываются на форме *iti-si, *idi-si, тоже с притяжательным суффиксом 3 л. ед. ч., полностью утратившим свою посессивную семантику. Данная форма очень древняя и была в употреблении раньше, чем общетюркский притяжательный суффикс -si был вытеснен и заменен в якутском суффиксом -ta/-tä. Во всяком случае следует предпочесть предположение о древнем притяжательном суффиксе, нежели о суффиксе имени деятеля -či, принимая во внимание посессивные формы в других языках. Рясянен в качестве второго возможного объяснения (наряду с первым — из idi-si) приводит и такое — из äb-či; последнее совершенно невозможно не только по фонетическим соображениям, но и фактически, так как äbči там, где оно встречается, а именно в Южной Сибири, в виде äpši, äšpi и т. д. означает только 'домохозяйка': уйг., алт., телеут., леб. (РО) äpči в том же значении, коман. äpci (Грёнбек ерčі) 'супруга', каз. epši, шор. äpši (РО I, 923 и след.), койб., сойон., кач. ipt'i, караг. epše, койб. ēpt'i 'старшая жена',[11] хак. ipči 'женщина, жена'.[12] Третья якутская форма irči представляется более редкой, она основана на диссимиляции -tč- > -rč-, что позволяет сделать вывод об альвеолярном качестве t. Диссимиляция этого типа встречается спорадически не только в якутском, но и вообще в алтайских языках, в частности, в тунгусских.[13]

В древних тюркских языках исследуемое слово выступает в следующих формах: в орх. idi (iđi), в уйг. так же наряду с idä/iđä (РО I, 1506 и след.); А. Габен в глоссарии к «Древнетюркской грамматике», помимо перечисленных форм, приводит без указания на источник довольно поздние, принадлежащие уже не только уйгурскому языковому периоду, формы i'ä, iä и igä с тем же знач.; [14] в ДТС приведены ijä из Suv, igä из TT VII и USp,[15] но нет iä и i'ä. У Махмуда Кашгарского есть форма iđi, точно

так же, как в исламских текстах послеуйгурской предчагатайской эпохи, например, в «Нахджу-ль-Фарадис» eđä,[16] iđi в «Нахджу-ль-Фарадис» и в «Хосров и Ширин» и др.; [17] в туркестанском тефсире XII—XIII вв. есть формы iđi и idi, i (следует, пожалуй, читать ī) и более поздняя äjä; только в древнейшей форме iđi это слово имеет значение 'бог', в то время как прочие более поздние формы имеют общеизвестные значения 'господин, обладатель'.[18] Приведенная Фазыловым в качестве неосновной форма iti из Мелиоранского (Ибн Муханна) и Малова (ПДП) объясняется особенностями уйгурской графики, в которой часто происходит замена буквы *далеф* на *тау*. У Ибн Муханны (XIII—XIV вв.) idi 'хозяин', а также 'бог'; этот текст дает иногда d вместо đ, как, например, в idiz 'высокий'=уйг. iđiz, äđiz или еще id- 'посылать' < *ȳđ-, что можно отнести за счет небрежности переписчика. Codex Cumanicus не знает этого слова и употребляет в этом значении чаще всего bej, ср. bejmiz tenri 'наш господин бог', 'Dominus Deus noster'.[19]

В османском с древнейших текстов встречаются две группы форм — одна без стяжений (контракций), в том числе и с посессивными суффиксами, другая со стяжением основы с посессивными формантами во вторичную основу. Во второй группе при этом происходят колебания в отношении палатальности — велярности. Формы первой группы — это äjä, ijä, встречаются в текстах XIV—XVI вв.[20] Формы второй группы встречаются чаще. Сюда относится в ед. ч. issi < *iji-si < *iđi-si (возможно, впрочем, иное объяснение: iđsi < idi-si благодаря ассимиляции согласных после исчезновения гласного среднего слога, без дальнейших промежуточных форм) и во мн. ч. isläri, откуда уже возникла форма ед. ч. is с переразложением суффикса (подробнее: Tar. Sözl. III, 2096—2101).

Преимущественное написание рассматриваемого слова с *сином* указывает на его палатальность, однако в числе производных встречаются и велярные формы: ysuzluq и др. (Tar. Sözl. III, 2101—2103).

Уже выше можно было заметить то отвлеченное семантическое отличие разных форм, которое получило позднее в тюркском др.-тюркское iđi: так, в Тефс. iđi 'господин, обладатель, бог' более поздняя форма i, скорее ī, значит просто 'господин, обладатель' без такого абстрактного значения, как 'властелин, бог', в то время как äjä значит 'господин, обладатель, властелин', но не употребляется в значении 'бог', занимая как бы промежуточное положение (Тефс. 121 и след., 70 и след.). В османском это семантическое различие полностью исчезло уже в XV в.; так, например, в «Истории Ибн Кабира» (XVI в.) issi и äjä употребляются как синонимы (Tar. Sözl. III, 1579). Трудно объяснить, как возникли в османском параллельно велярные формы, но факт, что словари XIX—XX вв. дают предпочтительно ys, ysly и т. д. Определенную роль сыграла наметившаяся этимологическая не-

определенность слова ввиду исчезновения прототипа iđi, что подчеркивается длительным сосуществованием этимологических дублетов äjä/ijä и issi, хотя бы и в качестве двух разных лексем. Можно предполагать также влияние омонима yssy/issi 'теплый, горячий' (< yssy-γ/issi-g от yssy-/issi- 'быть горячим, теплым'), этимология которого еще не ясна (Ряс. ЭС, 137 и след.). В тюркских языках в соседстве не только š, но и s можно наблюдать иногда колебание велярного/палатального качества; это колебание в юго-западных огузских языках связано с тенденцией девеляризации, распространяющейся с запада, хотя в случае с is/ys возобладала обратная тенденция.

Тюркское iđi / iđä является общеалтайским этимоном, который к тому же имеет параллели за пределами алтайской семьи. Прародственным является монгольское eǯen 'господин, властитель', которое объясняется ассимиляцией гласного второго слога в прото-монг. *ädin.[21] Это общемонгольское слово было заимствовано в якутском äǯän, aǯiän 'важный, высокоуважаемый', и здесь оно обладает значением того же ранга, что и слово xān (Пек. 231); затем оно было заимствовано в маньчжурском eǯen, где оно означает 'император'. В телеутском Радлов записал Adän-Qān 'китайский император' (PO I, 850), которое он, без сомнения, правильно выводил в соответствии с его значением из маньчж., монг. eǯen (ср. также Ряс. ЭС, 36); остается только неясным появление -d- вместо -ǯ- — возможно, следует предположить здесь слуховую ошибку: d вместо d′. Иначе трудно объяснить монгольское слово в тюркских языках. В древнеосманском у Юнуса Эмре встречается äǯä со значением 'управитель, великий, впереди идущий', а также 'глава (руководитель), вождь', 'глава дервишей' (Tar. Sözl. III, 1384). Это слово отсутствует в предшествующих томах Tarama Sözlüğü, как и среди более древней османской лексики; оно приводится у Стойервальда как «устаревшее и соответственно диалектное» в значении 'королева; пожилой человек, старик; старший брат'.[22] В радловском словаре это слово указано только для османского 'старик, пожилой человек' (PO I, 865). Высокий стиль выражения у Юнуса Эмре мог бы натолкнуть на мысль о заимствовании этого слова из монгольского, если бы это же наблюдалось и в других тюркских языках, например в чагатайском, но мне кажется, что османское слово все же связано с обозначением какого-то родства или преклонного возраста людей, как, вероятно, орх., уйг. äči в значении 'что-то вроде пожилого родственника-мужчины' (ДТС, 162), а не женщины, как äǯä, äǯi у Махмуда Кашгарского и в радловском словаре.

Тюркский этимон был заимствован в южносамодийский камасинский: eje, äje 'господин, хозяин дома; дьявол, дух'.[23] Либо это слово относительно рано проникло из тюркского в южносамодийский, сохранивший лишь скудные остатки, причем это произошло еще прежде, чем южносибирско-тюркские языки разделились на три, ныне обособленные группы, и древнетюркское d,

đ в этимоне еще не перешло в j, z или d, либо было заимствовано позднее из алтайского (уже после разделения на три группы) как в хакасские диалекты, так и в тувинские.

Данное монгольское слово проникло в тунгусские языки уже ко времени чжурчженьской династии Цзинь (1115—1234) и выступает там в несколько необычной форме o-žan (~ ȇ-žän для *äǯän или *äǯān).[24] Затем это монгольское слово из южно-тунгусского, чжурчженьского или маньчжурского, было заимствовано уже в другие тунгусские языки: нан. ȇǯin 'господин, мужчина, глава семьи, царь, король', которое контаминировалось, как показывают гласный второго слога и значение 'мужчина' с исконно тунгусским словом ȇǯi 'хозяин дома, глава семьи, супруг'; в ульчском монгольское заимствованное слово имеет значение 'господин, хозяин, властелин, царь' без контаминации значений с собственно тунгусским ȇdin 'супруг',[25] чему воспрепятствовала и большая, чем в нанайском, звуковая разница — звуки di не смягчились до ǯi/ǯi. Точно так же обстоит дело в эвенкийском, в котором монгольское заимствование ȇǯēn значит 'господин, хозяин', а собственно тунгусское ȇdī все же 'супруг' (и отсюда же, конечно, 'глава семьи'); Василевич[26] и Цинциус[27] не обнаружили заимствованного характера слова ȇǯēn, как показывают их сопоставления этого слова с собственно тунгусскими формами в других языках. Кастрен не отмечает во втором слоге долготы: Urulga ȁǯän,[28] то же и Титов: Kindigir, Bultogir, Ňerča eǯen, İmurčen oǯen 'хозяин вообще; лесной хозяин тайги'.[29] Долгота второго слога отчетливо выступает в параллельной якутской форме äǯiän, которая находится в тесной связи с эвенкийской ȇǯēn. Долгота, а отсюда и иное качество гласного или же вообще иное качество гласного могли послужить основанием для передачи второго слога в чжурчженьской форме китайским žan 然.[30] Для среднекитайского Б. Карлгрен устанавливает чтение этого иероглифа ńźi̯än, а для древнекитайского *ńi̯an.[31] В японском этот иероглиф читается как zen и nen.[32] Следует, пожалуй, установить, что и монг. *eǯēn происходит из прамонгольского *edīn, с долготой гласного во втором слоге, как это совершенно отчетливо имеет место в северо-тунгусских примерах эвенк., эвен. ȇdī.

Собственно тунгусский прародственный этимон не был выведен А. Йоки[33] и не был замечен Рясяненом (Ряс. ЭС, 169); этот этимон *ȇdi(n) выступает в эвенк., эвен. в виде ȇdī, сол. ȇdi, негид. ȇdi, ȇdiẖi, нан. ȇǯi, ульч. ȇdin; в уд. пока зафиксировано лишь ȇǯȇ 'царь, дух-хозяин',[34] монгольское заимствование в орокском ȇdȇ 'хозяин, начальник, вождь' восходит к монгольской форме eǯen, что опирается как на соображения семантики, так и на фонетические доводы: общетунгусское ǯ в орокском обычно представлено звуком d; как уже отмечено выше, в некоторых тунгусских языках выступают обе формы — собственно тунгусская и монгольское заимствование с пересечением семантики, как это вытекает из примеров Цинциус и Василевич.

В корейском, японском и рюкюском как будто нет родственных форм. Рамстедт посчитал монг. и маньчж. eǯen происходящим из сино-корейского e̤-žje̤n (=ĕ-žjĕn) 'королевское присутствие, перед королем, приближенный, правитель' и при этом правильно отделил его от собственно тунгусского, которое определил как «вероятно, идентичное тюркскому *idä, idi».[35] Йоки идет дальше и видит в первом компоненте корейского образования кит. (мандаринское) waŋ 'властитель, король', а во втором — žĕn 'мужчина, человек'. Однако waŋ-žĕn 王人 в Юань-чао-би-ши, как и в чжурчженьском словаре Грубе, является просто китайской передачей монг. eǯen и чжурчж. o-žan.[36] Предполагаемый Рамстедтом корейский прототип не мог бы восходить к кит. wan-žen, поскольку, во-первых, сочетание -aŋ в кор. не переходит в ō или ĕ, а сохраняется (ср.: кор. waŋ, vaŋ < кит. waŋ 'князь', кор. tä-jaŋ < кит. ḏa jaŋ, t'aj jaŋ 'великий океан') и, во-вторых, кит. žen представлено в кор. in, т. е. в целом кит. waŋ žen должно звучать в кор. как waŋ-in, но не как ĕ-ǯjĕn. И все же если считаться с возможностью того, что в основу формы, указанной Рамстедтом, положена какая-то иная, омонимичная или близкая по звучанию китайская форма или даже китайская транскрипция монгольского eǯen, то и тогда тезис Рамстедта оказывается непрочен. Рясянен передал без изменений это положение, вот почему в его «Этимологическом словаре» сино-корейское слово приводится как исконно родственное.

В уральских языках рассматриваемый этимон имеется, по-видимому, лишь в архаических самодийских; Кастрен записал его в ненецком в формах jeru, jieru, jerwu 'хозяин, господин, судья, вождь';[37] так, например, jid'ieru, jid'eru 'хозяин воды', т. е. 'дух-хозяин воды' от ji' 'вода' (в говоре конда wit).[38] Мне не известно, встречается ли еще это слово в самодийских или финно-угорских языках. Его нет у Коллиндера.[39] Из южносамодийских камасинский заимствовал из алтайского (ойротского) упоминавшуюся выше форму eje, äje.

То же, что и в самодийских языках, соответствие по ротацизму алтайскому интервокальному -d-/-đ- выступает в дравидийских языках, которые в этом отношении стоят ближе к уральским, нежели к алтайским: тамильское iṟai 'некто великий (напр., или отец, или гуру, или кто-то известный), хозяин, глава, старший брат, супруг, король, верховное божество, верх, голова', iṟaijavaṉ 'глава, божество', iṟaijāṉ 'Шива', iṟaivaṉ 'божество, глава, хозяин, супруг, почтенный человек'; малаялам. iṟān, rān 'государь' (при обращении к князю), в языке каннада eṟe 'состояние бытия, хозяин или супруг, хозяин', eṟeja 'хозяин, король, супруг', в телугу eṟa 'сеньор' (Неллорская надпись 7—8 вв.), ṟēḍu 'король, сеньор, хозяин, супруг',[40] где семантическое соответствие с алтайскими и уральскими совершенно удовлетворительно. Согласно Цвелебилю, обще- и прадравидийскому ṯ (альвеолярному t) близок звук ṟ (альвеолярный r).[41]

Помимо этих трех родственных друг с другом в далеком прошлом языковых семей — алтайской, уральской и дравидийской, выразительно обозначенных В. М. Илличем-Свитычем и его последователями как восточно-ностратические, нет явных следов интересующего нас этимона. И все же следует указать на латинское ērus в пределах западно-ностратических (индоевропейские, семито-хамитские и картвельские). Однако оно, по Вальде—Хофманну, является «архаическим словом неопределенного происхождения», и справедливо отклоняются различные попытки объяснять это слово из индоевропейского.[42] Также неопределенно, хотя все же, вероятно, относится сюда же галльское Ēsus, Aesus 'Главное божество галлов'. Вот почему следует предположить, что латинское слово и, возможно, также галльское происходят, по-видимому, из какого-то доиндоевропейского субстрата, т. е. для латинского это скорее всего этрусский, а для галльского — один из родственных средиземноморских субстратных языков, таких как тирренский, лигурийский или протобаскский, что при нынешнем состоянии и незначительности успехов изучения доиндоевропейских языков Средиземноморья не может быть решено в скором будущем.

Кстати, немецкое Herr 'господин' (с производными herrschen, Herrschaft, herrlich и т. д.) не имеет надежной этимологии. Как установили Клюге, Ширмер и Мицка, это слово в VIII—IX вв. ощущалось как компаратив к древневерхненемецкому и древнесаксскому hēr, нововерхненем. hehr, этимологию которого они видели в общегерманском *haira- 'серый' > индоевроп. *k̂oi̯ro- / *k̂ei̯ro- (> церковнослав. сѣръ),[43] однако указанное ощущение не может быть оценено иначе как пример народной этимологии. Уже в IX в. немецкое слово появляется в Англии в форме hearra и позднее в форме herra в Скандинавии. Вероятно, и за этим словом скрывается доиндоевропейский этимон.

Таким образом, мы уже оказываемся за пределами западной границы ностратического. Однако за восточным краем этой огромной языковой семьи есть слово, которое определенно относится сюда: нивх. ys, восточно-сахалинский диалект yzŋ 'хозяин' во всех значениях, в особенности анимистическо-шаманистского характера, например tol ys 'дух моря', pal ys 'дух леса и гор', la ys 'дух ветра', t'uγ̇r ys 'дух огня' (к слову t'uγ̇r ср. тунг. toγo, уральское финское tuli, самодийское tu, tū, tuj;[44] данное нивхское слово, по мнению Боуды, заимствовано из тунгусского,[45] что ввиду наличия в нивхском дериватов нуждается в дальнейшем обосновании), tly ys 'дух неба'.[46] Большое значение для шаманистического представления огня и его духа, так же как и для жертвоприношений и поклонений духу огня, имеют технические термины с t'uγ̇r, t'ūr, восточно-сахалинское t'uγ̇ř.[47] Боуда рассматривает нивхское ys как заимствование из «монгольско-тюркского»[48] и приводит в качестве источника тюркское es 'господин, обладатель', которое нельзя рассматривать как общетюрк-

скую форму. Если нивхское слово заимствовано из тюркских языков, то тогда встает вопрос, из какого именно тюркского языка и когда? На последний вопрос нельзя ответить, так как отсутствуют исторические тексты на нивхском языке. Заимствование могло быть либо древним, тогда оно восходит к форме idi, iđi, iđä, либо оно было более поздним, — но едва ли слишком поздним, — и тогда в качестве единственного контактного языка из числа тюркских пришлось бы привлечь лишь весьма своеобразный якутский с его формами itči, ičči, irči < *iđi-si, что с точки зрения фонетики едва ли может быть обосновано — разве только предположить такое же развитие (веляризация палатального слова), как в османск. is/ys. По-видимому, здесь устанавливается соответствие нивхского s древнетюркскому đ, как и в нивхском jes 'вещь, товар' (амурский диалект), которое Боуда ошибочно возводит к тюркскому iš, eš, äš 'дело, работа, занятие, вещь'.[49] Значение нивхского слова могло бы соотноситься с тюркским yš, iš, i̯š, но не с eš, äš, которое значит 'товарищ'. Если нивхское jes — заимствование из тюркских языков, оно должно восходить к совершенно иной тюркской форме: *ǟđ, др.-тюрк., уйг. äd, äđ, койб. es, саг., койб. (РО) es 'товар, добро, ценная вещь', хак. is 'товар, богатство', койб., саг. (РО) īs в том же значении, пожалуй, еще шор. (РО) äs 'женский наряд'; у Рясянена (ЭС 35) этому слову соответствует статья 2. äđ, однако по показаниям сибирских форм ēs и īs здесь можно восстановить долготу: *ǟđ/*ēđ. Упоминаемое Рясяненом значение 'дубленая кожа' скорее относится к 1. *äđ. Приводимое Рясяненом монгольское ed является тюркским заимствованием, вероятно, из уйгурского. В обоих рассмотренных здесь нивхских словах наличествует, таким образом, s < тюрк. đ. Поскольку в словаре Пекарского отсутствует слово, эквивалентное тюркскому äđ/*ǟđ, и поэтому, можно думать, его нет в якутском языке, проблема заимствования в данном случае решается гораздо труднее, чем со словом ys 'господин'. Но решение ее становится гораздо проще, если считать заимствование древним, ибо тогда в качестве контактной области следует предположительно считать верховье Амура, в котором наиболее западные нивхские племена соседствовали с наиболее восточными тюркскими, скорее всего уйгурскими, племенами, прежде чем тюрки отселились на запад, а тунгусы были оттеснены в северо-восточную Маньчжурию.

Обе нивхские формы в фонетическом отношении напоминают енисейские формы: кетское ēs, мн. ч. ēseŋ, коттское ēš, мн. ч. ēčán 'небо, бог', ēškan 'русский царь'.[50] Учитывая коттскую форму, можно было бы восстанавливать ауслаут в виде -č. Следовательно, здесь -s и -š/-č соответствуют алт. -d-, тюрк. -d-/-đ-. Так как мне нечего больше прибавить к приведенному материалу ни из одного из пяти ныне известных енисейских языков, то вряд ли можно с достаточным основанием утверждать, что это слово в енисейских языках является алтайским и скорее тюрк-

ским заимствованием, и сказать что-либо определенное о времени этого предполагаемого заимствования. Данное сопоставление весьма ненадежно по семантическим соображениям, так как значение 'обладатель, господин', кажется, отсутствует, и ни в каких других языках не зафиксирована идентичность значения 'господин', т. е. 'дух-обладатель', и значения 'небо'.

В чукотско-камчатских языках обращает на себя внимание корякское (нымыланский диалект) ĕtynvyɫγyn 'хозяин',[51] которое в корневой части весьма напоминает алтайский этимон, однако материала для сравнения недостаточно, поэтому я не могу здесь высказать каких-либо предположений.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Bang W. Vom Köktürkischen zum Osmanischen, 4. — APAW, 1921, N 2.

[2] Там же, § 3, с. 5; здесь же дается ссылка на KSz XVIII, 6.

[3] Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türksprachen. Helsinki, 1969 (далее в тексте: Ряс. ЭС), S. 169.

[4] Castrén M. A. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre. SPb., 1857, S. 80.

[5] Там же, с. 84.

[6] Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. I—XVII. Казань—Чебоксары, 1928—1950 (далее в тексте: Ашм), III, 84—87; IV, 97.

[7] Башкирско-русский словарь. М., 1958, с. 677.

[8] Баскаков Н. А. Диалект кумандинцев (Куманды-Кижи). Грамматический очерк, тексты, переводы и словарь. М., 1972, с. 276.

[9] Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба-кижи). Грамматический очерк и словарь. М., 1966, с. 171.

[10] Пекарский Э. К. Словарь якутского языка, I—III. СПб.—Пг.—Л., 1907—1927 (далее в тексте: Пек.); см.: Пек., 987, 989 и след., 958 и след.

[11] Castrén M. A. Versuch. . ., S. 84 и 81.

[12] Баскаков Н. А., Инкижекова-Грекул А. И. Хакасско-русский словарь. М., 1953, с. 62.

[13] Цинциус В. И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949, с. 229 и след.

[14] Gabain A. Alttürkische Grammatik. 2 Aufl. Leipzig, 1950, S. 310.

[15] ДТС, с. 204—205; там же на с. XXI и след. см. расшифровку условных сокращенных обозначений памятников.

[16] Фазылов Э. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. Т. I. Ташкент, 1966, с. 163 и след.

[17] Там же, с. 410.

[18] Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963 (далее в тексте: Тефс.), с. 122, 121, 70 и след.

[19] Grønbech K. Komanisches Wörterbuch. København, 1942, S. 54.

[20] XIII. yüzyildan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü, I—IV. Ankara, 1963—1969 (далее в тексте: Tar. Sözl.), см.: Tar. Sözl., III, 1575.

[21] Poppe N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, т. I. Wiesbaden, 1960, S. 53, 105, 137, 157.

[22] Steuerwald K. Türkisch-Deutsches Wörterbuch. 1972, S. 255.

[23] Joki A. J. Lehnwörter des Sajansamojedischen. — MSFOu, 103, S. 125.

[24] Grube W. Die Sprache und Schrift der Jučen. Leipzig, 1896, S. 97.

[25] Петрова Т. И. Ульчский диалект нанайского языка. Л., 1936, с. 121.
[26] Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958, с. 547.
[27] Цинциус В. И. Сравн. фонетика. . ., с. 289 и 331.
[28] Castren M. A. Grundzüge einer Tungusischen Sprachlehre nebst Kurzem Wörterverzeichniss. SPb., 1856, S. 73.
[29] Титов Е. И. Тунгусско-русский словарь. Иркутск, 1926, с. 112.
[30] Grube W. Die Sprache und Schrift. . ., NN 331, 792.
[31] Karlgren B. Grammatika serica, script and phonetics of Chinese and Sino-Japanese. Stockholm, 1940, N 217.
[32] Лейферт А. А. Словарь наиболее употребительных в современном японском языке иероглифов. М.—Л., 1935, с. 120, № 1300.
[33] Joki A. Lehnwörter. . ., S. 125.
[34] Шнейдер Е. Р. Краткий удэйско-русский словарь. М.—Л., 1936, с. 31; см. также: Цинциус, Сравнит. фонетика. . ., с. 289, 331.
[35] Ramstedt G. J. Studies in Korean Etymology. Helsinki, 1949, p. 57.
[36] Haenisch E. Wörterbuch zu Mangḫol-un Niuca Tobca'an. Leipzig, 1939, S. 42; Grube W. Die Sprache und Schrift. . ., NN 331, 792.
[37] Castren M. A. Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Sprachen. SPb., 1855, S. 13, 255.
[38] Там же, с. 38.
[39] Collinder B. Fenno-ugric vocabulary. An etymological dictionary of the uralic languages. Stockholm, 1955.
[40] Burrow T. and Emeneau M. B. A Dravidian Etymological Dictionary. Oxford, 1961, N 448.
[41] Zvelebil K. Comparative Dravidian Phonology. Haage—Paris, 1970, p. 94; см. особенно § 1.23.1 о развитии **r** в тамильском, малаялам, каннада, тода, телугу и гонди < прадравидийского ***t**.
[42] Walde A.—Hofmann J. B. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1930, B. I, S. 419.
[43] Kluge F., Schirmer A. und Mitzka W. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17 Auflage. Berlin, 1957, S. 305, 296.
[44] Castren M. A. Wörterverzeichnisse. . ., S. 220; Collinder B. Fenno-ugric. . ., S. 63.
[45] Bouda K. Die Verwandtschaftverhältnisse des Ostjakischen. — Antropos, LV (1960), p. 402, N 53.
[46] Савельева В. Н. и Таксами Ч. М. Нивхско-русский словарь. М., 1970, с. 466.
[47] Там же, с. 384.
[48] Bouda K. Die Verwandtschaftverhältnisse. . ., S. 406, № 137.
[49] Там же, № 136; Савельева В. Н. и Таксами Ч. М. Нивхско-русский словарь, с. 80.
[50] Castren M. A. Wörterverzeichnisse. . ., S. 160, 200.
[51] Жукова А. Н. Русско-корякский словарь. М., 1967, с. 619.

Перевод с немецкого И. В. Кормушина

Д. М. Насилов

ЕЩЕ РАЗ О ВИДЕ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(К ИСТОРИИ ВОПРОСА)

В настоящее время мысль о том, что в тюркских языках вид не обнаруживается как отдельная грамматическая категория, самостоятельно бытующая вне системы видо-временных форм глагола, становится в отечественной тюркологии господствующей. «Отсутствие видов в тюркских языках компенсируется не только богатой системой времен, но и наличием широко разветвленной системы способов действия (Aktionsart), которые обычно принимают за виды исследователи тюркских языков».[1] Действительно, в тюркологии в течение многих лет видом, как правило, именовали любые характеристики протекания действия (так называемый «вид в широком смысле»), но это по преимуществу те характеристики, которые ныне в аспектологии без колебаний относятся к способам глагольного действия; там же, где указывалось на совпадения с русским видом или даже на видовое различие тюркских глагольных основ, речь фактически должна идти о предельных/непредельных значениях конкретных тюркских глагольных лексем, либо о контекстуальном выражении достигнутости/недостигнутости предела действия, либо о видовых оттенках видо-временных форм.

Современные аспектологи, обычно признавая вид (Aspekt) грамматической категорией, четко отличают его от способа глагольного действия, а также от предельности/непредельности действия.[2] Различение этих основных, фундаментальных понятий аспектологии, разнящихся уровнем грамматической абстракции, грамматикализованности, есть необходимое условие достоверного описания аспектуальных средств языка. Способы действия «лексичны» по своему содержанию и определяются как семантические разряды, или группировки, глаголов (с формальными показателями или без них), выделяемые на основе общих характеристик развертывания и протекания действия. Способы действия, модифицируя значение глаголов, «остаются в рамках лексических различий между глаголами».[3] Оппозиция предельность/непредельность глагольного действия, семантически более абстрактная, чем способ действия, и характерная, видимо, для широкого круга

языков, опирается на представление о достижении (стремлении)/недостижении некоего предела данного действия, который является естественной границей этого действия.[4] Распределение глаголов на предельные и непредельные есть семантическая операция, основанная на анализе их значений. Учет этой семантики необычайно важен и для тюркских языков, поскольку она играет здесь значительную роль в организации аспектологического контекста.[5]

История разработки проблематики вида в тюркских языках изложена с разной степенью полноты в ряде работ,[6] однако представляется целесообразным еще раз вернуться к этому, чтобы посмотреть, как трактовались в тюркологии указанные выше аспектологические понятия. Ограниченность объема статьи дает возможность остановиться лишь на некоторых, интересных с этой точки зрения, исследованиях.

В дореволюционных тюркологических работах вопрос о категории собственно тюркского вида, как правило, не поднимался, хотя в них описывались отдельные способы действия тюркского глагола, иногда указывалось видовое содержание некоторых временных форм или излагались средства передачи в тюркских языках частных значений русских аспектуальных форм. Однако сам термин «вид» употреблялся уже давно для обозначения ряда производных форм тюркского глагола, причем с разным содержанием, которое часто и не связывалось с существовавшим тогда представлением о русском виде. Можно сослаться на известную «Грамматику алтайского языка», где «видовыми» названы, с одной стороны, формы глагола, передающие возвратность, страдательность, совместность, а с другой — показывающие «положения действия»: глагол в алтайском языке «сам по себе не означает положения действия, т. е. начала, оконченности и т. п. . . . Положение действия определяется сочетанием глагола с деепричастием».[7] Среди описанных авторами «положений» укажем следующие: 1) начало действия и его дальнейшее продолжение, иногда с постепенным развитием и усилением: *іче берділер* ʻстали пить’; 2) действие в процессе совершения: *санарҕап jӱрдім* ʻя скорбел’; 3) совершенное исполнение действия: *ӧлӱп парды* ʻон умер’; 4) начало действия-движения в известном направлении: *оодып ійді* ʻон разбил’. Авторы грамматики включили специальный отдел «Способ выражения по-алтайски русских видов и глаголов сложных с предлогами», отметив, что аналитические формы глагола «между прочим, выражают те понятия, для которых в русском языке существуют виды глаголов и сложные с глаголами предлоги».[8] Для передачи русских приставочных глаголов используются сочетания глаголов, разлагающие действие на составные элементы типа ʻприходил=пришел+ушел’ — *келип парҕан*, ʻотнеси=взять+идти+дать’ — *алып парып пер*. Что касается последнего указания, а также упоминаемых «положений действия», то их следует рассматривать как описание отдельных спо-

собов действия, находящих в алтайском языке (собственно в телеутском его диалекте, на базе которого написана грамматика) специальное выражение на морфолого-синтаксическом уровне. Интересно отметить, что ни в этой грамматике, ни в других исследованиях, касающихся данной проблемы, авторы обычно не обращаются к описанию иных средств (кроме сочетаний с вспомогательными глаголами, отдельных аффиксов), в том числе и лексических, которые могут быть использованы в тюркских языках для характеристики протекания действия. Видимо, данное обстоятельство объясняется той исходной точкой поисков соответствий, которую обычно задает русский язык, широко использующий для этих целей префиксально-суффиксальные средства.[9]

«Грамматика алтайского языка» оказала определенное влияние на последующие описания тюркских языков и в плане дальнейшей трактовки аналитических глагольных конструкций со значением способов действия глагола. П. М. Мелиоранский считал, что в казахском языке глаголы не передают значений совершенности, несовершенности, многократности действия, которые присущи русским видам, однако различные оттенки действия в этом языке могут передаваться с помощью сочетаний специальных глагольных форм, например: стремительный приступ к действию (*ķаша бер* 'пускайся в бегство'); частое повторение действия (*џаза береді* 'он часто пишет'); длительность действия (*kele џатыр* 'он приближается'); совершенное окончание действия (*џеп ķоідy* 'он съел без остатка').[10] Он отмечал также, что употребление таких форм часто индивидуально и оттенки значений, передаваемых ими, трудно определяемы. Как видно, для П. М. Мелиоранского проблемы вида в тюркских языках, собственно, не существовало.

Нет какого-либо специального отдела о виде или о передаче оттенков протекания действия и в известной «Грамматике якутского языка» акад. О. Бётлингка, хотя автор в разделе о глаголообразовании рассматривает, например, форму интенсива, которая образуется при помощи аффиксов *-ыт*, *-тā*, *-аттā*, *-талā*, *-ыталā*, *-алā*, *-ыалā*, *-лā*, *-ылā* и может передавать усиленное действие, продолжающееся непрерывно или с небольшими перерывами в некий отрезок времени, а также распределенное по отдельным объектам или между несколькими субъектами.[11] В якутско-немецком словаре, приложенном к Грамматике, при отдельных глаголах указывается их роль в качестве вспомогательных в составе аналитических форм, например «*ыл*, *ылабын* 'брать; приобретать' . . . показывает, что агенс довел действие до цели или завершения и благодаря этому стал обладателем объекта. В немецком языке обычно в таких случаях употребляется производный (zusammengesetztes Verb) глагол с er-, ein- или aus-».[12]

Таким образом, в известнейших и авторитетных старых грамматиках тюркских языков так или иначе затрагивались вопросы передачи в них различных характеристик протекания глагольного

действия и описывались некоторые синтетические и аналитические средства их реализации в конкретном языке. При этом авторы, как правило, не поднимали вопроса о виде в тюркских языках.

Проблемы тюркского вида особенно стали волновать тюркологов в период развернувшегося в Советском Союзе языкового строительства. В это время начали создаваться учебники русского и родных языков для нерусских школ, разрабатывалась методика преподавания этих языков, возникла задача объяснения тюркскому учащемуся понятия о совершенном и несовершенном видах русского глагола. В связи с этим и в тюркологической литературе все большее место уделяется вопросам вида, появляются специальные исследования. Видимо, тогда в тюркологии и формируется направление, которое основное внимание обращает на выявление в тюркских языках аналогии совершенному и несовершенному видам русского языка. В тюркских грамматиках и учебниках становятся употребительными термины «вид», «многократный вид», «начинательный вид» и даже «совершенный (или несовершенный) вид». Незаметно представление о русских видах начинает переноситься на тюркские языки, причем с самого начала тюркские «виды» стали связываться прежде всего с формами способов действия, а также и с отдельными временными формами, берущимися изолированно от всей видо-временной системы тюркского глагола.

А. К. Боровков в свой учебник ввел параграф «Понятие о видах глагола в уйгурском языке».[13] Он связывал вид с представлением о характере протекания действия, которое может быть длительным/недлительным, повторяемым/неповторяемым, законченным/незаконченным, но описал в уйгурском языке формы, несущие значение только отдельных членов выделенных противопоставлений: формы многократного вида, совершенного и несовершенного. Термин «совершенный вид» А. К. Боровков относил к аналитическим формам, выражающим значение законченности, завершенности. В этих формах вспомогательный глагол привносит новый лексический оттенок, «описывая как бы характер самого действия, его направление». Казалось бы, что исходный глагол должен быть несовершенного вида, но автор указывает, что сам уйгурский глагол не несет в себе значения вида. Таким образом, с одной стороны, А. К. Боровков относил «вид» к сфере временных форм (многократный, время на *-р* и на *-р+эди*), с другой — к сфере словообразования («каждый раз новый оттенок значения»), при этом, естественно, «совершенный» и «несовершенный» вид (который у автора нигде не толкуется) оказались несоотносительными образованиями.

Как отметил Б. А. Серебренников, на течение, признающее наличие в тюркских языках глагольного вида, оказали также влияние идеи В. А. Богородицкого.[14] С точки зрения В. А. Богородицкого, «в тюркских языках категории глагола в значительной мере аналогичны с русским глаголом (залог, вид,[15] наклоне-

ние, времена, числа и лица), но они выражаются в значительной мере своеобразно, соответственно основному характеру этих языков — агглютинативно-постпозиционному, именно суффиксами и отчасти вспомогательными глаголами (некоторые категории вида)».[16] Отдельными тюркологами эти слова были поняты слишком прямолинейно, причем было неправомерно расширено и само представление В. А. Богородицкого о русских видах. Это можно видеть, например, в таких словах А. И. Харисова, исследователя видов в башкирском языке: «Категория глагольных видов в башкирском языке, как и другие грамматические категории, образуется иным способом, органически вытекающим из присущего тюркским языкам агглютинативного строя».[17] Не случайно, что в центре внимания исследователей оказываются преимущественно аналитические образования или конструкции, структурно состоящие из сочетания деепричастной формы основного глагола с различными формами вспомогательного глагола и модифицирующие действие в плане указания на характер и особенности его протекания. Эти аналитические образования (наряду с некоторыми аффиксами) начинают рассматриваться как основные средства выражения «тюркского вида».

Вопрос о видах затронул в своей грамматике башкирского языка Н. К. Дмитриев. Вид он относил к словообразованию глагола и связывал его с количественной модификацией основного глагольного действия.[18] Н. К. Дмитриев отмечал, что между тюркскими и русскими видами имеется значительная разница, поскольку значения совершенности (или законченности) и несовершенности (или незаконченности и повторяемости) выражаются в языках неодинаково и в тюркских они различаются только в отдельных формах времени и в некоторых синтетических образованиях (например, с аффиксом *-ҕыла*). В аналитических же формах вида выражается ускорение и ослабление действия, переход действия в состояние, начало и конец действия, законченность действия в пользу другого лица, неожиданность действия, продолжительность действия и др. Грамматическая концепция Н. К. Дмитриева тоже оказала большое влияние на дальнейшее исследование строя тюркских языков. В частности, классификация тюркских видов по вспомогательным глаголам заняла прочное место почти во всех последующих работах по виду. К сожалению, его замечание о том, что тюркским видам в русском языке следует искать только семантические параллели, прошло как-то незамеченным, и, наоборот, многие ориентировались как раз на поиски в тюркских языках полной аналогии совершенному и несовершенному виду. Может быть, этому способствовало употребление таким авторитетным, крупнейшим советским тюркологом, каким был Н. К. Дмитриев, терминов «несовершенный, совершенный и многократный вид» в отношении башкирского глагола.

В. М. Насилов, исходя из формулировки И. И. Мещанинова, понимавшего вид как характеристику процесса самого действия,

рассматривал глагольные образования, которые «именуются тюркологами как явления вида» тюркских глаголов.[19] Он пришел к выводу, что сочетания с вспомогательными глаголами имеют два различных круга значений: первые показывают пространственную характеристику действия, вторые «приобретают значение видовой категории в других языках», передавая развитие действия как такового. Последний тип значений связывался им с особой функцией вспомогательных глаголов, когда вся аналитическая конструкция служит выражению скорее нового грамматического значения, чем нового лексического. Разделение двух типов значений было важным моментом, так как это соответствует делению способов действия на возникающие в результате словообразования и на проявляемые у глаголов в пределах одного лексического значения. Эта статья В. М. Насилова была одной из первых работ, где ставилось под сомнение существование в тюркских языках видов, аналогичных русским совершенному и несовершенному видам, как грамматических категорий; правда, автор недостаточно четко и полно аргументировал свои положения.

Большой интерес вызывают взгляды А. А. Юлдашева на сущность категории вида в тюркских языках, развиваемые им в ряде работ.[20] Он справедливо считает, что изучение тюркского вида осложняется различным подходом каждого автора к данному явлению, терминологической непоследовательностью, односторонней направленностью отдельных исследований. При этом автор выдвигает требование, имеющее, с нашей точки зрения, принципиально важное значение для данной проблемы, а именно — строго различать среди синтетических и аналитических образований те, которые являются словообразовательными или модальными, и те, которые имеют отношение к характеру протекания глагольного действия. В понимании вида А. А. Юлдашев исходит из понятий совершенности/несовершенности: для первого значением является «категорическое указание на предел или результативность», для второго — «отсутствие указания на предел». Данные значения он относит к грамматическим значениям видовых форм. Устанавливается также, что лексические значения в этом случае сводятся к уточнению характера протекания действия в пространственном, временном, количественном и других отношениях. А. А. Юлдашев выделяет следующие разряды таких характеристик: 1) интенсивность, 2) начинательность, 3) законченность, 4) длительность, 5) достижение конца действия, 6) кратность.[21]

Таким образом, у А. А. Юлдашева получается довольно стройная концепция вида в башкирском языке: «видовые» аналитические формы имеют, с одной стороны, лексическое значение, связанное с характером протекания действия, а с другой — грамматические значения совершенности/несовершенности, причем последние могут выявляться и у простых глагольных основ.

Если к этой концепции подойти из приведенных выше положений современной аспектологии, то можно увидеть, что, говоря

о лексическом значении аналитических форм, автор говорит о выражении способов действия в башкирском глаголе (их он устанавливает 6). Исходя из понятия предела при определении «совершенного и несовершенного вида», А. А. Юлдашев фактически говорит о делении всех глаголов на предельные и непредельные. Если же принять во внимание, что такое деление является языковой универсалией (Ю. С. Маслов, А. А. Холодович), то оно оказывается приложимым и к тюркским языкам, в частности к башкирскому.

Признание в башкирском языке предельных и непредельных глаголов (в терминах А. А. Юлдашева — глаголов совершенного и несовершенного вида, позже — перфективных и имперфективных, или со значениями законченности и незаконченности) по-новому осветило проблему тюркского «вида». Образование способов действия может одновременно видоизменять предельность, а это проявляется в сфере словоизменения, в частности функционирования временных форм. Стремление автора увязать особенности функционирования аналитических образований с явлением предельности/непредельности и объяснить через это своеобразие конкретных образований в отдельных тюркских языках является дальнейшим шагом вперед в изучении аспектологической проблемы в тюркологии и относится к значительным достижениям автора.

Б. А. Серебренников считает вид грамматической категорией, поэтому он полагает, что для ее признания в каком-либо языке необходимо тотальное распространение видовых формантов, приводящее к возникновению видовой оппозиции. «Видов в тюркских языках нет. Сочетания деепричастий с вспомогательными глаголами хотя и обладают видовым значением, но не образуют категории грамматического вида, поскольку завершенность или длительность действия в них всегда осложнена дополнительным оттенком. Глаголы, сочетающиеся с различными вспомогательными глаголами, можно было бы назвать видовыми классами, но не видами».[22] Эти образования, «не имея тотального распространения, явно тяготеют к образованиям лексического порядка». Графически видовые классы Б. А. Серебренников представляет в виде кругов различного размера, сопoложенных друг с другом.[23] Если сравнить данное им выше определение видового класса с определением способа действия, то можно увидеть, что они фактически совпадают, даже в плане противопоставленности категории вида.

Наряду с приведенными выше точками зрения, согласно которым в тюркских языках прежде всего выявляются связанные с лексическими значениями глаголов характеристики протекания действия, а категория вида либо вообще для этих языков отрицается, либо увязывается с представлением о предельности действия, но, во всяком случае, ясно противопоставляется способам действия, в тюркологии представлено также и направление, не проводящее такого различия, когда любые особенности протекания

действия определяются как видовые. Такое широкое понимание вида содержится в работах Н. А. Баскакова.[24] Он относит вид, как и залог, к лексическому словообразованию глагола от глагола, т. е. образованию от основы глагола другой основы глагола. «Вид указывает на характер процесса действия без отношения к нему действующего лица. . . и является объективной характеристикой действия».[25] В каракалпакском языке, например, выделяются две их группы: виды, дающие качественную (ослабление, усиление) или количественную (многократность) характеристику действия, и виды, выражающие направленность действия, а также его начало, конец, длительность. Такой же широкий подход к виду отмечается и в работах Л. Н. Харитонова.[26]

Несмотря на давнюю традицию описывать, говоря о «видах», способы действия, в тюркологии до последнего времени отсутствовали глубокие и законченные исследования средств передачи способов глагольного действия и семантики последних в каком-либо тюркском языке. Одной из причин этого явилось одностороннее увлечение видовой тематикой, в силу чего поиски грамматической категории вида уводили исследователей в сторону выявления средств выражения совершенного или несовершенного видов и доказательства их грамматичности. Основное внимание сосредоточивалось на квалификации грамматического статуса аналитических глагольных образований, и оставался в стороне первостепенный вопрос об их лексико-семантической сущности. Поскольку грамматическая квалификация таких образований (обычно через призму славянского вида) наталкивалась на естественные трудности, то выяснение их значений и определение их места в системе тюркского глагола не продвигались вперед. Можно поэтому ожидать, что отказ от разрешения видовой проблемы в тюркских языках в том плане, как она ставилась ранее, и обращение к теоретическим разработкам в области современной аспектологии скажу́тся положительно на изучении аспектологических средств в этих языках.

Речь идет прежде всего о последовательном разграничении вида и способов действия и признании в тюркских языках развитой системы последних. Проблему вида для тюркских языков вовсе исключать не следует, но ее решение, видимо, возможно только через последовательный и детальный анализ видо-временных форм глагола, способов действия, аспектологических контекстов, семантических групп глаголов и т. п. И только после этого тюркский материал может быть использован при рассмотрении вида как языковой универсалии.[27]

Исследование структуры способов действия в отдельных тюркских языках только начинается, и в новейших публикациях содержатся первые важные результаты этой работы. Для узбекского языка основы такого подхода были заложены академиком А. Н. Кононовым в его грамматике при рассмотрении форм глагола, выражающих характер протекания действия — оттенков

«мгновенности, динамичности, длительности, инхоативности, повторяемости, многократности, направленности действия. . .»[28] и получили развитие в монографии А. Хаджиева о вспомогательных глаголах.[29] На материале татарского языка значения, реализуемые сложными и аффигированными глаголами, были отнесены Ф. А. Ганиевым к лексико-грамматической категории характера протекания действия, или же способов глагольного действия, причем автор рассматривал их в прямой связи с предельностью/непредельностью действия.[30] Отдельные способы действия глагола в казахском языке описаны в диссертации Н. Оралбаевой.[31] Таким образом, можно отметить, что в отечественной тюркологии в настоящее время четко определился устойчивый интерес к изучению способов глагольного действия в отдельных тюркских языках.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тихонов А. Н. Существует ли категория вида в тюркских языках? — В кн.: Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова. Материалы конференции. I. Самарканд, 1964, с. 206.

[2] См.: Маслов Ю. С. 1) Система основных понятий и терминов славянской аспектологии. — В кн.: Вопросы общего языкознания. Л., 1965, с. 53—80; 2) Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании. — В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962, с. 7—32; 3) Русский глагольный вид в зарубежном языкознании последних лет. — В кн.: Вопросы русской аспектологии. Воронеж, 1975, с. 28—47; Шелякин М. А. Основные проблемы современной русской аспектологии. — Там же, с. 5—27.

[3] Маслов Ю. С. Вопросы глагольного вида. . ., с. 10.

[4] Там же, с. 13—19.

[5] Ср.: Балин Б. М. Немецкий аспектологический контекст в сопоставлении с английским. Калинин, 1969, с. 39—96.

[6] См.: сб. «Вопросы грамматики тюркских языков». Материалы координационного совещания. Алма-Ата, 1958; Серебренников Б. А. Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М., 1960, с. 12—31; Ганиев Ф. А. Видовая характеристика глаголов татарского языка. Казань, 1963; Юлдашев А. А. Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965, с. 29—53; Сайкиев Х. М. Грамматические категории глагола в русском и казахском языках (К проблеме типологических исследований). Алма-Ата, 1973, с. 190—239, и др.

[7] Грамматика алтайского языка. Составлена членами Алтайской миссии. Казань, 1869, с. 184.

[8] Там же.

[9] См.: Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 346—350.

[10] Мелиоранский П. М. Краткая грамматика казак-киргизского языка, ч. I. Фонетика и этимология. СПб., 1894; ч. II. Синтаксис. СПб., 1897, с. 41—44.

[11] Böhtlingk O. Über die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch. St.-Ptb., 1851, S. 196—197, 272.

[12] Там же, Словарь, с. 32; ср.: с. 38 (*ic-*), 53 (*кäбic-*), 55 (*кäl-*) и др.

[13] Боровков А. К. Учебник уйгурского языка. Л., 1935, с. 172—180.

[14] Серебренников Б. А. Проблема глагольного вида в тюркских языках. — В кн.: Вопросы грамматики тюркских языков, с. 14—16.

[15] Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 168.

[16] Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1953, с. 170.

[17] Харисов А. И. Категория глагольных видов в башкирском языке. Уфа, 1944, с. 11.

[18] Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, с. 132, 184—185, 195—201.

[19] Насилов В. М. К вопросу о грамматической категории вида в тюркских языках. — Тр. Моск. ин-та востоковедения, 1947, № 4, с. 32—52.

[20] Юлдашев А. А. 1) Категория глагольного вида в башкирском языке. — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 362—386; 2) Система словообразования и спряжение глагола в башкирском языке. М., 1958, с. 6—10, 17—86; 3) Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965, с. 5—86; 4) Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 1972, с. 327—334, 355—362.

[21] Юлдашев А. А. 1) Категория глагольного вида. . ., с. 370; 2) Система словообразования и спряжение. . ., с. 72—80.

[22] Серебренников Б. А. 1) Проблема глагольного вида. . ., с. 30; 2) Категории времени и вида. . ., с. 23—26.

[23] В связи с этим характерно такое замечание Ю. С. Маслова: «Словом, если применить образное сравнение, можно сказать, что система способов действия. . . напоминает не шкаф с полочками и ящиками, а скорее лист бумаги, исчерченный кругами разной величины, частично покрывающими или перекрывающими друг друга» (Маслов Ю. С. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. — В кн.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959, с. 188).

[24] См., например: Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология. Ч. I (Части речи и словообразование). М., 1952, с. 306—308, 352—386.

[25] Там же, с. 307; ср.: его же. Выражение глагольных категорий вида и залога в морфологической структуре слова в тюркских языках. — В кн.: Типология грамматических категорий. М., 1975, с. 156—169.

[26] См.: Харитонов Л. Н. Формы глагольного вида в якутском языке. М.—Л., 1960.

[27] См.: Долинина И. Г. Предельность в видо-временной системе глагола. АДД. М., 1965; ср. опыт анализа видовой семантики турецких видо-временных форм: Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen Aspektsystems. Uppsala, 1971. Обстоятельный разбор этой работы см.: Кузнецов П. И. Аспект и акционал в турецком языке. — СТ, 1975, № 3, с. 68—81.

[28] Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 263 и сл.

[29] Ҳожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. Ташкент, 1966.

[30] Ганиев Ф. А. Видовая характеристика глаголов татарского языка.

[31] Оралбаева Н. Аналитические формы глагола в современном казахском языке. АДД. Алма-Ата, 1971.

И. М. Оранский

ОБ ОДНОЙ ИРАНО-ТЮРКСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Во многих районах Горного Таджикистана, в частности в районах по Верхнему Пянджу, зафиксирован обычай выпекать в праздник весеннего равноденствия (навруз) и в связанный с ним праздник первой ритуальной запашки особый вид хлеба, называемого по-таджикски kůmoč, kumoč или qumoč (на Верхнем Пяндже — qumōč). Под этим словом понимается обычно лепешка из пресного (реже из кислого) теста, выпеченная в горячей золе, точнее, в жа́ре прогоревшего костра или же на каменной плите под слоем горячей золы. Сведения о способах выпечки такого хлеба в горных районах Таджикистана, о связанных с ним обрядах и обычаях, а также о ритуальном его значении можно почерпнуть из этнографической литературы, главным образом из известной монографии М. С. Андреева о таджиках долины Хуф.[1] Отмечая широкое распространение слова qumōč, kumoč не только в верховьях Пянджа, но и среди равнинных таджиков и узбеков, равно как и среди других тюркоязычных народов Средней Азии, М. С. Андреев затруднялся в определении его происхождения: «Трудно сказать, — писал он, — кому из них (из этих народов, — *И. О.*) может принадлежать его первоначальное употребление».[2]

В настоящее время вопрос о происхождении этого слова не вызывает сомнений. Оно восходит к др.-тюрк. köm- ‘зарывать’, ‘закапывать’, ‘хоронить’, ‘погружать во что-либо’[3] и, как явствует из этимологии, обозначает первоначально ‘(хлеб), зарываемый (в золу)’ и выпекаемый в ней.[4] Др.-тюрк. kömäč ‘лепешка, выпекаемая в горячей золе’ зафиксировано уже словарем Махмуда Кашгарского (XI в.)[5] и представлено — в соответствующих фонетических формах — многочисленными современными тюркскими языками. В наиболее полном виде тюркские формы этого слова собраны в известных трудах Дёрфера и Клосона,[6] при этом в труде Дёрфера указаны также формы этого слова в ряде иранских языков. К собранному у Дёрфера иранскому материалу (н.-перс. kumāč, kūmāǰ, kumāǰ, тадж. kůmoč, ягн. kumočí, qumoči, барт. и руш. qumōč, шугн. qamṓč, ишк. qьmóč, а также заимств. из персидского хинд. kumāč) могут быть теперь добав-

лены еще орош. qumо́č,[7] сар. kымŭč, kŭmuč,[8] афг. kumāč,[9] вах. qəmо́č, kəmoč, qumoč (сообщено И. М. Стеблин-Каменским). Не сюда ли и курд. kuloč (курм.) 'калач, круглый хлебец, пышка, пресная лепешка', kulêče (Сулеймание) 'разновидность лепешки'?[10]

Еще более широкое распространение получило другое, иранское по происхождению, слово, обозначающее '(печеный) хлеб' (ср.-перс. и н.-перс. nān), — от Малой Азии и Кавказа (тур. nān и т. д.) на западе до Енисея (кет. nan) и Синьцзяна (уйг. nan) на востоке, от берегов Северного Ледовитого океана (нен. ńā̊ń) и бассейна Печоры (коми ńań) на севере[11] до Индии (хинд. nān) на юге.

В средневековых персидских текстах можно встретить противопоставление nān-u kūmāč 'хлеб (хлеб вообще, преимущественно хлеб, выпеченный в тануре) и хлеб, выпеченный в золе'. Ср., например, у Хафиз-и Абру (начало XV в.): hēč āfarīda nān v kōmā̆č v tutmāč napazad 'пусть никто не печет хлеб и хлеб, приготовленный в золе, и тутмач (мучное блюдо, разновидность лапши)'.[12] Действительно, с распространением в ираноязычных странах хлебопекарной печи (танура) за словом nān закрепилось значение 'хлеб, выпеченный в тануре', однако в древнейшем, этимологическом своем смысле перс. nān означает 'зарытый (в золу)' (др.-ир. ni-kan-: приставка ni-, указывающая на движение вниз, +kan- 'копать') и отражает примитивнейший способ выпечки хлеба путем закапывания изготовленной из теста лепешки в горячую золу.

Указанная этимология, предложенная еще в конце XIX в.[13] и поддержанная в XX в. (с привлечением обширного нового материала) Г. Моргенстьерне[14] и — особенно решительно — В. И. Абаевым,[15] принимается, однако, не всеми иранистами. Еще Хюбшман, полемизируя с Хорном, пытался сопоставить (правда, под вопросительным и даже под двумя вопросительными знаками) н.-перс. nān с др.-ир. *naγna- 'голый',[16] и это сопоставление поддерживалось — в той или иной мере — рядом выдающихся иранистов нашего столетия. Г. Моргенстьерне, по-видимому, колебался в решении этого вопроса, склоняясь то к первой, то ко второй этимологии.[17] Нет необходимости вдаваться здесь в историю вопроса, подробно освещенную в специальной обстоятельной работе известного венгерского ираниста Я. Харматта.[18] Обобщив весь материал, накопленный по этому вопросу к середине XX в., Харматта пришел к выводу, что в среднеперсидском существовало два разных слова, обозначавших два различных вида хлеба: 1) ср.-перс. *nikān (<*ni-kāna-) 'хлеб, испеченный в горячей золе', не сохранившееся в персидском, но отраженное армянским (nkan)[19] и брахуи (nikān) заимствованиями;[20] 2) ср.-перс. nān (<*naγna-) 'хлеб, испеченный в тануре', букв. 'голый (хлеб)', т. е. хлеб, выпеченный без покрытия его горячей золой. Согласно Харматта, именно к др.-ир. naγna- 'голый' восходят все вышепе-

речисленные слова восточноиранских (и белуджского) языков, заимствованные в свое время из древнеперсидского.[21]

При всей основательности изложенных в указанной работе доводов такое решение вопроса, не снимая трудностей историко-фонетического характера (и даже добавляя, может быть, новые),[22] отрывает в то же время перс. nān от всего круга родственных ему, как мне представляется, слов средне- и новоиранских языков, обозначающих '(печеный) хлеб' — афг. naγán, náγan 'хлеб', 'ячменный хлеб',[23] n(a)γən 'печеный хлеб', 'хлеб, печеный на сковороде', nγand 'сдобный хлеб',[24] nγən, nγə́na 'хлеб', 'кусок хлеба', 'пища' (у племен джаджи и джедран),[25] ваз. nγan, каб.-перс. nān- inaγán 'пшеничный хлеб' (= nān-i γanam),[26] мундж.-йидга náγən, naγᵊn, naγέn, nā́γən,[27] пар. naγṓn,[28] согд. nγn [n(i)γan или naγ(a)n],[29] а также (с диссимиляцией) орм. txan, t(u)xan[30] и язг. δōγű́n, δoγún.[31] К этому же корню восходят брахуи nikān 'пища', 'мясо', отражающее утраченное белуджское слово типа *ni-kāna-,[32] и (с другой приставкой) хорезм. pakand 'хлеб' (< *upa-kanta-), зафиксированное в арабографичных источниках в формах bknd, pknd.[33] Что же касается стороны историко-семантической, то история тюрк. kömäč может служить, как кажется, лишним доводом в пользу возведения всех этих слов к др.-ир. ni-kăn- 'закапывать', зарывать' (в данном конкретном случае 'зарывать в горячую золу').[34] В самом деле, выпечка хлеба в горячей золе была известна многим народам древности, перешедшим впоследствии к более прогрессивным формам хлебопечения,[35] однако, как кажется, ни в одном из известных языков для обозначения печеного хлеба не используются слова, связанные с понятием «голый», и предположение о семантическом развитии «голый» → «хлеб» не может быть, по-видимому, подкреплено какими-либо параллелями. В то же время возведение перс. nān к др.-ир. ni-kăn- поддерживается в семантическом плане не только тюрк. kömäč, но и др.-греч. ἐγκρυφίας 'испеченный в горячей золе хлеб', букв. 'зарытый', 'погребенный' и т. п.: ἐγ- (= ἐν- 'в', 'внутрь') + κρύπτω 'покрывать', 'закрывать', 'хоронить' и т. п. (ср. лат. panis subcinerarius 'хлеб, испеченный под горячей золой', и т. п.).

В заключение этой небольшой заметки мне особенно приятно вспомнить, что замысел ее родился из бесед автора-ираниста с прославленным нашим юбиляром-тюркологом, которому посвящен настоящий том.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Андреев М. С. Таджики долины Хуф, вып. I. Сталинабад, 1953, с. 41; вып. II. Сталинабад, 1958, с. 237, 384—385 (прим. 128), 387—388 (прим. 129—130). См. также «Таджики Каратегина и Дарваза», вып. 2. Душанбе, 1970, с. 231; «Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана». Душанбе, 1973, с. 37, 144—145, 171; Розенфельд А. З. 1) Материалы по этнографии и пережиткам древних верований таджикоязычного населения Советского Бадахшана. — СЭ, 1970, № 3, с. 115; 2) Бадахшанские говоры таджикского языка. Л., 1971, с. 66—67 (текст I), 107

(s. v. kumoč), 128 (s. v. qumoč), 138 (s. v. šogunkəmoč). В Язгуляме маленькая толстая лепешка, которую пекут на дне очага, на горячей золе с мелкими угольками, называется описательным термином x̌ᵒásti šərə́k (из язг. x̌ᵒast 'горячая зола с угольками' и язг. šərək 'толстая лепешка') (письменное сообщение Д. И. Эдельман от 3 XII 1974).

2 Андреев М. С. Таджики долины Хуф, вып. II, с. 237, прим.

3 ДТС, s. v.; Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Centuty Turkish. Oxford, 1972, p. 721.

4 См.: Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Bd. III. Wiesbaden, 1967, S. 602 (N 1643); Clauson G. An Etymological Dictionary. . ., p. 722.

5 ДТС, s. v.

6 Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente, III, S. 602; Clauson G. An Etymological Dictionary. . ., p. 722.

7 Зарубин И. И. Орошорские тексты и словарь. Л., 1930, с. 52.

8 Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь. М., 1971, с. 91.

9 Асланов М. Г. Афганско-русский словарь (пушту). М., 1966, с. 708.

10 Курдоев К. К. Курдско-русский словарь. М., 1960, с. 451; Wahby T. and Edmonds C. J. A Kurdish-English Dictionary. Oxford, 1966, p. 79.

11 Сводку различных форм этого слова в многочисленных тюркских, финно-угорских, самодийских и кетском языках см.: Harmatta J. Three Iranian Words for «Bread», AOH, t. III. Budapest, 1953, с. 275 и сл.

12 Цит. (с сохранением транслитерации) по: Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente, Bd. III, S. 602.

13 См.: Tomaschek W. Centralasiatische Studien II. Die Pamir-Dialekte. Wien, 1880, S. 63; Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893, S. 229 (N 1023). Ср.: там же, с. 286 (№ 148), где приведены дальнейшие соответствия к др.-ир. ni-kan-.

14 См.: Morgenstierne G. Iranian Notes. AO, vol. 1, 1923, p. 278—280.

15 См.: Абаев В. И. Этимологические заметки. — ТИЯЗ VI, 1956, с. 449.

16 Hübschmann H. Persische Studien. Strassburg, 1895, S. 101, 133, 249.

17 См.: Morgenstierne G. 1) Iranian Notes, p. 278—280; 2) An Etymological Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927, p. 51 (далее — Morgenstierne, EVP); 3) Indo-Iranian Frontier Languages, vol. I—II. Oslo, 1929—1938; vol. I, p. 411; vol. II, p. 231 (далее — Morgenstierne, IIFL).

18 См.: Harmatta J. Three Iranian words for «Bread», p. 245—283.

19 Об арм. nkan, nkanak и производных от него см.: Ачарян Р. Коренной этимологический словарь армянского языка, т. V. Ереван, 1931, с. 134—136.

20 В этнографической литературе, имевшейся к началу 50-х гг. в распоряжении Я. Харматта, явно ощущался недостаток сведений о конкретных способах этого древнего способа выпечки хлеба. Однако, как показывают более поздние работы, этот способ еще в сравнительно недавнее время был широко распространен в Горном Таджикистане (см. прим. 1), на Кавказе (см.: Абаев В. И. Этимологические заметки, с. 449), а кое-где сохраняется и в наши дни (ср. прим. 32).

21 Harmatta J. Three Iranian words. . ., p. 248—249 и сл., особенно p. 254 и сл., 258 и сл., 265 и сл.

22 Как уже в этой связи отмечалось (см.: Абаев В. И. Этимологические заметки, с. 449, прим. 2), в древнеиранском засвидетельствована в значении 'голый' только форма maγna- (см.: Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch, 2 Aufl. Berlin, 1961, 1112). К этому можно добавить, что ни в одном из известных средне- и новоиранских языков др.-ир. maγna- не отразилось, как кажется, с начальным n- и во всех засвидетельствованных формах этого слова имеет в анлауте β- или b- (см.: Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I. М.—Л., 1958,

с. 247, s. v. bäγnäg; B a i l e y H. W. Indo-Scythian Studies Being Knotanese Texts, vol. VI. Prolexis to the Book of Zambasta. Cambridge, 1967, p. 256, s. v. būnai̯). Заметим, что на неясность происхождения начального m- в младоавестийском maγnō 'голый' (при др.-инд. nagnás) обращал внимание уже Хр. Бартоломэ (см. GiPh, I, 1, S. 169, § 292, прим.).

[23] M o r g e n s t i e r n e, EVP, S. 51.

[24] А с л а н о в М. Г. Афганско-русский словарь. М., 1966, s. vv.

[25] З у д и н П. Б. Афганско-русский словарь. М., 1950, s. v.

[26] M o r g e n s t i e r n e, EVP, p. 51.

[27] З а р у б и н И. И. Мунджанский язык. — В кн.: Иран, I. Л., 1927, с. 156; M o r g e n s t i e r n e, IIFL II, p. 231; Г р ю н б е р г А. Л. Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык. Л., 1972, с. 330.

[28] M o r g e n s t i e r n e, IIFL I, p. 275.

[29] См.: M o r g e n s t i e r n e. Iranian Notes, p. 279.

[30] M o r g e n s t i e r n e, IIFL I, p. 330.

[31] S k ö l d H. Materialien zu den iranischen Pamirsprachen. Lund., 1936, S. 165 (N 370); M o r g e n s t i e r n e, IIFL II, p. 231; Э д е л ь м а н Д. И. Язгулямско-русский словарь. М., 1971, с. 80.

[32] См.: M o r g e n s t i e r n e, IIFL II, p. 231. В современном белуджском для обозначения хлеба, испеченного в золе, употребляется слово kurnu (kwrnu). Насколько можно судить по фотографии, помещенной в новейшем курсе белуджского языка, при этом способе выпечки хлеба тесто раскатывается здесь на больших камнях, и эти камни, как бы обернутые слоем теста, погружаются затем в горячую золу (см.: B a r k e r M u h a m m a d A b d-a l - R a h m a n and M e n g a l A q i l K h a n. A Course in Baluchi, vol. I. Montreal, Quebek, 1969, p. 208). По любезному сообщению молодого таджикского этнографа Р. Рахимова, в районах по среднему течению Зеравшана хлеб, называемый kumoč, kulča-yi kumoč, выпекается на летовках и до настоящего времени. Приготавливается он следующим образом: на сильно разогретый плоский камень (t̤obá) кладется тесто, которое прикрывают сверху листьями (в настоящее время чаще газетой, бумагой), а затем присыпают на 2—3 см горячей золой и поверх нее — еще мелкими углями. Получается большой, хорошо пропеченный каравай, которого хватает для семьи из 5—6 человек на два дня.

[33] См.: H a r m a t t a J. Three Iranian words. . ., p. 270—271.

[34] Вслед за Моргенстьерне (AO, I, 1923, p. 278—280) и Абаевым (ТИЯЗ VI, 1956, с. 449) возникающие при этом известные историко-фонетические трудности не кажутся мне непреодолимыми.

[35] См., например: S c h r a e d e r O. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Grundzüge einer Kultur- und Völkergeschichte Alteuropes. 2. vermehrte und umgearbeitete Auflage. Bd. I, A — K. Berlin—Leipzig, 1917—1923, S. 164 и сл.

Л. А. Покровская

К ВОПРОСУ О ЛИЧНЫХ И НЕЛИЧНЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем в тюркском языкознании продолжает оставаться определение грамматической сущности и синтаксических функций причастных, деепричастных и отглагольно-именных (масдарных) конструкций, характерных для тюркских языков. Как справедливо отметил А. Н. Кононов, «едва ли можно назвать другую тюркологическую проблему, где бы расхождения во взглядах были столь разительны.

Существуют три основные точки зрения на синтаксические функции упомянутых форм:

1. Причастные, деепричастные, отглагольно-именные конструкции выступают в функциях придаточных предложений.

2. Причастные, деепричастные, отглагольно-именные конструкции входят в состав простого предложения на правах его развернутых членов, так как, по мнению сторонников этой точки зрения, основной признак любого предложения (главного и придаточного) — наличие именного или глагольного сказуемого.

3. Причастные, деепричастные, отглагольно-именные конструкции становятся сказуемым придаточного предложения только в том случае, если при них есть подлежащее, отличное от подлежащего главного предложения. Эту точку зрения впервые (в отношении причастий и деепричастий) сформулировал П. М. Мелиоранский; затем ее развил включением формы на *-мак* А. Н. Самойлович; позднее этой идеей воспользовались Н. К. Дмитриев и многие другие тюркологи».[1]

В последние годы Н. З. Гаджиевой была высказана своя точка зрения по данному вопросу, согласно которой причастные, деепричастные и отглагольно-именные конструкции с самостоятельным субъектом действия представляют собой особую структурную единицу — зависимые трансформы, образовавшиеся в процессе развития сложноподчиненного предложения в тюркских языках.[2]

Проблема разграничения в тюркских языках придаточных предложений и причастных, деепричастных и отглагольно-именных оборотов в общей сложности сводится к вопросу о том, могут ли н е л и ч н ы е формы глагола выполнять функцию сказуемого

зависимого предложения. При этом исследователи большей частью исходят из того представления, что в тюркских языках (современных и древних) личные и неличные формы глагола четко разграничены. Поскольку причастия и деепричастия в их общелингвистическом понимании относятся к неличным формам глагола, не обладающим предикативностью, постольку многие тюркологи вполне правомерно отрицают возможность существования придаточных предложений с причастными и деепричастными формами в функции сказуемого. Однако тот факт, что эти формы употребляются с самостоятельным субъектом действия, дает возможность другой группе тюркологов рассматривать их как сказуемые особого типа, выражающие подчинительную связь в придаточных предложениях.

Отмечая полифункциональность тюркских глагольных форм на *-ар/-ыр*, *-мыш*, *-ҕан/-ан*, *-дык*, *-аҗак*, *-а/-е*, *-ып* и некоторых других, большинство исследователей все же считает, что каждая из этих форм первоначально имела только одну синтаксическую функцию, а все остальные функции возникли в процессе дальнейшего грамматического развития данной формы. По мнению одних, такой первичной функцией является предикативная (соответствующая личной форме глагола),[3] другие считают исходной атрибутивную функцию (соответствующую причастию),[4] третьи признают для одних форм первичной атрибутивную функцию, а для других — адвербиальную (соответствующую деепричастию).[5] Таким образом, одни тюркологи считают наиболее древними личные формы глагола, а другие — неличные (причастия, деепричастия), т. е. и те и другие исходят из допущения дифференцированных глагольных форм.

Между тем, в тюркских языках имеются явные признаки недостаточной дифференцированности личных и неличных форм глагола. Так, известно, что глагольные формы на *-ар*, *-аҗак*, *-мыш* выполняют в огузских языках и атрибутивную, и предикативную функции, на основании чего они обычно считаются в грамматиках этих языков и причастиями, и основами соответствующих времен изъявительного наклонения. Однако А. Н. Кононов в своей грамматике турецкого языка не выделяет причастие как неизменяемую по лицам форму глагола: «Причастие в турецком языке (за одним исключением: причастие на -(y)an/-(y)en) не представляет собой особой морфологической категории; турецкое причастие это только одна из синтаксических функций некоторых временных основ изъявительного наклонения».[6] В грамматике А. Н. Кононова убедительно показано, что глагольные формы на -ar/-er, -miş.., -(y)acak/-(y)ecek не являются причастиями в строго терминологическом значении этого слова и лишь по своим синтаксическим функциям совпадают с этой глагольной категорией языков других семей. Укажем также, что форма на *-ан/-эн*, *-ен*, которая в турецком, азербайджанском и гагаузском языках выступает только как причастие, в туркмен-

ском языке служит, кроме того, и основой повествовательно-неопределенного прошедшего времени, например: *гөрен* ʽон увидел (когда-то)', *гөренлер* ʽони увидели (когда-то)'.[7]

Примерно то же самое наблюдается и в функционировании так называемых первичных деепричастий на *-а*/*-ә*, *-е* и на *-ып*. Форма на *-а*/*-ә*, *-е* в турецком, азербайджанском и туркменском литературных языках не принимает личных аффиксов и считается деепричастием. Однако в туркменских диалектах форма на *-а*/*-е*, *-й* (подобно форме на *-ып*) активно участвует в оформлении временных форм изъявительного наклонения, например, в човдурском диалекте *ал-а-дыр* ʽон берет', *гел-е-дир* ʽон идет' (сюда); в нохурском диалекте *ал-а-мән* ʽя беру', *гел-ә-мән* ʽя иду (сюда)' и т. п. Подобные формы встречаются также в туркменском фольклоре и в литературном (письменном) языке XVIII—XIX вв.

Во многих азербайджанских диалектах также употребляется форма настоящего времени на *-а-ду*, *-е-ду*/*-а-ды*, *-ә-ди*, образованная путем присоединения к «деепричастию» на *-а*/*-ә*, *-е* аффикса сказуемости *-ды(р)* в различных фонетических вариантах. Такой же формой выражалось настоящее время глагола в азербайджанском литературном языке XIV—XV вв.[8]

Если для огузских литературных языков использование формы на *-а*/*-ә*, *-е* в качестве основы настоящего времени является достоянием прошлого и сохранилось лишь в диалектах, то в башкирском и татарском литературных языках деепричастие на *-а*/*-ә*, *-й* и теперь, как известно, служит основой настоящего времени, например, *ал-а* ʽберет', *кил-ә* ʽприходит', ʽидет (сюда)', и прошедшего незаконченного времени, например, башк. *ала ине*, тат. *ала иде* ʽон брал (тогда)'.[9]

Форма на *-ып* в турецком и гагаузском языках не изменяется по лицам и считается деепричастием. Однако в азербайджанском языке форма на *-ыб*, *-иб*, *-уб*, *-үб* выполняет функции не только деепричастия, но и личной формы глагола, являясь основой прошедшего повествовательного времени. Деепричастие и прошедшее время на *-ыб* считаются омонимичными формами.[10] В туркменском языке форма на *-ып* относится к деепричастиям, но вместе с тем образует давнопрошедшее время на *-ыпды* и прошедшее субъективное время на *-ыпдыр* и *-ыпмыш*.[11]

В карачаево-балкарском языке У. Б. Алиев выделял сказуемые, выраженные причастиями и деепричастиями. Так, например, «сказуемое предложения *Мен Москвагъа письмо джазгъанма* может быть и глаголом прошедшего времени изъявительного наклонения, и причастием прошедшего времени с предикативным аффиксом. В первом случае данная фраза будет означать: ʽЯ написал в Москву письмо', во втором случае — ʽЯ есть тот, который написал в Москву письмо'».[12] Различие в грамматическом выражении сказуемого — формы на *-гъан* определяется, по мнению У. Б. Алиева, интонационными средствами: если логическое ударение падает на сказуемое, то оно представляет собой личную форму

глагола, а если на предшествующее ему дополнение, то сказуемое в той же форме на *-гъан* является причастием.

Сказуемые, выраженные деепричастиями, «образуются при помощи предикативных аффиксов, присоединяемых к деепричастию».[13] В данном случае имеется в виду форма на *-ыб*, например: *Осман Москвагъа* письмо *джазыбды букв.* 'Осман в Москву письмо написавши есть'. Там же У. Б. Алиев указывает, что «деепричастие как сказуемое без предикативного аффикса встречается только в сказуемых придаточных предложений времени и образа действия».

Таким образом, в карачаево-балкарском языке формы на *-гъан* и на *-ыб* функционируют и как личные, и как неличные, причем считается, что причастия и деепричастия могут выступать в функции сказуемого простого и сложного предложения.

Приведенные факты говорят о том, что границы между личными и неличными формами глагола в тюркских языках очень зыбкие. Те глагольные формы, которые в одних тюркских языках считаются личными, в других выступают как неличные, и наоборот. Целый ряд глагольных форм трактуется как грамматические омонимы в одних и тех же языках, так как эти формы функционируют в предложении и как сказуемые, и как определения или обстоятельства. На наш взгляд, многофункциональные глагольные формы в тюркских языках не являются в собственном смысле слова ни личными, ни неличными, т. е. к ним не подходят общелингвистические определения личных форм глагола, причастий и деепричастий. Поэтому утверждение о том, что в тюркских языках неличные формы глагола (причастия и деепричастия) могут выступать в функции сказуемого придаточного предложения (не говоря уж о простом предложении), представляется в принципе беспочвенным, так же как и противоположное утверждение — что личные формы глагола могут употребляться в атрибутивной и адвербиальной функциях, «превращаясь» при этом в причастия и деепричастия. Очевидно, следует говорить о морфологически и синтаксически недифференцированных формах глагола, которые исторически могли равно употребляться в различных функциях в предложении и отчасти сохранили это свойство и до настоящего времени. Первичная полифункциональность и морфологическая нерасчлененность тюркского глагола была обусловлена спецификой агглютинативного строя тюркских языков, а именно, возможностью употребления чистых корней и основ в качестве самостоятельных слов. При этом конкретизация грамматического значения слова осуществлялась, главным образом, его синтаксической позицией и контекстом. Историческая недифференцированность тюркского глагола на причастия, деепричастия и личные формы, конечно, с трудом совмещается с современным представлением о глаголе, например, в русском языке, так же как недостаточная морфологическая дифференцированность тюркского имени на имена существительные, прилагательные и наречия противоречит привычному представлению об именных частях речи.

Тем не менее эти особенности исторически свойственны строю тюркских языков, и объясняются они не какой-либо «ущербностью» или «неразвитостью» тюркских языков, а принципиальным отличием их грамматической структуры от структуры языков других семей, в частности, индоевропейской.

Исходя из предложенной рабочей гипотезы, согласно которой глагол в тюркских языках являлся формально и функционально недифференцированным на личные и неличные формы, можно предположить, что последующая эволюция глагола происходила путем функциональной специализации отдельных форм; в одних языках данные формы стали употребляться лишь в функции сказуемого (т. е. с предикативными аффиксами), в других — в функции определения или обстоятельства, утратив предикативную функцию. Форма на *-ды* во всех тюркских языках, как известно, выступает только в функции сказуемого, образуя основу прошедшего (законченного или категорического) времени глагола, хотя можно предполагать, исходя из различных гипотез об именном происхождении этой формы,[14] что она в древности выполняла и другие синтаксические функции. Процесс функциональной дифференциации целого ряда глагольных форм продолжается и в настоящее время, о чем можно судить по функциональному распределению форм на *-р*, *-ган/-ан*, *-мыш*, *-аҗак*, *-ып*, *-а/-ә*, *-е* и некоторых других в современных тюркских языках.

Что касается зависимых конструкции с «неличными» формами глагола в функции сказуемого, по поводу которых тюркологи еще не пришли к единому мнению, то представляется наиболее целесообразным считать их особой структурной единицей, как предлагает Н. З. Гаджиева, не идентичной ни придаточному предложению, ни деепричастному или причастному обороту. Однако основанием для такого выделения этих конструкций, с нашей точки зрения, служит не то, что исторически глагольное предложение, находясь в препозиции, подвергалось трансформации путем «превращения» его сказуемого — личной формы глагола в причастие, деепричастие или отглагольное имя,[15] а то, что в основе этих конструкций исторически лежат особые глагольные формы, не дифференцированные на личные и неличные. В самом деле, различие между сказуемым зависимой и главной части предложения в тюркских языках в принципе заключается в том, что сказуемое главной части принимает специальные предикативные показатели (так называемые аффиксы сказуемости). Эти аффиксы являются показателем законченности простого или сложного предложения и присоединяются равно и к глагольному, и к именному сказуемому, занимающему в предложении конечную позицию. Естественно, что сказуемое зависимой, подчиненной части предложения, предшествующей главной части, не может принимать аффиксов сказуемости, т. е. показателей лица. В противном случае зависимая часть превратилась бы в самостоятельное предложение и утратила бы подчиненное положение по отношению

к главной части. Таким образом, употребление сказуемого зависимой части предложения без личных показателей обусловлено самой структурой подчинительных конструкций бессоюзного типа в тюркских языках. Для конкретизации подчинительных отношений между главной и зависимой частями предложения к подчиненному сказуемому, выраженному «общей» глагольной формой, присоединяются различные грамматические показатели, частицы и т. п., образуя разнообразные производные формы, употребительные в тюркских языках. Так, например, в турецком языке А. Н. Кононов рассматривает так называемые деепричастия только в аспекте синтаксиса, указывая, что «под этим термином в грамматиках турецкого языка объединяется довольно многочисленная группа различных по своему происхождению отглагольных форм; в большинстве случаев это — отглагольные имена в косвенном падеже».[16] Такие отглагольные образования вполне естественны для тюркских языков, если исходить из понятия основных, не дифференцированных на личные и неличные, глагольных форм, обладающих определенными модальновременными значениями. Поэтому говорить об историческом процессе трансформации можно, на наш взгляд, только в отношении образования из двух независимых простых предложений одного сложного целого — подчинительной конструкции, т. е. новой синтаксической единицы, возникшей на каком-то древнем этапе развития синтаксического строя тюркских языков. Но относить процесс трансформации к самому сказуемому зависимой конструкции, считать, что личные формы глагола в данном случае превращались в неличные — причастия, деепричастия, а также отглагольные имена, едва ли есть достаточные основания.

При квалификации придаточных предложений в тюркских языках, как нам представляется, следует исходить из их общелингвистических моделей (с союзной, относительной и бессоюзной связью), широко представленных в современных тюркских языках.[17] Подчинительные же конструкции с различными отглагольными образованиями, имеющими самостоятельный субъект действия, являются особой структурной единицей, для которой нужно ввести и специальное терминологическое обозначение (абсолютные конструкции или какой-либо другой термин).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кононов А. Н. Тюркская филология в СССР, 1917—1967. М., 1968, с. 12. Здесь же указана основная библиография по данному вопросу.

[2] Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, с. 236.

[3] Кузнецов П. И. Форма на *-дык* и придаточные предложения тюркского типа. — В кн.: Иностранные языки, № 1. М., 1965, с. 112; Гаджиева Н. З. Основные пути развития. . ., с. 212 и сл.

[4] Гордлевский В. А. Грамматика турецкого языка. М., 1961, с. 47. — В кн.: Гордлевский В. А. Избранные сочинения, т. 1—4. М., 1960—1968; Баскаков Н. А. Каракалпакский язык, т. II, Фоне-

тика и морфология, ч. 2. М., 1952, с. 414; Абдурахманов Г. А. Исследование по старотюркскому синтаксису (XI век). М., 1967, с. 47, 52—54.

[5] Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, с. 140.

[6] Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 251.

[7] Грамматика туркменского языка, ч. I. Фонетика и морфология. Ашхабад, 1970, с. 268.

[8] Рустәмов Р. Азербаjҹан дили диалект ва шивәләриндә ф'ел. Бакы, 1965, с. 58.

[9] Дмитриев Н. К. 1) Грамматика башкирского языка, с. 145, 147; 2) Современный татарский литературный язык. М., 1969, с. 219, 224.

[10] Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971, с. 143.

[11] Грамматика туркменского языка, с. 266, 270, 272.

[12] Алиев У. Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка. М., 1972, с. 133.

[13] Там же, с. 135.

[14] См.: Кононов А. Н. Происхождение прошедшего категорического времени в тюркских языках. ТС, М.—Л., 1951, с. 112.

[15] См.: Гаджиева Н. З. Основные пути развития. . ., с. 213.

[16] Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого. . ., с. 474.

[17] См.: Ширалиев М. Ш. Сложноподчиненные предложения в азербайджанском языке. — ВЯ, 1956, № 1; Абдуллаев А. З. Сложноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке. Баку, 1963; Гайдаржи Г. А. Типы придаточных предложений в современном гагаузском языке. М., 1971; Аскарова М. А. Способы подчинения и типы придаточных предложений в современном узбекском языке. Ташкент, 1963; Закиев М. З. Синтаксический строй татарского языка. Казань, 1963, с. 304—335.

В. И. Рассадин

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТОФАЛАРСКОГО ЯЗЫКА

Многолетние наблюдения, которые мы проводили над тофаларским языком (с 1964 по 1974 гг. включительно), позволяют сейчас с большой долей уверенности сделать некоторые обобщения относительно морфологии этого языка. Материал показывает, что тофаларский язык имеет следующие части речи: имена существительные, прилагательные и числительные, местоимения, глаголы, наречия, служебные части речи, междометия и звукоподражательные слова. В составе каждой части речи нами изучены процессы словообразования, формообразования и словоизменения. Общеизвестные материалы М. А. Кастрена, Н. Ф. Катанова и Н. П. Дыренковой, а также данные по современному тофаларскому языку, полученные нами, указывают на тюркский тип всех этих процессов. При этом нам удалось выявить ряд особенностей, главным образом в словообразовании и формообразовании, которые или отсутствуют в современных тюркских языках, или не имеют широкого распространения по тюркским языкам и носят сугубо локальный характер. Разберем это подробнее отдельно по частям речи.

Существительные имеют как аффиксальное, так и неаффиксальное словообразование. Так, в тофаларском языке мы находим все те же аффиксы *-г*: *одаг* 'ночлег с костром в тайге' < *ода-* 'разводить огонь'; *-к*: *ырык* 'щель' < *ыр-* 'разрывать'; *-кы*: *кыъпыскы** 'лучинка для прикуривания от костра' < *кыъпыс-* 'зажигать'; *-кыш*: *баъскыш* 'шаг' < *баъс-* 'ступать, шагать'; *-м*: *алым* 'долг' < *ал-* 'брать'; *-ма*: *кыъсытпа* 'щипцы' < *кыъсыт-* 'позволить, заставить сжать'; *-мак*: *салбак* 'жердь-лежень, к которой привязывают оленей' < *сал-* 'класть'; *-лык*: *ыштык* 'коптильня' < *ыш* 'дым'; *-шы*: *аңшы* 'охотник' < *аң* 'зверь', что и во всех других тюркских языках. Кроме того, довольно многочисленны производные с аффиксом *-ды*: напр., *агды* 'лестница', ср. др.-тюрк. аɣ- 'взбираться наверх'; *шапты* 'щепка, стружка', ср. др.-тюрк. č̌ар- 'рубить'; *алды* 'соболь' (первоначально 'добыча') <

* «Твердый знак» означает фарингализацию гласного.

ал- 'получать, добывать, брать'; *каъсты* 'скорлупа ореха' < *каъс-* 'грызть, щелкать орехи'; *тамды* 'капля', ср. др.-тюрк. tam- 'капать'; *билди* 'известие, слух' < *бил-* 'ведать, знать'; *каъhярты* 'затес на дереве' < *каъhяр-* 'белеть'; *чарты* 'полено', ср. др.-тюрк. jar- 'раскалывать', с которым связывают происхождение формы претерита в тюркских языках.[1] Лишь в тувинском языке имеют параллели аффиксы *-лышкы* (образующий слова с собирательным значением от терминов родства): *убалышкы* 'старшие сестры' < *уба* 'старшая сестра', *аъhалышкы* 'братья' < *аъhа* 'старший брат', *бачжалышкы* 'свояки' < *бачжа* 'свояк', *hудалышкы* 'сватовья' < *hуда* 'сват'; *-аашкын* (с фонетическими вариантами *-ээшкин*, *-ыышкын*, *-иишкин*, *-уушкун*, *-үүшкүн*), образующий от глаголов существительные со значением результата, процесса действия или инструмента: *билиишкин* 'познание, узнавание' < *бил-* 'знать', *hемнээшкин* 'весы, измерение, взвешивание' < *hемне-* 'взвешивать, измерять', *ойнаашкын* 'игрушка' < *ойна-* 'играть', *дуушкун* 'затычка', ср. др.-тюрк. tu- 'закупоривать, преграждать', *манаашкын* 'ожидание' < *мана-* 'ждать', *түрhүүшкүн* 'трение' < *түрhү-* 'тереть'. Последний аффикс очень активен и придает тофаларскому языку заметное своеобразие.

Для категории склонения, кроме общетюркских именительного, винительного, родительного, дательно-направительного, местно-временного и исходного падежей, характерно наличие особого частного падежа[2] с аффиксом *-та*, *-те-*, *-да*, *-де*: *сугда hал* 'принеси воды', *нешта hан* 'дай дров', *шейда иш* 'выпей чаю', который употребляется только с повелительным наклонением глагола. Аналогичный падеж с подобным же аффиксом отмечается еще в якутском языке,[3] и его происхождение в нем связывают с орхонским местно-исходным падежом -da.[4] Эта точка зрения, на наш взгляд, не лишена основания.

Особенностью словообразования п р и л а г а т е л ь н ы х является большая продуктивность аффикса *-кыры* (с фонетическими вариантами *-кири*, *-куру*, *-күрү*, *-гыры*, *-гири*, *-гуру*, *-гүрү*), образующего практически от любого существительного и глагола, если допускает их семантика, прилагательные со значением свойства и активной способности к какому-либо действию (например, от глаголов: *сезиңгири* 'чуткий' < *сезин-* 'чувствовать'; *өъткүрү* 'пронзительный — о голосе' < *өът-* 'проникать'; *дыңнаңгыры* 'послушный' < *дыңнан-* 'слушаться'; *келиңгири* 'часто приходящий' < *кел-* 'приходить') или со значением обилия какого-либо признака, качества каких-либо предметов (например, от существительных: *дагыры чер* 'гористое место'; *суткуру инек* 'корова, дающая много молока'; *оъккуру мен* 'у меня много патронов'; *лимон чыткыры* 'лимон имеет сильный запах'; *иъшкири идиш* 'емкая, вместительная посуда').

В тофаларском языке нами выявлена довольно многочисленная своеобразная группа прилагательных, имеющаяся из других тюркских языков лишь в якутском[5] и тувинском языках, образо-

ванная от так называемых образных глаголов при помощи аффикса *-гар*, *-гер*, *-гыр*, *-гир*, *-гур*, *-гүр* и выражающая статичный признак, присущий какому-либо образу. Например: *кылагар* 'блестящий' < *кылай-* 'быть блестящим'; *шыбыгыр* 'с редкими волосами — о хвосте' < *шыбый-* 'быть с редкими волосами — о хвосте'; *сеглегер* 'косматый' < *сеглей-* 'торчать вверх — о космах'; *сеъпигир* 'косматая — о собаке' < *сеъпий-* 'быть косматой — о собаке'; *килегер* 'гладкий' < *килей-* 'быть гладким и скользким'. С. Калужиньский считает эти прилагательные для якутского языка монгольскими заимствованиями.[6] Мы тоже придерживаемся мнения, что этот аффикс в тофаларском, тувинском и якутском языках имеет монгольское происхождение.

Специфику тофаларских прилагательных составляет также особая, больше похожая на флексию, форма для выражения усиления признака.[7] Например: *узоон* 'очень длинный' < *узун* 'длинный'; *бичии* 'очень маленький, малюсенький' < *биче* 'маленький'; *чылээг* 'очень теплый' < *чылыг* 'теплый'; *чарииш* 'очень маленький, малюсенький' < *чараш* 'маленький'; *семеес* 'очень жирный' < *семис* 'жирный'. Ослабление признака выражается аффиксами *-сыг*, *-сым*, *-сыӈ-*, *-сыӈгы* (с соответствующими фонетическими вариантами), которые могут взаимозаменяться. Например: *иъсигсиг*, *иъсигсим*, *иъсигсиӈ*, *иъсигсиӈги* 'слегка горячий, чуть горячий'; *сарыгсыг*, *сарыгсым*, *сарыгсыӈ*, *сарыгсыӈгы* 'слегка, чуть желтый'; *дүлейсиг*, *дүлейсиӈ* 'глуховатый'; *семиссиӈги* 'слегка, чуть жирный, средней упитанности — о скоте'; *аксыӈ*, *аксыӈгы* 'беловатый'.

Пожалуй, единственным своеобразием тофаларских числительных является переосмысление и переход в разряд количественных числительных собирательного по происхождению числительного *брээ* 'один',[8] а также образование всех без исключения десятков за счет сложения основ, обозначающих единицы, с числительным *он* 'десять': *иъһ̆ён* '20', *үдьен* '30', *дөртен* '40', *бедьен* '50', *алтон* '60', *чедон* '70', *сеъһезон* '80', *тоъһозон* '90'. Это сближает тофаларский язык с желтоуйгурским, в котором отмечен аналогичный тип образования всех десятков.[9]

Среди местоимений выделяются особые местоименные глаголы *каньча-* 'как делать, поступить?', *ыньча-* 'так делать, поступить', *мыньча-* 'этак делать, поступить', в которых прослеживаются супплетивные формы *кан-*, *ын-* и *мын-* от местоимений *кай* 'какой'?, *ол* 'тот', *бо* 'этот', а также глагол *чоон-* 'что делать?', в котором прослеживается вопросительное местоимение *чү* 'что?'. Из других тюркских языков лишь в тувинском отмечаются эти местоименные глаголы,[10] и авторы «Грамматики тувинского языка» тоже производят их от местоимений *кай*, *ол*, *бо*.[11] Древнетюркские формы ančïp[12] и ïnčïp[13] в значении 'так, таким образом' (ср.: тоф. *ыньчап*, тув. *ынчап* id.) можно в связи с этим рассматривать как деепричастия на *-р* от местоименного глагола *ančï- || *ïnčï- 'так делать, поступить', другие формы которого просто не попали в памятники древнетюркского письма. Если

это предположение верно, то тофаларские и тувинские местоименные глаголы *каньча-*, *ыньча-* и *мыньча-* являются реликтами древних тюркских местоименных глаголов.

Тофаларские глаголы в системе словообразования тоже являют собой общетюркский тип. Здесь мы находим те же аффиксы: *ла-* — *ырла-* 'петь' < *ыр* 'песня'; *аӈна-* 'охотиться, промышлять' < *аӈ* 'зверь'; *а-* — *ада-* 'называть' < *ат* 'имя'; *ойна-* 'играть' < *өэн* < *ойун* 'игра'; *кар-* — *немгер-* 'кормить' < *нем* 'пища'; *баъшкар-* 'руководить' < *баъш* 'голова'; *к-* — *бирик-* 'объединяться' < *бир* 'один'; *эчжик-* 'подружиться' < *эш* 'друг'; *турук-* 'отстояться' < *тур-* 'стоять'; *каътык-* 'затвердеть, закалиться' < *каът-* 'затвердеть, засохнуть', что и в других тюркских языках.

Для тофаларского, как и для тувинского глагола, характерна особая модальная форма желания, намерения совершить действие, образуемая аффиксом *-кса-*, *-ксе-*, *-ыкса-*, *-иксе-*, *-укса-*, *-үксе-*, имевшая распространение в древнетюркском языке.[14] Примеры: *барыкса-* 'хотеть пойти', *келиксе-* 'хотеть прийти', *аӈнакса-* 'намереваться промышлять', *туътукса-* 'хотеть поймать', *каттакса-* 'намереваться собирать ягоды'.

Нами зафиксировано также большое количество так называемых образных глаголов, основа которых имеет в конце как характерный признак согласный *-й* (например: *килей-* 'быть гладким', *кылай-* 'быть блестящим', *сирпей-* 'быть лохматым, взъерошенным', *далбай-* 'быть широким и плоским') и которые имеют, по-видимому, монгольское происхождение.[15] Большое количество образных глаголов отмечено и в якутском языке,[16] где их «общей и постоянной приметой. . . является конечный *-й*».[17] Их можно найти также в словарях тувинского, хакасского, алтайского, киргизского, казахского, каракалпакского и ряда других тюркских языков. При этом в сибирских тюркских языках их намного больше, чем в среднеазиатских и иных тюркских языках, т. е. их больше в языках, испытавших большее монгольское языковое влияние. Эти основы широко и повсеместно представлены как в древних, так и в современных монгольских языках, причем с этим же показателем *-й*.

Для всех монгольских глаголов вообще, а для образных в особенности характерно довольно широкое употребление специальных аффиксов для образования различных видовых форм, указывающих на характер протекания действия (мгновенность, ритмичность, длительность и др.).[18] Например, в старомонгольском языке этими аффиксами являются: -ski < глагольное имя на -s + глагол ki- 'делать', -sge < глагольное имя на -s + глагол ge- 'говорить, издавать звук', образующие мгновенный вид; -ŋna < ŋla < отглагольное имя на -ŋ + отыменной глаголообразующий аффикс -la, -lǯa, -balǯa, -γalǯa, -γana, образующие ритмичный вид; -čiqa, -čike, образующие интенсивно-завершенный вид. При этом аффикс ритмичного вида -ŋna присоединяется преимущественно к основам образных глаголов, с образными же глаголами чаще

соединяется и сложный аффикс мгновенного вида -ški, -sge. Почти все эти аффиксы монгольских видовых форм представлены в якутском языке (например, якутские аффиксы *-ҕалдьый* < монг. -γalǯa, *-лдьый* < монг. -lǯa, *-ҥнаа* < монг. -ŋna для выражения ритмичности действия, *-с гын-* < -s ki- для выражения мгновенности, однократности действия),[19] причем С. Калужиньский считает эти аффиксы монгольскими заимствованиями в якутском языке.[20] Аффикс ритмичного вида *-ҥна*, но лишь от звукообразоподражательных глаголов и глаголов чувствования-ощущения, отмечен также в тувинском языке.[21] В словарях других тюркских языков тоже можно найти глаголы с аффиксом *-ҥна*, производные от образных глаголов. Напр.: ног. *ыржай-* 'осклабиться' > *ыржаҥла-* 'скалить зубы, гримасничать', каз. *ыржый-* 'осклабиться' > *ыржаҥда-* 'глупо смеяться, зубоскалить', кирг. *ыржай-* 'осклабиться' > *ыржаҥда-* 'осклабиться', хак. *ырчай-*, *ырсай-* 'оскалить зубы' > *ырсаҥна-* 'улыбаться, оскалив зубы'. Однако в этих языках данный аффикс имеет скорее словообразующее значение, нежели видовое, и поэтому не включается в видовое формообразование. Да и вообще для тюркских языков наиболее характерны аналитические способы выражения различных видовых форм. Довольно ясно это сказано в отношении казахского языка: «В казахском языке отсутствует аффиксальное выражение глагольного вида».[22] Поэтому широкое развитие аффиксального оформления видов в некоторых тюркских языках, как, например, в якутском, уже само по себе можно связывать с сильным монгольским влиянием, а материальное совпадение основных видовых аффиксов только усиливает это предположение.

Систему видовых форм у образных глаголов, почти полностью аналогичную якутской, мы обнаружили и в тофаларском языке. Так, наш материал позволил выявить следующие видовые формы.

1. Моментально-однократная форма. Создается аналитически по монгольской модели: от основы образного глагола образуется отглагольное имя путем прибавления к основе глагола аффикса *-с*, при этом конечный *-й* основы образного глагола выпадает. Получившаяся производная основа на *-с* в сочетании с глаголом *кын-* 'делать' (< *кылын-* — возвратный залог от *кыл-* 'делать'), а иногда и *кыл-* 'делать' выражает моментальную однократность действия или протекания во времени зрительного восприятия образа. Например: *кылай-* 'быть блестящим, сверкающим' → *кылас кын-* 'сверкнуть быстро и один раз'; *ыракта от кылас кынды* 'вдали блеснул огонь'; *шимей-* 'иметь прищурившийся вид' → *шимес кын-* 'подмигнуть'; *ћальчжай-* 'быть лысым' → *ћальчжас кын-* 'мелькнуть — о лысине', *малай-* 'быть с задранным вверх лицом' → *малас кын-* 'мелькнуть на миг — о человеке с задранным вверх лицом'.

2. Раздельная кратность. Формируется аналитически путем повтора указанной выше производной основы на *-с* в сочетании с глаголами *кын-* или *кыл-* 'делать'. Эта форма обо-

значает действие, которое совершалось мгновенно, но несколько раз подряд. Например: *дээри оду кылас кылас кынды* 'несколько раз подряд сверкнула молния'; *ол киши шимес шимес кынды* 'тот человек несколько раз подмигнул'.

3. Ритмичность. Эта форма выражает действие, которое совершается небыстро, равномерно, через определенные промежутки времени. Образуется синтетически путем подстановки к основе образного глагола вместо конечного *-й* аффикса *-ӈна*, *-ӈне* (состоящего из отглагольного имени на *-ӈ* + словообразовательный глагольный аффикс *-ла-*) и аналитически — сочетанием глагола *кыл-* или *кын-* 'делать' с именной основой, получившейся прибавлением к основе образного глагола вместо конечного *-й* аффикса *-ӈ*. При этом именная основа чаще употребляется повторенной дважды. Примеры: *инек маймыӈ маймыӈ кылып кегженип туру* || *инек маймыӈнап кегженип туру* 'корова жует жвачку, равномерно двигая вбок челюстями' (< *маймый-* 'иметь вид с отведенной вбок челюстью'); *далайда от кылаӈнап туру* 'на море равномерно мерцает огонь (маяк)' *шимеӈ*; *шимеӈ кын-* || *шимеӈне-* 'часто моргать'; *аът чели сеглеӈ сеглеӈ кынып чору* || *аът чели сеглеӈнеп чору* 'грива лошади трясется, лохматясь (на скаку)' (< *сеглей-* 'быть с косматой, торчащей вверх гривой').

4. Учащенная ритмичность (часто в движении). Образуется аналитически путем сочетания отглагольного имени на *-ӈ* с глаголом *гайын-* (аорист — *гайнир*), самостоятельно ныне не употребляющимся (но, возможно, имеющим этимологическую связь с общетюркским глаголом *кайна-* 'кипеть', отмеченным у В. В. Радлова[23] также в значении 'шуметь, толпиться, кишеть', ср. тоф. *һээн-* < *һайын-* 'кипеть'). При этом имя на *-ӈ* может быть удвоенным. Эта форма обозначает очень частое повторение действия или появление какого-либо образа при очень частом движении предмета или лица, носителя этого образа. Примеры: *шимеӈ гайын-* || *шимеӈ шимеӈ гайын-* 'очень часто моргать'; *сеглеӈ гайын-* 'развеваться — о косматой гриве на скаку лошади'; *молтуӈ гайын-* || *молтуӈ молтуӈ гайын-* 'быстро раскачиваться от ветра — о камыше' < *молтуй-* 'быть с утолщением на конце — о камыше и т. п.'.

Вызывает интерес наложение этой системы видовых форм также и на обычные глаголы движения, состояния, чувствования и т. д., что позволяет говорить о развитии категории этих видовых форм вообще у тофаларского глагола. Практически от любого глагола, если только позволяет его семантика, можно образовать и употребить отмеченные выше видовые формы. Так, например, скажут: *мен барыс кындым* 'я быстренько сходил' < *бар-* 'пойти'; *мен чорус кындым* 'я быстренько съездил' < *чору-* 'ехать'; *мен коорытка уъһяс кындым* 'я быстренько слетал (на самолете) в город' < *уъш-* 'лететь'; *мен эчжик аъһяс кындым* 'я быстро открыл (и тут же закрыл) дверь' < *аъш-* 'открывать'; *мен каттас кындым* 'я немного пособирал ягод' < *катта-* 'собирать ягоды';

мен турас кындым 'я на миг остановился (и пошел дальше)', *тураӈна-* 'часто делать остановки во время движения', *тураӈ гайын-* 'останавливаться еще чаще' <*тур-* 'останавливаться, стоять', *уъһяӈна-* 'часто летать' (например, на самолете), *уъһяӈ гайын-* 'часто взлетать, порхать' (например, птицы, бабочки), *барыӈна-* 'часто ходить'. Аналогичное употребление отдельных видовых форм образных глаголов с некоторыми глаголами действия-состояния отмечается и в якутском языке.[24] В других тюркских языках подобного явления не наблюдается.

Совершенно неожиданно нами было обнаружено в тофаларском языке причастие настоящего времени с аффиксом *-у*, *-ы*, который строго дифференцирован от аффикса деепричастия *-а*. Например: *ында туру киши тамһылавас* 'человек, стоящий там, не курит', но *аът тура удуур чүме* 'лошадь спит стоя'; *ында олыры киши мииӈ аъһам* 'человек, сидящий там, мой старший брат', но *ол киши олыра удый дыры* 'тот человек спит сидя'. Аффикс этой причастной формы непосредственно к своей основе принимают лишь глаголы *тур-* 'стоять', *чор(у)-* 'идти', *олур-* ‖ *олыр-* 'сидеть', *чыът(ыр)-* 'лежать'. От всех прочих глаголов она образуется только аналитически путем сочетания деепричастия на *-п* значимого глагола и одного из названных выше глаголов, выполняющих здесь служебную функцию, принявших этот аффикс. Например: *киши черлеп туру өг* 'дом, в котором сейчас кто-то живет'; *шей ишип олыры киши мону соодады* 'это сказал человек, который сейчас пьет чай'; *ибиниӈ чазын үнүп чору миисын кеъсибиттим* 'я обрезал растущие весной рога оленя'.

Это причастие участвует в образовании финитной формы настоящего времени, отражающей действие, которое началось, происходит в настоящей момент и еще не завершилось. Например: *мен туру мен* 'я стою'; *бо киши чору* 'тот человек идет'; *неш үнүп чору* 'дерево растет'; *киши шей ишип олыры* 'человек пьет чай'; *сен һыньэак санап чыътыры сен* 'ты читаешь книгу'.

Как и всякое причастие, форма на *-у*, *-ы* может принимать окончания личной принадлежности и склоняться. Например: *кишиниӈ чорусун көр дур мен* 'я вижу, что идет человек'; *ол һепте турум чок* 'на той фотокарточке меня нет'; *аът турусу бар* 'конь стоит (и все это видят)'; *оларыӈ туруларда* 'когда они стояли'; *олурумда* 'когда я сижу'; *ол киши чоруда* 'когда тот человек идет'.

Наречие тофаларского языка характеризуется особым аффиксом *-ды*, *-ди*, образующим адверб от прилагательных (например, *каътыгды* 'крепко', *каътыг* 'крепкий', *эъкиди* 'хорошо' <*эъки* 'хороший' и т. д.)[25] и в то же время вычленяющимся у довольно большого числа наречий глагольного происхождения, в которых он, по-видимому, представляет собой застывшую деепричастную форму. Совершенно справедливо заметил об этом Э. В. Севортян: «Мы имеем в данном случае в виду аффикс *-ды* ‖ *-ты*, который был, по-видимому, общим для наречия и деепричастия,

образуя первые от имен, а вторые от глаголов».[26] В тофаларском языке этот аффикс довольно продуктивен. Например: *кыъскалады соода* 'говори кратко' <*кыъскала-* 'укоротить'; *чоъктады чораан* 'поехал вверх по реке' <*чоъкта-* 'подниматься вверх по течению'; *сыылады чаг дыры* 'беспрерывно идет дождь' <*сыыла-* 'хлестать — о дожде'; *чагны чугалады чаган* 'намазал масло тонким слоем' <*чугала-* 'утончить'.

В тофаларском языке вообще отсутствует своеобразный синкретизм основ наречий и прилагательных, так как наречие в нем обязательно должно оформляться либо синтетически, аффиксально, либо аналитически, посредством сочетания именных основ с деепричастными формами глагола *кыл-* 'делать'. Например: *бо кысты саътыгшы кылы алганнар* 'эту девушку взяли продавцом'.

Отдельными приведенными здесь формами некоторых частей речи мы, разумеется, не исчерпали всех своеобразных и характерных черт морфологии тофаларского языка. Но и то, что нам удалось показать, безусловно свидетельствует о самобытности тофаларского языка, о сохранении им ряда архаичных черт и выработке в процессе исторического развития своих собственных.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966, с. 287.

[2] См.: Дыренкова Н. П. Тофаларский язык. — В кн.: Тюркологические исследования. М.—Л., 1963, с. 11.

[3] См.: Харитонов Л. Н. Современный якутский язык. Фонетика и морфология. Якутск, 1947, с. 107.

[4] Там же, с. 108.

[5] Там же, с. 138—139.

[6] См.: Kałużyński S. Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Warszawa, 1961, p. 79—80.

[7] См.: Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971, с. 56—57.

[8] О тофаларских числительных см.: Дыренкова Н. П. Тофаларский язык, с. 15; Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка, с. 79—80.

[9] См.: Малов С. Е. Язык желтых уйгуров. М., 1967.

[10] См.: Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961, с. 230—231, 238.

[11] Там же, с. 271.

[12] ДТС, с. 44.

[13] Там же, с. 219.

[14] См.: A. von Gabain. Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1950, § 97; ДТС, Прил. II, с. 653—654.

[15] См.: Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка, с. 105.

[16] См.: Харитонов Л. Н. Типы глагольной основы в якутском языке. М.—Л., 1954, с. 200—201.

[17] Там же, с. 231.

[18] См. об этом: Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Ч. 2. Глагол. М., 1963, с. 65—71, 249—250; Ramstedt G. J. Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen. Helsingfors, 1902, S. 118—

119; Тодаева Б. Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология. М., 1951, с. 112—122; Beffa M.-L., Hamayon R. Suffixes de modalite verbale. Études mongoles. Cahier 2. Paris, 1971, p. 32—33, 38—42, 45.

[19] См.: Харитонов Л. Н. Формы глагольного вида в якутском языке. М.—Л., 1960, с. 143—155, 157—160.

[20] См.: Kałużyński S. Mongolische Elemente..., p. 98—99, 102—103, 104—105.

[21] См.: Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка, с. 410.

[22] Современный казахский язык. Фонетика и морфология. Алма-Ата, 1962, с. 275.

[23] РО II, ч. 1, ст. 14—15.

[24] См.: Харитонов Л. Н. Формы глагольного вида. . ., с. 171—174.

[25] См. об этом: Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка, с. 79.

[26] Севортян Э. В. Из истории прилагательных в тюркских языках. — В кн.: Тюркологические исследования. М.—Л., 1963, с. 67.

К. Редеи, А. Рона-Таш

ОБ ОДНОМ АГРИКУЛЬТУРНОМ ТЕРМИНЕ В ЯЗЫКАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Взаимоотношения тюркских и финно-угорских народов, живущих в Среднем Поволжье, в последнее время все больше привлекают внимание ученых. Нам хотелось бы остановиться на некоторых проблемах, которые возникли в процессе нашей работы, а именно — на истории одного слова.

Чувашское происхождение зырянского V S Pec Lu, Le*, kušman, P kušma'n [1] 'редис' и удмуртского S K kušman,[2] G M J MU U kušman [3] 'то же' давно уже предполагалось Ю. Вихманом и обсуждалось другими учеными.[4] Все же этимология чув. kŏšman, kăšman 'редис' представляет серьезные затруднения. Это чувашское слово, в сущности, является довольно поздним заимствованием. В словах исконно чувашских и даже в ранних заимствованиях начальный звук k- в словах с гласными заднего ряда должен был переходить в x-; звук -š- не может быть исконно тюркским. Кроме того, рассматриваемое слово отсутствует в других тюркских языках. В чувашском оно было заимствовано из диалектов татарского языка, в которых встречаются варианты ķušman и kušman.[5] Но и в татарском оно не кыпчакского происхождения, а относится к довольно большой группе слов, заимствованных пришедшими в Поволжье кыпчаками-татарами у местных жителей — волжских булгар. Волжско-булгарская форма этого слова может быть восстановлена как *χüšman. Поскольку в тат. яз. нет начального χ-, последний был заменен заднеязычным ķ-, как, например, в слове qazaq 'фунт' [6] волжско-булгарского *хađак < прототюркского qadaq.

Существование предполагаемого волжско-булгарского слова *χŭšman может быть подтверждено наличием мар. K B (kač) ušman, B ušmev [7] 'редис', морд. слова эрзя kušmań, мокша kušm'åń, kušma (по А. Альквисту), зыр. kušman и, возможно, удм. kušman (по Вихм.). Указанные слова эквивалентны волжско-булгарскому. О фонетической стороне этого соответствия см. нашу статью.[8]

---

* Сокращенные обозначения диалектов см. в цитируемых в каждом случае работах.

Хорошо известно, что финно-угорские языки Поволжья неоднократно заимствовали из волжско-булгарского языка слова, точные соответствия которым исчезали из чувашского языка и затем вторично заимствовались из татарского. Мы можем указать на следующие слова, заимствованные протопермским языком и рассматриваемые в вышеуказанной работе: протопермское *kɛć 'козел' ← ср.-булг. (мы употребляем термин средне-булгарский, имея в виду все диалекты, включая волжско-булгарский) *käči; чув. слова kača, kačaka являются заимствованиями из тат. яз., в то время как тат. слово käšäkä 'разновидность биты, предназначаемой для игры и напоминающей голову козла' — заимствование из ср.-булг. яз.;[9] протопермское слово *kundi̮ 'корзина из кожи', ср.-булг. *xundï, чув. komtă, kuntă и т. д. являются заимствованиями из диалектов тат. яз.;[10] протопермское *śir или *śi̮r 'свинец', ср.-булг. *śir < прототюркского jez; чув. yĕs, yăs 'латунь' — заимствование из тат. яз.;[11] протопермское *tuś 'зерно, семя', ср.-булг. *tǚś < протобулгарского tülč < прототюркского tüš; чув. tös, tǒš также являются заимствованиями из тат. яз.[12]

Каково же происхождение волжско-булгарского слова χüšman? Оно не может быть тюркским по фонетическим причинам (-š-) и потому, что оно отсутствует в других тюркских языках, как было отмечено выше. Вполне возможно, что название местного съедобного корнеплода было заимствовано волжскими булгарами у местных жителей. В финно-угорских языках есть, например, такое слово: мансийское P kośśəm, N, SLU, LM kośməŋ LO xōśman[13] 'луковичное дикорастущее растение, корень и стебель которого употребляются в качестве приправы к супу; лук'; венг. hagyma 'лук; лук-порей'; зыр. P komiʒ[14] 'лук (allium)'; Ja ku'mić[15] 'перо лука, зеленый лук'; удм. kumuź, kumi̮ź (по Видем.) 'чеснок'; S kumi̮z (по Мунк.) 'чеснок (allium sativum)'; kumi̮ź[16] 'дикий чеснок'.[17]

Большое значение для нашего построения имеет то, что в протопермском языке была форма, звучавшая приблизительно *komi̮ʒ < *koʒim и соответствовавшая протофинно-угорской форме *koćmʒ или *kaćmʒ, т. е. в протопермском языке данное слово претерпело метатезу. Протоугорское слово в позднем венг. яз. приобрело суффикс -*a* (вторичный), а в мансийском языке еще и -n в конце слова. Таким образом, протомансийская, а также древнемансийская форма слова должна быть реконструирована как *koćmʒ ~ koćmʒn. Волжские булгары могли заимствовать только протомансийский вариант слова в форме qoćman или χoćman, которая позже была преобразована в χüšman благодаря замене сочетания -ćm- > -śm- сочетанием -šm-. Происходил тот же процесс, что и с названием башкир, где начальная форма bajγïrd преобразовалась в волж.-булг. яз. в bašγïrd, а затем оттуда попала в татарский и русский языки. Чув. форма puškărt является татарским заимствованием, заместившим исконную форму *puśχărt. Подобную замену ć ср.-булг. *č* > *š* можно обнаружить в таких словах: протопермское *pɛlić, зырян. pɛli̮ś, peliʒ 'рябина', удм. paleź → чув. pilcš 'то же'.

Не только протомансийская *koćmʒń, но и более архаичная форма *koćmʒ имеют эквиваленты в чувашском языке. Кроме форм kŏšman, kăšman, существует диалектальная форма kăšmi 'брюква (Brassica capestris rutalaga)',[18] которая относится к волж.-булг. *χüšmi так же, как и форма kăšman относится к волж.-булг. *χüšman и отражается в морд. kušma с учетом регулярной замены *-i* на *-a*. Мы не исключаем возможности того, что среднебулгарская форма χüšmi была заимствованием вышеупомянутой венгерской формы hagyma < протовенгерской *χoʒmʒ (< протоугорской *koćmʒ) или древнепротопермской *koʒmʒ.

Чувашское слово обозначает любой съедобный корнеплод, что видно из следующих примеров:[19] yüś kăšman 'редис', χurak, 'то же', sar, šurak 'свекла красная'. Поскольку у поволжских булгар было собственное слово, обозначавшее лук, — soχan, чув. suχan (ср.: кар.-балк. soχan или прототюркское *sōγan), они заимствовали слово, обозначавшее другие съедобные корнеплоды, у местных протоманси (и, возможно, у протовенгров).

В заключение мы должны еще раз обратиться к удмуртской форме G M J MU Uf kušman (по Вихм.), S K kušman (по Мунк.) 'редис'. Нельзя считать, что это слово развилось обычным путем из протопермского *kušman (ср.-булг. *χüšman), так как во втором слоге вместо обычного *-o-* мы имеем *-a-*. Это слово либо позднее заимствование из татарского языка, либо мы должны предположить, что существовала форма *kušmon, изменившаяся под влиянием татарского слова.

То, что некоторые группы угорских племен проживали на территории, заселенной булгарскими племенами, является историческим фактом. Исторически доказано также, что большинство мансийских племен до XV в. проживало на европейском склоне Уральского хребта — на территории между реками Камой и Чусовой.[20]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Wichmann Y., Uotila T. Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre. Aufgezeichnet von Yrjö Wichman. Bearbeited und herausgegeben von T. E. Uotila. Helsinki, 1942.

[2] Munkácsi B. Votják szótár. Lexicon lingvae Votiacorum. Budapest, 1890—1896 (далее в тексте: по Мунк.).

[3] Wichmann Y. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Votjakischen. — MSFOu XXI, 85 (далее в тексте: по Вихману).

[4] Из многочисленных работ, затрагивающих интересующее нас слово, мы можем упомянуть здесь лишь основные; это, помимо названной в прим. 3, следующие: Gombocz Z. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. MSFOu, XXX, S. 33—34; Raun A. The Chuvash borrowings in Zyrian. JAOS, 1957, vol. 77, N 1, p. 41; Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964, с. 204—205; Лыткин В. И. О древнетюркских элементах в лексике пермских языков. — В кн.: Вопросы финно-угорского языкознания, т. IV. Ижевск, 1967, с. 133; Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, с. 103; Федоров В. В. Исторические связи чувашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками, ч. 1, 1965, с. 89; ч. II, 1968, с. 109; Лыткин В. И. и Гуляев Л. С. Краткий этимологический словарь коми

языка, М., 1970, с. 148; A magyar szókészlet finnugor elemei. Etymológiai szótár. Budapest, II, 1971, p. 241—242; A magyar nyelv töptnéti-étimológiai szótára. Budapest, II, 1970, p. 18 с соответствующей библиографией.

[5] Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казань, 1969, с. 212, 259.

[6] РО, II, с. 366.

[7] Räsänen M. Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissichen. MSFOu, t. XLVIII, S. 237; по Вихману, см. прим. 3.

[8] Rédei K., Róna-Tas A. A permi nyelvek öspermi kori bolgár-török jövevenyszavai. — Nyelvtudomânyi Közlemények. Budapest, LXXIV, 281—298.

[9] Там же, пример № 8.

[10] Там же, № 11.

[11] Там же, № 14.

[12] Там же, № 18.

[13] Kannisto A. Die tatarischen Lehnwörter im Wogulischen. — In: Finnisch-ugrische Forschungen. Helsingfors, t. XVII (1925), S. 232.

[14] Wiedemann F. Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen und einem deutschen Register. SPb., 1880 (далее в тексте: по Видем.).

[15] Лыткин В. И. Язовские коми. — СЭ, 1950, № 4, с. 194—199.

[16] Борисов Т. К. Удмуртско-русский словарь. Ижевск, 1932.

[17] См.: A magyar szókeszlet. . ., II, p. 241—242.

[18] Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1934, вып. VII, с. 221.

[19] Там же.

[20] Redei K. Die Sirjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest, 1970, p. 72—76.

Перевод с английского Р. Булгакова

А. Рустамов

МАХМУД КАШГАРСКИЙ О СЛОВАХ С ЗВУКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ QAQ

Благодаря глубоким и всесторонним исследованиям академика Андрея Николаевича Кононова востоковедение располагает последним словом науки о личности и деятельности основоположника тюркологии Махмуда Кашгарского.[1]

Одной из первостепенных задач является искоренение отдельных неточных и ошибочных представлений о словарном материале «Дивана» Махмуда Кашгарского, бытующих в современной тюркологической литературе. Значения ряда слов искажены в существующих переводных изданиях «Дивана», словарях и исследовательских работах. К таковым относятся, например, слова-омонимы, имеющие звуковую оболочку q a q. Таких слов в «Диване», судя по двум его переводам [2] и Древнетюркскому словарю,[3] — три. Одно из них со значением «вяленый», «сушеный» не вызывает возражения, но два других требуют уточнения. Оба они в «Диване» приведены в двух местах: первый раз — в разделе удвоенных слов без алифа и второй раз — в разделе пустых слов с алифом. К одному из них в качестве примера приведено четверостишие, в первой строке которого имеется данное слово в форме мн. ч.: qaqlar qamuγ kölärdi (Ркп., л. 204[а]; изд. Рифата, т. II, с. 225). Этот стих переведен И. В. Стеблевой как «Все сухие впадины превратились в озера»;[4] в ДТС как «Все сухие места покрылись водой» (с. 207) и как «Лужи стали подобны озерам» (с. 422), где верным является последний вариант, поскольку Махмуд Кашгарский qaq переводит на арабский язык словом الغدير ('лужа'), а qaqlar как الغدران ('лужи'). В турецком переводе кроме значения 'лужа' даны еще 'озеро' и 'высохшее озеро' (т. II, с. 283). С. М. Муталлибов в своем издании это слово переводит как 'озеро, образованное от дождя или селя' (т. II, с. 327) и 'скопление воды, накопившаяся вода' (т. III, с. 359).

Интересно современное представление тюрок о значении этого слова. Туркмены под этим словом понимают 'место скопления дождевых вод в такырах—пустынях' [5] или 'дождевые воды, скопившиеся в углублениях в пустыне и на такыре',[6] киргизы — 'небольшое углубление в горах, где задерживается влага атмо-

сферных осадков',[7] крымские татары — 'лужу', независимо от того, где и как она образовалась. Об этом мне любезно сообщил доцент Ташкентского университета М. М. Муждабаев. В таком же значении слово дано в «Диване» Махмуда Кашгарского. Таким образом, общетюркское слово qaq по значению соответствует русскому 'лужа', а сужение его значения по локальному признаку — это позднее явление, порожденное географическими особенностями места обитания конкретного тюркоязычного народа.

Второе qaq Махмуд Кашгарский переводит на арабский язык словом[8] الفليق (Ркп., л. 256[б]; изд. Рифата, т. II, с. 225), которое употребляется для обозначения персика, абрикоса и других фруктов, разрезанных пополам и высушенных без косточек. С. М. Муталлибов это слово переводит как 'косточка, ядро' (т. II с. 326), а в ДТС оно переведено как 'долька, ломтик' и erük qaqï — 'долька урюка' (с. 421), тогда как в «Диване» äruk qaqy поясняется как فليق لخوخ و غيره (Ркп., л. 204[а]; изд. Рифата, т. II, с. 225) — 'разрезанные пополам и высушенные без косточек персики и тому подобные (фрукты)'.[9] Такое значение этого слова дает нам основание объединить его с qaq в значении 'вяленый', 'сушеный'.

Таким образом, Махмуд Кашгарский в свой словарь включил не три, а два слова с звуковой оболочкой qaq, одно из которых означает не 'озеро', не 'впадину' и не 'сухое место', а 'лужу', другое — не 'косточку', не 'ядро', не 'дольку' и не 'ломтик', а 'пищевой продукт, сушеный или вяленый путем разрезания пополам или на дольки и удаления внутренности (косточки, семян)'.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Кононов А. Н. 1) Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат ит-турк». — СТ, 1972, № 1, с. 3—17; 2) Маҳмуд Кошғарий ва унинг «Девону луғот ит-турк» асари. — В кн.: Ўзбек тили ва адабиёти. Ташкент, 1972, № 1—2; Фазылов Э. И., Данилова Л. В. Всесоюзная тюркологическая конференция, посвященная 900-летию труда Махмуда Кашгари «Дивану лугат ит-турк». — СТ, 1971, № 1, с. 151.

2 Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Ташкент, т. 2, 1961, с. 326—327; т. 3, 1963, с. 169; Divanü lugat-it-türk tercümesi, çeviren Besim Atalay, c. 2. Ankara, 1940, S. 282—283; cilt 3, 1941, S. 155.

3 ДТС, с. 421—422.

4 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М., 1971, с. 267.

5 Аширов П. Животноводческая лексика в туркменском языке. Ашхабад, 1971, с. 13.

6 Туркмен дилинин сөзлүги. Ашхабад, 1962, с. 366.

7 Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965, с. 326.

8 Как в рукописи, так и в издании Рифата буква *фа* огласована фатхой, что обуславливает ее чтение как *ал-фалику*, но должно быть *ал-фуллайку*. Это одна из многих описок переписчика рукописи «Дивана».

9 Слово aruk в первом разделе «Дивана» поясняется как общее название персика, абрикоса и сливы (Изд. Рифата, т. I. с. 66). Таким является и иранское ālū (см.: Абу Райхан Беруни. Избр. произведения, т. 4. Исследование, пер., прим. и указ. У. И. Каримова. Ташкент, 1974, с. 165).

Э. В. Севортян

О СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ СОГЛАСНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Тема настоящей статьи уже привлекала внимание тюркологов. Об отдельных фактах падения анлаутных согласных писали Х. Эрен, Ю. Немет, Т. Ковальский, О. Прицак, А. М. Щербак, Б. М. Юнусалиев и другие.[1] Спорадически эти факты отмечаются в диалектологических описаниях по тюркским языкам.

Падение начальных согласных не носит систематического характера, что, естественно, затрудняет выборку относящегося материала из источников. Исключение составляет, пожалуй, согласный *с*-, который в якутском почти регулярно выпадает, образуя одну из фонетических характеристик названного языка. Но и в якутском это явление не носит абсолютного характера, так как в значительном числе общетюркских основ с начальным *с*- последний в якутском сохраняется. Ср.: *са̄дах*, *са̄тах* 'колчан', *салан/ салан* 'неумелый', 'неискусный', *са̄лын-/са̄ллар-* 'опускаться', 'уменьшаться', *сана̄-* 'мыслить', 'думать', *сап* 'нитка для шитья' (ср. турк. *сапла-* 'вдевать нитку для шитья'), *са̄ры* 'выделанная кожа, снятая с конского крупа' (ср. *саҕры* 'круп лошади'), *сергех* 'чуткий', 'внимательный', *сетерех* (ср. *сейрек*) 'редкий', 'не густой', *силик* 'красивый', 'узор' (ср. *силик*, *сулу* 'красивый'), *иҥир/ siҥир* 'сухожилие', *сиппӣр* (ср. *сипир-/ сүпүр-*) 'метла', 'помело', *сирин-* (ср. *сыры-*) 'стегать', *сох-* (ср. *соҕ-*) 'толочь в ступе', *сой* 'остывать', 'охлаждаться' (ср. *соҕу-*), *сос-* 'волочить', 'тянуть' (ср. *соз-* 'растягивать'), *соххар* 'кривой', 'одноглазый' (ср. с о ҕ ы р то же), *сӧрүн* (ср. *серин*) 'прохладный', *сура̄-* (ср. *сор(а)*) 'выведывать', 'справляться' и др., *сүлүгей* 'сок' (ср. *силекей / силегей*); 'слюна', *сыба̄-* (ср. *сыҕа-/сыва-*) 'мазать', 'обмазывать', *сы̄р* 'гора', 'холм', 'бугор' (ср. *сырт*) и др. Трудно все эти исключения объяснять заимствованиями из других тюркских языков, так как в приведенном списке довольно много основ, отмеченных в старейших памятниках.

Башкирский язык, не считая некоторых диалектов отдельных тюркских языков, составляет в рассматриваемом вопросе переход к полному падению начального *с*-, поскольку его место в этом языке занимает начальный *ҳ*-.

Накопившиеся у нас материалы о выпадении начальных согласных позволяют думать, что 1) данное явление имеет более широкое распространение, чем это казалось прежде, и 2) что процесс полной или частичной редукции начального согласного возник в тюркских языках еще в историческое время.

Обратимся к фактическому материалу.

Падение начального *k*-, *к*-: *айа* 'скала' (Bulġat. I_6, Kitāb-al-id-rāk, в турецких диалектах (DS I_{413}), otas вместо qotaz 'бык-як' (Ligeti VSOu$_{188}$), ayḫın-, ayḫıntı, aykın-, aykıntı — производное от глагола kay- 'скользить' в турецких диалектах (DS $I_{415, 422}$), *унаджън* в огузских говорах, *ғунажын* в кыпчакских говорах хорезмских диалектов в значении 'телка по третьему году' (Абдуллаев, с. 228); *уллан*- из *куллан*- 'употреблять'; турк. диал. *опармак* из *ḳопармак* 'вырывать с корнем' (по данным Н. Нартыева); ısmak из kısmak 'сжимать', 'извлекать ядро из косточки' в тур. диалектах (DD 2_{776}); *эйнім* из *ḳайыным* 'мой свекор' (ДС, 248); ōz наряду с gōzə, ᴳozə, qōza 'ягненок' в саларском (Kakuk *V* 188); *ысач* из *ḳысач* 'щипцы' в турк. диал. (Байрамурдыев, с. 7); ušgun — kušgun (Kāš D_{135} — Kāš D_{77}) 'вид травы с кислым вкусом' (Brock. OGM, § 7 h., прим. 2), 'щавель' (исходной К. Брокельман считает форму uşgun, форму же kuşgun — народной этимологией); *ыр* из *ḳыр* 'поле' в касимовском диалекте тат. яз. (Заляй, с. 88); ör 'мелкие горящие угольки' в тур. диалектах (Aksoy, p. 538) вместо kor; тур. kav, турк. *ḳob*, тув. *хаг* и т. д., чув. *ăбă* 'трут' (об этом нам любезно сообщила Л. С. Левитская); usa из ар. gussa 'горе', 'печаль', 'беспокойство' в тур. диалектах (DD 3_{1421}).

К рассматриваемым основам относятся также турецкие диалектные формы alaarga из ala karga 'разновидность вороны' и *алаавак* из *ала кавак* 'другая разновидность вороны' (DS, I, 170, 171). Однако в обоих примерах *-k-* находится в положении сандхи, вследствие чего эти формы могли получиться из alağarga > alaarga и alağabak > alaabak. К рассматриваемому ряду относятся также *урутḳа* из *ḳурутḳа* и *үгерчин* из *күгерчин* 'голубь' в памятниках; is'nemek из kis'nemek 'ржать' в чаг. (Vámbéry, $37_{4п}$) *ішни*-, то же в уйг.; يتمك из *кетмек* 'уходить', 'уезжать' в ст.-узб. (Pav. C_{94}) и понудительная форма ايترمك 'дать / заставить уходить' (Pav. C_{97}); *ийім* из *кийім* 'одежда', *үп* из *күп* 'много' в тат. диалектах (ДС, 85, 253); *үн* из *күн* 'выделанная кожа, юфть' (ДС, 253); *им* из *ким* 'кто' в турк. диалектах — ср.: *hи* : *ч им* ~ лит. *ẋи* : *ч ким* 'никто' (Байрамдурдыев, с. 7).

Падение начального *k*- известно также в тунгусо-маньчжурских языках.[2] Менее распространено, кажется, падение другого смычного *т*-/*д*. Ср., например, اوك в ст.-узб. 'волосы, шерсть на теле' (Pav. C_{70}; Zenker I_{126}); üž из düz 'равнина' в тур. диалектах (k); *ўма* из *тўма* 'совершенно, нисколько' (об этом любезно сообщила Д. Г. Тумашева); *аңай* из *таңҕай* / *таңлай* / *таңнау* 'нёбо' тат. диал. (сообщ. Тумашевой).

Из проточных более распространены случаи падения начальных *с-* и *ш-*. Помимо фактов якутского языка, приводившихся выше, ср.

а) us в словаре М. Кашгарского (Kāš, D_{699}), *уса-* из *суса-* 'жаждать' РО I_{1743} — из таранчинского, так же из других уйгурских диалектов: *уса-* / *усу-* в кашгарском диалекте (Мал., 166); usa / ussa то же (Jarr.,$_{324}$); usuz <из susuz 'испытывающий жажду' и usuzluq 'жажда' (Jarr., $_{325}$); üssä- то же; ůsůš 'бодаться' (там же); *ус-* из *сус-*, *суз-* и т. д. 'черпать' в уйгурских диалектах: яркендском (Мал., 165; см. также: Meng., 814, 811); *icle* в хотанском диалекте уйгурского языка (Мал., 114) из **сізлер* 'Вы'; as из saz 'болото' в койбальском (Castr., 79); возможно, сюда же относится *ÿркä-* 'пребывать', 'оставаться' ,'длиться' (из *сүр-*?) в Среднеазиатском тефсире (ЛСТ 340);

б) işek 'годовалый ягненок' в турецких диалектах ($DD2_{799}$) из şişek 'овца 1—2 лет' ($DD\ 3_{1293}$); каз. *ičik*, тув. *ыжык* 'опухоль', тув. *ыш-*, як. *ис-* 'пухнуть' — все из межтюркского *шиш-*, турк., *чиш-* и т. д. 'пухнуть'.

Чаще остальных проточных полностью редуцируется начальный *й-*, что наблюдается в самых разных тюркских языках и неоднократно отмечалось в литературе. Заметим попутно, что распространенность случаев падения начального *й-* служит часто молчаливой мотивировкой для реконструкции древнейших форм ряда слов с начальным *й-*, которого нет в современном состоянии тюркских языков.

Несравненно менее других согласных подвергаются полной редукции начальные *б-*, *н-* и *ч-*. Ср., напр., у Ибн-Муханны اويدى 'он покрасил' вместо *бойады*; тур. диал. ȫçük 'насекомое' с долгим гласным *ө:-* (*K*), ср. böcek то же; тур. диал. oğunmak из boğunmak 'задыхаться', 'обрываться' (о дыхании), 'терять сознание' ($DD3_{1085}$).

Примеры на падение начальных *н-*, *ч-*: *азик* из *назик* (перс.) 'нежный', 'тонкий', 'изящный' и т. д., тат. диал. *іләк* из *чӥләк* 'ягода' (ДС 237).

Едва ли необходимо оговаривать то, что приведенными примерами исчерпывается основная часть случаев падения начальных согласных в тюркских языках. Несомненно, их будет значительно больше при специальном обследовании памятников тюркских языков и зарегистрированного диалектографического материала.

Однако и приведенный, сравнительно ограниченный, материал позволяет ставить некоторые вопросы, связанные с падением начальных согласных.

Первый из таких вопросов касается степени охвата рассматриваемым процессом основной части начальных согласных в собственно тюркских лексических основах. Приводившиеся данные показывают, что подвергаются полной редукции все основные начальные согласные тюркских языков.

Второй вопрос касается фонетических процессов, приводящих к редукции и падению начальных согласных.

Здесь возможны два направления поисков: 1) выяснение некоего общего процесса, приводящего к разрушению согласных в начале слова, и 2) выяснение процессов падения начальных согласных для каждого из них в отдельности. Рассмотрим вторую возможность.

Относительно падения начального *k-/к-* было высказано мнение об эволюции *k-/к-* > *x-* > нуль. На это указывали А. Зайончковский,[3] М. Рясянен [4] и др. Однако фактически полная эволюция *k-/к-* > *x-* > нуль в одном тюркском языке и для одного или нескольких слов, насколько нам известно, пока не отмечалась, как не отмечались и факты эволюции начального *x-* > нуль в каком-либо языке для конкретных слов. Случай, приводимый Л. С. Левитской, а именно, горно-марийское *ip* 'искра' < **xip*, тув. *xip-* 'гореть' не меняет положения дел, так как ступени эволюции *x-* наблюдены в разных языках. Эволюция: начальный *k-/к-* > нуль — исторически известна лишь через ступень *x-*, при этом сами ступени (т. е. *k-/к-*, *x-*, нуль) зарегистрированы в разных языках, например, др.-тюрк. *кангы* 'который', 'какой', тур. hangi, кр.-тат. *анги*; др.-тюрк. *каны*? 'где?' — тур. hani? — кр.-тат. *ани*? то же; *кыйгыр-* 'кричать', 'орать' — тур. haykırmak — ср. кр.-тат. *айкыр-* то же и т. п.

Однако и такая эволюция в полном виде оказывается недействительной для целого ряда тюркских языков. Так, в тофаларском отмечены формы hündüz 'днем' из *күндүз*; ham 'шаман' из qam; hem 'река' из kem; heš 'колчан' из keš; höl 'озеро' из köl; hul 'батрак' из qul; hün 'солнце', 'день', höl'eg'e 'тень' из kölege (Рассадин, 9, 12, 17, 20, 22), но дальнейшая эволюция, т. е. падение начального h-, в приведенных словах не зарегистрирована.

В башкирском можно назвать несколько слов, в которых *k-* или *к-* перешло в *x-*: ср. *хүрүм* 'сажа' — ср. *курум* (РО II_{936}); *ҳәрмә-* 'ощупывать' — ср. *карма-*, *кармала-* то же. Однако и в этих случаях полная редукция начального *к-* (т. е. > *x-* > нуль) в приведенных словах не фиксировалась. Да и там, где она происходила, как, например, в крымско-татарском, весь процесс ограничился немногими словами. Исключение составляют некоторые факты чувашского языка. В нем отмечены единичные случаи эволюции *к-* > *x-* > нуль: ср. *кăс'та* — *хăста* — *ăс'та* 'куда?', 'где?' (по сообщению Л. С. Левитской, 227). Вряд ли необходимо оговариваться, что они не имеют ничего общего с общеизвестным в различных тюркских языках процессом редукции и падения (или перехода в *k/к/ҳ* в арабских и персидских заимствованиях в различных позициях в слове — в начале, внутри и в конце слова). Падение *x* в заимствованиях стоит в прямой связи с историческим положением фарингального *ҳ*, о котором еще Махмуд Кашгарский писал, что буква ح не имеет почвы в тюркском языке (Kāš, I_{161}).

Помимо сказанного, должно быть принято во внимание еще и то важное обстоятельство, что далеко не во всех тюркских языках, откуда были приведены примеры с исчезнувшими *k-/к-*, наблюдается переход *k-* > *x̧-*, *x-* > нуль или *й-* > нуль. Напр., переход *k-* > *x-* неизвестен в Kitāb-al-Idrāk, Bulġat-al-muštaq, в древнем китайско-уйгурском словаре. Он не характерен для туркменских и татарских диалектов, как и для хорезмских диалектов узбекского в коренных тюркских словах с начальным *k-/к-*. Таким образом, все это позволяет нам сказать, что предложенная в тюркологии схема редукции начального *k-*, *к-* не применима ко всем случаям падения этих согласных в начальном положении и потому не может разъяснить процесса их падения в анлауте.

Не более вероятной представляется и другая эволюция, приводящая к переходу начального *k-*, *к-* в *й-* и затем в нуль.

И в этой фонетической эволюции почти во всех тюркских языках широко представлены лишь ее вторая и третья ступени: *й* > нуль, при этом безотносительно к позиции *й* в слове. Опуская хорошо известные в литературе редуцированные формы с начальным *й-* (аз. *илан* < *йылан* 'змея', *ил* < *йыл* 'год', *улдуз* < *йулдуз* 'звезда', *ухары* < *йухары* 'верх', *илдырым* < *йылдырым* 'молния' и некоторые другие), приведем несколько иллюстраций на инлаутную редукцию *-й-*: узб. *сидир-* из *сийдир-* 'сдирать', аз. *быҕ* из *быйыҕ* 'усы', турк. *ka:да* из ар. *kā'ида* 'правило', *кə* из *кай* 'который' (ср. *кəвагт* 'иногда', *кəйерде* 'кое-где', 'местами'), узб. диал. *бормиж̧ак* из **бормыйж̧ак* < **бормайж̧ак* < 'он не придет' (Абдуллаев, 96)), узб. диал. *ет-* из *айт-* 'говорить' (Абдуллаев, 79) и др.

В тюркологии известна также предшествующая фонетическая ступень подобных форм с исчезнувшим *-й-*, т. е. формы с заместительной долготой у предшествующего *й* гласного: ср. турк. *кы:н* из *кыйын* 'трудный', *k̦ы:на-* из *k̦ыйына-* 'истязать', 'мучить', *k̦ы:шык* из *k̦ыйышык* 'кривой', *у:k̦ы* из *уйыk̦ы* 'сон', тур. диал. alee из alayi 'все' 'всё' (DS I_{210}), узб. диал. *е:ран* из *айран* 'название напитка из кислого молока' (Абдуллаев, 138), *ше:тан* из *шейтан* 'дьявол', *ме:дан* из *мейдан* 'площадь', *ве:ран* из *вейран* 'разрушенный (Абдуллаев, 139), тув. *ди:н* из *дийин* 'белка', хак. *ха:с* из *хайыс* 'ремень' и т. п.

Что касается реальности эволюции *к* < *й*, то положение вещей здесь иное. В инлауте такой переход уже отмечался: ср. *ешйек* из *ешкек* 'осел', *мейтеф* из *мектеп* 'школа' и *ейсик* из *ексик* 'недостаток' в турецких диалектах, ai̯şam из akşam (но, возможно, также из ağşam) 'вечер' в западнотурецких диалектах (Korkmaz, 103), тув. *ийи* из *ики* 'два' и некоторые другие примеры. Имеются также наблюдения о переходе *-к* в *-й* в ауслауте; ср. примеры из ферганских говоров узбекского языка: *ӧзеј* из *ӧзӓк*, *тiрсεј* из *тiрсэк* (Иброхимов, 397, 363), *эрий* из *эрик* 'слива' в аз. диалектах (Ад. 207); сюда же, по-видимому, входит турк. *меки* 'челнок' (ткацкий), получившийся, вероятно, из **мэкий* < *мэкик* (ср. тур. mekik). Наконец, в отдельных случаях зафиксирован также пере-

ход в *й-* анлаутного *к-*: ср. в башк. *йётӗн* из *кетен* 'лен', *йәнә* из *кәнә* 'еще', 'и', так же в тур. yine < yene то же.

Таким образом, в отдельности возможны как *k*/*к* > *й*, так и *й* > нуль. Нам не встретились случаи, в которых были бы представлены все три фазы фонетической эволюции начального *k-*/*к-*: с *k-*/*к-*, затем с начальным *й-* вместо *k-*/*к-*, наконец, без этих согласных — в одном языке или разных, — это роли не играет.

Из этих фактов следует, что предположение о развитии редукции начального *k-*/*к-* до нуля через ступень *й-* не находит фактического подтверждения за исключением единичных, не во всем ясных случаев, к которым относится чув. *хӗбӗрде-* 'радоваться', 'веселиться', горно-марийское *йӓвӓрт-* / *ӗвӗрт-* то же (сообщение Л. С. Левитской).

Остается еще одна, третья, возможность редукции начального *k-*/*к-* до нуля через ступень смычно-гортанного ', в который переходит названный согласный в касимовском говоре татарского языка, что уже неоднократно отмечалось в научной литературе.[5] *K-*/*к-* переходит в смычно-гортанный в любом положении в слове: ср. *'азна* < *ķазна* 'закром, сусек' (ДСТ 187); *'алын* < *ķалын* 'одежда и вещи, предназначавшиеся в старину женихом для невесты' (ДСТ 190); *'ара'чы* < *ķараķчы* 'вор' (ДСТ 193); *'аста* < *ķаста* 'болезнь' (ДСТ 196); *'ошыт* < *ķугыт* (< *кукут*) 'трава' (ДСТ 199); *'ойо'* < *көйөк* 'дикие животные и птицы', *'ойо' 'аз* < *көйөк ķаз* 'дикая утка' (ДСТ 200) и ряд других основ на *ķ-*; *'ійүш* < *кійәү* 'жених' (ДСТ 236); *'әбим* < *кәвәм* — форма ласкательного обращения (ДСТ 266); *'әйнә*, 'яичница' — ср. *ķайганаķ* — то же (ДСТ 267); *'үзлиш* 'родник' — ср. *күзләү* (ДСТ 279); *'үтирми* 'высокомерный' из *күтирми* (ДСТ 287) и т. д.

Однако переход *k*/*к* > ' невозможно рассматривать как фазу редукции *k*/*к*, а еще важнее тот момент, что в имеющемся материале касимовского говора татарского языка не встречаются слова, в которых произошла эволюция: начальное ' > нуль. Можно добавить к этому, наконец, и то положение, что переход *k-*/*к-* > ' в остальных тюркских диалектах, кроме касимовского, почти не отмечался.

Мы говорим «почти», имея в виду единичные факты перехода *k* в ' в турецких диалектах: ср. erkä' 'мужчина' с заменой конечного *-к* на' (Korkmaz, 109). Они дела не меняют, и сказанное о замене *k-*/*к-* на ' не позволяет принять схему фонетической эволюции *k-*/*к-* > ' > нуль.

В целом же о падении начального *k-*/*к-* можно сказать, что в имеющемся материале тюркских языков нет данных, поддерживающих предположение о постепенной редукции анлаутного *k-*/*к-* до нуля через промежуточные ступени. Остается, следовательно, допустить возможность того, что указанные согласные могли исчезать и без постепенного ослабления.

Обращаясь к случаям падения других начальных согласных, можно заметить, что их изучение затрудняется недостатком, мало-

численностью самих случаев, за исключением, может быть, проточного *с*. Его падение в анлауте К. Г. Менгес объясняет как результат тенденции к слоговой диссимиляции (особого вида Anaptyxis. Meng., 811). Действительно, в приводившихся выше примерах на редукцию начального *с-* везде второй согласный — в конце первого или в начале второго слога — является также *с*. Аналогично положение и в словах с начальным *ш-*: здесь следующим после начального согласным является также *ш*.

* * *

Явление падения начальных согласных открывает известные возможности в исторических, особенно сравнительно-исторических, в том числе историко-лексикологических разысканиях. Из истории этимологических исследований в тюркологии известно, что явлением редукции начальных согласных довольно часто (и нередко произвольно) пользовался Арминий Вамбери, хотя сам прием в принципе не должен вызывать нареканий. В наше время исследователи вновь обращаются к нему. Можно, например, назвать уже упоминавшегося Х. Эрена, который на съезде Общества турецких языковедов выступал с сообщением об этимологии *өрнек* 'образец', 'пример', возведя его к *көрнек* ~ *көренек* в сходном значении. Можно также ставить вопрос о гомогенности др.-тюрк. inč 'мир', 'покой', 'тихий', 'покойный' (Gabain, $_{311}$) и современного *тинч* ~ *динч* в том же значении; возможно, *ебир-* > *евир-* и т. д. и *чевир-* 'поворачивать', 'повертывать' и некоторых других лексических пар.

Уместно упомянуть в связи со сказанным и случаи, обратные рассмотренным выше, т. е. когда анлаутное *к-* имеется лишь в одном из языков, тогда как в остальных тюркских языках слово начинается с гласного. Ср., например, *етик* ~ *етүк* ~ *едик* ~*ә* : *дик* и т. д. 'сапоги', 'обувь', но в говорах Кастамону и Эрзинджана (Турция) — kedik 'сапоги' (Кастамону), 'красные детские туфельки с загнутыми носками' (Эрзинджан); *ысы* ~ *ыссы* ~ *иси* ~*исси* ~*исти* и т. д. 'жара', 'жаркий', так же в саларском (i̯si̯, i̯si̯), но наряду с ними — q'i̯si̯ с аспирированным q'; *а:рыk* ~ *арыk* 'канал', 'арык' во всех тюркских языках, так же в турецком, но наряду с этим в отдельных диалектах karık (DD 2_{839}); чув. лит. *агар* и параллельно *кагар* 'борзая собака' (по любезному сообщению Л. С. Левитской); *мүлчәр* 'мера', 'вес' в западносибирских диалектах татарского языка (Тумашева$_{133}$) при межтюрк. *өлч-* 'измерять', *өлчер* 'мера', 'масштаб'. Маловероятно, чтобы формы с *k-*/*к-* или форма с *м-* были первичными, без названных согласных — вторичными. Скорее *k-*/*к-* в этих примерах позднейшие, так как вокальные формы приведенных слов прослеживаются во всех диалектах и старейших памятниках тюркских языков.

Нельзя ли связать появление анлаутного *k-*/*к-* с артикуляторной природой начального *а-* в некоторых тюркских языках и диа-

лектах? Так, О. А. Аксой регулярно отмечает *а* со смычно-гортанным приступом. Имеются указания о подобном *'а* в говоре Анкары, эпизодически такой гласный отмечается в других турецких диалектах. К гласным со смычно-гортанным приступом весьма близки, если только они не совпадают с ними, фарингализованные гласные тувинского языка. Сходная картина наблюдается в саларском и сарыг-югурском. Фарингальную окраску имеет также отодвинутый назад гласный *а* рядом с *k* в башкирском и татарском. Вторичное начальное *k-/к-* можно было бы интерпретировать как дальнейшее развитие гласного с гортанно-смычным приступом, а касимовское ء-$\div$гласный — как тот же процесс в обратном направлении.

Отметим попутно, что предположение В. Банга [6] о развитии глагольно-именной формы на *-кан* ~ *-ган* из *-ан* вследствие смычно-гортанного приступа в артикуляции *а* находит новую поддержку в приведенных выше данных. Они позволяют предположить более вероятный путь редукции *k/к* > нуль, чем рассмотренные выше два других предположения: *k-/к-* > *x-* > нуль и *k-/к-* > *й-* > нуль, а именно: *k-/к-*$\div$гласный > начальный гласный со смычно-гортанным приступом > начальный гласный без этого компонента.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Kowalski T. Osmanisch-türkische Dialecte. EI, IV, 1931, § 25; Pritsak O. Das Kiptschakische. Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959, S. 78; Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, 166—168; Юнусалиев Б. М. Заметки о выпадении некоторых согласных в основах слов в тюркских языках. — В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков, т. IV. Баку, 1966, с. 26; Vecihe Hatipoğlu. Türk kelimelerinin önsesleri. Ankara Üniversitesinin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin yayınları, 1961, S. 65; см. также: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. Ankara, 1950, S. 45—61.

[2] Hamstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I. Lautlehre. Helsinki, 1957, S. 43.

[3] Zajączkowski A. Manuel arabe de la langue des Turcs et des Kipṭchaks (époque de l'Etat Mamelouk). Warszawa, 1938, 6.

[4] Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, с. 132.

[5] Поливанов Е. Д. Фонетические особенности касимовского диалекта. Экскурсы: I. Переход заднеязычных в гамзу с общефонетической точки зрения. . . М., 1923.

[6] Bang W. Turkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. Bd. 7, UJ, B. XIV, H. 3. Berlin, 1934, S. 203—204.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АФ — Мелиоранский П. М. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900.

Ад — Азәрбаjҹан дилинин Муған групу шивәләри. Бакы, 1955.

Абдуллаев — Абдуллаев Ф. А. Фонетика хорезмских говоров узбекского языка. Ташкент, 1961.

Атажанов — Атажанов М. Туркмен дилиниң салыр шивесиниң фонетикасының кәбир айратынлыклары. — Уч. зап. Туркм. ун-та им. А. М. Горького, вып. XIII, 1958.

Байрамдурдыев — Б а й р а м д у р д ы е в Б. Ахалский говор текинского диалекта туркменского языка. Ашхабад, 1965.
ДС — Диалектологик сүзлек, II, Казан, 1953.
ДСТ — Диалектологический словарь татарского языка. Казань, 1969.
Заляй — З а л я й Л. З. К вопросу о происхождении татар Поволжья. — СЭ, 1946, № 3.
Иброҳимов — И б р о ҳ и м о в С. И. Фарғона шеваларининг касб-ҳунар лексикасы. Т. I—III. Тошкент, 1956—1959.
К — Картотека диалектологического словаря Турецкого лингвистического общества (Türk Dil Kurumu). Анкара.
ЛСТ — Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963.
Мал. — М а л о в С. Е. Уйгурское наречие Синьцзяна. М., 1961.
Рассадин — Р а с с а д и н В. И. Лексика современного тофаларского языка. Улан-Удэ, 1967.
Aksoy — A k s o y Ö. A. Gaziantep ağzı, III. Istanbul, 1946.
Brock. OGM — B r o c k e l m a n n C. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954.
Bulġat-al-muštaq — Z a j ą c z k o w s k i A. Manuel arabe de la langue des Turks et des Kiptchaks. T. I—II, Warszawa, 1938—1954.
Castr. — C a s t r é n M. A. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre. SPb., 1857.
DD — Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi, I—VI. Istanbul, 1939—1952.
DS — Türkiye'de halk ağzından Derleme Sözlüğü, c. I, Ankara, 1963.
Gabain — G a b a i n A. von. Alttürkische Grammatik. 2-te Auff. Leipzig, 1950.
Jarr. — J a r r i n g Gunnar. An Eeastern Turki-English dialect dictionary. Lund, 1964.
Kakuk V. — K a k u k S. Un vocabulaire salare. AOH, t. XIV, Fasc. 2, 1962.
Kakuk Ph. — K a k u k S. Sur la phonétique de la langue salar. AOH, t. XV, Fasc. 1—3, 1962.
Kāš — Divanü lûgat-it Türk tercümesi, çeviren Besim Atalay, I—III, Ankara, 1939—1941.
Kāš D — A t a l a y B. Divanü lûgat-it-Türk dizini. — «Endeks», Ankara, 1943.
Kitāb al-idrâk — C a f e r o ğ l u A. Kitâb al-idrâk li-lisan al-atrâk. Istanbul, 1931.
Korkmaz — K o r k m a z Z. Güney-Batı Anadolu ağızları. Ses bilgisi (Fonetik). Ankara, 1956.
Ligeti VSOu — L i g e t i L. Un vocabulaire Sino-ouigour des Ming. AO, t. XIX, fasc. 2, 3, 1966.
Meng. — M e n g e s K. H. Glossar zu den volkskundlichen Texten aus Ost-Türkistan, II. Wiesbaden (Akad. der Wissenschaften und der Literatur. Abh. der Geistes-und Sozialwissenschaftlichen Kl., 1954, N 14).
Pav. C. — P a v e t de C o u r t e i l l e. Dictionaire türk-oriental. Paris, MDCCCXX.
Vámbéry — V á m b é r y H. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878.
Zenker — Z e n k e r J. Dictionnaire Turc-Arabe-Persan. Leipzig, 1866.

Б. А. Серебренников

ЗНАЧИМЫЕ ДЕТАЛИ

Среди некоторых лингвистов и в особенности нелингвистов широко распространено мнение, что лингвистика, да и вообще все гуманитарные науки, в отличие от математики, не характеризуются большой строгостью и точностью. Любая гипотеза в языкознании имеет право на существование. Это просто точка зрения автора. При этом предполагается, что в неточной науке эти точки зрения или невозможно, или вообще трудно опровергнуть.

Ныне уже покойный большой специалист в области латинского языка и римской литературы С. П. Гвоздев всегда любил говорить, что в филологии нет мелочей. И он был глубоко прав. В языке каждая деталь значима. Иногда совершенно незаметный и частный факт содержит в себе больше смысла, чем гипотеза, подкрепленная хорошо известными фактами.

Начнем с деталей. Во всех тюркских языках существует оппозиция двух фонем *ч* и *ш*. Однако оппозиция фонем *дж* и *ж* для тюркских языков нетипична и мало естественна. Согласный *ж* в тюркских языках изредка встречается в звукоподражаниях. В казахском языке *ж*, как известно, происходит из *дж*. Слабость этой пары оппозиции имеет определенные причины. В тюркском праязыке не было ни *дж*, ни *ж*. Позднее *дж* появилось в некоторых тюркских языках вследствие аффрикатизации начального *j*, но *ж* при этом слабо развивалось. Это свидетельствует о том, что оппозиция *дж* и *ж* не использовалась в достаточной мере как смыслоразличительное средство.

Некоторые тюркологи утверждают, что в тюркских языках существуют совершенный и несовершенный виды. «В казахском языке, — пишет И. Е. Маманов, — всеохватывающими видами являются совершенный и несовершенный. В казахском языке нет глаголов, которые не характеризовались бы с точки зрения совершенности и несовершенности действия».[1] К сходному выводу приходит А. И. Харисов, выделяющий в башкирском языке два вида — незаконченный и законченный (результативный).[2]

Однако в этих суждениях не учтены некоторые мелочи, имеющие большое значение для решения вопроса о наличии совершенного и несовершенного вида в тюркских языках. Насколько из-

вестно, формы совершенного вида в русском языке не могут быть употреблены в настоящем времени. Например, глагольная форма *я закончу* может относиться только к будущему времени, а не к настоящему. Это и понятно. Характерная для настоящего времени длительность действия несовместима с идеей отсутствия действия. Для того чтобы употребить формы совершенного вида в настоящем времени, необходимо устранить в них значение законченности действия, превратив их в формы многократного вида, например: «Он *заканчивает* работу в пять часов», «футболист *забивает* гол» и т. д.

В тюркских языках существуют глаголы, составленные из деепричастия на *-ып* и вспомогательных глаголов, которые почти все тюркологи рассматривают как способ выражения совершенного вида в тюркских языках, например: тат. *язып алдым* 'я записал', *алып китте* 'он унес', *йотып җибәрде* 'он проглотил' и т. д. Однако эти выразители совершенного вида ведут себя в языке самым удивительным образом. Они могут употребляться в настоящем времени, не подвергаясь при этом никаким изменениям, ср. в татарском: *Танкларының берсе һавага ялкын атып, яңа башлый, икенчесе дә туктап кала* (Г. Эпсәләмов. Газинур) 'Один из танков, выбросив в воздух пламя, начинает гореть, другой останавливается'.

Это объясняется тем, что основной акцент в тюркских сложных глаголах, образованных из деепричастия на *-ып* и вспомогательных глаголов, падает не на выражение совершенного вида, а на лексическую характеристику глагола.* В форме *туктап кала* 'останавливается' показано, что движение прекращается и танк застывает в неподвижном положении, а не то, что действие достигает определенного предела. Предельность действия в данном языке осложнена дополнительным оттенком. Глагольная форма здесь иначе ориентирована, чем в русском языке. Этим и объясняется, что глаголы подобного типа могут в татарском языке употребляться в настоящем времени.

В некоторых тюркских языках существуют глагольные времена типа английского Past continuous tense, ср., например, в татарском: *Морозов килеп кергәндә, алар, өстәлгә иелеп картага* к а р а п т о р а л а р и д е (Г. Эпсәләмов. Газинур) 'Когда вошел Морозов, они, склонившись над столом, рассматривали карту'. *Иртән ук фермадан кайтканда, Хөббениса карчык ишек алдында тавык-чәбешләр* а ш а т ы п й ө р и и д е (Р. Төхфәтуллин. Авылым хикәяләре) 'Когда он утром возвращался с фермы, старуха Хоббениса кормила на дворе цыплят'.

Континуозные формы чаще всего развиваются в языках, не имеющих видовых оппозиций. Эта закономерность сравнительно

---

* Глаголы, образованные по этой модели, могут также выражать длительное действие. Это значение придается особыми вспомогательными глаголами.

легко объяснима. В языках иногда возникает необходимость создания так называемого фонового действия, в рамках которого осуществляется другое действие. В языках, различающих глагольные виды, для создания фонового действия может быть использован глагол несовершенного вида, ср. в русском языке: *Когда я зашел к товарищу, он упаковывал вещи*. В языках, не различающих категории глагольного вида, отчетливого выделения фонового действия не получится. Поэтому такие языки более часто прибегают к созданию особых континуозных времен.

Прошедшее время, характеризующееся в тюркских языках показателем *-ды*, *-ди*, обладает поразительной исторической устойчивостью. Нет тюркского языка, в котором бы оно отсутствовало. Можно предполагать, что это время также существовало в тюркском праязыке. Чем объяснить необычайную историческую устойчивость этого времени? Такая устойчивость объясняется тем, что это время индифферентно в видовом отношении. Если бы оно обозначало только длительное действие, не достигшее предела, то оно долго не сохранилось бы, поскольку времена такого типа исторически неустойчивы.[3]

Эти незначительные детали, на которые обычно никто никогда не обращает внимания, явно свидетельствуют о том, что в тюркских языках нет сформировавшейся категории глагольного вида.

Для выражения отрицания действия или состояния в тюркских языках используется особый отрицательный суффикс, присоединяемый к основе глагола, ср.: тур. bil-mi-yorum 'я не знаю', тат. *ал-мый-м* 'я не беру', *бөл-ми-м* 'я не знаю' и т. д.

История этого суффикса до сих пор не выяснена.

Мы считаем целесообразным обратить внимание на известное созвучие этого суффикса с довольно распространенным в тюркских языках суффиксом отглагольных имен существительных *-ма*, ср. тур. dolma 'начинка', аз. *айма* 'вырезка, ямка', чув. *каҫма* 'переход мостки', кирг. *догма* 'рождение' и т. д. Преобладающее большинство этих отглагольных существительных обозначают результат действия, когда само действие уже давно закончилось. Фактически его нет.

Можно предполагать, что элемент *-м-* некогда был ассоциирован с отсутствием действия и использован как средство отрицания.

А. М. Щербак утверждает, что в огузских, кыпчакских и карлукско-уйгурских языках *з* (*д*) появился вследствие ослабления *с*, вызванного наличием первичной долготы у предшествующего ему гласного. Для подтверждения своей гипотезы А. М. Щербак обычно ссылается на данные туркменского и якутского языков, где действительно во многих случаях в соответствующих словах содержится долгий гласный. Некоторые показательные примеры: кирг. *муз* 'лед', турк. *бӯд*, як. *бӯс*; кирг. *каз*. 'гусь', турк. *гāд*, як. *хāс*; кирг. *саз* 'болото', турк. *ϑāд*; кирг. *жаз* 'весна', турк. *jāд*, якут. *сāс*; кирг. *кыз* 'девушка', турк. *гыйд*, якут. *кыыс*; кирг.

жүз 'сто', турк. *јӱд*, якут. *сӱ̄с*; кирг. *өз* 'сам', турк. *ӧд* 'сам', якут. *ӱӧс* 'середина'.[4]

Эти примеры как будто бы вполне подтверждают сделанное А. М. Щербаком предположение. Отсюда можно сделать вывод, что в тюркском языке *з* в абсолютном исходе не встречалось. Ему первоначально соответствовало *с*.

Ударные и наличие долгого гласного в односложном слове несомненно создавали участок напряжения: *qās 'гусь', *pūs 'лед'. Возникла необходимость этот участок напряжения ослабить. Он мог быть ослаблен тремя способами: 1) сокращением долгого корневого гласного, 2) превращением долгого гласного в дифтонг и 3) ослаблением конечного *с* в *з*.

Тюркский праязык, очевидно, избрал третий способ. Во всех словах, содержащих долгий корневой гласный, конечный *с* превратился в *з*. Якутский язык, по мнению А. М. Щербака, сохранид первоначальное состояние, где *с* в абсолютном исходе слова оказался нетронутым, хотя в некоторых словах первичный долгий гласный превратился в дифтонг.

Внешне стройная гипотеза А. М. Щербака все же вызывает некоторые вопросы.

Если в туркменском языке в основном сохраняются долгие гласные, то почему в ряде слов туркменского языка ð (орфографически *з*), возникший из *з*, наличествует в слове после краткого гласного, который, по-видимому, был исконно кратким гласным. Приводим небольшой перечень этих слов: *дүз* 'правильный', *сөз* 'слово', *төз* 'дикий, пугливый', *гөз* 'глаз', *биз* 'мы', *йүз* 'лицо', *йылдыз* 'звезда', *омуз* 'плечо'. Нельзя сказать, что в туркменском языке нет долгих гласных *ӥ*, *ӧ*, *и*, *і*, *ы*, ср.: *гуйз* 'осень' (*уй* из долгого *ӥ*), *өт* (*ө* : *т*) 'желчь', *дуз* (*ду* : *з*) 'соль', *мис* (*ми* : *с*) 'медь', *изба-ыз* (*ы* : *зба-ы* : *з*) 'один за другим' и т. д. Долгий *о* в туркменском языке, по-видимому, вообще отсутствует.

Если сопоставить туркменское *тиз* (*ти* : *з*) 'быстро', то *з* могло возникнуть из *с*, согласно гипотезе А. М. Щербака, по причине необходимости ослабления участка напряжения, но почему оно возникло в *биз* 'мы', где і не было долгим? Якутское *биhи* или *биhиги* 'мы' также свидетельствует о том, что і здесь было исконно кратким. В личном глагольном окончании 1 л. мн. ч. *-быт*, например *асты-быт* 'мы открыли', *ы* также краткое, хотя первоначально долгое *ы* в якутском сохранялось, ср. як. *кыыс* 'девушка'.

В якутском *сулус* 'звезда' конечный гласный *у*, возникший из первичного *ы*, также краткий. Тем не менее в туркменском *йылдыз* имеется конечный *з*, возникший после краткого исконного гласного.

Следовательно, гипотеза А. М. Щербака не в состоянии объяснить происхождение конечного *z* после краткого гласного.

Далее. Почему в тюркском праязыке происходило ослабление участка напряжения только в тех случаях, когда слово с долгим

гласным оканчивалось на *с*, тогда как во всех других случаях глухой конечных согласных не озвончался? Ср.: турк. *ак* (*а* : *к*) 'белый', *ач* (*а* : *ч*) 'голодный', *гөк* (*гө* : *к*) 'синий', *от* (*о* : *т*) 'огонь' и т. д.

Если в тюркском праязыке происходило ослабление участка напряжения в словах с долгим корневым гласным путем превращения *с* в *з*, то почему это не происходило в других случаях? Глухие взрывные типы *т*, *ч*, *к* более трудно произносимы, чем проточный *с*.

Если принять во внимание эти соображения, то ослабление конечного *с* маловероятно. Оно совершенно асимметрично.

Если бы тюркское слово *кыз* 'девушка' происходило из *кыс*, то конечное *с*, вероятно, сохранилось бы как реликт в каких-нибудь тюркских языках в срединной позиции, например в притяжательных формах. Однако ни в одном тюркском языке нет форм типа *кысы* 'его девушка'.

А. М. Щербак также ссылается на то, что озвончение конечного глухого согласного после долгого гласного имело место также в азербайджанском языке, например аз. *ад* 'имя' из *āт*, *од* 'огонь' из *ōт*, *суд* 'молоко' из *сӯт* и т. д.[5]

Озвончение ауслаутных согласных как результат ослабления конца слова наблюдается в различных языках.

Приводимые А. М. Щербаком примеры, по нашему мнению, мало доказательны. Такие случаи, как *ад* 'имя' (из *āт*) и *ат* 'лошадь' (из *ат*), *од* 'огонь' (из *ōт*) и *от* 'трава' (из *от*), могли возникнуть в результате тенденции к устранению омонимии. Такие примеры, как *јад* 'чужой' (из *ϑāт*) и *јат* 'лежать' (из *ϑат*), *öд* 'желчь' (из ӧ̄т) и *öт* 'проходить' (из *öт*),[6] не могут служить доказательством, так как коренные изменения в формах повелительного наклонения происходят крайне редко, поскольку такого рода изменения могли бы вызвать нежелательную дифференциацию глагольных основ.

А. М. Щербак основывает свою гипотезу на данных якутского языка, который, согласно классификации С. Е. Малова, относится к древнейшим тюркским языкам.[7] В якутском языке, как известно, конечному *з* других тюркских языков регулярно соответствует *с*, ср. як. *кыыс* 'девушка', тат. *кыз*, як. *сулус* 'звезда', тат. *йолдыз*, як. *саас* 'весна', тат. *яз*, як. *буус* 'лед', тат. *боз* и т. д. Если учесть, что во многих языках конечные звонкие часто оглушаются, то якутское конечное *с* могло быть результатом оглушения первоначального *з*.

Нам представляется, что гипотеза А. М. Щербака ошибочна, поскольку она не объясняет многих противоречий.

В тюркском праязыке был конечный *з*. Поэтому такое слово, как *кыз* 'девушка', восходит к архетипу **qȳz*, а не **qȳs*.

Правда, звонкие согласные в конце слова в тюркском праязыке встречались не так уж часто, но они все же встречались. Во-первых, в абсолютном исходе слова возможны были сонанты *r*, *l*,

m, *n*. Кроме того, в праязыке было возможно конечное *g*, а также γ, ср.: тур. dag 'гора' из *tag. Было также и конечное z, которое могло находиться как после долгого, так и после краткого гласного.

Г. Ф. Саттаров в статье «К этимологии топонима Набережные Челны»,[8] критически рассматривая различные попытки объяснить это название, дает собственное его истолкование. Он предполагает, что топоним *Набережные Челны* происходит от названия небольшой речки *Чаллы* (рус. *Челнинка*), протекающей через город. В Татарии довольно много топонимов (гидронимов и ойконимов), имеющих в своем составе слово *чаллы*; они встречаются почти во всех районах республики: *Иске Чаллы (Старые Челны)*, *Яна Чаллы (Новые Челны)*, *Югары Чаллы (Верхние Челны)*, *Урта Чаллы (Средние Челны)* и т. д.

Значение речки Чаллы Г. Ф. Саттаров выводит из предполагаемого булгарского слова *чал* 'камень'+суффикс *-лы* со значением наличия изобилия предметов или признаков.[9] *Чаллы*, собственно, означает 'речка с каменистым дном, или Каменка'.

Булгарская форма *Чаллы* на русской почве фонетически изменилась в Чалны > Челны (старинное русское *челн* 'лодка'). Полное же название — словосочетание *Набережные Челны* — оформлялось в русской речи постепенно. Исходная булгаро-татарская форма единственного числа *Чаллы* 'Каменистая' (речка) была воспринята русскими как форма множественного числа. Затем уже в связи с вторичной этимологией появились соответствующие эпитеты — вначале *Бережные Челны* (от слова *берег*) и, наконец, современное *Набережные Челны*.[10]

Г. Ф. Саттаров, однако, не замечает, что перечисленные им на территории Татарии топонимы *Старые Челны* и *Новые Челны* никак не могли произойти от названия речки *Каменка*. Названия *Старая Каменка* и *Новая Каменка* — сущая бессмыслица, поскольку речка не может быть ни старой, ни новой.[11] Если встать на ту точку зрения, что *челны* — это лодки, то название *Набережные Челны* такая же бессмыслица. Какими же еще могут быть челны? Ведь название *Набережные Челны* содержит в себе противопоставление.

Мы предполагаем, что слово *челны* когда-то означало просто лодочную пристань, около которой был расположен поселок. Когда возникло название *Бережные Челны*, позднее *Набережные Челны*, то оно возникло как противопоставление таким названиям, как *Старые Челны*, *Новые Челны* и т. п. От названия *Челны* происходит речка *Челнинка*.

Возможно, что название *челны* 'лодочная пристань' было воспринято татарами в форме *чаллы* и, по-видимому, было распространено в старотатарском языке.

Этимология Г. Ф. Саттарова содержит также ряд других погрешностей. Переделка камско-булгарского названия *Чаллы* 'Каменистая' (речка) в *Челны* не имеет под собой никаких психологи-

ческих оснований. Она просто невозможна. Кроме того, название речек в татарском языке часто содержит слово *елга* 'река'. Названия, состоящие из одного прилагательного, менее типичны.

Приведенные нами выше примеры наглядно свидетельствуют о том, как важно учитывать при исследованиях всякого рода мелкие детали.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Маманов И. Е. Глагольные виды и их выражение в казахском языке. — В сб.: Вопросы грамматики тюркских языков. Алма-Ата, 1958, с. 32, 33.

[2] Харисов А. И. Способы выражения глагольного вида в башкирском языке. Там же, с. 55.

[3] Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 236, 237.

[4] Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 55.

[5] Щербак А. М. Сравнительная фонетика. . ., с. 54.

[6] Там же.

[7] Малов С. Е. Древние и новые тюркские языки. — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1952, вып. 2, с. 137.

[8] Саттаров Г. Ф. К этимологии топонима Набережные Челны. Советская тюркология, 1974, № 3, с. 72.

[9] Там же.

[10] Там же, с. 73, 74.

[11] «Старой» может быть названа река, если она представляет собою остаток старого русла, например Старая Яреньга. Прежнее название реки иногда переносится на неизвестную реку в случае переселения, но эпитет «новая» при этом не употребляется.

Э. Р. Тенишев

О НАДДИАЛЕКТНОМ ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКА ТЮРКСКИХ РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Ранняя история некоторых литературных языков, соотносимая с родо-племенной общественной структурой, характеризуется обобщенными типами устной речи (устные койне), которые, закрепляясь письменностью, становились основой литературных языков.

Исследователи обнаруживают данный языковой тип, как теперь, так и в прошлом, в устной поэзии современного дравидского племени Тода,[1] в эпической традиции гомеровской поэзии,[2] в языке германских рунических надписей,[3] в древнеисландском устно-литературном языке,[4] в языках древнерусского эпоса и деловой литературы,[5] в койне северно-албанских горцев.[6]

Наличие устного койне у различных этнических коллективов с неодинаковым уровнем культурного развития в исторически разные периоды времени свидетельствует о его универсальном значении.[7] Универсальность устных койне сказывается и в схожести языковых стилей, отражающих койне, при всем разнообразии выразительных средств, свойственных каждому языку, — стиля поэзии, стиля публичной, ораторской речи и стиля речи, связанной с ритуальными действиями. Есть основания полагать, что тюркоязычными племенами задолго до употребления рунического письма был выработан свой вариант обобщенной речи, стоящий над диалектами, которым могли пользоваться в устно-поэтической практике, во время публичных выступлений и обрядовых действий.

Судя по материалу рунических надписей, древнетюркское устное койне в структурном отношении представляло собою сплав в основном двух начал: огузского (вин. пад. на -ïγ, прошедшее на -mïš, форма на -duq, глагол bul- ‘находить’) и уйгурского (наличие d в середине имен и конце глагольных основ — adaq ‘нога’, qod- ‘положить’, дат. пад. на -γa, форма на -dačï, предикатив bar ‘есть, имеется’, глаголы bar- ‘идти’, bär-/bir- ‘давать’, boł- ‘быть, становиться’).

С появлением у тюрков руноподобной письменности устное койне, в какой-то мере уже архаизованное,* приобрело права литературной нормы, получившей сильную общественную опору и условия распространения в связи с образованием государственных объединений.

В VII—VIII вв. языком рунических надписей как единым литературным стандартом пользовались различные тюркские племена или союзы племен — огузы, уйгуры, киргизы, кипчаки и другие. Каждое племя имело, разумеется, свой народно-разговорный язык для повседневного общения: у огузов и кипчаков это были j-языки (ajaq, qoj-), у уйгуров — d-язык (adaq, qod-), у киргизов — z-язык (azaq, qoz-).[8]

Общий письменный литературный язык древнетюркского общества, как показывают рунические надписи, обладал стилистическим единообразием и большой устойчивостью образно-стилистических средств, наиболее богато представленных в надписях «орхонского» круга: памятниках в честь Кюль-Тегина, Бильге-Кагана (хана Могиляна), Тоньюкука, Кули-Чура, Моюн-Чура, Онгинском.[9]

«Орхонские» тексты представляют собою, по-видимому, записи ритмизованной публичной речи,[10] насыщенной поэтическими, правовыми и иными формулами, яркими сравнениями — оборотами речи, построенными по принципу смыслового и формального параллелизма, эмоционально окрашенной и сакральной лексикой. Все это вместе взятое придает надписям высоко торжественный фон, удачно названный А. Н. Бернштамом «стилем официального повествования».[11]

Наиболее существенными стилистическими чертами тюркского рунического койне являются следующие.

I. ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Готовые формулы поэтического стиля отличаются разнообразием содержания и средств его выражения. Характер формул имеют сочетания определяемого с определением (постоянный эпитет), которые играют описательно-изобразительную роль. Постоянный эпитет сопровождает названия неба, земли, драгоценных металлов: üzä kök täŋri, asra jaγïz jir (КТб I) ‘вверху голубое небо, внизу темная (*букв.* бурая) земля’, sarïγ altun, örüŋ kümüs (Тон 48) ‘желтое золото, светлое серебро’.

Определение с определяемым устойчиво сочетается в названиях масти коней: boz at (КТб 32, 33, 37; КЧ 4) ‘серый конь’, aq at (КТб 40) ‘белый конь’, aq adγïr (КТб 36) ‘белый жеребец’, torïγ at (КТб 33) ‘гнедой конь’, jägrän at (КЧ 15) ‘гнедой конь’. Постоянное употребление цветовой гаммы в наименованиях масти

* Общий архаизованный колорит языка рунических надписей подчеркивают, например, такие инновации, как колебания š∼s, t∼d, k∼g, q∼γ.

коня приводит к субстантивации эпитета: alp Šalčï aqïn binip (КТб 42, 43, 45, 46) 'сев на белого коня героя Шалчы'; Az jaγïzïn binip (КТб 45, 48) 'сев на бурого Азского коня'.

Большое количество устойчивых формул раскрывает внутреннее состояние предмета или лица. Сюда относятся характеристика территории, пригодной для расселения, племенного союза, камня с надписями, некоторых духовных качеств: il tutsïq jir (КТм 4) 'земля, в которой можно созидать племенной союз' (об Отюкене), bäŋgü il (КТм 8) 'вечный племенной союз', bäŋgü taš (КТм 11, 12, 13) 'вечный камень', añïγ bilig (КТм 5) 'дурная мудрость'.

Речи и подношения противников тюрков снабжены своими определениями со скрытой символикой: sabï süčig, aγïsï jïmšaq ärmis; süčig sabïn, jïmšaq aγïn arïp (КТб 5) 'речь его сладкая, а драгоценности мягкие (т. е. роскошные, изнеживающие), прельщая сладкой речью и роскошными драгоценностями'; süčig sabïŋa, jïmšaq aγïsïŋa arturup (КТм 6) 'дав себя прельстить их сладкой речью и роскошными драгоценностями'.

Ряд формул посвящен высшим должностным лицам — кагану, близким ему людям, его сподвижникам и войску.

Определения или именные части сказуемого подчеркивают либо положительные качества (отсутствие злобы, мудрость, храбрость), либо отрицательные (недальновидность, трусость): añïγ joq türk qaγan (КТм 3) 'не имеющий зла тюркский каган'; türk bilgä qaγan (КТм 1) 'тюркский мудрый каган'; bilgä qaγan ärmis, alp qaγan ärmis (КТб 3) 'они были мудрые каганы, они были мужественные каганы'; antaγ külig qaγan ärmis (КТб 4) 'столь знаменитые каганые были они'; qaγanï alp ärmis, ajγučïsï bilgä ärmis (Тон 10, 21, 29) 'каган его — герой, а советник у него — мудрый'; türk bilgä qaγan iliŋä bititdim bän bilgä Toñuquq (Тон 58) 'я, мудрый Тоньюкук, приказал написать это для тюркского мудрого кагана'; biligsiz qaγan olurmïs ärinč, jablaq qaγan olurmïs ärinč (КТб 5) 'сели на царство, надо думать, неразумные каганы; надо думать, сели (на царство) трусливые каганы'; Umaj täg ögim qatun (КТб 31) 'моя мать — катун, подобная Умай'; qaŋïm qaγan süsi böri täg ärmis, jaγïsï qoñ täg ärmis (КТб 12) 'войско моего отца-кагана было подобно волку, а враги его были подобны овцам'.

Словосочетание — имя в дат. пад. + причастие на -gmä — в роли определения, примыкающего к слову bäg 'князь', образует стандартизованную формулу положения высшего сословия: bödkä körigmä bäglär (КТм 11) 'покорные престолу князья'.

Интересен репертуар формул, относящихся к простому народу (bodun), эпитетами к которому могут быть как одиночные прилагательные, так и целая цепочка прилагательных или причастных форм, раскрывающих бесправное, бедственное положение народа: čïγañ bodun (КТм 10) 'неимущий народ', türk qara qamuγ bodun (КТб 8—9) 'вся масса тюркского простого народа', qara igil boqun (МЧ 14) 'черный простой народ', ičrä taššïz, tašra

tonsïz, jabïz,jabłaq bobun (КТб 25) ‘жалкий и низкий народ, у которого внутри нет пищи, снаружи — одежды’, közin körmädük, qułqaqïn äsidmädük bodunïm (БК *Хв* 11) ‘мой народ, не видавший своими глазами, не слышавший своими ушами’.

Для обозначения усиленной деятельности служит формула, представляющая собою соединение двух параллельных конструкций, куда входят составными частями словосочетания ‘красная кровь’ и ‘черный пот’:
qïzïł qanïm tökti, qara tärim jügürti isig küčig bärtim ök (Тон 52) ‘проливая красную свою кровь и заставляя течь свой черный пот, я отдавал народу (свои) работу и силу’.

Формула, служащая для передачи неудачи в военном походе, состоит из двух совершенно однотипных и параллельных простых предложений с противоставлениями ‘кровь — вода’, ‘кости — горы’: qanïŋ subča jügürti, sönüküŋ taγča jatdï (КТб 24) ‘твоя кровь бежала (там), как вода, твои кости лежали (там), как горы’.

Формула наступления вражеского войска включает как постоянный элемент двойное наречие ‘как огонь и вихрь (или вино?)’: türgis qaγan süsi otča borča kälti (БК 27) войско Тюргеш-кагана подступило, как огонь и вихрь’; türgis qaγan süsi Bołčuda otča borča kälti (КТб 37) ‘войско тюргешского кагана пришло при Болчу подобно огню и вину (?)’.

Формула сильной скорби есть не только сочетание двух рядов аналогичных форм, но и воспроизведение особого ассонанса каждого в своем ряду за счет повторения глагольных основ kör- ‘видеть’ и bil- ‘знать’: körür közim körmäz täg, bilir biligim bilmäz täg bołtï (КТб 50) ‘зрячие очи мои словно ослепли, вещий разум мой словно отупел’.

Встречается серия распространенных по форме устойчивых сочетаний, передающих сложные, расчлененные представления, — своего рода поговорки, афоризмы или назидательные сентенции, относящиеся к разным случаям: arïγ abutï jig (Тон 37) ‘стыд чистых хорош’; öd täŋri jasar, kisi oγłï qop ölgäli törümis (КТб 50) ‘время распределяет Небо, (но так или иначе) дети человеческие все рождены с тем, чтобы умереть’; arïq oq sän ačsïq, tosïq ömäzsän; bir todsar, ačsïq ömäzsän (КТм 8) ‘когда же ты тощ и голоден (но тем не менее) ты не понимаешь (состояния) сытости и, раз насытившись, ты не понимаешь (состояния) голода’; turuq buqałï, sämiz buqałï arqada bilsär, — sämiz buqa, turuq buqa, tijin, bilmäz ärmis (Тон 5—6) ‘если (хан) вообще знает что-то о тощих и жирных быках, но он не может назвать (в отдельности, который) жирный бык (и который) тощий бык’; jujqa äriklig topłaγałï učuz ärmis, jinčgä äriklig üzgäli učuz; jujqa qałïn bołsar, topłaγułuq ałp ärmis, jinčgä joγan bołsar, üzgülük ałp ärmis (Тон 13—16) ‘тонкое сложить (в кучу) — легкое (дело); слабое разорвать — легкое (дело), но, если тонкое сделается толстым, то то, что может собрать (толстое, это), будет герой. Если слабое сделается крепким, то то, что может разорвать (крепкое, это), будет герой’.

II. ОРАТОРСКИЕ ФОРМУЛЫ

Текст некоторых крупных надписей открывается формулой начала: täŋri täg täŋridä bołmïš türk bilgä qaγan bu ödkä ołurtïm (КТм 1) 'небоподобный, неборожденный тюркский мудрый каган, я нынче сел (на царство)'; täŋri täg täŋri jaratmïš türk bilg(ä) qaγan sabïm (БК 1, *Ха* 13) '(вот) речь моя богоподобного, Небом поставленного (или угодного Небу) тюркского мудрого (Бильге) кагана'.

Многочисленны формулы обращения — предложения со сказуемыми äsid- 'слушать', saqïn- 'думать', bil- 'знать' в форме императива 2 л.: azu bu sabïmda igid barγu? Türk bäglär bodun bunï äsidiŋ! (КТм 10) 'разве есть какая-либо фальшь в этой моей речи? О тюркские начальники и народ, слушайте это!'; türk oγuz bägläri bodun äsidiŋ! 'тюркские (и?) огузские боги и народ, слушайте!'; türk bäglär (bodun anča) saqïnïŋ! Anča biliŋ! (БК 33) 'вы, тюркские боги (и народ), подумайте об этом! Так знайте!'; on oq oγłïŋa tatïŋa tägi bunï körü biliŋ! (БК *Хв* 15) 'вы, смотря (на памятник), знайте (все) вплоть до жителей (сыновей) западных тюрков (рода десяти стрел) и (живущих среди них) их 'инородцев'.

Формула риторического вопроса: üzä täŋri basmasar, asra jir tälinmäsär, türk bodun, iliniŋ törüniŋ käm artatï? (КТб 22) 'когда Небо вверху не давило (тебя), и Земля внизу не разверзалась (под тобой) [то есть: между тем как ниоткуда не угрожала опасность], о тюркский народ, кто мог погубить твое государство (твой племенной союз и законную власть над тобою)?'; jarïqłï qantan (qantïn?) kälip jaña ältdi? Sünüglig qantan (qantïn) kälipän sürä ältdi? (КТб 22) 'откуда пришли вооруженные (люди) и рассеяли тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя?'.

III. ПРАВОВЫЕ ФОРМУЛЫ

В составе предложения в порядке веса и значимости перечисляются социальные реалии древних тюрок (ближе к кагану родичи, затем — все остальные): sabïmïn tükäti äsidgil: ułaju inijigünim (ini jigünim?), oγłanïm, biriki oγušïm bodunïm, birijä šadapït bäglär, jïraja tarqat bujuruq bäglär, otuz ... toquz bägläri bodunï ... (КТм 1—2) 'речь мою полностью выслушайте (вы), идущие за мною мои младшие родичи и молодежь (вы), союзные мои племена и народы; (вы, стоящие) справа начальники шад и апа, (вы, стоящие) слева начальники: тарханы и приказные, (вы) тридцать ... (вы) начальники и народ «девяти огузов» ... ; ögim qatun ulaju öglärim, äkälärim, käliŋünim, qunčujlarïm (КТб 49) 'моя мать-катун, и вы, идущие за нею по значимости мои сводные матери [т. е. другие жены отца Бильге хана], мои тетки, мои невестки, мои княжны'.

IV. ОБИХОДНЫЕ ФОРМУЛЫ

Формулы данного типа отображают политические, военные и разного рода жизненные обстоятельства — по содержанию своему они ситуативны: illädük ili (КТб 6) 'существовавший племенной союз'; qaγanładuq qaγanï (КТб 7; 02) 'царствовавший свой каган'; ilgärü Šantuŋ jazïqa tägi sülädim, tałujqa kičig tägmädim, birgärü Toquz ärsänkä tägi sülädim, Tüpütkä kičig tägmädim (КТм 3) 'вперед (т. е. на восток) я прошел с войском вплоть до Шантунгской равнины, немного не дошел до моря; направо (т. е. на юг) я прошел с войском вплоть до «девяти эрсенов», немного не дошел до Тибета'; ilgärü kün toγsïq(q)a, birgärü kün ortusïŋaru, qurïγaru kün batsïqïŋa, jïrγaru tün ortusïŋaru (КТм 2) 'впереди к солнечному восходу, справа (в стране) полуденной, назади, к солнечному закату, слева, (в стране) полуночной'; bašłïγïγ jüküntürmis, tizligig sökürmis (КТб 2) 'имеющих головы они заставили склонить (головы), имеющих колени они заставили преклонить колени'; bašłïγïγ jüküntürtim, tizligig sökürtim (БК *Хв* 10) 'имеющих головы заставил склониться, а имеющих колени заставил согнуться'; jaγïγ baz qïłmïs, tizligig sökürmis, bašłïγïγ jüküntürmis (КТб 15, 18) 'врагов он принудил к миру, имевших колени он заставил преклонить колени, а имевших головы заставил склонить (головы)'; bałïqdaqï taγïqmïs, taγdaqï inmis (КТб 12) 'жители городов поднялись в горы, а жители гор спустились'; čïγañ bodunïγ baj qïłtïm, az bodunïγ üküš qïłtïm (КТм 10; КТб 29) 'неимущий народ я сделал богатым, немногочисленный народ сделал многочисленным'; tün udïsïqïm kälmädi, küntüz ołursïqïm kälmädi (Тон 12) 'ночью не приходил мой сон, а днем я не имел покоя' (см. вариант — Тон 22).

V. СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА

К ней следует отнести представления идеологического порядка — Jär Sub 'Земля — Вода (синоним Родины)', всегда с определением ïduq 'священный': üzä türk täŋrisi, türk ïduq jiri subï (КТб 10—11) 'вверху Небо тюрков и священная Земля и Вода тюрков (т. е., Родина)'; üzä täŋri ïduq Jär sub (БК 35) 'вверху Небо, священная Родина (Земля—Вода)'; Täŋri, Umaj, ïduq jär sub (Тон 38) 'Небо, богиня Умай, священная Родина (Земля — Вода)'.

Характерно для стиля надписей метафорическое употребление глаголов kärgäk boł- 'быть необходимым' и uč- 'улетать' в значении 'умереть, скончаться': özincä kärgäk bołmïs (КТб 3—4) '(затем) они скончались'; inim Kül tigin özinčä kärgäk bołtï (КТб 30, 50) 'мой младший брат Кюль-Тегин скончался'; inča ilig törüg qazγanïp uča barmïs (КТб 15—16) 'так власть свою приобретя, он улетел (т. е. умер)'; qaŋïm qaγan učduqta (КТб 30) 'когда умер мой отец-каган'; qaŋïm qaγan učdï (МЧ 12) 'мой отец-каган скончался'.

Для обычных, повседневных случаев в том же значении употребляется общетюркской глагол öl-: üküs, türk bodun, öltig (КТм 6) 'ты, о тюркский народ, погиб в большом количестве'; oł at anta ölti (КТб 33) 'этот конь там пал'.

В надписях встречается лексика с сакральным значением. Это глагол с внутренним объектом jaqa jaqała- 'совершать шаманское моление', как можно судить по сарыг-югурскому ja'qa 'шаманское моление': jaqa anta jaqaladïm (МЧ 20, 26) 'там я устраивал моления высшим божествам'. В разряд сакральной лексики входят и слова с количественной символикой — числительные, кратные семи: jäti ärän (О 5) 'семь мужей', jätmis är (КТб 12) 'семьдесят мужей', jäti jüz är (КТб 13) 'семьсот мужей', jäti jüz bołtï (Тон 4) '(их) составилось семьсот (человек)'.

Богатство художественно-выразительных средств языка рунических надписей говорит о его значительной обработанности, продолжительной шлифовке и поразительной стилистической законченности. Однако наличие средств высокого стиля неодинаково по памятникам — в надписях Кюль-Тегину, Бильге-Кагану и Тоньюкуку их явно больше, чем в текстах Онгинском, Моюн-Чура и Кули-Чура. Здесь нельзя не заметить тонкой линии стилистического различия: первая группа надписей более тяготеет к поэтическому стилю, вторая — к повествовательному. Эта особенность не ускользнула от внимания В. Томсена, заметившего, что надписи местами сухи и монотонны, а местами исполнены истинной поэзии.[12]

Данный язык невозможно определять, руководствуясь чисто генетическим принципом, как «древнеогузский»,[13] «предок» современных южнотюркских языков,[14] или как-либо иначе. Он не является ни тем, ни другим, ни третьим. Язык рунических надписей есть запись древнетюркского койне смешанной (огузо-уйгурской) природы, первый литературный вариант в истории тюркских языков.

Большая традиционность стилистического строя этого языка указывает на существование его за много веков до введения рунической письменности. Не должны вызывать удивления записи руническими или какими-либо другими знаками данного языка (если они будут обнаружены) более ранних периодов — самого начала нашей эры или конца прошлой.

Строго нормированный язык «орхонских» надписей, обслуживавший высшие слои древнетюркского общества, выполнял функции литературного языка аристократического типа и, естественно, не допускал диалектных включений.

Некоторая разница в языке орхонских надписей объясняется влиянием родного языка, индивидуального стиля и школы или манеры письма составителей, ср., например, язык памятников Кюль-Тегину и Бильге-Кагану (автор текстов Йолыг-Тегин), с одной стороны, и памятник Тоньюкуку (автор текста сам Тоньюкук), с другой.[15] Несколько иное положение енисейских надписей. Они принадлежат более широким социальным слоям, чем орхон-

ские надписи. Соответственно их язык — тот же койне, а, по словам С. Е. Малова, «общий, стандартный, эпитафийно-рунический»[16] — все же несет на себе заметную примесь диалектизмов. С. Е. Малов предлагал даже эти диалектные различия картографировать.[17]

Руническое койне, помимо всего прочего, было чрезвычайно популярно. Им пользовались многие тюркоязычные племена, в том числе и уйгуры. В середине IX в. уйгуры переселились в Восточный Туркестан и здесь на базе хорошо известного им койне создали свой литературный вариант,[18] достигший необычайного развития в грамматическом, лексическом, жанровом и стилистическом отношениях. В народной среде ему противопоставлялись территориальные диалекты (см. материал южного диалекта современного уйгурского языка). В структурном плане он — наследник рунического койне — был также смешанным (см. огузские формы -ïγ, -mïš, -duq).

Язык уйгурских памятников — второе письменное койне в истории тюркских языков — сыграл в дальнейшем огромную роль в формировании других тюркских книжно-письменных койне — литературных вариантов.[19] Проведенный анализ с несомненной очевидностью выдвигает требование — структурное изучение языков древнетюркских памятников, которое велось, ведется сейчас и будет продолжаться и дальше, необходимо дополнять исследованием функциональной стороны; оба эти плана надо неизменно сочетать.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Emeneau M. Oral Poets of South India-The Todas. — В кн.: Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Antropology. New Jork, 1964, p. 330—343.

[2] Kirk G. S. The songs of Homer. Cambridge, 1926, p. 195; Georgiev Vl. Mycenaen among the other Greek Dialects. — В кн.: Mycenaen Studies. Madison, 1964, p. 135.

[3] Макаев Э. А. Язык древнейших рунических надписей. М., 1965, с. 49—50.

[4] Стеблин-Каменский М. И. Вступительная статья в кн.: Исландские саги. М., 1956, с. 7.

[5] Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 299.

[6] Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970, с. 86—98.

[7] Десницкая А. В. Наддиалектные формы. . ., с. 5; Гухман М. М. Литературный язык. — В кн.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 526—527.

[8] Тенишев Э. О языке кыргызов уезда Фу-Юй. — ВЯ, 1966, № 1, с. 88—96.

[9] Тексты памятников цитируются по изданиям: Малов С. Е. 1) Памятники древнетюркской письменности. М., 1951, с. 19—73; 2) Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, с. 7—44.

[10] Пешковский А. М. Стихи и проза с лингвистической точка зрения. — В сб.: Методика родного языка. Лингвистика, стилистика, поэтика. Л.—М., 1925.

[11] Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII вв. М.—Л., 1946, с. 37—38.

[12] Thomsen V. Inscriptions de l'Orkhon. . ., «Mémoire de la Société Finno-Ougrienne», V. Helsingfors, 1896, p. 96.

[13] Кондратьев В. Г. Об отношении языка памятников орхоно-енисейской письменности к языку древнеуйгурских памятников. — СТ, 1973, № 3, с. 27.

[14] Мелиоранский П. Турецкие наречия и литературы. — ЭСБЕ, т. XXXIV, с. 160.

[15] Кононов А. Н. Из наблюдений над синтаксисом надписи Тоньюкука. — В сб. Philologica. Исследования по языку и литературе. Л., 1973, с. 90.

[16] Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, с. 7.

[17] Там же, с. 13.

[18] Кондратьев В. Г. Об отношении языка. . ., с. 23—27.

[19] Самойлович А. Н. 1) К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка. — В сб.: Мир-Али-Шир. Л., 1928, с. 21—23; 2) Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями. — СТ, 1973, № 5, с. 110; Малов С. Е. Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии. — ИАН ОЛЯ, т. VI, вып. 6, 1947, с. 475—480.

Л. Ю. Тугушева

О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ СУБСТАНТИВНО-АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Субстантивно-атрибутивные словосочетания (изафеты) относятся к одному из относительно разработанных разделов грамматики тюркских языков. В процессе их изучения было установлено, что традиционно выделяемые на основе морфологических показателей три типа изафета внутри себя неоднородны. Один и тот же вид конструкций, имея стереотипное оформление, может выражать разные отношения. Положение это воспринималось как очевидное и разногласий не вызывало. Разногласия, не всегда выраженные, но временами находящие отражение в прямых высказываниях,[1] касались главным образом тех моментов, когда речь шла о количестве и содержательных характеристиках выделяемых типов. И несмотря на то, что в настоящее время существуют весьма подробные, детальные классификации субстантивно-атрибутивных словосочетаний в тюркских языках,[2] вопрос о принципах классификации нельзя считать исчерпанным, так как имеет место определенный разнобой в трактовке одного и того же материала. Например, С. С. Майзель выделяет 7 разновидностей изафета III, которые выражают, по его мнению, принадлежность: 1) предмета предмету, 2) признака предмету, 3) материала предмету, 4) части целому, 5) действия субъекту, 6) действия объекту, 7) состояния проявляющему его предмету.[3] М. З. Закиев в том же типе изафета различает целый ряд других разновидностей, которые выражают местонахождение или место происхождения предмета, время какого-либо явления, родственные или семейные отношения, лицо (предмет), для которого предназначен другой предмет, отрезок времени и др.[4] Не существует также единого мнения о грамматической самостоятельности значений II и III типов изафета. Анализируя значения указанных двух типов изафета в гагаузском языке, Н. К. Дмитриев пишет: «Разобранный тип гагаузского изафета заключает в себе два варианта: 1) определенный изафет и 2) неопределенный изафет. . . Форма определенного изафета употребляется сравнительно редко и имеет то же значение, что и неопределенная форма».[5] Указанные разногласия в трак-

товке одних и тех же явлений порождают определенные неудобства, которые становятся ощутимыми в тех случаях, когда требуется однозначный ответ на вопрос о соответствии «семантического представления» о конструкции его смыслу.

Помимо общетеоретического значения, вопрос о критериях различения значений, выражаемых субстантивно-атрибутивными словосочетаниями, приобретает остроту в связи с практическими задачами перевода, методики обучения языку и пр., о чем свидетельствует большое число работ, посвященных данному вопросу.[6]

Практическое руководство представленными в тюркологической литературе классификациями субстантивно-атрибутивных словосочетаний осложняется не только тем, что они разноречивы. Как бы тщательно ни была разработана классификационная схема, обнаруживаются словосочетания, которые не поддаются отождествлению на ее основе. Например, по классификации С. С. Майзеля изафет II типа делится на 21 вариант, характерными для которых являются отношения единичного предмета к обобщенному, к уникальному предмету, предмета к причине, источнику или материальной основе, предмета к своему назначению, цели, отношения количества к предмету, взятому в этом количестве, к действию или состоянию, выраженному инфитинивом, комплекса к своим составным частям, действия к орудию или средству осуществления, предмета как объекта сравнения к предмету как субъекту сравнения, характеризующихся тем, что один из компонентов обозначает постоянный признак предмета, символ или эмблему, сказуемое, национальность, логический субъект, логический объект, выражает связь с местом, связь со временем.[7] Но в какую из указанных рубрик несомненно можно отнести, например, словосочетания: *адәм кыяфәте* ‘облик человека’, *бүре баласы* ‘волчонок’, *бака тәңкәсе* ‘ряска’, *бака яфрагы* ‘подорожник’, *теш бакасы* ‘флюс’, *базар халкы* ‘спекулянты, торговцы’, *аяк ялы* ‘вознаграждение за услуги’ и мн. др.? Число словосочетаний, которые не могут быть отнесены ни к одной из выделяемых рубрик, практически неограниченно. Они занимают как бы промежуточное положение между выделенными разновидностями, образуя, по существу, непрерывный ряд — континуум. Задача же состоит в том, чтобы найти критерии несубъективного характера, на основе которых можно было бы провести членение этого континуума.

* * *

Рассмотрим некоторый ряд словосочетаний: *күңел ярасы* ‘сердечная рана’, *күңел тарлыгы* ‘душевная черствость’, *күңел күтәренкелеге* ‘приподнятость настроения’, *күңел ташуы* ‘преисполненность чувствами’, *таш өй* ‘каменный дом’, *таш борчак* ‘крепкий орешек’ (букв. ‘горошек’), *таш баш* ‘пескарь’, *таш йөрәк* ‘жестокий сердцем’, *таш пиала* ‘горный хрусталь’ и т. д.

Приведенные примеры показывают, что замена только одного из компонентов — определяемого, приводит к полной перестройке

синтаксической структуры словосочетания. Результат будет тем же самым при замене атрибутов при одном и том же главенствующем слове: *сыер көтүе* 'стадо коров', *Ташлык көтүе* 'стадо [деревни] Ташлык'. В первом случае релевантным для определения структуры словосочетания является семантический признак 'состоящий из', в другом — 'принадлежащий (кому)'.

Отсюда следует: для того, чтобы изменились синтаксические признаки словосочетания, достаточно замены одного из компонентов, т. е. синтаксические свойства словосочетаний определяются лексико-семантическими свойствами его компонентов. Сам по себе этот вывод не нов. Относительно генетивных конструкций в индоевропейских языках, передающих значения, сходные со значениями субстантивно-атрибутивных словосочетаний в тюркских языках, он был сформулирован с достаточной определенностью. Ср. «. . . генетив при существительных в русском языке (как и в ряде других индоевропейских языков) является такой всеобъемлющей категорией, которая способна выражать самые разнообразные отношения между существительными, причем конкретный характер выражаемого отношения в значительной степени зависит от лексических значений сочетающихся слов».[8] В тюркологических исследованиях членение изафетных словосочетаний на деле нередко основывается на значении отдельных компонентов словосочетаний,[9] хотя это положение и не было сформулировано в них в явном виде. Справедливость этого положения на данном этапе не подвергается сомнению, но методы анализа семантики, разработанные в позднейшее время, позволяют внести в этот вопрос некоторые уточнения.

Как было сказано, вышеприведенные словосочетания имеют разную структуру. Формально это различие проявляется в несходстве синтаксических признаков, выражающемся в том, в частности, что они допускают разные трансформации. Словосочетание *күңел ярасы* может быть преобразовано в *яралы күңел*, в то время как для словосочетаний *күңел тарлыгы* и *күңел күтәренкелеге* преобразования указанного типа не допустимы (ср. *тарлыклы күңел*, *күтәренкелекле күңел*). Их трансформами могут выступать конструкции *күңеле тар*, *күңеле күтәренке*; для конструкции типа *күңел ташуы* невозможны преобразования ни первого, ни второго типа (ср. *ташулы күңел*, *күңеле ташу*) и т. д. Указанные различия в синтаксических признаках в данном случае обусловлены тем, что в первом примере компонентами словосочетания выступают имена существительные, относящиеся к так называемой конкретной лексике, сочетание которых приводит к появлению семантического признака принадлежности, находящего отражение в синтаксических признаках — допустимых преобразованиях: рана сердца ↔ сердце, имеющее рану. Имена существительные *күтәренкелек*, *тарлык* в отличие от предыдущих обозначают отвлеченные понятия, свойства, состояния и относятся к разряду слов с «собственно языковым» значением. По ситуации, обозначе-

нием которой они выступают, в них закреплено понятие о субъекте этого свойства (состояния), составляющее одну из семантических валентностей этих слов. Роль семантической валентности слов в построении словосочетаний явственно проявляется в тех случаях, когда компонентами словосочетаний выступают синтаксически активные слова. В пределах субстантивно-атрибутивных словосочетаний таковыми выступают, как правило, глагольные и отглагольные имена. Сохраняя деривационные связи с глаголами, от которых они образованы, глагольные и отглагольные имена сохраняют также их валентности, реализуемые в словосочетаниях с их участием. Так, например, в словосочетании *күңел ташуы* второй компонент является глагольным именем, обозначающим ситуацию ʻлиться через край сосуда (о жидкости)ʼ, обязательными для которой являются семантические «участники» или актанты: первый объект (то, что льется), второй объект (то, из чего льется) и причина (избыток жидкости в сосуде). В данном словосочетании реализована вторая валентность глагольного имени *ташу* — валентность объекта, заключающая в себе понятие сосуда, из которого льется жидкость (ср. параллельное словосочетание *күңел тулып ташыды* ʻдуша преисполнилась и [чувства] выплеснулись наружуʼ). Семантическая структура словосочетания в данном случае определяется валентностью одного из его компонентов. Появление нетипического для слова *күңел* семантического признака ʻсосуд, вместилищеʼ обусловлено его синтагматической позицией, в которой оно противопоставлено парадигматически словам, объединенным указанным семантическим признаком: ср. ašïč tašdï ʻ[содержимое] кастрюли [вскипело] и побежалоʼ (МК II 12). В словосочетании *срок узуы* ʻистечение срокаʼ реализуется вторая валентность глагольного имени *узу* ʻминоватьʼ, обозначающего ситуацию ʻпреодоление путем передвижения некоего пункта (в пространстве или во времени)ʼ. Обязательным участником этой ситуации является представление о пункте, передаваемое в настоящем случае словом ʻсрокʼ. В словосочетании *тауыкларның йомырка салучанлыгы* ʻяйценоскость курицʼ валентностью главенствующего слова, выраженного глагольным именем аналитического типа, мотивируются не только возникающие в нем субъектные отношения, но и отнесенность этого субъекта к определенной тематической группировке ʻптица, самкаʼ; в выражении *товардың сатыгы* (кирг.) ʻпродажная цена товараʼ — реализуется валентность объекта глагольного имени *сатык*, являющегося четырехвалентным глаголом с актантами: субъект (кто продает), объект (что продает), контрагент (кому продает), второй объект (за какую цену); отношения, возникающие в словосочетании *кайту хәбәре* ʻизвестие о возвращенииʼ, основаны на валентности имени существительного *хәбәр* ʻизвестиеʼ, обозначающего ситуацию, обязательными участниками которой выступают: субъект (кто извещает), содержание (о чем извещает), контрагент (кого извещает); *йөн буяуы* ʻкраска для шерстиʼ (башк.) — здесь отражена валентность объекта гла-

гольного имени *буяу* от четырехвалентного глагола *буяу-* ʻкраситьʼ с актантами: субъект (кто красит), объект (что красит), средство (чем красит) и результат (во что красит); семантическая структура словосочетания *шәкертнең куылуы* ʻизгнание шакирдаʼ мотивируется семантическими свойствами четырехвалентного глагола *куыл-* ʻбыть изгнаннымʼ с актантами: субъект, объект, начальная и конечная точки; субъектная валентность реализована в словосочетаниях *күңел тарлыгы* ʻчерствость сердцаʼ, *күңел тынычлыгы* ʻдушевное спокойствиеʼ, *күңел төшкенлеге* ʻупадочное состояние духаʼ [10] и т. д.

Слова с тождественными синтаксическими свойствами, сочетаясь, образуют сходные семантические структуры. Например, слово, *бала*, сочетаясь с тематической группой слов, обозначающих названия животных, приобретает значение ʻдетенышʼ: *арслан баласы* ʻльвенокʼ, *бүре баласы* ʻволчонокʼ, *болан баласы* ʻорленокʼ, *аю баласы* ʻмедвежонокʼ, *мәче баласы* ʻкотенокʼ, *эт баласы* ʻщенокʼ; слово *баш* в сочетании с именами существительными, объединенными общим семантическим признаком ʻпредмет, возвышающийся над землей и имеющий определенную форму с обозначенной вершинойʼ, получает значение ʻвершина, верхушкаʼ: *агач башы* ʻверхушка дереваʼ, *тау башы* ʻвершина горыʼ, *кибән башы* ʻверхушка стогаʼ; сочетание того же слова со словами иной тематической группы (с семантическим элементом обозначения времени) приводит к образованию словосочетаний с другой семантической структурой: *ай башы* ʻначало месяцаʼ, *ел башы* ʻначало годаʼ. В примерах *балык мае* ʻрыбий жирʼ, *дуңгыз мае* ʻсвиной жирʼ, *көнбагыш мае* ʻподсолнечное маслоʼ, *арба мае* ʻколесная мазьʼ, *машина мае* ʻмашинное маслоʼ, *лампа мае* ʻкеросинʼ в зависимости от семантических признаков определений словосочетания получают семантический признак ʻдобываемый из чего-л.ʼ или ʻпредназначенный для чего-л.ʼ. В первом случае в определениях присутствует семантический элемент ʻназвание растений или животныхʼ, во втором — ʻтехнические средства, инструменты или их частиʼ.

Анализ по семантическим признакам позволяет, в частности, ответить на вопрос, почему не следует помещать в одну рубрику словосочетания типа şapkanın beyazlığı ʻбелизна шляпыʼ и ilmin faydası ʻпольза наукиʼ, объединяемые С. С. Майзелем в разделе «принадлежность признака предмету».[11] Лексемы beyazlık и fayda относятся к разным лексическим группировкам, характеризующимся самостоятельной парадигматической организованностью. Значение первых раскрывается через их противопоставление словам, обозначающим части цветового спектра, во втором случае — путем антонимической поляризации, путем противопоставления слову ziyan ʻвредʼ. Парадигматической закрепленностью по определенным семантическим признакам обусловлен различный характер семантических отношений в словосочетаниях, образованных с их участием. Структурно-семантическое различие словосочетаний проявляется в преобразованиях с ними. Трансформом словосо-

четания şapkanın beyazlığı выступает конструкция şapka beyazdır; аналогичное преобразование недопустимо со словосочетаниями типа ilmin faydası и aşkın kuvveti 'сила любви', трасформами которых выступают конструкции ilim faydalıdır, aşk kuvvetlidir, но не ilim faydadır, aşk kuvvettir. Взаимосвязь семантической структуры словосочетаний и парадигматических отношений компонентов (их системной соотнесенности с другими элементами лексики) отчетливо прослеживается на следующих примерах: 1) *аш чүмече* 'черпак для супа, половник', *аш кашыгы* 'суповая (столовая) ложка'; 2) *аш бүлмәсе* 'обеденная комната (столовая)', *аш өстәле* 'обеденный стол'; 3) *аш остасы* 'искусный повар'. Различие в семантической структуре этих словосочетаний основывается на различии признака функции, функциональной направленност главенствующего слова. Существенным с точки зрения конструирования значения словосочетания в одном случае является семантический элемент 'орудие, прибор', в другом — 'место', в третьем — 'изготовитель'. Ср. также в указанном отношении значения словосочетаний: *мал базары* 'рынок для продажи скота', *мал врачы* 'ветеринарный врач', *мал шалканы* 'кормовая репа (турнепс)'; *йокы бүлмәсе* 'спальная комната', *йокы артериясе* 'сонная артерия', *ат абзары* 'помещение для лошадей (конюшня)', *ат көтүе* 'стадо лошадей (табун)' и т. д.

С другой стороны, сочетание с разными лексемами в роли главенствующего слова приводит к своего рода транспозиции значения определения. Реализация того или иного значения слова ставится в зависимость от его позиции — конкретных сочетаний.[12] Например, значение слова *капчык* как 'вместилища свойств человеческого характера' реализуется в сочетании с весьма ограниченным числом слов с семантическим элементом 'черта характера': *гайбәт капчыгы* 'греховодник', *хәйлә капчыгы* 'хитрец', *ялган капчыгы* 'лжец' и др. и, следовательно, является синтагматически обусловленным в отличие от главного значения того же слова 'мешок', которое обусловлено парадигматически отнесенностью в группу имен, объединяемых общностью функционального признака 'предназначенность для складывания, упаковки чего-либо'.

Контекстная обусловленность значений наиболее ярко проявляется у слов с обобщенными значениями, не отягощенными индивидуальными признаками; семантика их в большей степени мотивирована позицией среди прочих элементов системы и рассматривается как принадлежащая «собственной системе»[13] языка, в отличие от «конкретной» лексики, семантика которой определяется признаками, стоящими вне системных отношений языка. В зависимости от своей позиции слово *буй* 'рост, длина' может передавать значения: *ай буе* 'в течение месяца', *диңгез буе* 'берег моря', *тау буе* 'подножие горы' и пр., и только сопоставление контекстов позволяет разграничить одно его значение от другого.

Рассмотренный материал показывает также, что релевантные семантические признаки, возникающие при совмещении частей

в словосочетании в целом и у отдельных его компонентов, взаимно обусловлены, но не тождественны. Поэтому, анализируя словосочетания, нельзя исходить непосредственно из семантических свойств его составных частей. Лексико-семантические свойства составных частей словосочетания могут быть использованы как исходные данные при изучении структурно-семантических свойств словосочетаний лишь постольку, поскольку слова, относящиеся к одному классу (группе), обнаруживают сходные признаки, находящие адекватное отражение в конструкциях, образуемых с их участием.

Из всего сказанного, таким образом, можно сделать вывод, что семантическая структура словосочетаний мотивирована лексико-семантическими свойствами их компонентов, поэтому при изучении словосочетаний не может быть оставлен в стороне вопрос о системных свойствах сочетающихся лексем. Устранение произвольности в характеристике семантических свойств словосочетаний и их членении теснейшим образом связано с уточнениями структурно-семантических свойств компонентов словосочетаний. Но свойства и значения слов проявляются в контексте. С этой точки зрения изучение контекстов (конструкций), в которых реализуются значения лексем, установление связей между ними, в свою очередь, является исходным формальным основанием для изучения семантических свойств слова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср.: «Некоторые тюркологи различают большее количество разновидностей изафета II. Например, С. С. Майзель различает 21 разновидность. На наш взгляд, некоторые пункты, указанные им, могут быть свободно объединены» (Закиев М. З. Синтаксический строй татарского языка. Казань, 1963, с. 180).

[2] См.: Майзель С. С. Изафет в турецком языке. М.—Л., 1957; Закиев М. З. Синтаксический строй. . ., с. 169—183.

[3] Майзель С. С. Изафет в турецком языке, с. 25—29.

[4] Закиев М. З. Синтаксический строй. . ., с. 171—175.

[5] Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962, с. 261—262.

[6] См.: Аррыков А. Типологическая характеристика простых атрибутивно-субстантивных словосочетаний в английском и туркменском языках. АКД. М. 1972; Абдурахманов Ш. Предложно-определительные словосочетания и словосочетания с формантом s в английском языке и их эквиваленты в узбекском языке. М., 1972; Карпов В. М. Атрибутивное употребление существительных в английском языке и изафет в тюркских языках. — Тр. Киргизского гос. ун-та, вып. 3, Фрунзе, 1969; Ковальчук Н. Г. Атрибутивно-субстантивные словосочетания с зависимым существительным в английском языке и их соответствия в татарском. Казань, 1974; Латыпов Ч. Ю. К вопросу об атрибутивном употреблении существительных в английском и башкирском языках. — В кн.: Вопросы общего и романо-германского языкознания. Тез. докл. IV научной конференции языковедов. Вып. I. Уфа, 1965, и др.

[7] Майзель С. С. Изафет в турецком языке, с. 30—43.

[8] Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. с. 178.

[9] См.: Майзель С. С. Изафет в турецком языке, с. 32—39; Закиев М. З. Синтаксический строй. . ., с. 170—180; Кононов А. Н.

Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 355.

[10] Типы семантических валентностей определяются по системе, разработанной Ю. Д. Апресяном. См.: Апресян Ю. Д. К построению языка для описания синтаксических свойств слова. — В сб.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973, с. 285—286.

[11] Майзель С. С. Изафет в турецком языке, с. 26—27.

[12] Ср.: «Когда мы говорим о разных значениях, присущих данному слову, мы по существу исходим из разных контекстов его употребления. . . . Если для слов, обозначающих конкретные предметы, разграничение значений осуществляется как будто на основе учета денотативных возможностей слова, то для всех остальных лексических единиц самая мысль о нем возникает только в связи с тем, что сопоставляются разные контексты употребления слова» (Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа. . ., с. 93).

[13] Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967, с. 17.

М. Ш. Ширалиев

НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

Одной из характерных особенностей фонетического строя диалектов и говоров азербайджанского языка является наличие в них носовых гласных. Носовые гласные в тюркских языках, фонетические условия, порождающие эти гласные, не были описаны детально в тюркологической литературе. Лишь некоторые замечания о них мы можем встретить в отдельных трудах. Впервые в тюркологии на материале шекинского диалекта носовые гласные выявил Н. И. Ашмарин.[1] В своем монографическом исследовании о народных говорах Нухи он подробно описал место, способ образования и причины появления носовых гласных в шекинском диалекте. В дальнейшем носовые гласные были обнаружены в нахичеванском и ордубадском диалектах, в закатало-кахском говоре, переходных говорах (агдашский, геокчайский) азербайджанского языка и в говоре селения Коланы Сабирабадского района Азербайджанской ССР.

Носовые гласные — вторичное явление, связанное с велярным n (ŋ). Как известно, велярный n в диалектах и говорах азербайджанского языка не везде равноупотребителен. Он хорошо сохранился в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка (огузский тип). В восточной же группе диалектов и говоров азербайджанского языка (кыпчакский тип) велярный n совершенно отсутствует. В северных и отчасти в некоторых южных диалектах и говорах в связи с исчезновением велярного n появляются носовые гласные. Носовые гласные образуются вследствие утраты велярного n (ŋ). Исчезая, велярный n, с одной стороны, передает свой носовой оттенок предшествующему гласному и, с другой стороны, вызывает переход стоящего перед ним гласного переднего ряда в гласный заднего ряда. Степень распространения носовых гласных не повсюду одинакова. Если в шекинском диалекте, кроме гласных е, о, представлены все носовые варианты носовых гласных, то в нахичеванском, ордубадском диалектах и закатальско-кахском говоре — только носовые гласные а, у, и. Кроме того, в отличие от шекинского диалекта, в нахичеванском диалекте и закатальско-кахском говоре носовые гласные встречаются только в аффиксах.

ã — встречается в корнях и аффиксах a + n = ã: dã (шек.) < daŋ // dan (лит.-орф.) 'заря'; saã (шек., з.-ках.) saŋa < sänä (лит.-орф.) 'тебе'; maã (шек., з.-ках.) maŋa < mänä (лит.-орф.) 'мне'; gyčyã (з.-ках.) gyčyŋa < gyčyna (лит.-орф.) 'твоей ноге'; alaã (нах.) äliŋä < älinä (лит.-орф.) 'твоей руке'; ämiläruã (орд.) < ämiläriŋä < amilärinä (лит.-орф.) 'твоим дядям' и т. д.;

ā̃ — долгий носовой a — результат стяжения гласных.

y + ŋ + a = ā̃: aγzā̃ (шек.) < aγzyŋa < aγzuna (лит.-орф.) 'твоему рту'; i + ŋ + ä = ā̃: jerā̃ (нах., орд.) jeriŋä < jerinä (лит.-орф.) 'твоей земле'; u + ŋ + a = ā̃: golā̃ (нах., орд.) goluŋa < goluna (лит.-орф.) 'твоей руке'; ü + n + ä = ā̃ : sözā̃ (нах., орд.) < sozuŋä < sözünä (лит.-орф.) 'твоему слову'; ä + ŋ + i = ā̃ : išdäsā̃z (нах., орд.) išdäsäŋiz < išdäsäniz (лит.-орф.) 'если вы поработаете'; a + ŋ + y = ā̃ : danyšmasā̃z (нах., орд.) danyšmasaŋyz < danyšmasanyz (лит.-орф.) 'если не будете говорить'; a + ŋ + a = ā̃ : mā̃ (шек., нах., орд., каз. диал. караб., гянд.) maŋa < mäŋä (лит.-орф.) 'мне'; sā̃ (шек., нах., орд., каз. диал. караб., гянд.) saŋa < sänä (лит.-орф.) 'тебе';

ỹ — встречается только в аффиксах ŋ + y = ỹ: gavyỹ (шек.) gavyŋy < gabyny 'твою посуду'; garyỹ (нах., орд.) < garyŋy < garyny (лит.-орф.) 'твою дверь'; ŋ + i = ỹ : jijäsyỹz (шек.) jijasiŋiz < jijäsiniz 'вы должны кушать'; didyỹz < didiŋiz < dediniz (лит.-орф.) 'вы сказали'; k'äččisyỹz (нах., орд.) k'äččisiniz < k'andlisiniz (лит.-орф.) 'вы крестьяне'; ävdäsyỹz (нах., орд.) < ävdäsiŋiz < evdäsiniz (лит.-орф.) 'вы дома';

ȳ̃ — долгий носовой y — появляется в результате стяжения гласных, стоящих перед и после велярного n, y + ŋ + y = ȳ̃: atȳ̃ (шек.) atyŋy < atyny (лит.-орф.) 'твоей лошади'; aldȳ̃z (шек.) < aldyŋyz < aldynyz (лит.-орф.) 'вы купили';

i + ŋ + i = ȳ̃ : ävȳ̃ (нах.) < äviŋi < evini (лит.-орф.) 'твой дом'; g'äldȳ̃z (шек.) g'äldiŋiz < g'äldiniz (лит.-орф.) 'вы пришли'; itildirsȳ̃z (нах., орд.) itildirsiniz < itilätdirirsiniz 'вы точите';

ä̃ — встречается в корнях слов очень редко. Носовой ä появляется в результате выпадения ŋ;

ä + ŋ = ä̃: rä̃nsiz (шек.) < räŋg'siz < rang'siz (лит.-орф.) 'бесцветный'; tüfä̃ndän (шек.) < tüfäŋg'dän < tüfäng'dän (лит.-орф.) 'из ружья';

ǟ̃ — долгий носовой встречается в основах слов в результате стяжения гласных ä + ŋ + i = ǟ̃: bǟ̃z (шек.) bäŋiz < bäniz (лит.-орф.) 'лицо'; örg'ǟ̃tdi (шек.) < örg'äŋitdi < ojranmišdir (лит.-орф.) 'научился'; mǟ̃ (шек.) < mäŋi < mäni (лит.-орф.) 'меня'; sǟ̃ (шек.) < säŋi < säni (лит.-орф.) 'тебя';

ĩ — носовой, встречается в корнях слов.

i + ŋ = ĩ: dĩš < (шек.) < diŋǯ < dinǯ (лит.-орф.) 'спокойный'; pärĩš (шек.) < pariŋǯ < parinǯ (лит.-орф.) 'кувшин'; ī̃ — долгий носовой, ī̃ — встречается в аффиксах i + ŋ + i = ī̃ : ǯijī̃ (шек.) < ǯijiŋi < ǯijini (лит.-орф.) 'твою мать'; säsī̃ (шек.) < säsiŋi < säsini (лит.-орф.) 'твой голос';

ũ — встречается в аффиксах.

ŋ + u = ũ: doũr (шек.) < doŋur < donur (лит.-орф.) 'мерзнет'; joluũ (нах., орд.) < joluŋu < jolunu (лит.-орф.) 'твою дорогу'; naxošsuũz (нах., орд.) и naxošsunũz < naxošsunuz (лит.-орф.) 'вы больны';

ŋ + i = ũ: jeruũ (шек., нах., орд.) < jeriŋi < jerini (лит.-орф.) 'твою землю'; ǯävizuũ (нах., орд.) < ǯäviziŋi < ǯävizini (лит.-орф.) 'твой орех'; dädäũ (нах., орд.) < dädäŋi < dädäni (лит.-орф.) 'твоего отца';

ŋ + y = ũ: oxusaũz (нах., орд.) < oxusaŋyz < oxusanyz (лит.-орф.) 'если вы прочтете'; tavlaũ (нах., орд.) < tavlaŋy < tavlany (лит.-орф.) 'твою конюшню';

ū̃ — долгий носовой u — встречается в основном в аффиксах и реже в корнях слов. Долгий носовой u возник вследствие стяжения гласных.

ü + ŋ + u = ū̃: oɣlū̃ (шек.) < oɣluŋu < oɣlunü (лит.-орф.) 'твоего сына'; gurdū̃z (шек.) < gurduŋuz (шек.) < gurdunuz (лит.-орф.) 'вы строили';

i + ŋ + i = ū̃ + älū̃ (нах.) < äliŋi < älini (лит.-орф.) 'твою руку'; verärsū̃s (нах.) < verärsiŋiz < verärsiniz (лит.-орф.) 'вы дадите';

y + ŋ + y = ū̃: gojmadū̃z (нах.) < gojmadyŋyz < gojmadynyz (лит.-орф.) 'вы не пустили';

ü + ŋ + ü = ū̃: özū̃ (шек., нах.) < özüŋü < özünü (лит.-орф.) 'себя'; g'ördū̃z (нах.) < g'ördüŋüz < g'ördünüz (лит.-орф.) 'вы увидели';

ü̃ — встречается в корнях слов, оканчивающихся на звукосочетание nǯ.

ü + ŋ = ü̃: pürü̃š (шек.) < pürüŋǯ < bürünǯ (лит.-орф.) 'бронза' k'ü̃šdär (шек.) k'üŋǯdär < k'ünǯlär (лит.-орф.) 'углы'.

ü̃̄ — долгий носовой ü — результат стяжения двух гласных.

ü + ŋ + ü = ü̃̄: üzü̃̄ (шек.) < üzüŋü < özünü (лит.-орф.) 'себя' ütü̃̄ (шек.) < ütüŋü < ütünü (лит.-орф.) 'утюга';

õ — в основном встречается в аффиксах и в редких случаях — в корнях слов.

o + ŋ = õ: dõdy[1] (шек.) < doŋdy[1] < dondu (лит.-орф.) 'он замерз'; g'ozoõ (шек.) < göözüŋü < gözünü (лит.-орф.) 'твой глаз'; dädoõ (Сабирабадский р-н, сел. Коланы) < dädäŋi < dädäni (лит.-орф.) 'твоего отца'; nänöõ (Сабирабадский р-н, сел. Коланы) < nänäŋi < nänäni (лит.-орф.) 'твою бабушку';

ō̃ — долгий носовой o — появляется в результате стяжения двух гласных.

o + ŋ + u = ō̃ : ō̃ (шек.) < onuŋ < onun (лит.-орф.) 'его';

i + ŋ + i = ō̃ : alō̃ (шек.) < aliŋi < alini (лит.-орф.) < älini 'твою руку'.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ашмарин Н. И. Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи. I—III, Баку, 1926.

А. М. Щербак

ФОРМЫ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

0. Желательное наклонение (optativ, optativ-subjonctiv, voluntativ, kohortativ) в тюркских языках имеет ограниченную сферу проявления: 1 л. ед. и мн. ч., в языках Сибири и Алтая также двойственного числа, реже — 1 и 2 л. и еще реже —1, 2, 3. Его формы передают специфическое, характерное преимущественно для них, содержание и как бы восполняют то, что по понятным причинам отсутствует в парадигме повелительного наклонения: повеление адресуется собеседнику или третьему лицу, в отношении же самого говорящего оно утрачивает категоричность, не становясь ни просьбой, ни призывом.

В тюркских языках обычно выделяют два аффикса желательного наклонения — *-a(j)* ~ *-ï(j)* и *-γa(j)*.[1] Примеры: др.-тюрк. *jatajïn* 'полежу-ка', *olurajïn* 'сяду-ка', *alajï* 'возьму-ка', *biläj* 'узнаю-ка', *bolalïm* 'будем-ка', *qurtulalïm* 'освободимся-ка', *bitilim* 'напишем-ка';[2] ст.-азерб. *öldüräjim* 'убью-ка', *sorajïm* 'спрошу-ка', *ičäli* 'выпьем-ка', *olalum* 'станем-ка', *varalïm* 'пойдем-ка', *baxawuz* 'посмотрим-ка';[3] ст.-тур. *varajïm* 'пойду-ка', *satam* 'продам-ка', *biläwän* 'узнаю-ка', *köräjwän* 'увижу-ка', *äjläjwän* 'сделаю-ка';[4] ст.-узб. *jašurajïn* 'скрою-ка', *alaj* 'возьму-ка', *köräjim* 'посмотрю-ка', *jegälim* 'поедим-ка', *körä(j)lik* 'увидим-ка', *beräjik* 'дадим-ка';[5] алт. *barγajzïŋ* 'пойти бы тебе'; кар. *alγajmïn* ~ *alγajm* ~ *alγejm* 'возьму-ка'; кирг. *ǯazalï(q)* 'напишем-ка'; кр.-тат. *alγajdïm* 'взять бы мне', *alγajdïŋ* 'взять бы тебе'; тат. *alĭjm* 'возьму-ка', *alĭjq* 'возьмем-ка'; тув. *kelijn* 'приду-ка', *kelīl* 'придем-ка' (дв. ч.), *kelīliŋer* 'придем-ка' (мн. ч.); турк. *jazajïn* 'напишу-ка', *jazalïŋ* 'напишем-ка'; шор. *parajïn*, *parγajbïn* 'пойду-ка', *parγajzïŋ* 'пойти бы тебе', *parγaj* 'пойти бы ему', 'пусть пойдет'.

1. Широко распространено мнение, что аффикс желательного наклонения *-a(j)* связан с аффиксом *-γa(j)*, при помощи которого в древнетюркских письменных памятниках образовывалась одна из форм будущего времени.[6] Согласно другому мнению, аффикс *-a(j)* восходит к реконструируемому общетюркскому показателю «безличного» optativ'а или precativ'а **-qaj* ~ **-käj*, который имел значения повеления, долженствования, возможности, на-

мерения и будущего времени, выражавшиеся сначала недифференцированно, а затем раздельно.[7] Несколько иной точки зрения придерживается Ш. Шукуров, по мнению которого и форма желательного наклонения на *-a(j)*, и форма на *-a*, «типа старотурецкой», возникли в результате преобразования причастия настояще-будущего времени на *-γa* (*alγam* > *alam*, *alγajïm* > *alajïm* > *alïm* > *alïm*, *alγajïn* > *alajïn* > *alaj*).[8] Общим для всех перечисленных точек зрения является рассмотрение аффикса *-a(j)* как фонетической разновидности аффикса *-γa(j)*.

Безусловно, в некоторых языках, например в огузских, аффикс *-γa(j)* должен был измениться в *-a(j)*. Здесь уместно напомнить о том фонетическом изменении, которому подвергся в языках огузской группы аффикс причастия прошедшего времени *-γan*, ср. аз. *učan* 'летающий' (< *učγan*); тур. *olan* 'ставший' (< *bolγan*). С другой стороны, форма на *-γa(j)* настолько близка к форме на *-a(j)* по содержанию, что вполне естественна их контаминация,[9] ср. др.-тюрк. *jegäwüz* 'поедим-ка' (Теф. 70б); ст.-узб. *bašla-γajïn* 'начну-ка', *kizlägäjin* 'спрячу-ка', *tilägäjim* 'пожелаю-ка'; узб. (диал.) *barmajïn* ~ *barmaγajïn* 'не пойду-ка';[10] *boraj* ~ *borγaj* 'пойду-ка';[11] алт. *barγajïm* 'пойду-ка'; шор. *odurγajïm* 'сяду-ка'.

Нисколько не сомневаясь в важности той роли, которую сыграла форма на *-γa(j)* в становлении и развитии тюркского оптатива, мы, тем не менее, убеждены, что эта роль не была ведущей и что нет достаточных оснований рассматривать аффикс *-a(j)* как фонетическую разновидность аффикса *-γa(j)*.

Прежде всего следует заметить, что формы типа *alaj*, *alajïq* ~ *alaq* являются общетюркскими, выпадение же *γ* перед гласными происходило главным образом в языках огузской группы. Примечателен сам факт параллельного употребления формы на *-γa(j)* с формой на *-a(j)* в алтайском, казахском, ногайском, тувинском, хакасском, узбекском и др.: ср. алт. *alajïn*, *alγajïm* 'возьму-ка'; башк. *bulajïm* 'буду-ка', *buγaj* (< *bulγaj*) 'кажется, как будто'; каз. *ozajïn* 'перегоню-ка', *ozγajmïn* 'перегнать бы мне'; кирг. *ǯazajïn* 'напишу-ка', *ǯazγaj elem* 'написал бы я'; кум. *gelejim* 'приду-ка', *gelgej edim* 'пришел бы я'; ног. *barajïm* 'пойду-ка', *barγaj edïm* 'пошел бы я'; уйг. *alaj* 'возьму-ка', *alγedim* (< *alγaj edim*) 'взял бы я'.

Обращает на себя внимание также семантическое своеобразие формы на *-γa(j)* по сравнению с формой на *-a(j)*. Как в древних, так и в современных языках она входит в систему временных форм изъявительного наклонения, ср. др.-тюрк. *ol altun taγqa tegsärsiz kök linxua körgäjsiz* 'если вы достигнете золотой горы, увидите голубой лотос' (*KP* 38_2), *ačïq bolγa* 'горько будет' (*XX* $В_{436}$), *ešäkni* ... *bermägäjmän* 'осла ... не дам' (USp 3_8); ст.-узб. *bolγaman Mïsïr ulusïγa qonaq* 'буду гостем у народа Египта'; уйг. (диал.) *ba(r)γajmän* 'пойду', *ba(r)γajsän* 'пойдешь'. В тувинском языке при помощи аффикса *-γaj* ~ *-qaj* образуется форма согласительного наклонения, ср. *barγaj men* 'ладно, пойду', *barγaj sen* 'ладно, пойди', *barγaj* 'ладно, пусть пойдет',[12] но: *barïjn* 'пойду-ка'.

2. Основная цель, которую мы ставим перед собой — ответить на вопрос: из чего и как образовалась форма желательного наклонения на *-a(j)*?

Поиски прототипа, как нам кажется, необходимо вести не столько в плане материальных сближений, сколько путем выяснения наиболее вероятных линий семантического развития. Отправной пункт наших поисков — гипотеза об изначальном отсутствии наклонений и формировании различий между ними в процессе морфологического обособления глагола от имени. Многие тюркологи справедливо указывают, что по мере углубления в историю тюркских языков существующие формальные и семантические различия между наклонениями заметно стираются и что употребляемые в современных литературных языках с более или менее определенными грамматическими значениями формы наклонений в древности были многозначными. Их «семантическая разгрузка» осуществлялась по линии закрепления за той или иной формой какого-либо одного значения и постепенной утраты других значений.[13] Естественно, что этот процесс был сложным и многообразным и поэтому характер семантической структуры разных форм наклонений в разных тюркских языках далеко не одинаков.

Очевидно, самым ранним по времени было разграничение изъявительного и повелительного наклонений. Именно так, по мнению А. Н. Савченко, обстояло дело в индоевропейских языках. «Можно думать, — пишет он, — что разделение изъявительного и повелительного наклонений в индоевропейском языке произошло в эпоху образования личных окончаний, причем форма повелительного наклонения, оставшаяся без окончания, противостояла формам изъявительного наклонения, получившим личные окончания».[14]

Повелительное наклонение, имея своеобразную семантику и не будучи выраженным специальными аффиксами, постепенно обособилось. В. А. Богородицкий, не без оснований, сравнивал форму повелительного наклонения 2 л. ед. ч. со звательной формой имени и предлагал рассматривать последнюю «как род подлежащего» к первой форме.[15] Иначе обстояло дело с изъявительным наклонением. Его содержанием была констатация действия в самом широком плане, не исключающая выражения точки зрения говорящего на отношение субъекта к действию,[16] вследствие чего охватываемые им формы вошли в парадигмы не только изъявительного, но и других наклонений. С учетом этого обстоятельства, в функционировании формы на *-γa(j)* как временной формы и вместе с тем как формы желательного наклонения нет ничего необычного.

Возвращаясь к вопросу о том, из чего и как образовалась форма желательного наклонения, мы думаем, что первоначально это было осложненное модальными оттенками субстантивно-адъективное имя действия на *-a*, типа *jaza*, *bara*, развитие которого характеризовалось, с одной стороны, усилением модальности, с другой, — ее вытеснением временными значениями.

Абсолютизация временных значений выразилась в использовании имени действия на *-a* в качестве основы настоящего и настояще-будущего времени.[17] Примеры: др.-тюрк. *men sengä bašumnï qutumnï berämän* 'голову свою, счастье свое я отдаю тебе' (ЛОК 22_6); ст.-аз. *bir gün ola düšäm öläm sän γalasan* 'наступит день — я умру, а ты останешься';[18] ст.-тур. *čox jirseŋ čox zahmet göresin* 'если много съешь, испытаешь много мучений';[19] башк. *kiläm* 'прихожу', *kilähĭŋ* 'приходишь'; кар. *kelämin* 'прихожу', *keläsin* 'приходишь'; кирг. *baramïn* 'пойду'; кум. *baraman* 'иду', *barasan* 'идешь', *bara* 'идет'; тат. *alam* 'беру'; турк. (диал.) *alaman* 'возьму', *gelemän* 'приду'; узб. *jozaman* 'напишу', *jozasan* 'напишешь'; уйг. *ketimän* (< *ketämän*) 'уйду'; як. *kelebin* 'прихожу', *barabït* 'идем'.

О том, что в содержание имени действия на *-a* входили модальные оттенки, свидетельствуют материалы письменных памятников и современных языков, в которых встречаются случаи его употребления в роли супина,[20] например: др.-тюрк. *üč oγuz süsi basa kelti jadaγ jabïz boltï tep alγalï kelti* 'войско уч-огузов пришло, чтобы разгромить [нас]; думая, что [у нас] пешее войско слабое, пришли захватить [нас]' ($БК_{32}$); ст.-узб. *meni körä keldi* 'он пришел, чтобы увидеть меня', *jarmaq tiläj barur erdi* 'он отправлялся просить деньги';[21] башк. *ul kitap ala kittĭ* 'он пошел, чтобы взять книгу'.[22] В азербайджанском, гагаузском и турецком языках форма на *-a* выступает только в значении желательного наклонения: аз. *alam*, гаг., тур. *alajïm* 'взять бы мне', аз. *alasan*, гаг., тур. *alasïn* 'взять бы тебе', аз., тур. *ala* 'взять бы ему', аз. *alaγ*, гаг., тур. *alalïm* 'возьмем-ка', аз., гаг., тур. *alasïnïz* 'взять бы вам', аз., тур. *alalar* 'взять бы им'. Однако в письменных памятниках азербайджанского и турецкого языков она, по крайней мере до XVIII в. «была одним из основных элементов в системе временных форм».[23]

Определенный интерес представляют производные морфологические образования от имени действия типа *jaza*, *bara*.

Одним из таких образований Ж. Дени[24] назвал причастие будущего времени с оттенком долженствования на *-aǯaq* (*-a-ǯaq*),[25] ср. аз. *jazïlaǯaγ mäktub* 'письмо, которое должно быть написано'; к.-калп. *žazažaq kĭšĭ* 'человек, который должен будет написать'; узб. *bůlaǯak šahar* будущий город', *jorqin kelaǯak* 'светлое будущее'. Второй компонент аффикса *-aǯaq* — аффикс уменьшительности-предельности *-ǯaq*, ср. гаг. *aldïǯak* < *aldïk* + *ǯak*.[26]

Другая аналогичная форма[27] — причастие будущего времени на *-asï*, содержащее модальные оттенки долженствования и желания. Примеры: др.-тюрк. *ja qurasï oγur* 'время, когда следует натягивать лук' (МК II 68); аз. *jazïlasï mäktub* 'письмо, которое следует написать', *jazasïjam* 'я должен написать', *jazasï idim* 'я намеревался написать', *güläsim gälir* 'хочется смеяться'; тат. *barasĭ kilä* 'ему хочется поехать'; тур. *dijesim gelijor* 'мне хочется сказать'; турк. *ajdasï geljär* 'он хочет сказать'; як. *barïhïbïn* 'я, очевидно, пойду'.[28] Данное причастие образовалось из сочетания имени

действия на *-a* с аффиксом принадлежности 3 л. *-sï*.[29] Последний вошел в состав единого морфологического показателя, что сделало возможным присоединение к нему аффиксов принадлежности 1 и 2 л.

Третья производная форма — типа *jazaraq*, *gelerek* — не содержит модальных оттенков.

Обзор производных форм показывает, что и они сохраняют следы многозначности имени действия на *-a*. Древнейшие из них, на *-aǯaq* и *-asï*, являются скорее, модальными, чем временными формами; более поздняя, на *-araq*, выражает время или, точнее, одновременность одного действия с другим, которому оно сопутствует.

3. Форма 1 л. мн. ч. желательного наклонения, как и форма ед. ч., образуется при помощи аффиксов *-a(j)* и *-γa(j)*. Отличается же она от последней тем, что включает в себя дополнительные компоненты *-lï*, *-lïq*, *-lïŋ*, *-lïm*, квалифицируемые как показатели лица и наклонения[30] или лица и числа.[31]

Особого внимания заслуживает попытка К. Брокельмана[32] и Э. В. Севортяна[33] сблизить аффикс 1 л. мн. ч. желательного наклонения *-alï* с аффиксом супина, или деепричастия цели, *-γalï*. Хотя супин, действительно, близок по содержанию к форме желательного наклонения, сближение *-alï* с *-γalï* встречает препятствия, аналогичные тем, с которыми приходится иметь дело при попытке возвести аффикс *-a(j)* к аффиксу *-γa(j)*. Так, если в огузских языках начальный *γ* в аффиксальных морфемах выпал, то почти во всех других тюркских языках он сохранился. Не случайно в них форма 1 л. мн. ч. желательного наклонения оканчивается на *-alï*, *-alïm*, *-alïŋ*, *-alïq*, *-ajïq*, *-ajlï*, *-ajluq*, а супин (деепричастие цели) — на *-γalï*, ср. др.-тюрк. *alalïm*, *alalïŋ* 'возьмем-ка', *alγalï* 'чтобы захватить', *söŋüšgäli* 'чтобы сразиться'; ст.-узб. *körälim* 'увидим-ка', *körgäli* 'чтобы увидеть', *jegäli* 'чтобы есть'; каз. *žürejïk* 'пойдем-ка', *žürgelï* 'чтобы идти'; кирг. *satalï(q)* 'продадим-ка', кирг. (диал.) *satqalï* 'чтобы продать';[34] уйг. *alajli*, *alajluq* 'возьмем-ка', *alγili* 'чтобы взять', *kätkili* 'чтобы отправиться'.

Этимологический состав аффиксов *-lï*, *-lïq*, *-lïŋ*, *-lïm* не ясен, и все предпринимавшиеся до сих пор попытки объяснить его не были достаточно убедительными. Этот вопрос, по-видимому, останется открытым до появления новых фактов, так как возможности интерпретации имеющихся материалов исчерпаны. Тем не менее, уже сейчас хотелось бы выразить несогласие с теми тюркологами, которые готовы видеть в объединяющем приведенные выше аффиксы компоненте *-lï* показатель множественного числа.[35] Во-первых, тюркским языкам на всем протяжении их письменной истории не были известны подобные показатели множественности. Во-вторых, для тюркских языков кажется недопустимым образование формы 1 л. мн. ч. путем присоединения личного показателя к показателю множественности, ср. тув. *körēliŋer* (< *körēliŋler*) 'посмотрим-ка' (мн. ч.), *körēli* ~ *körēl* 'посмотрим-ка' (дв. ч.). Мы считаем, что формы типа *alalï*, *alïl*, как и формы типа *alajï*, *alaj*, лишены показателей лица и числа.

Чем же тогда является компонент *-lï*, какова его роль в составе рассматриваемой формы? На наш взгляд, существует еще один ответ на эти вопросы, кроме упомянутых выше, хотя, разумеется, и он уязвим для критики. Поскольку для 1 л. мн. ч. вообще характерны некоторые отклонения от парадигматической нормы, не исключено, что форма типа *alalï* имеет своеобразную природу и что выбор прототипа в данном случае не был обычным. Весьма вероятно, что в основе этой формы — вторичные имена действия типа *baralï*, *baralïq* (*bara-lï*, *bara-lïq*), ср. аналогичные морфологические образования от других имен действия: *bararlï*, *bararlïq*, *barγalï*, *barγalïq*, *barγanlï*, *barγanlïq*, *barmaqlï*, *barmaqlïq*, *barmalï*, *barmalïq*, *barïγlï*, *barïγlïq*, *barγulu*, *barγuluq*.

Итак, мы приходим к следующему выводу, который далеко не окончательный и в определенной своей части нуждается в уточнениях: общетюркская форма желательного наклонения, образуемая при помощи аффикса *-a(j)* [во мн. ч. *-a-lï(q)*?], восходит к древнему имени действия на *-a*, генетически не связанному с именем действия на *-γa(j)*. Что касается *j*, отсутствующего в праформе (ср. аз. *alam* и тур. *alajïm*, кирг. *alalï* ~ *alalïq* и узб. *olajlik*), то, принимая во внимание параллельное функционирование форм на *-a* и на *-γa(j)* и случаи их контаминации, наиболее вероятной причиной его появления следует считать действие аналогии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. М.—Л., 1940, с. 122.

[2] Gabain A. Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1950, S. 110.

[3] Рагимов М. Ш. История формирования наклонений глагола в азербайджанском языке. АДД. Баку, 1966, с. 37, 38, 41, 51; Мирзэзадə h. Азəрбаjчан дилинин тарихи морфолокиjасы. Бакы, 1962, с. 229 и сл.

[4] Brockelmann C. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, 1—7. Leiden, 1951—54, S. 227.

[5] Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 156, 157; Шукуров Ш. Наклонения и времена глагола в письменных памятниках узбекского языка в сравнительном освещении. АДД. Ташкент, 1974, с. 20 и сл.

[6] Баскаков Н. А. Каракалпакский язык, II. Фонетика и морфология, 1. М., 1952, с. 447; Рагимов М. Ш. История формирования наклонений. . ., с. 36, 38, 40; Тумашева Д. Г. Хəзерге татар əдəби теле морфологиясе. Казан, 1964, с. 150; Грунина Э. А. Форма времени на *-a/-e* по памятникам турецкого языка. — В кн.: «Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А. Н. Кононова». М., 1966, с. 30, 35.

[7] Deny J. Grammaire de la langue turque. Paris, 1921, с. 923, 924; Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 246.

[8] Шукуров Ш. Наклонения и времена. . ., с. 24—27.

[9] Brockelmann C. Osttürkische Grammatik. . ., S. 229.

[10] Бабаниязов Х. Фонетико-морфологические особенности кипчакских говоров Южного Хорезма. АКД. Ташкент, 1966, с. 31.

[11] Мирзаев М. М. Бухарская группа говоров узбекского языка. АДД. Ташкент, 1965, с. 44.

[12] О семантике формы на *-γaj* ~ *-qaj* в тюркских языках см.: Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961, с. 397—399.

[13] Рагимов М. Ш. История формирования наклонений. . ., с. 8, 11.

[14] Савченко А. Н. Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке. ВЯ, 1955, № 4, с. 120.

[15] Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание. Казань, 1934, с. 134.

[16] В тюркских языках временные значения многих форм изъявительного наклонения «отягощены» модальными оттенками и в настоящее время.

[17] Щербак А. М. «Деепричастие» на *-a* ~ *-ä* (*-j*) в тюркских языках. — В сб.: «Вопросы грамматики. К 75-летию академика И. И. Мещанинова». М.—Л., 1960, с. 232, 233. Ср.: Böhtlingk O. Über die Sprache der jakuten. СПб., 1851, S. 208, 209.

[18] М. Ш. Рагимов. История формирования наклонений. . ., с. 58.

[19] Bang W. Monographien zur türkischen Sprachgeschichte. «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl.», 1918, S. 87.

[20] Очевидно, это обстоятельство побудило В. Г. Кондратьева высказаться в пользу предположения «о происхождении деепричастия на *-a* от причастия желательной формы будущего времени на -ʁaj». — Кондратьев В. Г. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л., 1970, с. 43.

[21] Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка, с. 168.

[22] Ахметов М. А. Деепричастия в языке орхоно-енисейских памятников и их отношение к современному башкирскому языку. — СТ, 1974, № 3, с. 43.

[23] См.: Рагимов М. Ш., История формирования наклонений. . ., с. 56, 57; Грунина Э. А. Форма времени. . ., с. 28.

[24] Deny J. Grammaire de la langue turque, p. 923.

[25] См.: Bang W. Monographien zur türkischen Sprachgeschichte, S. 87 и сл. О происхождении формы на -ǎǯaq см. также: Алиев У. Б. Причастие карачаево-балкарского языка. «Уч. зап. Кабардино-балкарского ун-та, 1958, № 4. Сер. истор.-филол., с. 311 и сл. (тур. geleǯek < *gelerǯek; *geler* — причастие настояще-будущего времени, ǯek < ǯaq < čaq 'время').

[26] См.: Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., 1964, с. 239.

[27] См.: J. Deny. Grammaire de la lanque turque, p. 923.

[28] См.: O. Böhtlingk. Über die Sprache der Jakuten, S. 212; Коркина Е. И. Наклонение глагола в якутском языке. М., 1970, с. 195 и сл.

[29] В. Банг предлагал рассматривать -asï как сочетание аффикса *-a* (< al- 'брать' в служебном значении) и аффикса имени действия -sïq. — Bang W. Studien zur vergleichenden Grammatik der Türksprachen, I. SPAW, XXII, Berlin, 1916, S. 531—535. Ср.: Рагимов М. Ш. История формирования наклонений. . ., с. 97, 98. По мнению Н. А. Баскакова, форма на -asï появилась в результате фонетических изменений причастия будущего времени на -γusï. — Баскаков Н. А. 1) Каракалпакский язык, II. Фонетика и морфология, с. 420, 421; 2) Некоторые аффиксы словообразования функциональных форм глагола, общие для алтайских языков. CAJ, XVII, 2—4, Wiesbaden, 1973, с. 97. См. также: Мелиев К. М. Имена действия в современном уйгурском языке. АКД М., 1953, с. 12; Алиев В. Г. Причастия в современном азербайджанском и узбекском языках. АКД. Ташкент, 1965, с. 21.

[30] Ср. у В. Банга: -al в -alï, -alïm, -alïq, -alïŋ от глагола al-, используемого для выражения модальности. — Bang W. Studien zur vergleichenden Grammatik. . ., I, S. 535.

[31] См.: Баскаков Н. А. Каракалпакский язык, с. 449, 450; Севортян Э. В. Категория сказуемости. — ИСГТЯ, II, 1956, с. 19.

[32] Brockelmann C. Osttürkische Grammatik. . . S. 228.

[33] Севортян Э. В. Категория сказуемости, с. 19.

[34] См.: Турсунов А. Деепричастие в современном киргизском языке. АКД. Фрунзе, 1958, с. 8.

[35] См.: Котвич В. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, с. 263; Благова Г. Ф. Строение форм желательного наклонения в тюркских языках и тенденция к сверхнормальному их усложнению. — СТ, 1973, № 1, с. 13, 17.

В. Н. Ярцева

МОРФОЛОГИЗОВАННЫЕ И НЕМОРФОЛОГИЗОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

В сопоставительных типологических исследованиях решение вопроса о связи формы и содержания оказывается особенно важным из-за множественности средств выражения в языках тождественных или сходных значений. Проблема отправной точки исследования (от формы к содержанию или от содержания к форме) по-прежнему остается актуальной и получает в различных лингвистических направлениях то или иное толкование. Введение понятия «уровневой» стратификации языка не привело к прекращению споров относительно демаркационных линий между различными отделами грамматики, а вызвало их обострение, так как конкретные лингвистические изыскания выявили перекрестные связи между различными уровнями в структуре языков мира.

Понимание языка как системы, отдельные части которой соотнесены друг с другом, дает возможность определить пограничные участки отдельных микросистем, в зоне которых происходят те или иные изменения. Наблюдения показывают, что изменение, происходящее в структуре языка, чаще всего возникает на стыках различных уровней, примером чего могут служить хорошо известные факты грамматизации фонетических явлений, лексикализации синтаксических групп и т. д. Разнохарактерность отдельных сторон языка — его звукового, грамматического и лексико-семантического состава — приводит к тому, что изменения, затрагивающие одно из звеньев системы языка, своеобразно отражаются на других участках этой системы.

Качественная характеристика языковых элементов имеет значение как для синхронии, так и для диахронии, однако именно при сопоставлении двух периодов развития одного языка или систем двух языков, различных по структуре, выявляется функциональное многообразие внешне сходных элементов. Можно думать, что сама коммуникативная функция языка требует ограниченного числа используемых структурных моделей и определенных пределов их варьирования. Вместе с тем, хотя в каждом языке заметно стремление оперировать немногочисленными мо-

делями с более широким диапазоном их варьирования, число элементов языковой подсистемы и моделей, в ней используемых, зависит от специфических черт того или иного уровня системы языка.

Значения, выражаемые в пределах одного уровня языка, могут в ряде случаев иметь свое синонимическое отображение в других уровнях языковой структуры. Подобные явления отчетливо фиксируются при сопоставлении материала различных языков вне зависимости от того, направлено ли исследование на выявление функции той или иной модели в сопоставляемых языках или ведутся поиски средств выражения данного значения в каждом из сравниваемых языков. Представляется, однако, более целесообразным в подобных случаях исходить из значения, которое может быть передано средствами языка, как адекватного воплощения мыслительной человеческой деятельности. Понятия, выраженные в системе языка и дающие сеть грамматических категорий по формам своей реализации, далеко не всегда имеют однозначное и непротиворечивое соотношение с семантической структурой уровней стратификации языка. Еще меньше шансов ожидать параллельных коррелятов тем или иным грамматическим категориям в представителях различных языковых систем. Положение об изоморфности языковых структур, плодотворно разрабатывавшееся во многих лингвистических работах последних десятилетий, имеет тем не менее свои ограничения.[1]

Грамматическую категорию мы рассматриваем как значение, систематически выражаемое в формообразовании, а также в словосочетаниях. Те грамматические категории, которые находят свое выражение в словосочетании, должны рассматриваться в разделах синтаксиса. Трудно отрицать влияние формы выражения на саму типологию грамматических значений, передаваемых в тех или иных ярусах языковой структуры. Опасно было бы только абсолютизировать различия разных грамматических структур, выделяя только несводимость и игнорируя возможные случаи их перекрестных связей. В этом отношении был прав В. Г. Адмони, когда писал: «Основной недостаток в преобладающем ныне понимании уровней — это их абсолютизация, их резкое противопоставление друг другу, такое их разграничение, которое исключает возможность их взаимодействия и взаимопроникновения. В частности, это касается грамматики. Разные уровни грамматики оказываются абсолютно разобщенными».[2] В действительности многие грамматические процедуры, характеризующие один уровень, могут оказаться необходимым компонентом другого уровня. Достаточно указать на такой прием синтаксической связи слов в предложении, как согласование (иногда также управление), которое осуществляется путем изменения формы слова и поэтому зависит от специфики построения парадигматических рядов в данном языке.

Мы определяем парадигму как совокупность форм данного слова, и поэтому только те грамматические значения, которые

находят свое выражение в парадигме, могут считаться принадлежащими к морфологическому уровню данного языка. Это положение не исключает того, что сам парадигматический ряд может иметь различную структуру и реализовываться на основе либо синтетических, либо аналитических приемов. Некоторые лингвисты, понимая парадигматику и синтагматику как формы или виды функционирования языковой структуры, различают парадигматику и синтагматику, с одной стороны, и морфологию и синтаксис — с другой. Поэтому они считают возможным утверждать, что парадигматика и синтагматика характерны для обоих разделов грамматики.[3] Однако, с нашей точки зрения, если еще возможно говорить о своеобразной «парадигматике» синтаксических моделей, подразумевая под этим последовательность в ряду моделей, относящихся друг к другу как варианты некоего инварианта, то область синтагматики целиком относится к синтаксису, где реализуются формы соединения (сцепления) последовательностей единиц в различных синтаксических объединениях. Иное дело, что многие синтаксические структуры выявляются как имеющие «опору» в морфологии. Можно согласиться с Б. Н. Головиным, что «синтаксические значения слову как таковому, слову вне конструкции предложения не свойственны. Эти значения присущи не словам как членам морфологических словесных классов, а словам, занявшим ту или иную позицию в предложении, то есть ставшим элементами синтаксической структуры. Именно поэтому слова, различные по морфологическим значениям, могут оказаться тождественными по синтаксическому значению».[4]

Как уже упоминалось, на типологии грамматических значений не может не сказываться сам характер их структурнограмматического оформления. Однако при сопоставлении материала различных языков даже для единиц тождественного строения приходится учитывать ряд дополнительных обстоятельств их функционирования в данном языке. Структура модели, принадлежащей любому языковому уровню, не содержит сама по себе никаких показателей, подсказывающих частотность ее употребления. По вопросу о частотности (которая всегда является величиной относительной) следует, на наш взгляд, различать две возможности: во-первых, емкость самой модели, то есть диапазон заменяемости ее членов, и, во-вторых, частоту употребления самой модели. Последнее, естественно, предполагает сравнение данной модели с ее возможными синонимами с точки зрения соотносительной частоты их употребления. При этом надо принимать во внимание; а) высокую частотность, могущую быть результатом единичности самой модели (то есть отсутствия параллельных синонимов); и б) высокую частотность, объясняемую условиями коммуникации (то есть коммуникативной ценностью самой модели).

Вариантность синонимических значений всегда имеет определенную коммуникативную ценность, и поэтому структурные синонимы могут сравниваться между собой по степени их частот-

ности. В синхронном плане качественно-квантитативный аспект для сопоставления выглядит иначе, чем при анализе исторического развития языка. В последнем случае элементы, важные для исторических преобразований системы языка, могут на первых этапах своего возникновения не обладать высокой частотностью, и поэтому понятия «больше—меньше» и «важное—неважное» не обязательно коррелятивны. При сопоставлении языков количественный момент и частотность тех или иных структур создают определенный типологический облик языка. Например, характеризуя строй турецкого языка в сопоставлении с английским, Х. Сэбюктекин пишет: «В турецком доминирующим морфологическим приемом является суффиксация. Грамматические функции, которые она выполняет, не только охватывают все морфологические процедуры английского языка, за исключением словосложения, но и распространяются на некоторые области, находящиеся в ведении синтаксиса. Конечно, нельзя ожидать, чтобы два языка имели равную дистрибуцию своих формообразующих приемов, даже если они имеют их одинаковый набор. Естественно, будут перекрестные частичные совпадения. Так, в то время как английский обладает изменяемым прилагательным с аффиксом сравнительной степени *-er* (long-er), соответствующая форма в турецком представляет собой словосочетание daha uzun (более длинный). Но обратное также очень обычно, как в примерах my father (мой отец), baba-m 'отец+аффикс принадлежности 1 л. ед. ч.' Однако при подобных взаимных расхождениях в распределении грамматических приемов коэффициент турецкой суффиксации явно выше».[5] Известно, что, как и в других агглютинативных языках, турецкие аффиксы моносемантичны и последовательность их в формах слов подчинена определенным правилам.

При известном подобии парадигматического строения лексико-грамматических разрядов (частей речи) уровень внутрипарадигматической омонимии и оппозиция нулевых и аффиксальных форм совершенно различны в английском и турецком языках. При полной омонимии форм самого глагола в простом прошедшем времени в английском языке (I, you, he, she, we, they wrote), где отнесенность действия к лицу показывает самостоятельное местоимение, в турецком языке внутрипарадигматическая омонимия отсутствует (yazdım 'я написал', и далее — yazdın, yazdı, yazdık, yazdınız, yazdılar). Если для английского глагола в спряжении настоящего времени аффиксом -s отмечено 3 л. ед. ч. при нулевом аффиксе для всех других личных форм глагола, то в турецком языке именно 3 л. ед. ч. имеет нулевой показатель. Однако подобные различия касаются соотношения отдельных элементов в пределах одного уровня грамматики и определяют формы дистрибуции тех или иных морфологических формантов. Что касается самой направленности в выражении грамматических значений, то в обоих приведенных языках она опирается на парадигму син-

тетического склада, характеризуемую оппозицией отдельных ее слагаемых и меной маркеров.

Иная картина обнаруживается в указанных языках, если подойти к ним со стороны выражаемых семантических категорий. Продолжая иллюстрации из области глагольных значений, отметим, что семантические категории, связанные с субъектно-объектной направленностью действия, принадлежат к тем основным понятиям, которые так или иначе находят свое выражение в языке. В качестве коррелята предложения трехчленной конструкции, передающей действие, направленное от активного субъекта на объект, может при сохранении того же содержания быть использована структура с глаголом-сказуемым в форме страдательного залога. Несмотря на то что отдельные лингвисты отрицают для сочетания be+прич. II в английском языке статус морфологической категории, называя это «пассивной конструкцией», большинство авторитетных грамматик современного анлийского языка отмечают be+прич. II как форму страдательного залога. Дж. Кёрм констатирует только два залога в английском языке — действительный (active voice) и страдательный (passive voice) — как принадлежащие к области морфологии.[6] Основное доказательство существования залога как грамматической категории современные лингвисты видят в отношениях трансформаций, которые связывают, например: The wind blew the tree down 'ветер повалил дерево' и The tree was blown down by the wind 'дерево было повалено ветром'.[7]

При трансформации преобразование затрагивает два грамматических уровня: на уровне глагола происходит замена формы действительного залога формой страдательного залога; на уровне предложения видоизменяются два его элемента, а именно: субъект актива становится агенсом в пассиве, а объект актива становится субъектом в пассиве. Пример: The butler murdered the detective 'дворецкий убил сыщика' и The detective was murdered by the butler 'сыщик был убит дворецким'. Хотя «исполнитель действия» в обоих случаях один и тот же, его грамматическое выражение в приведенных предложениях различно.[8] Именно соотносительность двух парадигматических рядов — действительного и страдательного залогов — служит гарантией включенности данных форм в морфологию английского языка.

Формы страдательного залога представлены во всех временных категориях английского глагола. Последнее нельзя сказать о сочетаниях с глаголами to get и to become в служебной функции, сближаемых отдельными грамматистами с пассивом be+прич. II. В примере, приводимом Дж. Кермом[9] He is married now, but I can't tell you when he got married 'он сейчас женат, но я не могу вам сказать, когда он стал женатым', для так называемого «пассива состояния» и «пассива действия» использованы разные служебные глаголы. Разумеется, формы со вспомогательным глаголом be тоже имеют значения «пассива действия» (The door was

locked at six 'дверь была заперта в шесть часов'), но в сочетаниях прич. II с get или become подчеркнут момент становления или начала действия. Неполный охват временной парадигмы и стилистически ограниченное функционирование конструкций get+прич. II исключают, на наш взгляд, возможность расценивать их как грамматически эквивалентные формы страдательного залога.[10] Семантика «пассивности» шире значения категории страдательного залога, выражение этой семантики может обеспечиваться многими средствами языка. Вместе с тем, сочетание be+прич. II не только включает ряд омонимов, но и сама форма страдательного залога, образуемая с be, имеет определенный спектр созначений, обладает известным набором семантических вариантов и поэтому окружена синонимами.

Конструктивные возможности языка для генерации синонимов очень велики, и нельзя только на основании сходного значения «записывать» все обороты в грамматику, тем более в морфологию. Поэтому выдержанность парадигмы по форме и ее стержневому значению, обособление такого значения по признаку его противопоставленности другим грамматическим категориям в системе данного языка, универсальность в употреблении форм, составляющих эту парадигму, — вот те признаки, которые позволяют отнести рассматриваемый феномен к области морфологии.

В турецком языке страдательная форма образуется с помощью аффиксов, присоединяемых к глагольным основам. Например: yazmak — 'писать', yazılmak — 'быть написанным'. Другие залоговые формы тоже представляют собой второобразные глагольные основы с особыми аффиксами.[11] Возвратная форма с аффиксом *-n-*, например giymek 'одевать' — giyinmek 'одеваться', yıkamak 'мыть' — yıkanmak 'мыться'. Взаимная форма с аффиксом *-ş-*, например.: yazmak 'писать' — yazışmak 'писать друг другу', itmek 'толкать' — itişmek 'толкать друг друга'; каузативная (понудительная) форма глагола с аффиксом *-dır/tır*, например: yazdırmak 'заставить писать', yedirmek 'заставить есть', 'накормить' (yemek 'есть'). То же самое наблюдается и в других языках тюркской группы. Последовательно-морфологическое выражение залоговых значений не исключает полисемантизма производных (второобразных) глаголов. Значение пассивности (страдательный залог) тесно связано с возвратным значением, что побуждает некоторых исследователей говорить о «страдательно-возвратной» форме, объединяя «глаголы, выражающие подверженность действию, глаголы, выражающие совершение действия для себя».[12] Семантика залогового значения осложняется еще понятием обычности, повторности, многократности, учащенности действия.[13] Часты лексикосемантические модификации производных основ по сравнению с основами производящими. Однако общий характер морфологической противопоставленности простых и производных (второобразных) глагольных основ по линии разности залогового содержания проходит единообразно в группе тюркских языков,

хотя, разумеется, существуют лексические ограничения для образования производных глаголов. С этой точки зрения аффиксы, сообщающие глагольным основам залоговые значения, не достигают такой степени универсальности, как, например, аффиксы глагольных времен, и в ряде случаев скорее могут быть сопоставлены со словообразовательными морфемами флективных языков, нежели с морфемами словоизменительными.

Значения каузативности, возвратности, совместности действия передаются в английском языке на уровне словосочетаний разной степени формализации. За редкими исключениями,[14] авторы научных грамматик английского языка не считают соединение переходного глагола с возвратным местоимением (he washed himself 'он умылся') аналитической формой возвратного залога. Среди широкого круга значений и ряда синтаксических функций, выполняемых возвратными местоимениями английского языка, существует использование их в роли дополнения при переходных глаголах. Благодаря семантике такого дополнения (субъект и объект действия совпадают) возникает значение возвратности в пределах данной синтаксической конструкции, хотя he dressed himself quickly и he dressed quickly в равной мере понимается как 'он оделся'.[15] В плане грамматико-семантического преобразования превращение переходного глагола в непереходный часто имеет своим промежуточным этапом употребление переходного глагола с возвратным местоимением. Передавая рефлексивно-медиальное значение (сосредоточение действия в сфере субъекта), сочетания глагола с возвратным местоимением остаются на уровне синтаксиса, тем более что сам «возврат» действия на субъект зависит от лексического значения глагола (he blamed himself 'он осуждал себя' — никакого возвратного значения не имеет). Одна из турецких конструкций по синтаксической структуре напоминает английский оборот с возвратными местоимениями. Подразумеваются случаи, когда употребляется в турецком форма имени kendi 'сам', принимающая соответствующие притяжательные суффиксы. Как все имена, kendi может склоняться и с другими именными суффиксами (kendimden 'от меня'). По составным элементам kendisini öldürdü подобно английскому She killed herself (букв. 'она убила себя').

Описание взаимности или совместности действия может быть заключено в самом значении глагола и подчеркнуто контекстом (We met at the post office 'мы встретились на почте') или выражаться добавлением each other, one another (Pushing one another they rushed into the room 'толкаясь, они ворвались в комнату'). В любом случае категория взаимности остается за пределами морфологии. Наиболее последовательно в отношении формы передачи представлена в английском языке категория каузативности: специализация служебного глагола, далеко отошедшего в своем значении от глагола полнозначного (I made him write a short notice 'я заставил его написать короткую записку'), устойчивость

данной глагольной конструкции и ее лексическая емкость (то есть отсутствие лексической избирательности) вводят оборот make+(*дополнение лица*)+*инфинитив* в круг словосочетаний с грамматической направленностью. Однако отсутствие в английском языке специальной парадигмы каузативного спряжения, которая охватывала бы всю систему глагольных времен и была бы противопоставлена действительному залогу по форме и содержанию, мешает, на наш взгляд, признать каузативные конструкции частью аналитической морфологии (в отличие от противопоставленных парадигм действительного и страдательного залогов) и заставляет нас относить каузативность к лексико-синтаксическим категориям строя английского языка.

Таким образом, если в турецком языке (и шире, в тюркских языках) в пределах формы слова выражены залоги — действительный, страдательный, возвратный, взаимный и понудительный, — то в английском языке в пределах морфологии находят свою реализацию только два залога — действительный и страдательный. Разумеется, на деле картина оказывается гораздо более сложной, чем то, что было схематично изложено выше. Залоговые отношения более чем какие-либо другие тесно связаны с лексическими значениями самих глаголов, а кроме того, поскольку реализация залогов происходит в пределах предложения — при выражении субъектно-объектных связей, — многое в уточнении направленности действия зависит от структуры предложения и, в целом, от синтаксического контекста. Синонимическое окружение залоговых конструкций, ядром которых служит залог как морфологическая категория, полисемантизм формантов глагольных основ, лексические ограничения в образовании залоговых коррелятов к той или иной глагольной основе — все это требует внимательного и тонкого анализа системы залоговых значений в тюркских языках. Взятые иллюстрации имели своей целью показать, что лишь упорядоченность в формальной передаче того или иного понятия, находящего свое выражение в языках различного строя, позволяет говорить о грамматических и, более специально, о морфологических категориях, имеющих по своей делимитации большие различия, хотя средства грамматического строя каждого языка дают возможность передавать все необходимые оттенки значения.

Категоризация того или иного значения связана не только со средствами его выражения, но и с выделением семантико-грамматических участков системы данного языка. Поэтому принадлежность тех или иных категорий к области морфологии — момент не чисто формальный, а обязательно соотносимый с распределением и определением опорных пунктов грамматической структуры языка как с внешней, так и с внутренней сторон ее организации. В разноструктурных языках всегда найдутся точки совпадения. Легко могут обнаружиться единообразные (универсальные) тенденции. Например, преобразование непереходных

глаголов в переходные, как в английском, так и в турецком языках, часто имеет в качестве промежуточного этапа их употребление в значении понудительных. Примеры: англ. Joe stood against the wall 'Джо стоял у стены'; They stood Joe against the wall 'Они поставили (заставили стать) Джо у стены'. Известно, что в турецком поэтому возможна «вдвойне» понудительная форма: yemek 'есть', yedirmek 'заставить есть', 'накормить', yedirtmek 'заставить накормить'. Широкие понятийные сферы находят себе выражение в любом языке, но не только средства передачи этих понятий, но и сам характер реализации понятий в семантической системе языка зависят от его структурно-типологических особенностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Kuryłowicz. J. La notion de l'isomorphisme. «Travaux du cercle linguistique de Copenhague», 5, 1949; Lyons J. Introduction to theoretical linguistics. Cambridge, 1971, p. 55.

[2] Адмони В. Г. Проблема «уровней языка» и кризис соссюрианской лингвистики. — В кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие». М., 1969 с. 240.

[3] Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 1973, с. 218—219.

[4] Головин Б. Н. К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса. — В кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие». М., 1969, с. 77.

[5] Sebüktekin H. Turkish-English contrastive analysis. The Hague—Paris, 1971, p. 22.

[6] Curme G. A grammar of the English language, vol II. Parts of speech and accidence. New Jork, 1935, p. 203.

[7] Palmer F. A linguistic study of the English verb. London, 1965. p. 64.

[8] A grammar of contemporary English by R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, London, 1972, p. 801—802.

[9] Curme G. A grammar. . ., p. 218.

[10] Вспомогательным глаголом для пассива обычно служит be.

Его единственный серьезный конкурент get ограничен конструкцией, где отсутствует выраженный одушевленный агенс (The boy got hurt on his way home from work, но невозможно *The boy got given a violin by his father). Конструкцию с get избегают в строгом литературном стиле. Даже в обиходном английском она гораздо реже встречается, чем пассив с be (A grammar of contemporary English, p. 802).

[11] Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. М.—Л., 1941, p. 116.

[12] Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка. М.—Л., 1940, с. 125.

[13] Кононов А. Н.. Грамматика турецкого языка, с. 110.

[14] Жигадло В. Н., Иванова И. П., Иофик Л. Л. Современный английский язык. М., 1956, с. 138.

[15] Curme G. A grammar of the English language, v. III. Syntax. New Jork, 1931, p. 100.

G. Hazai

BESTANDSAUFNAHME ZU EINER ERSCHEINUNG DER GESCHICHTE DES OSMANISCH-TÜRKISCHEN

Der Schwund der Laute γ und *g* in bestimmten Lautumgebungen, d. h. die Änderungen $\gamma > \emptyset$ in Wörtern mit velarem Vokalismus und $g > y$ in Wörtern mit palatalem Vokalismus, ist eine bekannte Erscheinung der osmanisch-türkischen Sprachgeschichte.

Sind wir aber sicher, dass die Formel $\gamma > \emptyset$ die im osmanisch-türkischen Phonetismus vor sich gegangene Änderung in einer adäquaten Form wiedergibt? Ist es tatsächlich richtig, für den Laut, der von der Zeit der ältesten osmanisch-türkischen Sprachdenkmäler an bis zur Schriftreform unverändert durch den Buchstaben *ghain* bezeichnet wurde, einen spirantischen Lautwert anzunehmen? Sollte man im Falle dieser Änderung als Ausgangspunkt nicht mit dem entsprechenden Verschlusslaut rechnen? Mit anderen Worten: ist es nicht richtiger, diese Erscheinung durch die Formel $g > \gamma > \emptyset$ zu beschreiben?[1]

Die Praxis der Sprachforscher zeigt in dieser Hinsicht eine recht unterschiedliche Handhabung. In der Literatur wurde die Forderung nach einer prinzipiellen Klärung dieses Problems noch nicht erhoben. Es besteht kein Zweifel daran, dass bei dieser Haltung die komparativen Momente, d. h. der Vergleich der osmanischen Lautverhältnisse mit denen der anderen Türksprachen, eine bestimmte Rolle gespielt haben.

Für die zu erörternde Sphäre des phonologischen Systems nimmt Menges den folgenden Stand des Gemeintürkischen und des Alttürkischen an:[2]

	occl.	spirants
deep velar	*q*	(*h*), γ
pre-palatal	*k*, *g*	(*x*)

Bei der Erschliessung der Konsonanten des Gemeinaltaischen geht Poppe von demselben türkischen Lautstand aus, rechnet aber für die Ursprache sowohl in den Wörtern mit velarem als auch mit palatalem Vokalismus mit Explosiva.[3]

Bei der Beschreibung des altosmanischen Lautsystems nimmt Mansuroğlu wahrscheinlich mit Rücksicht auf die komparativen Aspekte den spirantischen Lautstand an:[4]

	velare	palatale
Klusile	*q*	*k*, *g*
Spiranten	*x γ*	

Eine Analyse der territorialen Varianten der osmanisch-türkischen Sprache bestätigt aber nicht diese Annahmen. In den archaischen westbalkanischen Dialekten, die zuerst durch die Untersuchungen von Németh bekannt geworden sind,[5] ist der spirantische Lautstand in dem behandelten Punkt unbekannt, und es gibt nur *g̱* bzw. *g*, die in dieser Lautumgebung erscheinen. Wie bekannt, spielt dieser Typ unter den territorialen Varianten auf dem osmanisch-türkischen Sprachgebiet eine bescheidene Rolle. Die meisten Dialekte weisen entweder den *γ*- oder den *ø*-Stand auf. In seinen Dialektuntersuchungen hat Németh aus dieser Tatsache Konsequenzen gezogen und bei der historischen Analyse dieser Erscheinung praktisch den Verschlusslaut als Ausgangspunkt angenommen.[6]

Anhänger der früheren Auffassung können aber mit Recht damit argumentieren, dass der heutige westbalkanische *g̱*—Lautstand Resultat einer sekundären Entwicklung, d. h. Folge einer Substrat- oder Adstratwirkung sein kann. Eine solche Wirkung wäre in dem balkanischen Sprachmilieu gut vorstellbar. Es ist selbstverständlich, dass für Angaben, die aus anderen Bereichen des oghusischen Sprachgebiets stammen und mit den westbalkanischen Angaben übereinstimmen, eine ähnliche Erklärung gegeben werden kann. In diesem Falle könnte man im Grunde genommen mit einer iranischen Wirkung rechnen.

Die Annahme des Verschlusslautes als Ausgangspunkt würde auch unsere phonologischen Vorstellungen in bezug auf die älteren Etappen der osmanisch-türkischen Sprache beeinflussen.[7] Dann müssten die Laute $\underset{<}{\gamma}$ und $\underset{>}{\gamma}$, die in dem Entwicklungsprozess erst später erschienen sein können, als Varianten des Phonems [*g*] betrachtet werden. In den Dialekten aber, die der Literatursprache zugrunde lagen, hat die Einströmung fremder Lehnwörter und das eigenartige sprachliche Verhalten hinsichtlich dieser Elemente, das früher vielleicht nur die Sprache der Hofkreise charakterisierte, später aber allgemein wurde, neue Relationen im Lautsystem hervorgerufen. Nach dem Eintreten dieser Änderung, deren Chronologie heute ziemlich unklar ist, muss für den Lautbestand der Sprache eine andere phonologische Auswertung gültig sein. Im Falle von drei Phonemen müssen wir mit einer speziellen Spaltung rechnen. Das bedeutet, dass man im Bereich der *k*-, *g*- und *l*-Laute nicht mit drei, sondern mit sechs Phonemen zu rechnen hat. Unter den neuen Lautverhältnissen, die durch die Einströmung der fremden Lehnwörter hervorgerufen wurden, ändert sich auch der phonolo-

gische Status des Lautes γ, der weiterhin als ein selbständiges Phonem betrachtet werden muss.

All das ist eine logische Folge aus der historischen Anwendung des phonologischen Modells, das Lees und Swift für das moderne Osmanisch-Türkische entworfen haben.[8] In ihm haben sie konsequent die Unterschiede zwischen dem Phonetismus der «inneren Elemente» und der Lehnwörter der Sprache beachtet. Es ist erwähnenswert, dass Lees den Laut γ (in seiner Bezeichnung manchmal *G*) aus anderen, nämlich morphonologischen Gründen in das Phoneminventar der Sprache aufgenommen hat, obwohl das moderne Osmanisch-Türkische in diesem Punkt eine *Ø*-oder *y*-Phase der Entwicklung zeigt und den Laut de facto nicht kennt.

Die sprachhistorisch orientierte Kritik hat Lees in diesem Zusammenhang vor allem das Moment vorgeworfen, dass die Einbeziehung historischer Fakten, d. h. die Berücksichtigung eines Lautes, der praktisch aus dem Lautbestand der Sprache verschwunden war, in das Synchronbild der eigentlichen Zielsetzung von Lees widerspricht.[9] Im Gedankengang von Lees spielte aber das historische Moment nur eine sekundäre Rolle. Er hat in diesem Zusammenhang — mit Rücksicht auf morphonologische Fakten — mit einem «Schattenphonem» gerechnet.

Lees ist auf dieses Problem auch in einer selbständigen Studie eingegangen, deren Schlussfolgerungen wir hier zitieren möchten: «in conclusion, we might speculate that the dialect described is in transition with the gradual loss of Altaic noninitial *[*g*] and the importation of Arabic words with long vowels under partial Turkification. But the interesting thing to note is that as simplicity of the new *V*-[*g*]-description gains on that of the old [*g*]-description, there will come a generation of speakers for which suddenly an entirely different phonological description becomes correct — this would be a distinct discontinuity in analysis rather than a gradual shift of the pronunciation involved. Even more weird is the fact that the new analysis appears to restore Proto-Turkic [*g*] (and also Altaic long vowels, though only before [*g*]».[10]

Was die Chronologie der Änderungen $g > ø$ und $g > y$ betrifft, so hat die Untersuchung der in nicht-arabischer Schrift aufgezeichneten türkischen Texte und die Erforschung gewisser Lehnbeziehungen einen bescheidenen Fortschritt gebracht. Obwohl man im Falle der erstgenannten Quelle, insbesondere in dieser Lautsphäre, ständig mit dem Problem der Transliteration konfrontiert ist, das den linguistischen Wert dieser Angaben ziemlich problematisch macht, gibt es nicht wenige Belege, die den Entwicklungsprozess treu widerspiegeln. Grössere Bedeutung kommt der zweiten Quelle, d. h. den aus den verschiedenen Lehnbeziehungen gewonnenen Kenntnissen, zu, wobei aber stets zu beachten ist, dass sie verschiedene territoriale Typen dieser Entwicklung widerspiegeln.[11] Aus diesem Grunde kommt ausserdem bei der Beurteilung der Entwicklung

des Phonetismus der türkischen Literatursprache insbesondere den ostbalkanischen und nordwestanatolischen Dialekten eine grosse Bedeutung zu, da sie bei der Herausbildung des literarischen Idioms die grundlegende Rolle gespielt haben.[12]

Nach der Überprüfung der heute zur Verfügung stehenden Quellen und sorgfältiger Durchsicht aller Faktoren gelangt man heute zu der Annahme, dass sich der Prozess der erörterten Entwicklung im Laufe des 16.—18. Jahrhunderts ausgedehnt hat und der neue Phonetismus der türkishen Literatursprache erst am Anfang des 19. Jahrhunderts allgemeingültig wurde.[13]

FUSSNOTEN

[1] Man kann vielleicht diese Formel auf die folgende Weise präzisieren: $\underset{<}{g} > \underset{<}{\gamma} > \emptyset$ bzw. $\underset{>}{g} > \underset{>}{\gamma} > \emptyset$.

[2] Menges K. H. The Turkic languages and peoples. Wiesbaden, 1968, p. 81.

[3] Poppe N. Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden, 1965, p. 197—199.

[4] Mansuroğlu M. Das Altosmanische. — In: Philologiae Turcicae fundamenta, t. I. Wiesbaden, 1959, S. 165.

[5] Németh J. 1) Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia, 1956; 2) Die Türken von Vidin. Budapest, 1965.

[6] Németh J. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. S. 54.

[7] Guzev V. G. Nekotorye problemy istoričeskoj fonetiki tureckogo jazyka. — In: Istorija, kul'tura, jazyki narodov Vostoka. M., 1970, p. 193—196.

[8] Lees R. B. The phonology of Modern Standard Turkish, Bloomington — The Hague, 1961, p. 4—15; Swift L. A reference grammar of Modern Turkish. Bloomington — The Hague, 1963, p. 4—15.

[9] Krámský J. CAJ 8 (1963), p. 148—150; Poppe N. Language 39 (1963), 141—143.

[10] Lees R. B. A morphophonemic problem in Turkish. — In: Language behavior. The Hague, 1970, p. 278—279. Wegen der sprachhistorischen Fragestellung unseres Artikels wird auf die Probleme der phonologischen Auswertung und so auf die Entwicklung der Auffassung von Lees nicht eingegangen.

[11] Auf diese Weise ist z. B. die Sphäre der türkisch-ungarischen Lehnbeziehungen, deren Material durch die Studien von S. Kakuk erfasst und bearbeitet wurde (Les mots d'emprunt turcs-osmanlis dans le hongrois et les recherches d'histoire phonétique de la langue turque-osmanlie. AOH, 1955, N 5, p. 181—194; Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des 16e et 17e siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise. Budapest, 1973 zu werten. Eine territorial gesehen breitere sprachhistorische Bedeutung wird diesen Angaben von Guzev eingeräumt (Nekotorye problemy. . ., p. 196).

[12] Hazai G. Zur Geschichte der osmanisch-türkischen Mundarten. — In: Zeitschrift für Mundartforschung, Beihefte, Neue Folge Nr. 3 und 4, Wiesbaden, 1967, p. 342—345.

[13] Hazai G. Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert. Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány. Budapest, 1973, p. 354—357.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЮРКСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

С. М. Абрамзон

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ РОДСТВА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Настоящей заметкой я хочу обратить внимание тюркологов на некоторые термины родства, встречающиеся в отдельных тюркских языках в их сопоставлении с этим кругом терминов в памятниках древнетюркской письменности. В одной из моих работ уже ставился вопрос о необходимости пересмотра точки зрения А. Н. Бернштама, утверждавшего, что у племен, входивших в Восточнотюркский каганат, существовала описательная система родства.[1] Дальнейшее изучение материала еще более утвердило меня в мысли, что в основе системы родства этих племен лежала классификационная система. Само содержание памятников свидетельствует о том, что авторы надписей в ряде случаев употребляют термины, относящиеся к целому классу лиц той или иной степени родства. Трудно было бы объяснить бытование четко выраженной классификационной системы родства у большинства современных тюркоязычных народов, если бы такая же система родства не была характерна для их предков, оставивших письменные памятники.

Тщательного сопоставления древнетюркской лексики, выражающей родственные отношения, с номенклатурой родства в современных тюркских языках еще не было предпринято, хотя в обстоятельном исследовании Л. А. Покровской [2] и приводятся некоторые из этой категории терминов, почерпнутые из памятников древнетюркской письменности. Автор во введении к исследованию специально останавливается на особенностях «тюркской системы родства», проанализированных Н. П. Дыренковой на киргизском материале.[3] К этому серьезному труду тесно примыкают работы Л. П. Потапова и К. Л. Задыхиной, относящиеся к терминологии родства у узбеков.[4] Хотя последняя и имеет свои особенности, в целом она относится к той же системе родства, что и киргизская (эта система в этнографической литературе характеризуется как система «омаха»).

К числу важнейших особенностей рассматриваемой системы родства принадлежат дифференциация терминов родства по старшинству и полу и разграничение в терминологии отцовской и ма-

теринской линий родства. Однако попытка рассмотрения древнетюркской системы родства, предпринятая А. Н. Бернштамом, ограничивается анализом, главным образом, терминов, отражающих членение по старшинству и полу, и почти совсем не затрагивает очень существенной стороны этой системы: родства по материнской линии и свойства́.[5] Эта категория родства и свойство́ до недавнего времени играли очень большую роль в повседневной жизни ряда кочевых и полукочевых в прошлом тюркоязычных народов (алтайцев, тувинцев, хакасов, киргизов, казахов и др.).[6] В тесной связи с ними находились и нормы брака у этих народов. Мы вправе допустить, что не меньшее значение материнская линия родства и свойство́ имели и в жизни древнетюркских племен.

Специалисты-тюркологи, изучавшие памятники древнетюркской письменности, подходили нередко к истолкованию содержащихся в них терминов родства, имея в виду главным образом членение на «старшее» и «младшее» родство и мужскую линию родственных отношений, хотя уже в известном Словаре В. В. Радлова имеются прямые указания на материнский счет родства.[7]

В качестве конкретного примера возьмем термины, приводимые в ДТС: jegün (с. 252), jegin (с. 253) и taγaj (с. 526). К двум первым из них дано пояснение 'племянник', к третьему: 'дядя'. Такая трактовка терминов снимает вопрос о принадлежности их к определенным «классам», они выступают как термины индивидуальные, или описательные. Между тем, 'племянник' — понятие групповое, различающееся в зависимости от того, идет ли речь о детях брата, или о детях сестры, так же как и 'дяди', могут быть и по материнской и по отцовской линии, а это обстоятельство имело в повседневной жизни весьма реальное значение, вплоть до влияния на имущественные отношения.

В глоссарии к своему замечательному труду С. Е. Малов к термину jägin дает пояснение 'племянник, внук', а к термину jigün — 'название родства',[8] а в глоссарии к другому своему труду поясняет термин jigän как 'родственник, (внук?)'.[9] Но ведь речь идет не о племяннике и внуке вообще, а о племяннике и внуке со стороны брата матери. «Дядя, — пишет Н. П. Дыренкова, — называет племянника *čeenі* —у шорцев, *čeenі-jeenі* — у кумандинцев, *jeen* — у телеутов и шолганов-челканцев, *jeen* — у телеутов и шолганов-челканцев, *jeen* — у алтайцев и *neenі* — у тубаларов. Этим термином дядя называет кроме своих племянников, то-есть сына и дочери своей сестры, еще внуков своей сестры, сына и дочь своей дочери и т. д.» [10] Аналогичное значение имеет термин *жээн* у киргизов: 'племянник или внук (по женской линии)'. Отсюда и термин *жээнчер* 'внучатый племянник, внучатая племянница (по женской линии)'.[11] Тот же термин *жээнчер*, равнозначный термину *тогончор*, служит у киргизов для обозначения правнука, правнучки по д о ч е р и.[12]

Термин *тогончор* представляет особый интерес. Он не встречается в других тюркских языках. Как мне любезно разъяснил

акад. А. Н. Кононов, этот термин, как и туркменский *доган* (в значении 'брат'), восходит к глаголу *доҕ*, *тоҕ* 'родиться'. Суффикс *-чор* разъясняется из башкирского термина *ейенсэр* 'внучка' и якутского *сиэнчер* 'потомство по прямой и боковой женской линии' и имеет близкое отношение к бурятскому *зээнсэр* 'правнук по женской линии', где «суффикс *-сер*, *-сэр*, *-сор*, с предыдущим *-н* непродуктивный, образует от предметного имени предметное имя с уменьшительным значением».[13] Как отмечает А. Н. Кононов: «Уменьшительные формы имен существительных в тюркских языках широко используются для обозначения нисходящего родства (разр. моя, *С. А.*), потомства человека и животных».[14] В термине *тогончор* мы, очевидно, имеем дело именно с таким случаем.

Кстати, А. Н. Кононов, обращаясь к термину inijigün, трактуемому С. Е. Маловым как 'младшие родственники',[15] справедливо ставит вопрос: «не следует ли здесь видеть сложное слово, состоящее из ini 'младший брат'+yägin∼yägün 'племянник', 'внук', 'мои младшие родственники'?»[16] Поскольку, как мы видели выше, речь идет о «племяннике» по женской линии, объяснение термина inijigün требует корректив. В этом термине объединены младшие родственники по мужской и женской линии, а это вызывает законное предположение о том, что в древнетюркском обществе сохранялись черты матрилокального брака: в семью могли входить не только потомки главы семьи, имевшей уже патриархальный облик, но и потомки его сестер, что служит свидетельством совместного проживания женатых братьев и замужних сестер, отголоска явления, характерного для более раннего этапа развития семейных отношений. Пояснение 'дядя' к термину taγaj совершенно неправомерно, ибо речь должна идти о 'дяде со стороны матери'. Между таким 'дядей' и его племянником устанавливались особые отношения, которые подробно проанализированы Н. П. Дыренковой на примере тюркоязычных народов Алтая.[17]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Абрамзон С. М. Формы семьи у дотюркских и тюркских племен Южной Сибири, Семиречья и Тянь-Шаня в древности и средневековье. — В кн.: Тюркологический сборник 1972. М., 1973, с. 300.

[2] См.: Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках. — В сб.: «Историческое развитие лексики тюркских языков». М., 1961, с. 25—26.

[3] Дыренкова Н. П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов. — В кн.: Сборник этнографических материалов № 2. Л., 1927.

[4] Потапов Л. П. Материалы по семейно-родственному строю у узбеков кунград. — Научная мысль, 1930, № 1, Ташкент; Задыхина К. Л. Узбеки дельты Амударьи. Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. I. М., 1952, с. 397—408; Приложение: Термины родства и свойства (по отцу и по матери), с. 415—426.

[5] Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII вв. М.—Л., 1946, с. 88—93.

[6] См.: например: Д ы р е н к о в а Н. П. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков. Аванкулат. — СЭ, 1937, № 4, с. 18—45; А б р а м з о н С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971, с. 203—206, 214—217.

[7] РО, т. III, ч. I, стб. 317, 328, 765.

[8] М а л о в С. Е. Памятники древнетюркской письменности, с. 387—388.

[9] М а л о в С. Е. 1) Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, с. 96. Ср.: 2) Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1962 с. 84—85; Jӓгінімін атымын кӧртім 'Я видел моих племянников и внуков'.

[10] Д ы р е н к о в а Н. П. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков, с. 20.

[11] Ю д а х и н К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965, с. 285, прим. I.

[12] Там же, с. 740. Термин *тогончор* был зафиксирован мною впервые в 1948 году.

[13] П о к р о в с к а я Л. А. Термины родства в тюркских языках, с. 52. В этой работе автор дает весьма верное толкование классификационного термина *йеген*.

[14] К о н о н о в А. Н. Показатели собирательности-множественности в тюркских языках. Л., 1969, с. 23.

[15] М а л о в С. Е. Памятники древнетюркской письменности, с. 381. Ср.: ДТС: ini jegün 'младшие родичи' (с. 210).

[16] К о н о н о в А. Н. Показатели собирательности-множественности. . ., с. 22—23.

[17] Д ы р е н к о в а Н. П. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков, с. 21—33.

М. П. Алексеев

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭМА 1836 г. О «КИРГИЗАХ» И ЕЕ АВТОР

Изданная в 1836 г. в Париже под именем К. Клермонт поэма в четырех песнях «Владимир и Зара, или киргизы», сколько знаем, еще не привлекала к себе внимания филологов.[1] Названная у нас впервые более ста лет тому назад, в каталоге известного собрания «Россики» Публичной библиотеки в Ленинграде,[2] эта поэма была упомянута затем в справочнике В. И. Межова,[3] но без всяких пояснений. С тех пор, по-видимому, о ней ничего не сообщалось в литературе о тюркоязычных народах. Между тем это забытое произведение заслуживает изучения не только по своему реальному этнографическому колориту, но и по весьма примечательной биографии автора, скрывавшегося под псевдонимом, разгаданным лишь недавно.

Остановимся на этом псевдониме, так как только знакомство с действительным создателем «Владимира и Зары» дает возможность судить, до известной степени, о времени и месте ее написания.

В книгах о Дж. Г. Байроне и П.-Б. Шелли издавна можно было встретить имя Клер Клермонт (1798—1879), женщины необычной судьбы, многими узами связанной с обоими поэтами и рядом других английских литераторов первой четверти XIX в. В течение всего этого столетия жизнь ее была плохо известна. Мы теперь знаем, что Клер Клермонт была падчерицей английского философа и писателя Вильяма Годвина (1756—1816), дочерью его второй жены — Мери Джейн Клермонт, на которой он женился в 1801 г. после смерти своей первой жены, Мери Уолстонкрафт. У Мери Джейн Клермонт было двое маленьких детей (Клер и Чарлз), когда она вышла замуж за Годвина. Клер и ее сводная сестра Мери Годвин были однолетками, воспитывались вместе и стали близкими подругами, живя вместе долгие годы и после того, как Мери Годвин вышла замуж за поэта П.-Б. Шелли. В 1815 г. К. Клермонт познакомилась с уже заслужившим известность поэтом — Байроном. В 1817 г. у К. Клермонт и Байрона родилась дочь Аллегра, в судьбе которой большое участие приняла чета Шелли. Когда Мери и Перси-Биши Шелли покинули Англию

и уехали в Швейцарию, за ними туда же отправилась и Клер Клермонт. Вскоре к ним присоединился и Байрон, такой же недобровольный изгнанник, оклеветанный на родине, каким был и Шелли. Однако Байрон скоро уехал из Швейцарии в Италию, к друзьям-карбонариям, Аллегра же, которую он отнял у Клер и поместил на воспитание в монастырь близ Равенны, вскоре (19 апреля 1822 г.) умерла, едва достигнув пяти лет. Несколько месяцев спустя (8 июля того же 1822 г.) Шелли утонул в Средиземном море, а еще два года спустя, в апреле 1824 г., Байрон умер в Греции. Вдова Шелли, Мери, и Клер Клермонт остались в Италии, живя вместе в вынужденной, а временами и искусственно создаваемой безвестности, в узком кругу друзей или близких родственников, знавших их прошлое и «карбонарские» взгляды.

В конце 1824 г. благодаря знакомству с русскими, жившими в Пизе и Флоренции, Клер Клермонт приняла приглашение стать гувернанткой в Москве в богатой семье. Здесь в нескольких аристократических домах она жила около трех лет (1825—1828), тщательно скрывая свое прошлое и свою близость к «опасным» писателям Англии, — атеистам и носителям революционного духа, Годвину, Байрону, Шелли и другим. Даже переписку свою с семьей Шелли и его друзьями она вела не прямо, а через посредство музыкального магазина Ленгольда в Москве. Среди ее московских друзей был, вероятно, лишь один человек, который знал многое, если не все то, что связывало ее с видными английскими поэтами эпохи романтизма. Это был Германн Гамбс, — французский поэт, живший с ней в Москве в одном доме, — автор поэмы «Владимир и Зара» и других произведений на французском языке, напечатанных во Франции под псевдонимом «К. Клермонт», присвоенным им, вероятно, без ведома носительницы этого имени. Но в 1827 г. Гамбс уехал из Москвы, а в 1828 г. уехала сама Клер Клермонт вместе с семьей П. С. Кайсарова и в Россию более не вернулась. Дальнейшая ее жизнь известна нам мало. С годами К. Клермонт все более замыкалась в себе и порвала связи со многими старыми друзьями. Она поселилась во Флоренции, приняла католичество и жила уединенно вместе с племянницей, Полиной Клермонт (дочерью ее брата, поселившегося в Вене), существуя на деньги, завещанные ей еще Перси-Биши Шелли, но полученные ею только после смерти его отца.

Среди бумаг, оставшихся после смерти Клер Клермонт в руках ее племянницы, были автографические рукописи Шелли, переписка и ее собственные дневники (с 1814 по 1827 г.), представляющие собою очень ценный исторический источник. Дневники содержат много данных об английских писателях эпохи романтизма, в частности о Шелли и его кружке, об англо-итальянских связях в эпоху карбонаризма и греческого восстания; для нас особое значение имеют два дневника за 1825—1827 гг., относящиеся ко времени пребывания К. Клермонт в Москве. Они очень подробны и воссоздают культурную жизнь Москвы 20-х гг. Кое-какие извлечения

из этих дневников начали появляться еще в конце восьмидесятых годов XIX в., но в полном виде все шесть дневников (из которых от дневника 1827 г., погибшего безвозвратно, сохранились лишь копии нескольких отрывков) были изданы в 1968 году.[4] В этом издании мы и находим некоторые данные об авторе поэмы «Владимир и Зара».

Как видно из первого московского дневника 1823 года и других документов, весною этого года Клер Клермонт поселилась в доме З. Н. Посникова, видного московского чиновника, сенатора, женатого на М. И. Архаровой. Богатый дом Посниковых отличался гостеприимством и хлебосольством.

У Посниковых было двое детей. Клер Клермонт была гувернанткой шестилетней Дуни, у которой был десятилетний брат Ваня (или Джонни, как его обычно называли). При Ване был особый гувернер — Германн Христиан Гамбс. Биография этого, несомненно незаурядного, человека воссоздается с трудом; она известна, к сожалению, лишь в отрывочных и случайных эпизодах, сохраненных в письмах и мемуарах той поры. Характеристику его Клер Клермонт дала в письме из Москвы от 22-го октября к своей приятельнице по итальянскому кружку Шелли — Джейн Вильямс. «Недавно, — писала Клер, — я познакомилась с одним немецким джентльменом, который является настоящим сокровищем для меня (собственно «великим прибежищем» — Great ressource). Его развитый ум напоминает мне людей нашего прежнего кружка: он имеет широкий кругозор и благородный образ мыслей. Ты можешь представить себе, с каким восторгом он обрел здесь меня, столь отличную от тех, кто его окружает, способную понять то, что так долго теснилось в его уме. . . Я рассказываю тебе о нем свободно, потому что уверена, что ты не подумаешь, будто я в него влюблена или что я питаю к нему какое-либо другое чувство, кроме чувства искренней и непоколебленной дружбы». К этому Клер прибавила еще одну, но, может быть, самую ответственную фразу: «То, что я чувствовала к Шелли, я теперь чувствую к нему», и продолжала: «Чувствую, что я должна также сообщить тебе, что у меня есть настоящий друг: в случае моей болезни или смерти, которые могут со мной приключиться, вы, для утешения, сможете, по крайней мере узнать, что я скончалась не на руках иностранцев. Я часто говорю с ним о вас всех, и о Мери (Шелли), до того, что его желание увидеть вас превратилось в настоящую страсть. Он, как все немцы, очень сентиментален, имеет очень мягкий характер и отличается редким благородством. Привязанность его ко мне — чрезвычайна, но я должна была употребить огромный труд для того, чтобы объяснить ему, что я сама не смогу возвратить себе состояние своих чувств до такой же степени, что, кажется, не сделало его несчастливым, вследствие чего это имеет для нас обоих крайнюю важность».[5] Это доверчивое признание представляет значительный интерес для понимания отношений, сложившихся между К. Клермонт

и Гамбсом; не забудем, впрочем, что оно относится к первым месяцам их знакомства.

Лето 1825 г. семья Посниковых, вместе со всей челядью, гувернером и гувернанткой, жила на своей подмосковной даче в Иславском, Звенигородского уезда. Клер Клермонт и Германн Гамбс много времени проводили вместе, в далеких прогулках по берегам Москвы-реки, устраивали увеселительные поездки в соседние имения, развлекались домашним театром и концертами в присутствии многочисленных гостей. Инициаторами и непременными участниками всех дачных игр и развлечений были Гамбс и Клермонт — они пели оба, читали стихи. Это были для Клермонт месяцы, когда она могла считать себя почти счастливой: неудивительно, что Гамбс, под своим именем или под кличками «Ми-Джи» (M. G.), Ya-Yan и т. д. упоминается по несколько раз на каждой странице дневника К. Клермонт. Очевидно, Г. Гамбс немало рассказывал о себе; без этих многочисленных упоминаний издательнице дневников Клер трудно было бы изложить сообщенную ею биографию Гамбса (краткую и со многими значительными лакунами).[6] Мы сообщим здесь только несколько собранных ею фактов, необходимых для последующего изложения.

Германн-Христиан Гамбс (Gambs) был сыном страсбургского пастора, Карла Христиана Гамбса (1759—1822). Старый Гамбс между 1784 и 1806 годами жил в Париже, являясь капелланом шведского посольства в Париже, затем пастором в Бремене (между 1807—1814 гг.); после падения Наполеона он до конца жизни снова служил пастором в родном ему Страсбурге. О его старшем сыне, Германне, мы знаем значительно менее. Известно лишь, что родился он в Париже (до 1806 г.) и что в семье пастора, кроме него, были еще две сестры (Ида и Генриетта) и маленький брат, в год смерти их отца бывший еще школьником.[7] Как Германн попал в Россию, остается неизвестным; единственный намек на то, как и когда Германн, уехав из Страсбурга, оказался в Москве, содержится в записи К. Клермонт от 24 мая (5 июня) 1825 г. В этот день на даче у Посниковых Клер долго беседовала с Гамбсом во время прогулки: «Гамбс, — рассказывает она, — описывал придворную жизнь в Веймаре и глушь (the savage life), в Саратове, где в течение четырех лет он был как бы заживо похоронен в сельской местности, когда он позволял себе лишь одно развлечение, — изо дня в день охотиться в окрестных бескрайних степях».[8] Из этого можно заключить, что приблизительно в год смерти отца или незадолго до этого Германн Гамбс принял предложение стать гувернером или преподавателем языков в какой-то помещичьей семье, жившей в имении Саратовской губернии. Несколько других, столь же случайных сведений о Гамбсе, до его поселения в семье Посниковых (в 1825 г.), можно извлечь из столь же случайных и разновременных записей дневника Клер: так, она однажды слушала его рассказы о студенческих годах, проведенных им в Страсбургском университете.[9]

Еще меньше знаем мы об отъезде Гамбса из Москвы в 1827 г. Годы 1825—1826 были временем наибольшей и самой искренней дружбы Клер Клермонт с Г. Гамбсом. Никто из них не предполагал тогда, что не пройдет и года, как они должны будут расстаться навсегда. Почему это случилось, можно только догадываться: несчастье в семье Посниковых (смерть их маленькой дочери), изменения в московском обществе после многочисленных арестов в связи с судом над декабристами (с некоторыми из них Гамбс был близок) и т. д. — приблизили его решение уехать из Москвы. Об этом отъезде мы также имели свидетельство К. Клермонт в письме к Джейн Вильямс (судя по почтовой марке и штемпелю, отосланному 23 января 1827 г.), в котором говорится, что Гамбс покинул Москву и уехал «в глубь страны» весною 1826 г. сроком на пять лет.[10] Из этого очень неточного свидетельства можно вывести заключение, что Гамбс принял новое предложение уехать в качестве гувернера или домашнего учителя; выражение «в глубь страны» следует истолковывать в том смысле, что местожительством Гамбса после Москвы стала какая-либо местность возле Омска в Западной Сибири: такое предположение напрашивается в связи с изданной Гамбсом в Париже поэмой «Владимир и Зара, или киргизы».

Переписка между Клер и Гамбсом не прервалась и после их разлуки, когда сама Клер покинула Россию. Мы узнаем об этом из очень интересного письма Клер к Мери Шелли из Ниццы от 11 декабря 1830 г. В этом письме К. Клермонт обращалась к сводной сестре с просьбой помочь Гамбсу найти в Париже издателя его поэмы «Моисей», рукопись которой он уже послал во Францию.[11] Хотя хлопоты эти затянулись на несколько лет, но в конце концов они увенчались успехом: «Моисей» был издан в Париже в 1836 г. тем же Госселеном, который незадолго до того издал поэму «Владимир и Зара».

Поэму в двенадцати песнях «Моисей» Г. Гамбса Клер знала сама, так как автор давал ей читать рукопись, а отрывки из произведения читал вслух на даче у Посниковых; об этих чтениях свидетельствует дневник Клер 1825 г. Поэму «Владимир и Зара» К. Клермонт, однако, не могла знать, так как она была написана Гамбсом уже после отъезда из Москвы в азиатскую Россию. Так как подлинный автор скрылся под ее именем, и вероятно без ее разрешения, Гамбс в стихотворном предисловии как бы испрашивал прощение у К. Клермонт за самовольное присвоение ее имени:

Я не решаюсь назвать вас из глубины моего далека
(собственно: отозвания)
Мое сердце полно вами, но мои уста молчат.
Вы сами от меня (моим голосом) не узнаете,
Что навсегда моя муза как бы приобрела ваши черты.[12]

Эти стихи — не единственные в произведениях Г. Гамбса, в которых содержатся более или менее зашифрованные автобиографи-

ческие намеки на подлинного автора и на выбор им псевдонима.[13] Дальнейшая жизнь Гамбса также известна нам мало. По-видимому, с конца тридцатых годов он снова жил в Страсбурге, потом, подобно своему отцу, занимал должность пастора в сельской местности и умер в 1886 г.

Обратимся теперь к интересующему нас произведению «Владимир и Зара». Знакомство с ним не оставляет сомнений, что перед нами — очень типичная романтическая поэма, и по своему сюжету и стилю очень близкая русским поэмам первой четверти XIX в.; кроме того, она могла быть написана только на месте действия, так сильно и отчетливо проступает в ней, сквозь условные традиционные черты, местный колорит.

Поэма «Владимир и Зара» состоит из четырех песен. Им предшествует «Прелюдия» (Prélude, p. 6—88), род стихотворного предисловия философско-эстетического содержания, в котором излагаются и определяются основные положения о соотношении искусства и действительной жизни, на основе которых написано это произведение. Далее следует сама поэма; каждая песня ее имеет особое заглавие: I. Пленник (Le Captif, p. 29—53); II. Кочевники (Les Nomades, p. 57—100); III. Степь (La steppe, p. 100—139); IV. Бегство (La fuite, p. 140—169).

Как видно уже из этих заглавий, сюжет поэмы «Владимир и Зара» в своем основном очертании не отличается особой новизной; это один из вариантов, — при том поздних, — «Кавказского пленника» Пушкина. В 1828 г. в Москве вышла поэма Н. Муравьева «Киргизский пленник» [14] — одна из самых ранних попыток романтической разработки темы русско-казахских связей, — как ее характеризует М. И. Фетисов, отмечающий попутно, что «. . . для 20-х гг. XIX в. скромный опыт Н. Муравьева представлял известный интерес, поскольку в поэме затрагивалась тема малоизученной казахской жизни».[15] Конечно, ситуации, на которых был построен сюжет «Киргизского пленника» (как и других «пленников»), — нередко встречались и в тогдашней русской действительности (Н. Муравьев подчеркивал это в подзаголовке своей поэмы: «Повесть. . . взята с истинного происшествия Оренбургской линии»), но близость к поэме Пушкина подобных произведений этим отнюдь не отменялась, скорее напротив, что и подчеркивалось в русской печати тех лет. Рецензент «Сына Отечества» утверждал, например, что Н. Муравьев «взял основу и содержание своей повести из „Кавказского пленника“, с тою разницей, что удалец молодой, ушед из плена, увез с собою молодую киргизку, Баяну, и женился на ней. За ними, правда, гнались киргизцы, но не догнали, и все кончилось по желанию уральца Федора, киргизки Баяны, и, вероятно, самого сочинителя».[16] Критик «Московского вестника», со своей стороны, настаивал на том, что поэма Н. Муравьева есть лишь подражание пушкинской: «Есть у нас «Кавказский пленник»: надо было явиться киргизскому. . . «Повесть Н. Муравьева» также начинается описа-

нием киргизов: есть и песня киргизская, есть битва с казаками, есть киргизка, есть любовь. . . все так, но конец не тот. Русский не любит черкешенку. Федор влюбился в Баяну; они убежали оба — и веселым пирком да за свадебку. . .[17] «Пушкин виноват в киргизских и других пленниках», — с полным основанием утверждал несколько лет спустя — в 1835 г. — Белинский.[18] Против этого тезиса было бы трудно что-либо возразить, несмотря на то что подобных произведений в стихах и в прозе, — даже только «киргизских» (условно) [19] по своей тематике, — у нас в тот период было очень много, от «Киргизского пленника (быль оренбургской линии)» Петра Кудряшева до польской поэмы Густава Зелинского «Kirgiz», написанной во время ссылки автора в Ишиме.[20]

Все произведения этого длинного литературного ряда, к которым несомненно примыкает также французская поэма Г. Гамбса «Владимир и Зара», при их сюжетной общности отличались друг от друга в одном отношении: своим локальным этнографическим колоритом, то принимая его поневоле, в силу существовавшей традиции, то сознательно усиливая его до почти самостоятельного значения в произведении. Оценка этого колорита современниками, однако, нередко колебалась в зависимости от осведомленности их критиков: иных устраивали черты местности и экзотических нравов, хотя они и являлись только общими штампами, лишенными своеобразия, другие, напротив, требовали более детальных описаний и характеристик в произведениях, претендующих на национальную окраску. Так, Н. Полевой в общем обзоре русской литературы за 1828 г., говоря о «Киргизском пленнике» Н. Муравьева, поднимал на смех эту поэму, в которой «козак Федор говорит киргизке: „О, дева гор“, забыв, что киргизцы живут в степях» [21]; критику «Московского вестника», напротив, казались неуместными и неоправданными встреченные им в тексте той же поэмы экзотические слова, которые он почему-то называет «калмыцкими», к тому же придавая им произвольные значения: такие слова как «язурен» (невольник), «калыма» (невеста) (Sic! на самом деле выкуп) и т. д.[22]

Хотя подобно всем вышеназванным русским романтическим поэмам «Владимир и Зара» Гамбса, со своей стороны, также восходит к Пушкину,[23] но соотношение в ней традиционных мотивов, личного авторского вымысла и отражений реальной действительности — иное, чем в предшествующих произведениях о «киргизских» пленниках; что касается «местного колорита», то в поэме он подчеркнут настолько, насколько это было возможно сделать во французских стихах, печатавшихся в Париже и рассчитанных на иностранного читателя: «экзотические» географические названия, личные имена и бытовые термины встречаются в тексте в изобилии, и некоторые из них объяснены в обстоятельных «примечаниях» (Notes, p. 171—173). Все это позволяет поставить вопрос о том, какую именно местность изображает Гамбс и нельзя ли найти в его поэме какие-либо отголоски действительных событий.

Действие поэмы развертывается на равнине между рекой Ишимом (Issim, p. 31) и цепью Алтайских гор и завершается на Иртыше, неподалеку от Омска (pp. 167, 169). Каждую осень кочевники переселяются к берегу Аральского моря (Aral, pp. 42, 57, 58); здесь они зимуют, а с наступлением весны снова отправляются в степь. Не только живописному, но порой даже «ботаническому» описанию цветущей степи уделено много стихов в третьей и в четвертой песнях. Во вводной части первой песни характеризуется необозримый степной простор: куда ни кинешь взор, нигде не заметно ни жнивы, ни рощи — лишь на горизонте виднеется «далекая тень, похожая на испарения Як-Нора». Это — Алтай; его горная цепь опоясывает степь с севера (p. 32). В примечании объясняется, что «Nor — означает озеро», и что «Yak Nor», собственно, означает «озеро мычащего яка». Не «Яконур» ли это, встречающийся и на современных географических картах?

Главное действующее лицо поэмы, Владимир, молодой русский офицер, случайно ставший пленником киргизов во время их набега. В неволе он стал пастухом и целые дни и ночи проводит вдали от места, где находятся юрты кочевников (вдали от Имака, à Imack — «поселок кочевников», как разъясняется в тексте, p. 172); [24] сторожа с двумя борзыми собаками, чужие стада. Однажды Владимир рассказывает свою жизнь полюбившей его ханской дочери Заре. Он родился на берегу Оки (sur les rivages de l'Occa), в ранней юности своей знал счастливые дни, почести, богатство. Отец его был заслуженный старый вояка: первые слова, заученные Владимиром в младенчестве, были — Очаков и Чесма. Но отец его был стар и скоро умер, оставив сына на руках молодой матери. Когда же сын подрос и наступила пора службы, мать отпустила его в армию. Из дальнейшего выясняется, что он принял участие в освободительной войне. Он был молод и увлечен идеей политической свободы; ему слышался призывный голос: «Дети славы! Станьте свободными, время пришло!» (p. 92—93).

Обольщенный этим небесным гласом,
Я осмелился думать, осмелился говорить,
И (тогда) зловещим приказом
Я был сослан в гарнизон в Омск.

(p. 93)

Очевидно, речь идет здесь о сосланном в Сибирь декабристе после восстания на Сенатской площади.

Необычна в поэме также история Зары, дочери хана Ателя, (Athel) и русской женщины по имени Ирина. Однажды в степи, в густом тумане Атель встретил Ирину вместе с сопровождавшим ее мужчиной и дал им обоим приют в своих владениях. Но вскоре этот мужчина умер, и Атель взял ее в свой гарем. Подобная ситуация в настоящее время может показаться надуманной и мало правдоподобной, но в первой половине XIX в. подобные смешан-

ные браки и возникавшие отсюда различные конфликты были нередкими и на оренбургской линии, и в Западной Сибири.[25]

Далее события в поэме Гамбса развертываются весьма традиционно. В «имаке» (то есть «аймаке»), где живет Зара, ее хочет заполучить себе в жены охотник по имени Иргиз,[26] домогательства которого она резко отвергает. Но Иргиз настойчив и вошел в доверие к хану Ателю, рассказав ему о преступной любви его дочери к пленнику-иноверцу. Когда Иргиз грозит Заре местью отца и расправой с соперником, Зара твердо заявляет, что она никогда не будет в его кибитке «расчесывать свои длинные, свисающие косы». К последнему стиху сделано примечание (р. 172), что незамужние киргизки оплетают свои косы вокруг головы, замужние же оставляют их свисающими с затылка на спину. Этот разговор предопределяет дальнейшие события. Вскоре Владимир спасает Зару от разъяренной волчицы, но сам изранен зверем. Зара ухаживает за ним и увозит его, когда весь аймак поспешно снимается с места из-за боязни надвигающейся эпидемии.[27]

Поэма явно построена с расчетом сообщить как можно более данных о быте и нравах киргиз-кайсаков и о местностях, где они кочуют: этими соображениями предопределяется также введение в поэму ряда отдельных эпизодов. Так, после решения Владимира и Зары бежать вместе в русскую землю, наперсница Зары, Дехре (Dehre), поет ей песню о девушке-киргизке, Эмбе, о ее неверном возлюбленном Азиме — юноше из Бухары — и о трагической гибели Эмбы. Эта песня, вставленная в поэму, имеет особую строфическую форму и заглавие «Прозрачное яблоко» (La pomme transparente). Задача исполнения этой песни — удержать Зару от задуманного бегства с пленником и внушить ей опасения тяжелых последствий, которые ожидают ее, если она решится покинуть родные степи. Эта песня не лишена изящества; однако к фольклору в собственном смысле она, по-видимому, отношения не имеет.

Гораздо интереснее у Гамбса те казахские песни — импровизации, которыми открывается вторая песнь поэмы (р. 57—59). Здесь перед началом перекочевки киргиз-кайсацкие девушки и юноши перебрасываются только что сочиненными ими четверостишиями. По-видимому, Гамбс слышал о подобных играх казахской молодежи и о популярной стихотворной форме четверостиший («Кара улен»), о которой рассказывали многие русские писатели, бывавшие в средней Азии, например В. И. Даль.[28] Приведем для примера первое из четырех четверостиший, включенных в поэму (два из них исполняют по очереди юноши, два — девушки):

Кайсаки пересекают равнину.
Аллах, храни своих детей.
С севера гонит их осень
Каждый год на берег Арала.

Словесная игра импровизированными четверостишиями, которыми перебрасываются юноши и девушки, как бы вводит читателя

в описание быта народа (в III-й песне, озаглавленной «Кочевники»). Но в этой же и в следующей песнях, — например, при описании флоры и фауны прииртышских степей, — автор прибегает иногда даже к простым перечислениям, перегружая текст своего рода «каталогами» цветов весенней степи (р. 136 и сл.) или перечнями обитающих здесь диких животных. На протяжении пятнадцати стихотворных строк здесь названы семь их видов (р. 109); при этом автор демонстрирует свое знакомство с их местными названиями. Например, говоря о диких осляках — hemiones, — Гамбс поясняет, что он имеет в виду азиатских dzigguetaï — «джигетаев»,[29] — отличающихся быстротой бега, и сравнивает их с «сайгою» [30] и с «аргали» [31] (р. 109); далее здесь названы также кулан и манул.[32]

В этой же песне дано довольно живописное описание «бурана» (Le Bourane, р. 120—122), который овцы предчувствуют за сутки вперед.

Можно указать на ряд других стихов «Владимира и Зары», в которых чувствуется своего рода щегольство автора словами «киргизского» языка, стремление выставить напоказ свое знакомство с подробностями быта и общественного обихода «кайсаков». Так, решение бежать в русские владения Зара принимает только после того, как ее отец объявляет ей, что он обещал отдать ее в жены ненавистному для нее Иргизу; после этого она просит Владимира выбрать самых быстрых коней из табуна, которые могли бы домчать их до границы; она боится, что «зайсаны» (Les Zaisans, р. 130) догонят их. Когда бегство осуществляется и становится известным в аймаке, хан Атель действительно кричит: «На коней, зайсаны, спешите в погоню!» (р. 155, 158, 173). Из особого примечания мы узнаем, что под «зайсанами» автор разумел «старейшин племени», — собственно родовых, наследственных старейшин аймака; в таком значении этот термин употреблялся монголами, калмыками, алтайцами.[33] Готовясь к бегству, Зара хочет обеспечить себя едой: по этому поводу в поэме объясняется распространенный среди кайсаков способ приготовления сыра, — из густого молока кобылиц, отжатого под седлом наездника (р. 173). В ночь перед бегством Зара говорит пленнику, что она вручит ему оружие —

> . . . с этим предательским порохом,
> Который убивает без вспышки.
>
> (р. 150)

К последнему стиху также сделано особое примечание (р. 173), что речь идет о так называемом «белом порохе киргизов»: «Огнестрельное оружие среди них не распространено: у них имеется лишь несколько мушкетов с зажигательным трутом; тем не менее, они знают, как делается белый порох. Секрет его приготовления они держат в тайне».

Рассказ о бегстве и погоне в заключительной песне поэмы полон драматического движения и весьма живописных подробностей:

погоней руководит Иргиз, опытный наездник и охотник; ему почти удается догнать беглецов, но Владимир убивает под ним коня; борьба продолжается еще, когда пленники находятси уже в волнах Иртыша. Но их уже заметили в Омской крепости я навстречу им послана лодка; выстрел картечью по преследователям на противоположном берегу Иртыша рассеивает кайсацких наездников.

Как видим, встречающиеся в поэме Гамбса географические названия и собственные имена, детали быта и нравов казахов свидетельствуют, что ее автор, по-видимому, создавал поэму на основе собственных впечатлений,[34] в чем и заключается ее некоторый исторический интерес. Любопытна она также и по своей судьбе, известной нам, к сожалению, не полностью; немаловажно то, что она связала в один узел традиции, шедшие с двух сторон — из русской и английской литератур: она создавалась с мыслью о Пушкине, а увидела свет во Франции благодаря посредству ближайших друзей Байрона и П.-Б. Шелли. Уже этим оправдывается возможный интерес к поэме казахских литературоведов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Clairmont C. Vladimir et Zara ou les Kirguises. Poème en quatre chants. Paris, 1836.

[2] Catalogue de la section de Russica ou écrits sur la Russie en langues étrangères, t. I, St. Petersbourg, 1873, N 745. p. 232.

[3] Межов В. И. Сибирская библиография, т. III. СПб., 1892, с. 241 (№ 2511).

[4] The Journals of Clare Clairmont. Ed. by Marion Kingston Stocking. Cambridge, Mass.. 1968.

[5] Marshall J. The Life and Letters of Mary Wollstonecraft Shelley, vol. II, London, 1889. p. 145—146.

[6] The Journals of Claire Clairmont., p. 299—300.

[7] Там же, с. 299.

[8] Там же, с. 316.

[9] Там же, с. 309.

[10] Marshall J. The Life and Letters of Mary Wollstonecraft Shelley, vol. II. p. 160.

[11] Moïse.Paris, 1836. О последовательности издания трех поэм Гамбса (все изданы тем же издательством Госселена с именем автора: C. Clairmont) свидетельствует то, что на задней обложке «Владимира и Зары» объявлено о скором выходе в свет двух последующих «печатающихся» поэм того же автора: «Измаил» и «Моисей».

[12] Vladimir et Zara ou les Kirguises. Paris, 1836. p. 2. Я пользовался экземпляром хранящимся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр: 13.VIII.10.136), на обложке которого сделана дарственная надпись: «Offert a Monsieur Th. Thurneissen par l'Auteur». Других произведений Гамбса, изданных под тем же псевдонимом, в Ленинграде не имеется (впрочем, они очень редки. M. K. Stocking в своем издании «Дневников» К. Клермонт называет еще ряд его произведений, из которых не всеми располагает даже Национальная библиотека в Париже). Среди них: «Oeuvres poétiques de C. Clairmont», 3 vols. Paris, Renouard; «Poésies fugitives, recueillis par ses amis de Strasbourg» (1838). Для нас все эти издания были недоступны.

[13] The Joornals of Claire Clairmont, p. 299—300.
[14] Муравьев Н. Киргизский пленник. М., 1828.
[15] Фетисов М. И. Литературные связи России и Казахстана 30—50-х гг. XIX в., М., 1956, с. 46.
[16] «Сын Отечества», 1828, ч. 119, с. 402—404.
[17] «Московский Вестник», 1828, ч. X. № 14. с. 170—171.
[18] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I, Л., 1953; с. 133.
[19] «Киргизами» (или «киргиз-кайсаками») в русской литературе XIX в. обычно называли «казахов». См.: Шейман Л. А. Пушкин и киргизы, Фрунзе, 1963, с. 11—33.
[20] Кудряшев П. Киргизский пленник. — ОЗ, 1826, т. XXVIII, с. 273—290; Одровонж-Пенёнжек Я. Пушкин и польский романтик Густав Зелинский. — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. II, М.—Л., 1958, с. 362—368. Подробнее о художественных произведениях, посвященных киргизам (казахам), см. в указанной выше работе М. И. Фетисова (с. 59 и сл.). Ср. также Постнов Ю. С.. Русская литература Сибири первой половины XIX в. Новосибирск. 1970, с, 80—95 («Поэзия романтизма в Сибири»).
[21] «Московский телеграф», 1828, ч. 20, с. 358—388.
[22] Следует, впрочем, подчеркнуть, что ряд выписанных рецензентом «экзотических» слов в «Киргизском пленнике» можно продолжить. Напр.:

. . . киргизы
О бранных сечах говорят. . . .
. . . .
Другие в грезах роковых
Покрыты чепком, спят в покое.
Иные пьют; их веселит
С кумысом тумка круговая. . .

(с. 15—16)

[23] Стоит отметить, что во второй части книги, содержащей поэму, напечатан также стихотворный перевод «Черной шали» Пушкина, сделанный Г. Гамбсом, никогда не отмечавшийся библиографами. Живя в России, Гамбс, как это видно из дневников К. Клермонт, лично знал многих русских литераторов, в частности А. В. Веневитинова, М. П. Погодина, бывал в салоне Зин. Волконской, вероятно имел знакомства в редакции «Московского вестника». По-видимому, он был знаком и с современной ему русской литературой.
[24] Очевидно, речь идет об «аймаке» в значении «общины однородцев», как это слово толкует В. И. Даль, отмечающий также: «у нас переводят волость; у калмыков, где народ в рабстве, аймах — вотчина дворянина». (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, М., 1955, с. 7. Ср. Ожегов С. И. Словарь русского языка, М., 1952, с. 15.)
[25] М. И. Фетисов в своей книге «Литературные связи России и Казахстана» приводит ряд примеров подобных браков.
[26] Иргиз (Irghiz), как и встречающееся ниже женское имя Эмба (Emba), названия рек.
[27] Когда Владимир спрашивает Зару, чем объясняется быстрый отъезд аймака, она отвечает, что причиной этого является «Issouah — смертоносная зараза, которая гонит нас к Аральскому морю» (p. 48). По поводу этого слова в комментарии приводится довольно длинная справка (p. 172), из которой явствует, что речь идет о маленьких мошках, «укусы их смертельны для животных и для человека, если не прижечь маленькие прыщики, возникающие на местах укусов».
[28] Фетисов М. И. Литературные связи России и Казахстана, с. 168.
[29] См. у В. Даля: «Джигитай. Сиб. кирг. осляк. Equus hemionus, между конем и ослом» (Даль В. И. Толковый словарь. . ., с. 434).

[30] Даль В. (Толковый словарь. . ., т. IV, с. 129), РО. . ., т. IV, с. 222; Ср. Железнов И. Сайгачники. — ОЗ, 1857, т. CXII, отд. I, с. 165—218; Н. К. Дмитриев считает это название казахским. Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря. — В кн.: Лексикографический сборник, вып. III, М., 1958, с. 59.

[31] Даль В. (Толковый словарь. . ., т. I, с. 21): аргали, 'дикий, степной баран' — название производят или из монг., маньчж. или из калмыцк. Ср.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. I, М., 1964, с. 84 (со ссылками на этимологии Рамстедта и Рясянена).

[32] Даль В. Толковый словарь. . ., т. II, с. 215.

[33] РО, т. III, с. 14. Об этимологии термина «заисан (г)» см. также: Фасмер М. Этимологический словарь. . ., т. II, с. 75.

[34] Где именно жил Гамбс, находясь в азиатской части России, установить пока не удалось. Может быть, это удастся уточнить из архивных или мемуарных источников теперь, когда мы узнали имя действительного автора «Владимира и Зары». Отметим, что вторую часть указанной книги издания 1836 г. составляют стихотворения, собранные под общим заголовком «Досуги» (Loisirs) — здесь помещены различные стихотворения «на случай», альбомные записи, акростихи, послания и т. д.; хотя они густо зашифрованы, но представляют кое-какие данные для возможных последующих разысканий.

В. И. Асланов

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ «ДИВАНА» КАДЫ БУРХАНЕДДИНА

В Британском музее хранится единственный список «Дивана» незаслуженно забытого поэта Кады Бурханеддина Сивасского, одного из ярких представителей тюркоязычной литературы XIV в. «Диван», датированный 1393 г. и содержащий более 20 тыс. стихотворных строк, имеет большое значение не только для изучения истории тюркоязычной литературы, но и для исследования лексики, грамматики и диалектологии юго-западной группы тюркских языков, в частности и азербайджанского языка, в историческом аспекте.

Лексика «Дивана» (в дальнейшем он именуется сокращенно — ДКБ) не имеет существенных расхождений с лексикой современного азербайджанского языка, но она значительно отличается от лексического состава диванов других тюркоязычных поэтов, не только эпохи самого Кады Бурханеддина, но и последующих эпох, сравнительной ограниченностью употребления арабских и персидских слов, а также богатством представленных в нем слов и фразеологических сочетаний исконно тюркского происхождения. В настоящей статье отмечаются отдельные слова, встречающиеся в ДКБ и отсутствующие в современном азербайджанском языке или же отличающиеся от их современного употребления.

1. Названия птиц.

Jüzin aŋsam öŋäjik dir ki, ku, ku
Läbin dirsäm sürahi dir ki, kul, kul.
Если вспоминаю ее лик, то öŋäjik кричит: «Ку-ку»,
Если я говорю о ее губах, то кувшин говорит: «Кул-кул».

K̦ylardym zary gülšändä, ög'ärdim jarymy ol g'ün
Öŋäjik didi ku, ku, ku, g'ög'ärčin didi bu, bu, bu.
В цветнике стенал я, в тот день я воспевал свою возлюбленную,
Öŋäjik запел «ку-ку-ку», голубь — «бу-бу-бу».

В том, что öŋäjik — это название какой-то птицы, не может быть сомнений, однако пока нет никаких данных, которые позволили бы отождествить это название с какой-либо определенной птицей.

2. Особенности использования вспомогательных глаголов.

Глаголы g'äl- и düš- в ДКБ употребляются для выражения видовых оттенков значения начала действия:

Läbiŋ xäjali kyzary g'äliǯigaz g'özümä
Bänüm bäŋzimi g'örki neǯa sarara g'älür.
Когда образ алых губ твоих встает перед моими глазами,
Взгляни, как начинает бледнеть мой лик.

Ol dilbäri ziba jäna bir nazä düšärsä
Tä'n etmä sačynda k'öŋülüm azä düšarsä.
Та красивая похитительница сердца опять впала в кокетство, —
Не упрекай меня, если сердце мое станет запутываться
в ее локонах.

Nagah ešküŋüŋ oduna jana düšmüšäm
Sevdaŋilä ujurikän ojana düšmüšäm
Нежданно я начал гореть в огне любви твоей,
Я спал, охваченный любовью к тебе, но стал просыпаться.

3. Употребление современных именных образований в значении глагольных основ.

Слово ejü в памятниках огузских языков, edgü//äδgü в письменных источниках других тюркских языков используется в значении 'хороший'. Данное слово до сих пор не зафиксировано в значении основы глагола. Однако в одном из бейтов в ДКБ мы читаем:

Bu neǯäsi γämzälärdür ki bän aŋa ox dijäjüm
Jüräg'ä birisi däg'sä ejüram jänä urynǯa
Что это за ресницы, чтобы я назвал их стрелами:
Едва попадает одна из них в сердце — я оживаю,
пока не сражает другая.

Ясно, что в данном случае интересующее нас слово выступает как глагол со значением 'оживать', 'улучшаться', 'поправляться'. Интересно отметить, что диалектное eji- 'раздобрять корову при доении' также восходит к синкретическому eji 'добрый', 'добреть'.

Слово joχ с незначительными фонетическими изменениями известно почти всем тюркским языкам. В одном из бейтов в ДКБ имеется глагол, основа которого совпадает с данным словом:

Eški jaxar ü hiǯri jyxar ü γämzäsi joxar
Sihhat ǯanyma jaxar ü juxar u joxary
Любовь к ней сжигает, разлука с нею сокрушает, ее лукавые
взоры губят,
Благо моей души — посылаемые ею сжигание, сокрушение,
гибель.

В данном случае мы имеем дело также с синкретичным корнем.

4. Наречия и глаголы, образованные от имен.

В ДКБ встречаются образованные от имени boj ('рост', 'стан') наречие boja ('во весь рост', 'вдоль стана') и глагол bojan- ('подниматься во весь рост', 'подниматься ввысь'):

Sänäma čü g'ejsulärüŋ taγydub boja buraxduŋ...
О кумир мой, ты, распустив свои локоны, рассыпала
их вдоль стана

Ah edärsäm bojanur äršä bänüm tütünüm...
Если я исторгну стон, то чад (от него) взовьется к небесам...

5. Синонимия.

В ДКБ богато представлены синонимы. Например, наряду с ираноязычным arzu 'мечта' здесь встречаются и исконно тюркские umunǯ, san, az и т. п. в том же значении:

Nig'ara budurur tapynda azym
Ki čoka jazyla eškündä azym
Любимая, вот моя мечта в поклонении тебе:
Пусть и малое в моей любви к тебе будет зачтено, как многое.

Sanum budurki beliŋä iräm
Tez verä čäläb nazik sanumy
Мечта моя — достичь твоей талии, —
Скорее бы господь осуществил мою изысканную мечту.

Наряду с глаголом ač- 'открывать' в ДКБ употребляются и глаголы šäš-, jor- и т. п. Последний из них в других памятниках, как правило, используется только в значении 'толковать (сны)'.

Köŋlümi bän sändän ajru kišijä jormajajum...
Я не раскрою сердце свое никому другому, кроме тебя...

Ačyla häft učmaγuŋ kapusy baŋa g'ar
Düg'mäsini jaxaŋuŋ älüm šäšär isä
Раскроются врата семи садов рая передо мной,
Если мои руки расстегнут пуговицу твоего ворота.

Наряду с глаголом kork- 'пугаться' в ДКБ часто употребляются и синонимичные ему глаголы ürk-, balyŋla-, kajpyn-, ušan-, üčün-:

Ar jig'it kanda ürkär ürkülärdän
Jaxšy at balyŋlamaz ilkülärdän
Dušmänlär nerdä bulsa diträsünlär
Kaγan aslan kajpynamaz dilkülärdän
Где мужественный храбрец страшится угроз?
Добрый конь не пугается пугала.
Пусть дрожат враги, где бы они ни встретились,
Храбрый лев не пугается лисиц.

Köŋül üčündi ču g'ördi g'ejsuläri čarisin...
Сердце испугалось, едва лишь увидело войско ее локонов...

Särv bojuŋdur kijamät korxuram andan kopa
Fitnädur xoftä g'özüŋ ušanuram ojanəsin
Стан твой — кипарис, боюсь, что из-за него наступит судный день;
Твои сонные глаза — сама смута, — боюсь, что ты проснешься.

6. Должностная терминология.

В ДКБ зафиксирован ряд слов, не встречающихся в других памятниках тюркских языков. Tatγavul. Судя по контексту, это слово означает какую-то административную должность:

Xälifä xan ü sultan ü mälik tatγavul ü kazi
Fäda kylur saŋa ǯanun kamusy varly varynǯa
Халиф, хан, султан, правитель, татгавул и кадий —
Все до единого приносят себя в жертву тебе.

В «Тюркском словаре» Мухаммедтаги отмечается, что tutγavul — это стражники на караванных путях, в обязанность которых входило задерживать грабителей и разбойников. Возможно, что tatγavul и tutγavul представляют собой варианты одного и того же слова.

7. Особенности значений глагольных основ.

tür-//tör- используется в значении 'отказаться':

Bän bu dünja xošluγundan türäjim ešküŋ ičün
Illa väsliŋ läzzätindän öläjim türmäjäjüm
Ради любви к тебе я откажусь от радостей этого мира,
Но даже если я умру, я не откажусь от счастья свидания с тобой.

ka- 'сжигать':

Odun kibi hiǯri oduna kajä tänümi...
Тело мое она сжигает огнем разлуки, как дрова...

dyr- 'рвать':

Ümid häzrätüŋä tutaram ola mäkbul
Ki dyrmajynǯa ädü däftärün bänüm dyrma
Я уповаю на твое величье, да будет принято (упование), —
Пока ты не разорвала письмена врагов, не рви и мои.

Данный глагол в современном азербайджанском языке и в его письменных памятниках представлен в фонетических вариантах: ǯyr-//jyr-.

8. Частицы.

Частица iŋän//ikän в средневековых письменных источниках огузских языков выступает в значении 'очень' и, как правило, сочетается с именами прилагательными. В языке ДКБ встречаются случаи, когда данная частица сочетается с глаголом и как наречие имеет значение 'сильно', 'слишком':

Äbläk atyna išbu ǯähanuŋ ikän ujma
Ki mejl edä ol karäjä ja boza däg'üldür
Не слишком поддавайся гнедому коню сего мира, —
Ведь он не прилежит ни к черному, ни к серому.

Ограниченный объем статьи не позволяет более подробно остановиться на всех особенностях лексического корпуса ДКБ. Однако, по-видимому, и то немногое, что показано выше, свидетельствует о значении содержащихся в ДКБ материалов.

Н. А. Баскаков

ТЮРКИЗМЫ — СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Из тюркизмов, относящихся к общественной жизни, в «Слове» могут быть отмечены следующие: 1. Каган (коганя); 2. Быля (былями); 3. Боярин (бояре); 4. Салтан (салътани); 5. Чага (чага); 6. Кощей (кощей, кощея, кощіево); 7. Кур (до куръ) и 8. Котора (которою). Из них четыре термина: *каган*, *боярин*, *быля* и *салтан* — для наименования титулов и званий представителей высшего, господствующего сословия; два: *чага*, *кощей* — для наименования лиц низшего подчиненного сословия, и два термина: *кур* и *котора*, обозначающих прочие социальные явления.

Словоупотребление и значение всех указанных выше социальных терминов — тюркизмов в русском языке — подробно приведены в «Словаре» В. Л. Виноградовой,[1] поэтому мы будем касаться только вопросов их происхождения.

1. Коган (коганя).

Коган — встречается в «Слове» один раз в контексте: «Рекъ Боянъ и Ходына Святъславля пѣснотворца старого времени Ярославля, Ольгова коганя хоти. . .», то есть в форме родит. пад. ед. ч. от *коган*.

Слово *коган* (коганя) < тюрк. qaγan — титул главы государства древних тюрков (государства Ту-кюэ на Орхоне, хазаров, булгар и проч.).

Приведенные в Словаре В. Л. Виноградовой [2] формы этого слова: кагану, кагана, каган, каганом, хаган и проч. подтверждают предположение о том, что в «Слове» дана форма родительного падежа единственного числа от *коганъ*.

Этимология слова *коган* < qaγan не вызывает каких-либо затруднений или сомнений, о чем свидетельствуют данные П. М. Мелиоранского,[3] Ф. Е. Корша [4] и С. Е. Малова,[5] которые соответствующим образом обосновали также и соответствие *о*~*а* в русском заимствованном слове *коганъ* < qaγan.

К. Менгес [6] приводит несколько вариантов этого слова, встречающегося в формах: qaγan (qγn) — в древнетюркском языке орхонских памятников, в форме χaqan — у османских турок,

γahan — в армянских источниках и haham — у современных караимов; у последних в значении главы религии караимов.

Предположение некоторых тюркологов об общем происхождении и единстве основ qaγan > qaan > qan > χan в значении ʻханʼ оспаривается Г. Рамстедтом, который утверждает что qan ∼ χan и qaγan различаются тем,что первая из них представляет простую основу, заимствованную в тюркских языках из китайского < kuan ʻправительʼ, а вторая — сложную, состоящую из двух слов: кит. ke ʻвеликийʼ и kuan ʻправительʼ, > ke kuan ʻвеликий ханʼ > тюрк. qaγan.[7]

Итак, этимология слова *коган* (*коганя*) < qaγan не вызывает каких-либо сомнений. Что же касается другого мнения о том, что *коганя* в «Слове» может рассматриваться как обращение к жене Олега «*Ольгова коганя хоти*», то это предположение представляется менее вероятным.[8]

2. Б ы л я.

Быля — встречается в «Слове» один раз в контексте:« . . .А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовоя брата моего Ярослава, с Черниговьскими былями. . .», то есть в форме творительного падежа множественного числа.

Быля ʻзнатный старейшина, патриархально-родовой старшинаʼ как заимствование из тюркских языков имеется в старославянском и в средне-греческом. Происхождение этого слова также установлено, оно восходит, как утверждает большинство исследователей-тюркологов, к тюркскому феодальному титулу bojla∼ bujla ʻзнатный родовой старейшинаʼ, встречающемуся в древнетюркских рунических памятниках, а также в печенежских (по Ю. Немету) или в булгарских (по В. Томсену) надписях на золотых сосудах так называемого клада Аттилы в местечке Надь-Сен-Миклош в составе собственного имени Bojla—Čopan ʻбыля Чопанʼ, обладателя одного из золотых сосудов.[9] Родоплеменной титул bojla ∼ bujla в форме elči byjla встречается также в современном алтайском (ойротском) языке в значении ʻпосланник, посол, вестникʼ.[10]

В «Слове» титул *быля* (*былями*) относится к Черниговским Черноклобукским старейшинам огузских тюркских племен: ковуев, торков, берендеев, каепичей, боутов и проч. — союзников русских князей в их борьбе с половцами.

3. Б о я р и н.

Боярин — встречается в «Слове» один раз в контексте: «. . . И ркоша бояре князю . . .», то есть в собирательной форме именительного падежа множественного числа — *бояре* ʻвельможи, лица, занимающие высокое положение в феодальной иерархииʼ.

Все исследователи единодушны в отношении тюркского происхождения этого слова, хотя состав его и интерпретируется по-разному.

Так, Ф. Е. Корш [11] допускает возможность происхождения слова боярин из тюрк. baj 'богатый' + är 'муж, мужчина' + рус. окончание *-ин* 'боярин', стянувшееся позже > *барин*, ссылаясь при этом на придворный титул bajar, встречающийся в составе титулатуры кокандского ханства и в других тюркских языках, а также на аналогию образования тюрк. alp + är 'богатырь-муж' ~ baj + är 'богатый муж' и другие сложные имена с тем же корнем baj : bajan 'богатый властитель', bajat 'бог' и проч.

П. М. Мелиоранский [12] (а с ним соглашается и С. Е. Малов [13]) считает, однако, что слово bajar в современных тюркских языках, и в том числе в титулатуре кокандского ханства, является поздним вторичным заимствованием из русского языка, и приходит, как нам представляется, к более вероятной этимологии этого слова из bojla ~ bujla 'знатный родовой старейшина' в метатезной форме bolja + -lar аффикс мн. ч. как выражение уважения + рус. окончание *-ин* > bolja + -lar + русск.*-ин* с гаплологическим сокращением > bolja(-la)r + *ин* (ср. гаплологические стяжения: уйг. sürči < sürürči 'маляр'; к.-калп. džür < džürür причастная форма от глагола džür- 'идти, двигаться) или алт. taap < tapyp 'находя' [14] и проч.), рус. *болярин* ~ *боярин* > барин; ср.рус. *государь* > *сударь* > . . . *с* в выражениях *да-с* (<да сударь) и т. п.

Наиболее вероятной гипотезой происхождения слова *болярин* ~ *боярин* представляется предложенная И. Маркваротом,[15] который возводит это слово к сложному сочетанию bojla ~ bujla 'знатный, родовой старейшина' + är 'муж, мужчина', то есть bojla ~ bujla är > bojlar + рус. суффикс *-ин* > *болярин* с позднейшими стяжениями > *боярин* > *барин*.

Последняя этимология могла бы быть уточнена тем, что сочетание bojla + är + рус. суффикс *-ин* в русском языке было адаптировано в метатезной форме > *болйарин* ~ *болярин* с более поздними формами > *боярин* > *барин*.

4. С а л т а н.

Салътанъ — встречается в «Слове» один раз в контексте. . . «Стр ѣ ляеши съ отня злата стола салътани за землями. . », то есть в винительном падеже множественного числа.

Слово это безусловно арабского происхождения из ар. Sulṭān, тур. sultan 'владетель, властитель, правитель, султан' > рус. *салтан* ~ *солтан* ~ *султан*. Этимология может считаться общепризнанной, хотя источник этого заимствования пока не выяснен, так как прямое влияние арабского языка на половецкий, а тем более на ранние тюркские языки Восточной Европы еще пока не было заметным, хотя слово sultan в транскрипции soltan было зафиксировано в известном памятнике половецкого языка начала XIV в. Codex Cumanicus.[16]

5. Чага.

Чага — ʻполовецкая девушка, пленница, рабыняʼ встречается в «Слове» один раз в контексте . . .«Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кощеи по резанѣ. . .», то есть в форме именительного падежа единственного числа.

Чага < кыпчак. полов. čaγa ʻцыпленок, ребенокʼ, в новоуйгурском языке čaγa ʻребенокʼ, сохранилось в других тюркских языках, напр. тур. ča(γ)a > čaa, турк. čaqa, bala—čaqa ʻдетиʼ, а также в прочих тюркских языках, главным образом в парном сочетании bala—čaqa, и наконец в монгольском cáxxa ʻребенокʼ.

Итак, нет сомнений в том, что *чага* в «Слове» представляет собой тюркское заимствование в значении ʻдевушка-невольница, рабыняʼ, хотя в тюркских языках, как в древних, так и в современных, а также в монгольском языке, сохранилась только в значении ʻребенок, цыпленок, детёнышʼ.

В древнерусском же языке, как в «Слове», так и в летописях, слово *чага* было усвоено только в значении ʻневольница, пленницаʼ.[17] По всей вероятности, это значение развилось из первоначального ʻребенок, отрок, девочка > не достигшие зрелого возраста пленники и пленницыʼ.

Возможно, что и в «Слове» *чага* имеет значение ʻпленников, не достигших зрелого возрастаʼ в противопоставлении к понятию *кощей* — ʻвзрослый пленник, раб-работникʼ.

6. Кощей.

Кощей — ʻплебей, пленник, рабʼ — встречается в «Слове» три раза в контекстах: 1). . . «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты был, то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ . . .», то есть в именительном падеже множественного числа; 2). . . «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святславлича . . .», т. е. в винительном падеже единственного числа, а также 3) в форме притяжательного прилагательного к *кощей* — *кощіево* в контексте:. . . «Ту Игорь Князь высѣдѣ из сѣдла злата, а в сѣдло кощіево. . .».

П. М. Мелиоранский определяет происхождение этого слова из qoš ʻкочевой поезд, вереница вьючных животных и арбʼ, а qoščy, ʻсостоящий при обозеʼ (из qoš + -čy аффикс деятеля). При использовании в качестве qoščy пленников, позже слово это получило новое значение ʻпленник, рабʼ.

В современных языках, например в казахском, киргизском, каракалпакском, ногайском qos ~ qoš имеет значения: 1. ʻшалаш, временное жилище, в котором живут рабочие, пастухи и проч.ʼ и 2. ʻсоха, плуг, прочие земледельческие орудияʼ, а qossy ~ qoščy — 1. ʻсопровождающий в пути, конюхʼ и 2. ʻпахарьʼ.

Основа qos~qoš в тюркских языках является синкретичной и имеет первичное значение имени — ʻпара, парный, двойной,

спаренный, присоединенный' и проч. и глагола — 'прибавить, присоединить, добавить, спарить' и проч.

Возможно, что слово qoš в именном значении 'двойной, спаренный, пара' исторически восходит к словообразовательной модели qoš+-yš, стянувшейся в qoš.

В процессе семантического развития позже слово с именным значением qos~qoš(<qoš-yš) получило вторичные значения: 1. 'упряжка, земледельческое орудие, соха, плуг' (как нечто сопряженное: запряженное, присоединенное); 2. 'кочевой обоз' (как сложная соединенная упряжка), ср. тур. qoš 'гурт, стадо, табун, обоз'; 3. 'шалаш, временное жилище при перекочевке (как нечто сложенное, соединенное), ср. узб. qoš 'лагерь'.

Производное же от него qos+šy~qoš+čy приобрело также несколько значений с общей семантикой 'относящийся к qoš': 1. 'пахарь, сопровождающий упряжку'; 2. 'сопровождающий кочевой обоз, караван; гуртовщик, ухаживающий за лошадями при перекочевке; поводырь, ведущий навьюченных лошадей в караване > слуга для ухода за лошадью'; 3. 'живущий в временном шалаше, не имеющий постоянного жилья > бедняк, представитель низшего сословия, работник, батрак', ср. к.-калп. qos+šy 'сопровождающий в пути'; at qosšy 'сопровождающий лошадей (на обязанности которого лежит уход за лошадьми в пути), свита, пахарь' [18]; qosšy awqamy 'Союз кошчи' (соответствует по значению «комитет бедноты» в двадцатых годах нашего века).

В аспекте же классовых и сословных отношений слово qos+šy ~qoš+čy приобрело отрицательные значения 'плебей, пленник, раб', а также как бранное слово, выражающее презрительное отношение господствующего класса к низшему сословию.

В украинском языке слово *кош* < qoš заимствовано, вероятно, из крымско-татарского языка в значении 'стан, поселение', ср. также *кошевой* 'старшина, начальник коша'; кошевой атаман — 'воинское звание в казачестве'.

В «Слове о полку Игореве» слово qoščy рус. *кощей* встречается в первом и в третьем контексте в значении 'раб, пленник', а во втором — в значении бранного слова. Последнее значение характеризует и понятие «Кощей бессмертный», встречающееся в русских сказках.

7. К у р.

Куръ — встречается в «Слове» один раз в контексте: . . .«А самъ въ ночь влъкомъ рыскаше из Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя. . .», то есть в родительном падеже множественного числа.

Данный контекст принято переводить как: «. . . а сам ночью волком рыскал: из Киева дорыскивал ранее (пенья) петухов до Тьмутороканя. . .», хотя здесь возможен и другой перевод: «. . . а сам ночью волком рыскал: из Киева дорыскивал до куреней Тьмутороканя. . .».

В этом случае слово *куръ* может рассматриваться как заимствование из половецкого со значением 'земляные валы, дворы, ограды' то есть со значением, близким к современному русскому слову *курень*.

В рус. яз. слово *курень* имеет значение 'шалаш, стан, барак', в укр.: 'избы в одной куче, часть войск' (ср. *куренной* атаман [19]); 'казацкое селение, пекарня, будка, шалаш'; польск. 'землянка, лачуга'.[20]

Слово *курень* этимологически связано с тюрко-монгольской основой: алт. küre-, кирг. kürö- 'грести землю лопатой, сгребать лопатой' и производными от этой основы: küren- 'окапываться землей'; küree 'земляной вал'; 'толпа, племя'; куманд. kürentik 'двор, вычищенное место перед домом'; кум. güren 'загон для скота', küran 'юрты в степи, построенные по кругу; монг. gürien ~gürejen 'огороженное место, загон для скота'.

Однако возможно также, что слово *куръ*, встречающееся в «Слове», генетически связано с тюркской глагольной основой qurmaq 'строить, поставить'; čadyr qurmaq «поставить, разбить палатку» [21]; ср. тат. qur- 'строить, сооружать, воздвигать', // 'строительство, сооружение, 'постройка',[22] отглагольное имя от которой quruw 'строение, постройка' могло быть заимствовано в рус. яз. в форме *кура*, — ср. к.-калп. qora 'хлев, загон, загородка (для скота)'.[23] В «Слове» в единственном контексте слово *кура* встречается в род. пад. мн. ч. с предлогом 'до' — до *куръ*, то есть форма, закономерная от основы *кура*.

Что же касается перевода самого контекста в «Слове»: 'а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше из Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя. . .,' то и логически, и грамматически более вероятным представляется перевод: '. . .а сам ночью волком рыскал: из Киева дорыскивал до куреней (~до стен ~до построек ~до оград) Тъмутороканя', так как исходный пункт в этой фразе выражен обстоятельством места 'из Киева', а следовательно, и пункт направления должен был быть выражен обстоятельством места, а не времени — 'ранее (пенья) петухов'.

Таким образом, в выражении '. . .до куръ Тмутороканя. . .' естественнее видеть предел места, но не предел времени, а в слове *куръ* — тюркское заимствованное слово *кура* или *курень* со значением 'земляные валы, дворы, ограды, постройки, стены, ограды', но не *кур* — рус. 'петухов'.

8. Котора.

Котора 'ссора, распря, раздор' встречается в «Слове» два раза в контекстах: 1) . . .Тіи бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста которою, ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный великый Кіевскый грозою. . . и 2) . . .Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю, которою бо бѣ ше насилїе отѣ земли

Половецкыи!. . . то есть в форме творительного падежа единственного числа.

Как в том, так и в другом контексте исходной основой интересующего нас слова является *котора* 'ссора, распря, раздор, мятеж, междоусобица, вражда, спор', а переводы контекстов соответствуют:

1) 'Те два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, пробудили кривду самовольством (враждою, ссорой, раздорами, *Н. Б.*), ее смирил грозою отец их, великий грозный Святослав Киевский'.

2)'. . .Вы крамолами своими стали (начали, *Н. Б.*) наводить поганых на землю Русскую, на удел Всеславов: из-за раздоров пришло к нам насилие от земли Половецкой'.[24]

Существующие этимологии слова *котора* весьма разноречивы и искусственны.

Приведем только основные предположения в отношении происхождения этого слова.

А. Преображенский [25] приводит следующие значения этого слова и его этимологию:

«*Котора*, *которы* стар. диал. перм. 'ссора, раздор, распря'; *котораться*, *которитъся*, 'ссориться'; *которливый*, *которник*; *которочь* 'задира' сближается с древним hádara 'разодранная материя, тряпка'; н.-нем. hader 'распря', арм. kotor 'обрывок, кусок, убийство'; санскр. kanthā 'платье с заплатами' и т. д.

М. Фасмер [26] дополняет еще одним вариантом этого слова: *котера* и приводит все имеющиеся предположения различных авторов о его происхождении главным образом из индоевропейских языков.

Однако нет сомнений в том, что русское слово *котора* ~ *котера* представляет собой заимствование из тюркских языков и генетически связано с основой köter- 'поднимать', bas ~ baš köter- 'волновать, восстать, стать мятежником' (букв. 'поднять голову').

Основа тюркского глагола köter- ~ kötör- ~ göter ~ kütär- с общим значением 'поднимать', köteril- ~ kötöril ~ göteril ~ kütäril- 'подниматься, восставать' и köteriliš ~ kötörülüš ~ köterilis ~ köterüliš ~ göteriliš 'восстание, мятеж'; современ. 'забастовка, стачка' тесно связана с другим тюркским заимствованием в русском языке *кутерьма* < тат. kütärmä 'подъем'; каз. 'помощь, для оказания которой всадники с гиканьем скачут со всех сторон'.[27]

Котора ~ *котера* и *кутерьма* восходят к субстантивным формам (масдарам) тюркского глагола köter + üw ~ kütär + üw, но так как *котару* ~ *котеру* в русском соответствовало бы форме винительного падежа, то в именительном падеже это слово было усвоено в форме *котора* ~ *котера* по аналогии, например, с названием села на Алтае Ajuwlu, по-русски Аюла, или Birüwlü > Бируля, причем *котора* ~ *котера* восходит к языкам кыпчакско-половецким и, в частности, к половецкому языку, имевшему основой глагол köter-, то есть с широким гласным ö в первом слоге, а *кутерьма* (также из масдарной формы на -ma kütärmä) к языкам кыпчакско-

булгарским (тат., башк.) с основой kütär, в которых широкий ö отсутствует и замещается везде узким ü.

Наличие передних гласных в адаптированных русских формах слова *котера* и *кутерьма*, а также наличие палатализованного [*р'*] в слове *кутерьма* лишний раз подчеркивают связь этих заимствований с тюркским глаголом köter- ~kütär-, имевшим в своей основе передние гласные.

Что касается соответствия тюркизмов *кутерьма* и *котора* ~ *котера* словопроизводным моделям соответствующих тюркских языков, то, как уже указывалось выше, первая из них форма *кутерьма* представляет собой субстантивную глагольную форму (масдар) на -ma/-me, со значением названия действия kütär- 'поднимать' ~baš kütär- 'волновать, восстать (букв. поднять голову)', kütärmä 'волнение, суматоха, восстание, мятеж', а вторая — *котора* ~*котера* произошла от масдара на -uw/-üw, то есть от формы köterüw, с тем же значением, что и kütärmä, но так как оформление *котеру* совпадает с русской формой винительного падежа, то в именительном была адаптирована форма с соответствующим русским окончанием на *-а котера* ~*котора*, по аналогии с русскими, то есть по русской модели: *тара/тару* (название посуды), *отара/отару* (стадо овец) и т. п.

Значения всех этих слов, безусловно, тесно связаны между собой. Тюркский глагол köter-, köteril- (с соответствующими вариантами), как в сочетании с пояснительными словами (baš köter-), так и без них, имеет общее значение 'поднимать мятеж, восставать, вносить раздор, суматоху, волновать' и проч.

Слово *котора* ~*котера*, встречающееся в «Слове о полку Игореве» со значением 'раздор, ссора, распря', а также его производные, встречающиеся в других памятниках древнерусской письменности: *котораться*, *которитъся* 'ссориться' и *которливый*, *которник*, *которочь* 'задира', тесно связаны по своему значению с производными от тюркского глагола köter-, ср. кирг. kötörülüs 'восстание, мятеж'; к.-калп. köterilis 'восстание, мятеж, забастовка, стачка'; köterilisši 'восставший мятежник, стачечник', köterilisšil 'вдохновитель восстания, мятежа'; köterüüči ~ köterüwši 'мятежник' и проч.

Слово *котора* ~*котера* как наиболее древнее заимствование из половецкого языка соответствует фонетическим закономерностям кыпчакско-половецких языков, то есть оформлено через широкий ö первого слога (ср. каз., ног. köter-), в то время как второе тюркское заимствование в русском языке от того же корня *кутерьма*, как более позднее, соответствует фонетическим закономерностям современных татарского и башкирского языков, то есть оформлено через узкий ü первого слога (ср. тат. kütär).

Итак, слово *котора* (в «Слове» в форме *которою*) в древнерусском языке — заимствование из половецкого в значении 'ссора, раздор, мятеж, распря' от основы köter-. Те же примерно исходные формы и значения этой основы даны и в половецком словаре

«Codex Cumanicus»,[28] напр., kötürül- {coturul) 'emporgehoben, aufgehängt werden; или köter-~kötür- 'erheben' (138, 14); а также в современных кыпчакских языках: к.-калп. köter- 'поднимать'; köterilis 'восстание, забастовка, стачка'[29]; ног. köterilis 'восстание'; baqyryq köter- 'поднять тревогу, устроить скандал' и т. п.[30]

Подводя итоги анализа тюркизмов — социальной терминологии в «Слове о полку Игореве» — следует отметить, с одной стороны, общепринятые этимологии (с небольшими отклонениями в трактовке) таких терминов, как *коган* (коганя), *боярин* (бояре), *быля* (былями), *салтан* (салътани), *чага* (чага), *кощей* (кощей, кощея, кощіево), и с другой — терминов *кур* (до куръ), *котора* (которою), которые до настоящего времени остаются спорными.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1, М., 1965; Вып. II, М., 1967; вып. III, М., 1969; вып. IV, М., 1973.

2 Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. II, с. 196—198.

3 Мелиоранский П. М. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». ИОРЯС, т. VII, кн. 2, 1902, с. 289—290.

4 Корш Ф. Е. Турецкие элементы в «Слове о полку Игореве». ИОРЯС, т. VIII, кн. 4, 1903.

5 Малов С. Е. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве». ИАН ОЛЯ, т. V, в. 2, 1946. с. 138—139.

6 Menges K. H. The oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos. New Jork, 1951 («Word» Syppl. N 7) p. 35. Ср. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, М. 1967, т. II, с. 155.

7 Ramstedt G. J. Alte türkische und mongolische Titel (1939). JSFOu, 55, Helsinki, 1951.

8 Перетц В. Н. «Слово о полку Игореве». Киев, 1926.

9 Németh J. 1) Die Inschriften des Schatzes von Nagy—Szent—Miklos. Budapest, 1932; 2) Die petschenegischen Stammesnamen. Ungarische Jahrbücher, Bd. 10, Heft 1—2, Berlin, 1930.

10 Малов С. Е. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве». ИАН ОЛЯ, т. V, в. 2.

11 Корш Ф. Е. По поводу второй статьи проф. П. М. Мелиоранского о турецких элементах в языке «Слова о полку Игореве». ИОРЯС, т. XI, кн. I, СПб., 1906.

12 Мелиоранский П. М. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», с. 285.

13 Малов С. Е. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве», с. 138—139.

14 Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, с. 46.

15 Marquart J. Über das Volkstum der Komanen. — In: Abhandlungen der Göttinger Ges. d. Wissenschaft. Philos.-hist. Kl. N. F. Bd. XIII, N 4. Berlin, 1914.

16 Grønbech K. Komanisches Wörterbuch, Kobenhavn, 1942, p. 225.

17 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. III, СПб, 1903, с. 1467.

18 Каракалпакско-русский словарь. М., 1958, с. 405.

19 Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1958, с. 416.

20 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, с. 425.

[21] Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. II, СПб, 1871, с. 77.

[22] Татарско-русский словарь. М., 1966, с. 283.

[23] Каракалпакско-русский словарь, с. 401.

[24] Переводы даны по изданию: «Слово о полку Игореве». Древнерусский текст и переводы. Вступительная статья, редакция текстов, прозаический и поэтический переводы, примечания к древнерусскому тексту и словарь В. И. Стеллецкого, М., 1965, с. 87 и 92.

[25] Преображенский А. Этимологический словарь русского языка, с. 370.

[26] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, II, с. 353.

[27] Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря. Лексикографический сборник. III, М. 1958, с. 28; в Татарско-русском словаре: kätərilüw 'вставать, восставать, задираться' и т. д.; ср. древнерусск. *которочь* 'задира' (И. Срезневский, I, 1301) из kötörüwči 'поднимающий восстание, мятежник'.

[28] Grønbech K. Komanisches Wörterbuch, Kobenhavn, 1942, p. 156.

[29] Каракалпакско-русский словарь, с. 339, 340.

[30] Ногайско-русский словарь. М. 1963, с. 181—182.

А. П. Григорьев

НАЛОГОВЫЙ ТЕРМИН «КУБЧИР»

Завоевательные походы Чингиз-хана и его преемников против народов Дальнего Востока, Центральной Азии, Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы в XIII—XIV вв. привели к сложению Монгольской империи — конгломерата стран и народностей, раздираемого внутренними противоречиями, не имеющего единой экономической базы, в конце концов распавшегося под ударами народов завоеванных стран. В системе налогов и повинностей монгольского феодального государства рассматриваемого периода исследователи отмечают термин «кубчир».

Начало изучению этого монгольского термина положил в 1836 г. французский востоковед Э. М. Катрмер в примечаниях к своей публикации и переводу «Сборника летописей» Рашид-ад-дина.[1] Именно этот ученый предложил смысловое значение слова кубчир — «пастбище». Отсюда и первоначальное терминологическое значение его — «пастбищный сбор». За прошедшие с тех пор сто сорок лет концепция Э. М. Катрмера не претерпела изменений. Правда, Д. И. Тихонов предложил считать термин «кубчир» не монгольским, а тюркским и понимать под ним основной уйгурский государственный налог, употреблявшийся уйгурами еще до подчинения их монголам и взимавшийся в размере одной десятой части.[2] К сожалению, Д. И. Тихонов не основывает свои предположения на бесспорных данных источников.

Попыткам раскрыть содержание термина «кубчир» применительно к периоду XIII—XIV вв. посвящено значительное число исследований. Отметим здесь три итоговые концепции советских ученых. Они разработаны в основном на материале документов государства персидских ильханов и принадлежат соответственно В. В. Бартольду, А. А. Али-заде, И. П. Петрушевскому.

В. В. Бартольд, во-первых, присоединялся к выводам предшественников о том, что кубчир (копчур), по первоначальному значению этого термина, взимался главным образом с кочевников натурой, в размере одного процента; кроме того, кубчиром называли подушную подать, взимавшуюся деньгами с покоренного населения. Во-вторых, анализ текста ярлыка Газан-хана от 1304 г.

привел В. В. Бартольда к такому выводу: «можно заключить, что под копчуром понимали все прямые налоги (разрядка моя — *А. Г.*), как взимавшиеся с земледельцев, так и взимавшиеся с кочевников. . .»[3]

А. А. Али-заде значительно расширил число источников о кубчире (копчур). Он постарался собрать и сопоставить показания отдельных источников относительно кубчира с оседлого населения и построил следующую концепцию. В государстве ильханов кубчир приобрел новое содержание, заменив старый основной налоговый термин, то есть харадж. В одних районах, где влияние монголов и кочевников было велико, основная поземельная рента — налог взималась под именем кубчира, а в других, где сохранились старые формы налогового обложения, под именем хараджа. Одновременно кубчир сохранял значение и подушной подати, каковое он приобрел еще в сороковых-пятидесятых годах XIII в.[4]

И. П. Петрушевский высказывает ряд возражений по поводу концепции А. А. Али-заде. В частности, он указывает на расхождение гипотезы А. А. Али-заде с показаниями источников о том, что кубчир (ķупчӯр) взимался лишь в тех районах государства ильханов, где «влияние кочевников было велико». И. П. Петрушевский полагает, что лишено оснований утверждение о том, что в одних районах взимался только кубчир, а в других — только харадж. Он приводит пример из письма Рашид-ад-дина, в котором говорится об обложении хараджем частновладельческих садов с одновременным освобождением других земельных владений их хозяев от кубчира, заключая на этом основании, что харадж и кубчир могли взиматься вместе, в одной и той же области. Если согласиться с мнением А. А. Али-заде о том, что харадж и кубчир одинаково взимались из доли урожая, говорит далее И. П. Петрушевский, то было бы трудно понять, в чем же, кроме названия, заключалась разница между кубчиром и хараджем. Видимо, заключает И. П. Петрушевский, обложение кубчиром оседлых жителей не было связано с земельной политикой ильханов, и кубчир, как в первое время монгольского владычества, так и позднее при ильханах, оставался подушной податью. При этом ильханы продолжали взимать кубчир и в качестве натурального однопроцентного налога как с кочевников, так и с оседлых скотоводов.[5]

Концепция И. П. Петрушевского — последняя по времени. В ней ученый приходит к однозначному решению этой крайне запутанной проблемы. Кубчир, по его мнению, — это подушный налог, который взимался с оседлого населения государства ильханов. Источники позволяют проследить ставки этого налога на протяжении XIII—XIV вв. Таким образом раскрывается и техническое значение термина. Позднее термин кубчир исчезает, но налог остается. И. П. Петрушевский прослеживает его под другими названиями вплоть до XVIII в.[6] Теперь уже нет

оснований сомневаться в том, что подушный налог в государстве ильханов назывался кубчиром.

Если бы под именем кубчир взимался только один подушный налог, то аргументация И. П. Петрушевского относительно невозможности взимания с населения страны еще и поземельного налога под тем же названием была бы безупречной. Некоторый диссонанс в эту концепцию вносит то обстоятельство, отмеченное И. П. Петрушевским, что кубчир как налог, взимаемый со скотоводов, платили не только кочевники, но и оседлые жители государства ильханов.[7] Одно наименование для совершенно разных налогов могло лишь затруднить, а не облегчить практику их взимания. Невольно вспоминается концепция В. В. Бартольда, который, на основании анализа текста жалованной грамоты ильхана Махмуда Газана от 1304 г., сделал вывод о том, что ильханы называли кубчиром вообще все прямые налоги и с земледельцев, и с кочевников. Однако позднейшие исследователи, прекрасно знакомые и с грамотой Газан-хана, и с концепцией В. В. Бартольда, не приняли толкования последнего. Видимо, оно не представлялось им достаточно аргументированным. Поэтому вновь обращаться к тексту ярлыка Газан-хана сейчас не представляется целесообразным. Налоговый термин «кубчир» пришел в государство ильханов вместе с монголами-чингизидами. Есть смысл обратиться к актовому материалу монгольских великих ханов и на этом материале попытаться выяснить содержание термина «кубчир».

Рассмотрим прежде уже сложившиеся взгляды на эту проблему советских ученых-монголистов. Б. Я. Владимирцов отмечает монгольский феодальный термин alban χubciǧur и передает его по-русски словами ‘алба и подати’. Алба, по разъяснению ученого, — термин, означавший личную зависимость от феодального сеньора, цепь «служебных повинностей». Буддийский монах, освобожденный от албы и других повинностей, становился alban χubciǧur ügei, ‘не связанным албой и податями’.[8] Заключаем из этого, что под кубчиром (хубчир), когда этот термин сочетался с термином «алба», Б. Я. Владимирцов понимал не одну лишь «натуральную повинность скотом», а вообще все феодальные налоги.

Монголист и синолог Н. Ц. Мункуев в комментарии к своему переводу надгробной надписи на могиле Елюй Чу-цая отмечает, что китайский термин «чай-фа» в двуязычных монголо-китайских грамотах монгольских великих ханов XIII—XIV вв. и в других документах широко употреблялся как эквивалент монгольского термина «алба хубчири» (alba qubčiri), который должен обозначать ‘повинности и подати’, но по точному значению не всегда ясен в юаньских документах. Под чай-фа (как и под эквивалентным ему сочетанием «алба хубчири») подчас подразумевались вообще все налоги в пользу монгольских завоевателей. Н. Ц. Мункуев приводит примеры, из которых видно, что термин «чай-фа»

иногда употреблялся и в применении к какому-нибудь одному налогу.[9]

Поскольку автор этих строк занимается, при дружеском содействии ученых Ленинградского университета — монголиста З. К. Касьяненко и синологов Б. Г. Доронина и Г. Я. Смолина, составлением конкретных формуляров чингизидских жалованных грамот XIII—XV вв., есть возможность обратиться теперь к материалу жалованных грамот великих ханов XIII—XIV вв. с целью извлечения из этого материала данных по интересующей нас проблеме.

Мы располагаем китайскими текстами семнадцати однотипных жалованных грамот монгольских великих ханов, которые были выданы главам монастырей различных религиозных учений. Хронологические рамки дат выдачи этих грамот — 1223—1351 гг. Кроме того, у нас есть параллельные тексты шести из этих грамот (1280 или 1292—1351 гг.), написанные квадратным алфавитом на монгольском языке. Мы уже имели возможность зашифровать эти грамоты (китайские — В I, XIV—XVI, XVIII, XX—XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXII—XXXVI; монгольские — Б II—IV, VI, VIII, IX) и потому сделаем ссылку на их список.[10]

Все названные жалованные грамоты написаны настолько однотипно (исключая разве грамоту Чингиз-хана от 1223 г. — В I), что мы имеем возможность составить из их текстов некоторое подобие сводного текста и рассмотреть схему их построения, используя этот единый текст.

Статья формуляра этих грамот, которую можно назвать прецедентом тарханства, содержит историческую справку о пожалованиях предшествующих великих ханов. В ней, в частности, говорится о том, что прежде духовенство освобождалось от «каких бы то ни было налогов» (монг. «aliba alba qubčiri», кит. «бу цзянь шэнь ма чай-фа»). Иными словами, всякий налог можно обозначить собирательным монгольским термином «alba qubčiri» или китайским термином «чай-фа». Та же картина наблюдается и в следующей статье формуляра, которую предлагаем назвать объявлением тарханства.

Третья статья формуляра состоит из нескольких предложений, в которых перечисляются конкретные привилегии, предоставляемые данному грамотчику. Здесь для нас представляет интерес предложение, в котором нашел отражение податной иммунитет: «С подведомственных храмам поместий, земель и вод, людей, животных, садов, посадок бамбука, мельниц, закладных лавок, бань, постоялых дворов, лавок, лодок, телег, закваски (вина?), уксуса каких бы то ни было налогов пусть не берут». Из этого текста явствует, что и поземельный, и подушный налоги, и налог со скота, и многие другие прямые налоги и сборы назывались в XIII—XIV вв. по-монгольски «алба хубчири» (тюркизованная

форма этого сочетания — «албан кубчир»).[11] Естественно, что каждый из этих налогов имел и свое особое местное название.

Итак, мы выяснили, что, во-первых, монголисты понимают под сложным налоговым термином «алба хубчири» (тюрк. «албан кубчир») любые прямые налоги в пользу правителей-чингизидов и что, во-вторых, их концепция полностью подтверждается актовым материалом XIII—XIV вв. на монгольском и китайском языках. Остается перекинуть мостик между сочетанием «алба хубчири» и единичным термином «кубчир», который, собственно, и является объектом нашего исследования.

В документах государства ильханов сочетание «албан-и кубчир», насколько известно, не зарегистрировано. Однако очень часто в этих документах можно встретить сочетания термина «кубчир» с тюркским термином «калан»,[12] персидским — «харадж», арабским — «маль» в формах «калан-и кубчир», «харадж-и кубчир», «маль-и кубчир».[13] Другое дело, что современные исследователи, как правило, разделяли эти сочетания и рассматривали каждый из их компонентов изолированно. Предлагаем не делать этого и видеть в сочетаниях «калан-и кубчир», «харадж-и кубчир», «маль-и кубчир» эквиваленты монгольского термина «алба хубчири» (тюрк. «албан кубчир»).

Известно, что термины «калан», «харадж», «маль» сплошь и рядом выступают в роли синонимов поземельного налога.[14] Видимо, монгольское сочетание «алба хубчири», означавшее «повинности и налоги» и воспринимавшееся в целом как «всякие налоги», было заменено в государстве ильханов, которое включало в себя территории с древней земледельческой культурой, сочетаниями «калан-и кубчир», «харадж-и кубчир», «маль-и кубчир», каждое из которых означало «налоги с земледелия и скотоводства», а в целом воспринималось опять-таки как «всякие налоги». Три названных сложных термина могли употребляться и в краткой форме. В таких случаях отдельно взятыми терминами «калан», «харадж», «маль»[15] и «кубчир» можно было обозначать любой из прямых государственных налогов.

Таким образом, мы вернулись к концепции В. В. Бартольда относительно содержания термина «кубчир». Если, руководствуясь приведенными выше фактами и доводами, принять концепцию В. В. Бартольда, как наиболее полно отражающую историческую действительность, то снимаются многие недоумения по поводу практики взимания налогов с земледельческого и кочевого населения в пользу монгольских завоевателей как в государстве персидских ильханов на протяжении XIII—XIV вв., так, возможно, и на других оккупированных территориях, например, на землях Джучиева улуса — Золотой орды.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Raschid-eddin. Histoire des Mongols de la Perse. Ed., traduite et accompagnée des notes par M. Quatremère, t. I. Paris, 1836, c. 256, прим. 83.

[2] Тихонов Д. И. К вопросу о некоторых терминах. — В кн.: «Страны и народы Востока», вып. XI. Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1971, с. 78—84.

[3] Бартольд В. В. Персидская надпись на стене анийской мечети Мануче. — Соч., т. IV, М., 1966, с. 332.

[4] Али-заде А. А. 1) К истории феодальных отношений в Азербайджане в XIII и XIV вв. — В кн.: Сборник статей по истории Азербайджана, вып. I, Баку, 1949, с. 113—126; 2) Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII—XIV вв. Баку, 1956, с. 198—211.

[5] Петрушевский И. П. 1) Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков. М.—Л., 1960, с. 360—369; 2) Иран и Азербайджан под властью хулагуидов (1256—1353 гг.). — В кн.: «Татаро-монголы в Азии и Европе». М., 1970 с. 238.

[6] Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения. . ., с. 368.

[7] Там же, с. 369.

[8] Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934, с. 164—165.

[9] Мункуев Н. Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. М., 1965, с. 120, прим. 191.

[10] См.: Григорьев А. П. Конкретные формуляры чингизидских жалованных грамот XIII—XV вв. — В кн.: 1) «Тюркологический сборник, 1974». М., 1976, с. 175—179; 2) «Историография и источниковедские истории стран Азии и Африки», вып. 4, Л., 1975, с. 37.

[11] ДТС, с. 34, 462.

[12] Там же, с. 410.

[13] Примеры этих сочетаний представлены в изобилии в кн.: Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения. . ., с. 349—402.

[14] Там же, с. 369—372, 373—377, 384.

[15] Там же.

И. Г. Добродомов

ЗАГАДОЧНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: *БУР* (*БОР*) ОРХОНСКИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ И *БОРЪ* (<**БЪРЪ*) «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Изучение тюркских лексических элементов русского языка всегда было доброй традицией нашей тюркологии. Андрей Николаевич Кононов также неоднократно обращался к этой теме, решая пограничные вопросы русской и тюркской филологии. В этой заметке я хотел бы привлечь внимание к одному древнетюркскому и сходному с ним древнерусскому выражениям, которые порознь вызывали оживленные споры тюркологов и русистов, но совместно не рассматривались.

В тексте двух больших древнетюркских рунических памятников, поставленных в долине Кошо—Цайдам на берегу реки Орхон в честь братьев Кюль-тегина и Бильге-кагана[1] в 732 и 735 гг., содержится почти одинаковая фраза: *тÿргiс kaƀaн сÿсi Болчуда отча борча kälmi* (КТб 37). Эта фраза в памятнике в честь Бильге-кагана отличается тем, что слово *Болчуда* перенесено в конец фразы и читается перед глаголом *сÿӈÿшдiмiз* «мы сразились» уже в другой строке и поэтому, вероятно, относится к этому глаголу как обстоятельство места (строки 27—28 основной надписи).[2]

Таково прочтение этого места памятника в честь Бильге-кагана во всех изданиях, начиная с финского атласа и «Атласа древностей Монголии», изданного В. В. Радловым. Однако в ретушированном эстампаже с надписи вместо 𐰚𐰠𐱅𐰃:𐰉𐰆𐰺𐰲𐰀 *борча kälmi* отчетливо читается лишь 𐰉𐰆𐰑𐰣𐰴𐰀 *бодунka*, а дальше — небольшое чистое место, где могли бы стоять две-три буквы РА I, XXIII $(_{15})_{27}$. На этом же эстампаже без ретуши (там же, табл. XXII) с трудом все-таки читается *борча*, но 𐰚𐰠𐱅𐰃 *kälmi* не просматривается, как и на фотографии соответствующего места в финском атласе (Ф Атлас II, табл. 24), да и в финском наборном воспроизведении соответствующего места после *борча* значится лишь *kl* в конце строки и не сделано никаких намеков на существование

сомнительных знаков Гh. Это обстоятельство должны учитывать исследователи Памятника в честь Бильге-кагана.

Уже первые прочтения и толкования этих мест были противоречивы. В. Томсен огласовал указанное место türg^{ä}s q^{a}γ^{a}n süsi ƀolčuda otča ƀur^{a}ča k^{ä}lti и перевел ʻВойско тюргешского кагана пришло при Болчу подобно огню и буре’. Впоследствии этот перевод был принят «не без некоторых колебаний». П. М. Мелиоранским и безоговорочно другими учеными,[3] несмотря на критику В. В. Радлова, который указал, что турецкое ƀora ʻбуря, ураган, гроза’, послужившее В. Томсену основой для перевода, представляет собой греческое заимствование и поэтому не может привлекаться для объяснения древнетюркских текстов.

Сам В. В. Радлов дал несколько иную огласовку соответствующего места: *Түргäс kaђaн сÿсi [Булчуда] отача бурача кäлтi* и перевел его: ʻВойско тюргесского хана [при Булчу] пришло со всех сторон’ с небольшими стилистическими отклонениями в разных редакциях перевода.[4] Это же толкование принято в работе В. В. Радлова и П. М. Мелиоранского «Древнетюркские памятники в Кошо-цайдаме»,[5] со ссылкой, однако, на иное толкование у В. Томсена, ибо П. М. Мелиоранский в этом издании сделал русский перевод с немецкого перевода В. В. Радлова по просьбе последнего. Толкование В. В. Радлова поддержал лишь А. Вамбери.[6]

Высказанный без особой аргументации вариант перевода Х. Н. Оркуна ʻкак огонь и вода’ — ateş ve su gibi в надписи в честь Кюль-тегина не может быть принят как фантастический, однако контаминация толкования В. Томсена и Х. Н. Оркуна обнаруживается в переводе И. В. Стеблевой: ʻ[При Болчу] войско тюргешского кагана пришло, как огонь и ливень (буря)’, но все-таки переводчик колеблется и склоняется к точке зрения В. Томсена, давая уточнение (буря) в скобках.[7]

В изданиях С. Е. Малова *отча борча* переведено ʻкак огонь и вино’ (непоследовательно), но основания для этого перевода остаются неубедительными, поэтому он нашел сочувствие лишь у В. М. Насилова.[8]

В книгах Г. Айдарова[9] представлены все несводимые толкования, отражающие интерпретацию разных источников, которыми без оговорок воспользовался автор.

В ДТС загадочный термин *борча* включен не был, ибо, к сожалению, составители не помещали в словарь слов с неясным значением,[10] хотя под словом ot ʻогонь’ приведено парное слово ot ƀor ʻогонь и (?)’, с разобранной уже здесь подтвердительной цитатой из памятника в честь Кюль-тегина. Любопытно, что и В. В. Радлов загадочное выражение *отча борча* поместил в своем прочтении только в одном месте под словом *бурача*: *отача бурача* ʻсо всех сторон’ (РО, IV, стб. 1819—1820).

II

В древнерусской «Повести временных лет» также встречается загадочное слово *боръ*, которым в сравнении характеризуется тюркское половецкое войско в движении. При этом любопытно, что встречается это сравнение также дважды в контекстах, обнаруживающих стилистическую близость. Первое упоминание относится к 1103 году: «. . . и поидоша полци Половецьстии. аки борове. и не бѣ перезрити ихъ. и Русь поидоша противу имъ. . .»[11] Второй раз это слово употреблено при описании событий 1111 года: «. .наставше же понедѣлнику страстныꙗ недѣли. паки иноплеменници собраша полки своꙗ многое множество. и выступиша ꙗко борове велиции и тмами тмы и ѡступиша полкы Рускыи. . .» (там же, стб. 267, л. 100).[12]

Древнерусская форма *борове* также вызвала ряд полемических толкований. Чтение *боровы* вместо летописного *борове* дал историк С. М. Соловьев в своем обзоре событий русской истории,[13] что вызвало едкую реплику одного из рецензентов «Москвитянина», И. Д. Беляева: «На ст(р) 35 г. Соловьев говорит: “В Страстной понедельник собралось опять множество Половцев, выступили, *как боровы*, по выражению летописца, и т. д.“, — г. Соловьев принял летописное *борове* за множественное от *боров*, а это есть множественное от *боръ*. Доказательства: 1) На 92 стр. 1-го Тома П. С. Р. Л. читаем: „Въ се же лѣто ведро бяше, яко изгараше земля и мнози *борове* (явно, от *боръ*) возгорахуса сами и болота“. 2) “Боровъ множественное *борови*, отнюдь не *борове*“».[14]

Противоречиво суждение Н. П. Некрасова о языке «Повести временных лет», который не приводит слова *боровъ* среди полногласных лексем, но при рассмотрении форм множественного числа, упоминая форму «*боровє* — 142 б, 31—32 (от *боръ* — ‘лес’ в выраж.: и мнози борове възгарахусѧ)», добавляет: «по аналогии этой формы встречается ф. *борове* — 187а, 9 от *боровъ* (=дцсл. *бравъ* — animal. Сл. Микл. ‘самец свиньи’) в выражении: *и поидоша полкове аки борове*».[15]

Объяснение летописного *аки борове*, как сравнения с лесом, получило всеобщее признание и во многих случаях принимается безоговорочно, как это сделано, например, И. И. Срезневским в его «Материалах для словаря древнерусского языка»,[16] где под значением ‘сосновый лес’ в словарной статье *боръ* приведены цитаты о половецких полках из Лаврентьевской (1103 г.) и Ипатьевской летописей (1111 г.).

Впрочем, еще В. Н. Татищев заметил, что сравнение *аки борове* ‘как лес’ не вполне гармонирует с глаголом движения *поидоша*, *выступиша*, и пересказал соответствующие события 1111 года, несколько отступая от летописных слов: «В понедельник Страстные седмицы 27 марта дошли реки Сальницы и узрели половцов в великом множестве, яко лес стоясч против их».[17]

Новое толкование этого же выражения высказал Г. Е. Кочин,[18] который поместил отдельно от статьи *боров* ‘свинья-самец,

чаще — свиная туша' другую статью *боров* без толкования, но с пометой 'Ср. с в и н ь я' и сокращенной соответствующей цитатой из поздней Никоновской летописи: «И поидоша полкы половецкые яко борове» (1103) и указанием на аналогичное же место под 1111—1112 г. (ПСРЛ, т. IX, с. 139, 142). В «Материалах» Г. Е. Кочина цитаты из памятников при отсутствии определения встречаются лишь в тех случаях, когда было невозможно дать краткое пояснение термина. Что касается отсылки 'ср. с в и н ь я', то здесь автор указывал не на слово *свинья* в значении 'домашнее животное', а на военный термин *свинья* 'порядок боевого построения' (с. 314).[19]

Однако и это предположение нельзя признать справедливым, ибо строй *свинья* употреблялся тяжело вооруженными рыцарями, а не легко вооруженными мобильными кочевниками южно-русских степей. Вызывает сомнения также своеобразная форма множественного числа, что справедливо отметил И. Д. Беляев.

III

Итак, в древнетюркских рунических надписях первой половины VIII века и древнерусской летописи начала XII в. встречается сходное выражение для характеристики движения тюркского кочевнического войска. Но связь между этими сходными сравнениями не устанавливалась из-за спорности толкования каждого сравнения в отдельности.

Их сближению также препятствует то обстоятельство, что в старых тюркизмах славянских языков тюркский гласный *о* передается обычно как *у*, ибо славянский звук *о* долго сохранял открытый характер.

Недавно Г. Дёрфер привлек для анализа древнетюркского загадочного выражения алт. и телеутск. *пур* 'пепел, поднятый огнем вверх и повисший в юрте в виде паутины'=кирг. *бур* (РО IV, 1364, 1815).[20] К этому можно добавить саг. *пырын* 'сажа' (РО IV, 1310), хак. *пыр* 'мелкая пыль (в зерне, на одежде и т. д.)'; кирг. *бур* 'подражание чему-либо исходящему (напр., клубам дыма, пыли), распространяющемуся (напр., запаху)' в выражении *бур эт* — 'клубиться, валить, подниматься клубами; издавать сильный запах', *быр*, *пыр* 'мелкая пыль (в зерне, на одежде и т. д.)'.[21] Следовательно, загадочное выражение орхонских памятников следует читать: *отча бурча кӓлти* и переводить 'пришло как огонь и тучи дыма, пыли'.

Сближение же этого выражения с древнерусским *поидоша. . . аки борове* возможно, если допустить, что в поздних летописных списках за написанием *борове* скрывается более раннее **бърове* — именительный падеж множественного числа от **бъръ*, восходящего к тюркскому *бур*.

Следовательно, в летописном сравнении *аки борове* следует видеть отражение древнего тюркского *бурча* 'как тучи (пыли)',

также применяемого по отношению к войску, а все выражение рассматривать как скрытый и вполне ассимилированный старый тюркизм, который раньше исследователями за таковой не воспринимался.

Сравнение *аки борове* встречается и за пределами «Повести временных лет» также при описании движения половецкого войска во время знаменитого похода Игоря 1185 года: «свѣтающи же соуботѣ. начаша выстоупати. полци Половецкии акъ боровѣ. изоумѣшасѧ кнзи Роускии. комоу ихъ которомоу поѣхати. бы бо ихъ. бещисленное множество» (ПСРЛ, т. II. Ипатьевская летопись, стб. 641, л. 224), в Хлебниковском и Погодинском списках: *акы борове*.[22]

В более поздних контекстах Галицко-Волынской летописи (в составе Ипатьевского списка) эта сравнительная формула употребляется уже не по отношению к кочевническому половецкому войску; формула превращается в штамп, попытки осмысления которого приводят к замене глагола движения глаголом состояния, более подходящего для *бора* — ʻлесаʼ, с которым отождествлялся натурализовавшийся (переродившийся) тюркизм *борове*.

1268 г.: «и тако по нихъ Шварно с Володимѣромъ. поиде во силѣ тѧжьчѣ. бѧхоуть бо полчи видениемь акы боровѣ велицѣи» (Ипатьевская летопись, стб. 866, л. 288).

1281 г.: «пришедшимъ же полкомъ. к городоу и сташа ѡколо города аки боровѣ величѣи» (там же, стб. 885, л. 294).[23]

В обоих случаях Хлебниковский и Погодинский списки дают более оправданное написание *яко борове велици*(*и*).

Последние случаи употреблния оборота *аки борове* свидетельствуют, по-видимому, о том, что эта традиционная военная формула выходила из употребления уже в XIII в., просуществовав в древнерусском языке около двух столетий.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О надписях см. Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 55—65.

[2] Малов С. Е. 1) Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 25 (текст), с. 32 (транскр.), с. 41 (пер.): 2) Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, 12 (текст), 17 (транскр.), с. 21 (пер.).

[3] Thomsen V. 1) Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées. Helsingfors, 1896 (MSFOu, V), p. 110, 124; 2) Turcica. Études concernant l'interprétation des inscriptions turques de la Mongolie et de la Siberie. Helsingfors, 1916 (MSFOu, XXXVII), p. 94; 3) Alttürkische Inschriften aus der Mongolei in Übersetzung und mit Einleitung. «ZDMG», Bd. 78 (N. F., Bd. 3), S. 152; A. von Gabain. Alttürkische Grammatik. 2. Aufl. Leipzig, 1950, S. 254, 304. В. Банг в рецензии на ATIM, «N. F.» (1897) пытался безуспешно усилить аргументы В. Томсена привлечением широкого алтайского материала (См. T'P., vol. VIII, S. 537); Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль-Тегина. СПб., 1899 (Отд. отт. из т. XII ЗВОРАО), с. 73, 124; Orkun H. N. Eski türk yazıtları, I. İstanbul, 1936, p. 46, 62; IV, 1941, p. 31,

72. G i r a u d R. L'Empire des turcs célestes. Les règnes d'Elterich Qapghan et Bilgä (680—734). Contribution a l'histoire des Turcs d Asie Central. Paris, 1960, p. 102; T e k i n T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington—Hague, 1968, p. 136, 236, 243, 269, 276, 320.

[4] R a d l o f f W. 1) ATIM, 1894, S. 16, 22, 27; 2) ATIM, 1895, S. 21—23, 60—61, 444, 453. 3) ATIM «NF», 1897, S. 139, 141. Мнение В. Томсена (с. 180—181) приводится в сносках с двумя вопросами:??. Подробные возражения В. Томсену см.: R a d l o f f W. ATIM, «ZF», S. 72—73.

[5] СТОЭ, IV, с. 26, 28.

[6] V a m b é r y H. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und Sibiriens. Helsingfors, 1898 (MSFOu, XIII), S. 57. Ср. критическую оценку: А ш н и н Ф. Д. Об этимологии азербайджанских, гагаузских, крымско-татарских и турецких имен типа bura (*бура*) 'это место'. — В кн.: «Тюркологические исследования». М.—Л., 1963, с. 102—103.

[7] См. С т е б л е в а И. В. Поэзия тюрков VI—XIII веков. М., 1965, с. 81, 95 (текст), с. 43, 119, 134 (пер.).

[8] Н а с и л о в В. М. Язык орхоно-енисейских памятников. М., 1960, с. 30.

[9] А й д а р о в Г. 1) Язык орхонского памятника Бильге-Кагана. Алма-Ата, 1966, с. 71, 77, 85. 2) Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII в. Алма-Ата, 1971, с. 231, 299, 310, 357.

[10] Впрочем, перечень неясных древнетюркских слов может быть издан отдельно и послужит не только важным дополнением к словарю, но и стимулом дальнейшего изучения древнетюркской лексики.

[11] ПСРЛ, т. II. Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908, стб. 254, л. 96).

[12] Соответствующий текст в Лаврентьевской летописи под 1103 г.: и поидоша полкове аки борове и не бѣ презрѣти ихъ. и Русь поидоша противу имъ. . . ПСРЛ, т. I. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Изд. 2-е. Л., 1926, стб. 278, л. 94. Под 1111—1112 гг. поход на половцев описан слишком скупо, и сравнение это не повторяется.

[13] С о л о в ь е в С. М. Обзор событий русской истории при внуках Ярослава I-го (1093—1125). — ОЗ, т. 79, 1851, № 11, отд. II, с. 35. Б е л я е в И. Д. [Рец. на статью] Соловьев С. М. «Обзор событий русской истории». Москвитянин, 1851, № 23, VI, с. 518.

[14] См. об этом в воспоминаниях А. Н. Афанасьева: «Русская старина», 1886, август, с. 378—379; «Русский архив», 1911, № 2, с. 185; В и н о г р а д о в В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 219.

[15] Н е к р а с о в Н. П. Заметки о языке «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку летописи, с. 64—67, 109. Отд. отт. из Изв. ОРЯС, т. I и II, 1897.

[16] С р е з н е в с к и й И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. I, СПб., 1898, стб. 156.

[17] Т а т и щ е в В. Н. История Российская, т. II, М.—Л., 1963, с. 127.

[18] К о ч и н Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России. М.—Л., 1937, с. 31.

[19] Этого не понял оппонент Г. Е. Кочина писатель А. К. Югов (см. его «Думы о русском слове». М., 1972, с. 172—173), из-за чего полемика А. К. Югова оказывается беспочвенной, ибо полемист, опираясь лишь на «Материалы» И. И. Срезневского, фактически повторяет аргументы И. Д. Беляева в споре с С. М. Соловьевым, но они не затрагивают толкования Г. Е. Кочина.

[20] D o e r f e r G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Bd. I, Wiesbaden, 1963, S. 220 (этой справкой я обязан Д. М. Насилову).

[21] Ю д а х и н К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965.

[22] В популярных изданиях это выражение традиционно раскрывается «как бор, лес копий». Г у д з и й Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе. Изд. 5-е. М., 1952, с. 70.

[23] Как заурядные сравнения рассматриваются эти обороты в кн.: Г е н с ь о р с ь к и й А. I. Галицько-Волинський літопис. Київ, 1961, с. 277.

А. Д. Желтяков

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА В ТУРЦИИ

До настоящего времени вопрос о турецком политическом плакате не был предметом специального изучения не только в отечественной, но и, насколько нам известно, в зарубежной ориенталистике. Даже в специальных монографиях и статьях турецких авторов, занимавшихся историей издательского дела в своей стране, нет сведений о том важнейшем средстве массовой политической агитации, каким является плакат. Данные о подобных изобразительных материалах отсутствуют и в турецких библиотечных и музейных каталогах. Чрезвычайно редко плакатные иллюстрации включаются и в турецкие монографические издания, даже те, которые посвящены турецким революциям XX в., младотурецкой и кемалистской, когда события несомненно требовали от художников создания простых по изобразительным средствам, доступных широким массам населения картин с краткими призывами или пояснениями на злободневную тему.[1]

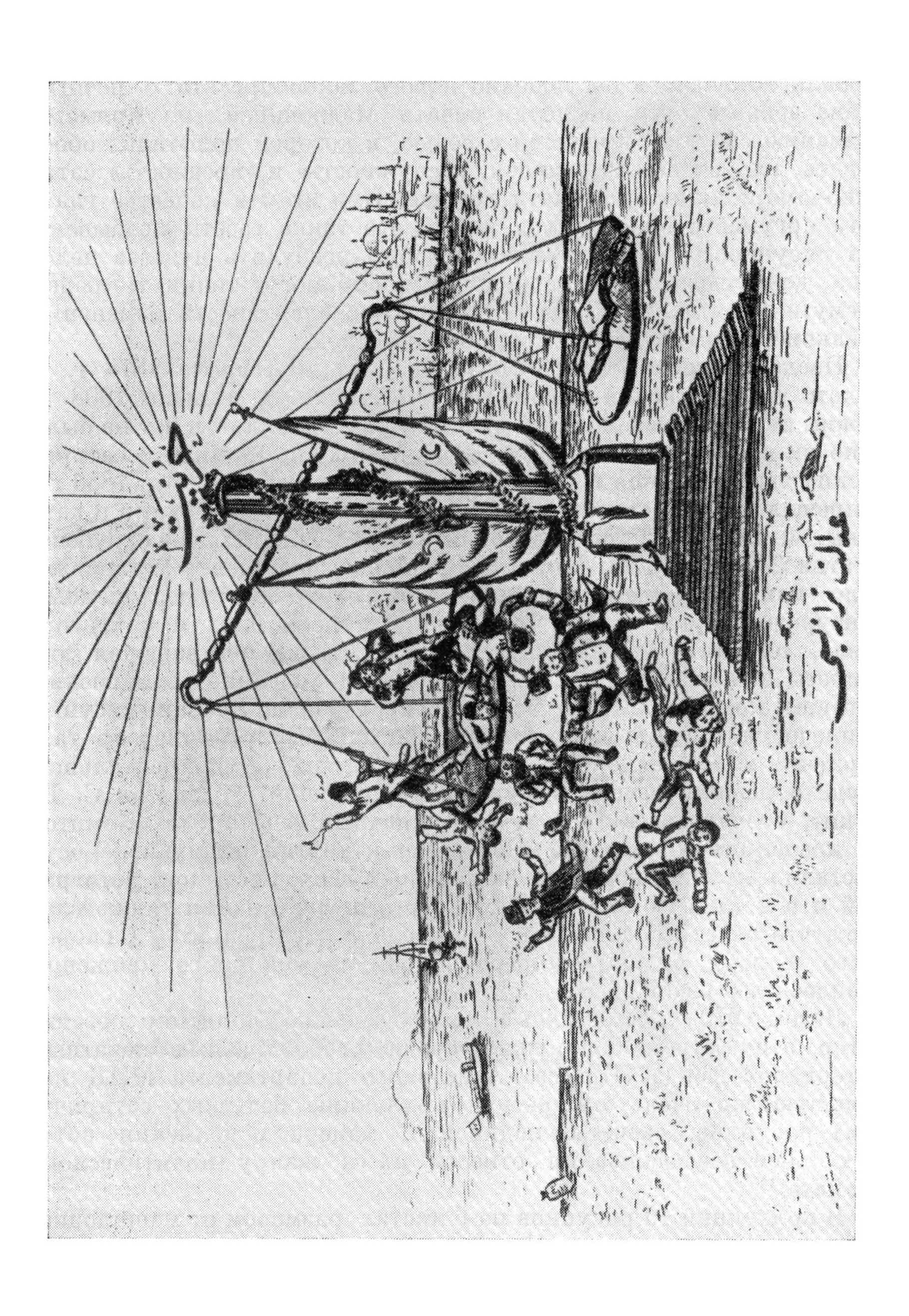
По указанным причинам сейчас нет возможности точно датировать зарождение искусства плаката в Турции и проследить его эволюцию. Однако существует ряд косвенных показателей, согласно которым время появления политического плаката в Турции может быть отнесено к последней четверти XIX в. Важнейшими из них являются возникновение в семидесятых годах прошлого века политико-сатирических газет с карикатурами, которые можно рассматривать как прообраз плаката, и вводившиеся с того же времени цензурные ограничения на публикацию «вредных», «смущающих умы» и «подстрекательских» рисунков (ресим) и картин (тасвир).[2]

Политические карикатуры в первой турецкой сатирической газете «Диоген» появились в мае 1872 г.[3] Это начинание «Диогена» было подхвачено затем сатирико-юмористическими газетами «Чингыраклы татар» («Гонец с погремушкой») и «Хаяль» («Фантазия») и получило значительное распространение в турецкой прессе периода подъема борьбы за конституцию (1875—1876 гг.). Среди карикатур, появлявшихся тогда в сатирических газетах, были такие, которые по сюжету вполне подходили для плаката. Так, сразу после обнародования мидхатовской консти-

туции (23 декабря 1876 г.) газета «Хаяль» едко высмеяла несоответствие фактического положения вещей статье 12-й конституции, гласившей: «Печать свободна в рамках закона», поместив над этим текстом изображение закованного в цепи человека. Действительно, против газеты сразу же был начат процесс, и в начале 1877 г. она была закрыта, а ее редактор Теодор Касаб осужден на три года тюрьмы. Спустя тридцать лет хорошо знавший политическую обстановку в Турции автор писал: «В настоящее время сохранение в доме экземпляра этой отважной газеты рассматривается как преступление».[4] В период «зулюма» издание и распространение юмористических и сатирических газет было вообще запрещено. Только в сатирических газетах, издававшихся младотурками в конце девяностых годов за рубежом, появлялись изредка политические карикатуры.[5]

Насколько позволяют проследить имеющиеся источники, первые законодательные ограничения на издание и распространение рисунков в Турции были введены Уголовным кодексом 1858 г. Его 139-я статья гласила: «С лиц, печатающих, заказывающих или распространяющих противоречащие общественным нравам стихотворные и прозаические юмористические и сатирические произведения или же безнравственные рисунки и картины (эдибсиздже ресим вэ тасвир), взыскивается штраф в размере от 1 до 5 меджидие золотом, и они подлежат аресту на срок от 1 до 7 суток».[6] Первые специальные законы о печати вопрос об издании изобразительных материалов обходили молчанием. Так, закон о типографиях 1857 г. относился только к правилам публикации книг (кютуб), журналов (рисале) и иностранных газет, а печально знаменитое постановление великого везира Али-паши (март 1867 г.) касалось лишь османской политической периодики. Можно допустить, что уголовный кодекс 1858 г., введенный, когда в Турции еще не было ни одной неправительственной (частной) газеты, под «безнравственными рисунками» имел в виду прежде всего порнографию. Однако с распространением частной прессы, в обстановке подъема либерально-конституционного движения в семидесятых годах XIX в. это законоположение стало трактоваться более широко и с того времени применялось в одинаковой мере, если не главным образом, и против изданий политического характера, в том числе против рисунков, картин, фотографий, которые не согласовывались с правительственной политикой. Первой по обвинению в «безнравственности карикатур» была закрыта в январе 1873 г. политико-сатирическая газета «Диоген». А 13 января 1876 г. в стамбульской газете «Вакыт» («Время») было опубликовано специальное распоряжение, запрещавшее сатирическим газетам публиковать рисунки, высмеивавшие представителей власти, дабы воспрепятствовать «порче нравов» и «смущению умов».[7]

Новый этап преследования всякого свободомыслия в печати начался в Турции с воцарения Абдул Хамида II. 11 марта 1877 г.



(накануне закрытия газеты «Хаяль») он направил садразаму Эдхем-паше распоряжение, требовавшее закрытия всех газет, которые печатают карикатуры.[8] В мае 1877 г., когда в османском меджлисе началось обсуждение нового законопроекта о печати, глава департамента по делам печати Маджид-бей, по прямому указанию султана, выступил с речью, в которой попытался обосновать, как он сам выразился, «ненужность» и «вредность» сатирико-юмористической печати вообще. При этом в качестве главного аргумента он ссылался на то, что такие газеты не бывают без рисунков, а эти рисунки способны возбудить чувства человека, даже сделать его невменяемым, они могут толкнуть людей к смуте и мятежу.[9] Когда меджлис отказался внести изменения в законопроект, султан отверг его в целом.

После разгона османского парламента в феврале 1878 г. и вплоть до свержения абсолютистского режима в июле 1908 г. нажим на печать все время возрастал. За эти тридцать лет не было дано ни одного разрешения на издание юмористических и сатирических газет.[10] Закон о типографиях, введенный 24 марта 1888 г., запрещал без разрешения цензуры печатать любые рисунки и картины, а также их распространять или ввозить из-за рубежа (статьи 23, 24, 26, 27, 29), а специальное дополнение устанавливало наказание даже за коллекционирование недозволенных цензурою рисунков.[11] Новый закон о типографиях и книготорговле, опубликованный 29 декабря 1894 г., подтверждая эти запреты и наказания, содержал особое предписание полицейским органам конфисковывать все «противоречащие нравам рисунки и предосудительные картины» (адаба мугайыр ресимлер вэ тасвират-ы мюстехджене).[12] Как отмечает в своем фундаментальном труде о режиме печати в Турции крупнейший его знаток С. Р. Искит, созданный в 1881 г. объединенный цензурный «Комитет по инспекции и надзору» (Энджюмен-и тефтиш вэ муайене) осуществлял жесткий контроль за изданием всех «рисунков, фотографий и плакатов» (левха).[13] Из этого упоминания также следует, что печатный плакат в Турции появился до 1881 г., скорее всего в пору подъема либерально-конституционного движения семидесятых годов.

Летом 1970 г., занимаясь в Архиве внешней политики России, автор этих строк обнаружил среди разнообразных печатных материалов фонда «Пресса» Азиатского департамента МИД небольшую, но очень интересную коллекцию печатных сатирических рисунков, сюжеты, надписи и манера исполнения которых дают все основания отнести их к жанру политического плаката.[14]

В коллекции 19 рисунков на 6 листах размером от машинописного до газетного листа. Ни один из плакатов не датирован, но, судя по содержанию, все они были изданы в первые недели после младотурецкого переворота — в августе—сентябре 1908 г.[15] Местом их издания является, по-видимому, Стамбул, силуэты которого



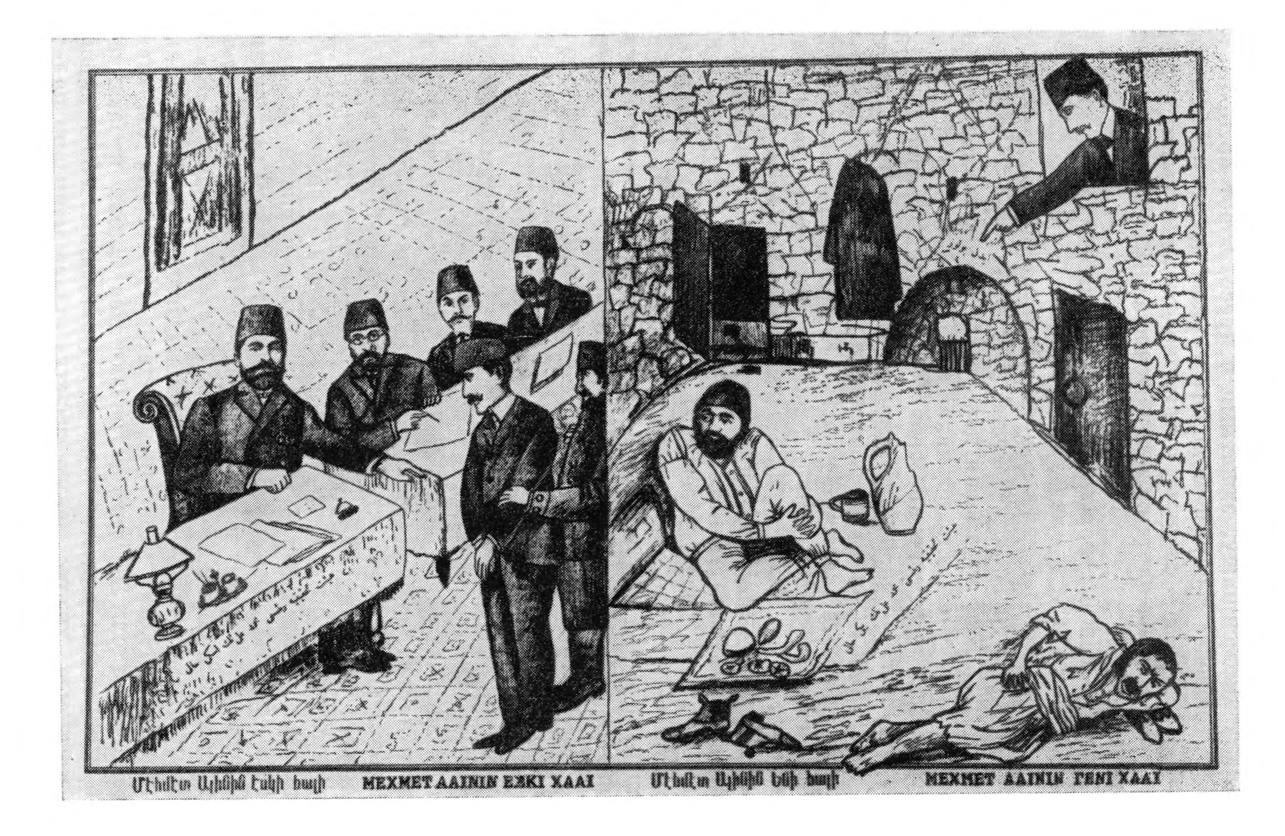
حریت تضییق آلتنده قباصقال وفهیم خانلرینك حالی

угадываются на заднем плане рисунков; название типографии, как и имя художника, не указаны.

В тематике плакатов отражены очень важные события в политической жизни Турции, когда во всей стране происходили манифестации в поддержку только что восстановленной Конституции 1876 г.

Прославление победы младотурецкой революции над феодально-абсолютистским режимом — тема большого плаката «Весы справедливости» (рис. на с. 249). Эти слова начертаны под цоколем колонны, которая служит опорой для баланса весов с двумя чашами. На правой чаше, почти касающейся земли, лежит раскрытая книга с надписью «Основной закон» (Канун-у эсаси); на левой, поднятой вверх чаше, и под ней — фигуры десяти людей в разных позах: одни в ужасе хватаются за голову, другие спрыгивают вниз и бегут прочь, третьи распростерлись мертвые. Над колонной, как солнце, сияет слово «Хюрриет» (Свобода), и его лучи освещают весы и город с минаретами за нешироким проливом. Около всех фигур написаны имена тех, над кем восторжествовали свобода и справедливость. Среди них пять бывших министров — военный Риза-паша,[16] внутренних дел Мемдух-паша,[17] морской Хасан Рами-паша,[18] лесов, недр и земледелия Селим Мельхаме,[19] финансов Рагыб-бей,[20] главный начальник артиллерийского ведомства (Топхане назыры) маршал Зеки-паша,[21] второй секретарь султана Иззет-паша,[22] а также главный адъютант султана Кабасакал Мехмед-паша, молочный брат султана Фехим-паша и адъютант султана Кенан-паша.[23] В то время, когда печатался этот плакат, все эти люди, еще недавно очень могущественные и опасные, были лишены всякой власти, находились под арестом или бежали за границу, а некоторых уже не было в живых. Плакат звал к справедливому возмездию и указывал на конкретных врагов революции и свободы. Однако не следует забывать, что многие из прежних деятелей, в том числе и некоторые персонажи плаката, смогли добиться (иногда с помощью денег) благорасположения новых лидеров.

Второй плакат состоит из 12 рисунков, которые в большинстве своем посвящены разоблачению алчности султанских сановников и наказанию этих «предателей» (хаинлер) новой властью и населением. Они снова показывают сераскера Риза-пашу, которому следователь предъявляет счета на крупные суммы, Иззет-пашу, который, вырываясь из рук полицейских, протягивает мешок золота моряку-иностранцу, ряд других второстепенных персонажей первого плаката, изображенных в виде шестиглавой гидры, от которой символизирующий законность лев с дубиной в лапах защищает земной шар. Очень интересны еще три рисунка. На одном из них показано, как крестьяне (кёйлюлер) расправляются с губернатором Бурсы, молочным братом султана Абдул Хамида II Фехим-пашой. Он был линчеван 5/18 августа 1908 г. в небольшом малоазийском городке Енишехире,[24] и это единственный рисунок,

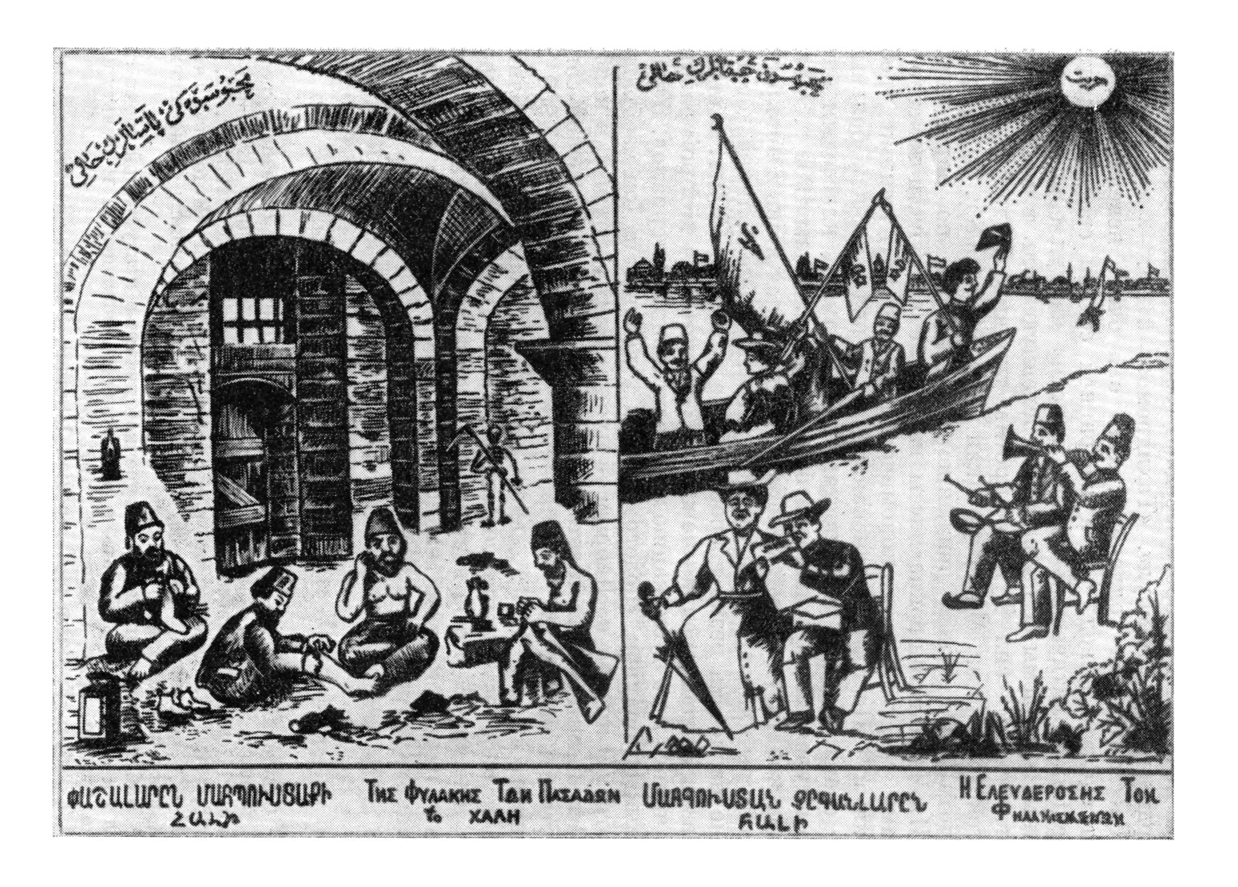


Մէհմէտ Ալիին էսկի հալի **ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙΝΙΝ ΕΣΚΙ ΧΑΛΙ** Մէհմէտ Ալիին եէնի հալի **ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙΝΙΝ ΓΕΝΙ ΧΑΛΙ**

касающийся событий в провинции. Следующий рисунок как бы подчеркивает революционную законность возмездия, показывая того же Фехим-пашу и главного адъютанта Абдул Хамида, Кабасакала Мехмед-пашу, зажатыми в пресс, ворот которого затягивает «Свобода» в образе молодого турка (рис. на с. 251). На последнем рисунке — тюрьма с широко распахнутыми воротами, через которые выходит на волю бесчисленная толпа измученных заключенных.

Одной из важных перемен в общественно-политической жизни Турции в результате младотурецкой революции было упразднение цензуры, осуществленное явочным порядком по решению собрания стамбульских издателей и журналистов 24 июля/6 августа 1908 г. Уже на третий день после восстановления конституции в Стамбуле было объявлено о создании 150 новых газет и журналов,[25] а к середине сентября их было свыше 200.[26] Вся турецкая печать бурно приветствовала наступление «эры свободы». Эта разительная перемена в положении печати — тема третьего большого плаката, состоящего из двух половин (рис. на с. 253). Изображение на левой стороне: за столами сидят члены цензурного комитета во главе с Мехмедом Али, председателем, напротив — издатель (или автор), которого держит полицейский. На правой половине плаката Мехмед Али сидит в тюрьме, а издатель, обращаясь к нему через окно с улицы, говорит: «Содеявший обретет» (т. е., «что посеешь, то и пожнешь»). Пояснительные надписи на левой и правой половинах плаката гласят: «Прежнее положение Мехмеда Али» и «Новое положение Мехмеда Али». Они сделаны на турецком языке, однако не только арабо-турецким, но также армянским шрифтом и кириллицей. Таким образом, плакат обращен как к туркам, так и к отуреченным армянам и славянам, которые в быту пользовались турецким языком, но владели только грамотой книг вероучения своего народа.[27]

Этой же интересной особенностью обладает и сходный по композиции плакат, посвященный теме торжества свободы над тиранией (рис. на с. 255). На левой половине плаката под тяжелыми каменными сводами сидят на полу четверо полураздетых турок, за их спинами стоит смерть с косой. Сверху по-турецки надпись: «Положение пашей в заключении». На правой половине в середине рисунка — причалившая к берегу лодка, в которой четыре ликующих человека держат в руках скрещенные знамена с полумесяцем и звездой и надписью «Свобода». Из этой четверки двое в фесках (турки), мужчина с непокрытой головой (немусульманин) и по-европейски одетая молодая женщина. На берегу прибывших (из эмиграции или ссылки) встречают два турка, играющие на трубе и барабане; рядом — мужчина и женщина, оба в европейских костюмах, читают некую «газету» (слово написано по-французски). Вся сцена освещена ярким солнцем, на нем слово: «Свобода» и рядом по-турецки слова: «Положение вышедших из заключения». Те же самые пояснения под рисунками сделаны на


ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ ΤΟ ΧΑΛΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

турецком языке армянскими буквами и на языке турецких греков (точнее — на греко-турецком жаргоне). Из двух последних плакатов один показывает арест «некоторых предателей» и доставку их в полицию, другой — испуганного директора Департамента печати, на которого наседают газетчики из «Сабах», «Икдам», «Терджюман», «Стамбул», «Тахидромос» и др.

Рассмотренная коллекция, хотя она очень невелика, позволяет сделать вывод, что и на ранней стадии своего развития турецкий политический плакат выносил на суд общественности важные проблемы и сыграл определенную роль в мобилизации прогрессивных сил Турции против тирании феодально-абсолютистского режима. Младотурецкая революция 1908 г. была верхушечным буржуазным движением, в котором, по определению В. И. Ленина, широкие массы народа не выступали заметно со своими собственными экономическими и политическими требованиями.[28] Поэтому османская печать в подавляющем большинстве своих органов была поставлена на службу классовым интересам турецких помещиков и буржуазии. С весны 1909 г., когда режим конституционной монархии превратился лишь в прикрытие диктатуры младотурецкого руководства, судебно-полицейское давление на печать резко возросло. Уже в апреле 1909 г. в стране была учреждена военная цензура,[29] компетенция которой распространялась и на публикацию изобразительных материалов. В числе первых за рисунок, «подстрекающий к ненависти» (он изображал расстрел 9 января на Дворцовой площади в Петербурге), в ноябре 1910 г. была закрыта газета «Сосьялист», орган Османской социалистической партии.[30] Поправки к Закону о печати 1909 г., принятые в марте 1913 г., вновь официально запрещали публикацию и распространение любых рисунков (тесавир), не прошедших цензуру.[31] Новое возрождение политического плаката началось в период подъема национально-освободительного движения турецкого народа в 1918—1923 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Советский читатель может, однако, познакомиться с образцами турецкого плаката периода национально-освободительной борьбы 1918—23 гг. по книге: Кемаль Мустафа. Путь новой Турции, т. III, М., 1934, с. 32, 48, 80, 128, 176, 192. Отметим, что в официальной турецкой «Истории» (Tarih, с. III—IV, Istanbul, 1933—34) среди 200 иллюстраций, относящихся к XX веку, нет ни одного плаката.

[2] Библиографию по истории турецкой печати и цензуры той эпохи см.: Желтяков А. Д. Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции, 1729—1908 гг. М., 1972, 300—310.

[3] Tökin F. Basın ansiklopedisi. Istanbul, 1962, s. 48—49.

[4] Fech P. Constantinople aux derniers jours d'Abdul Hamid, Paris, (1907), p. 38.

[5] См. о них: Петросян Ю. А. Политическая сатира младотурок. — НАА, 1969, № 6.

[6] Türkiyede matbuat rejimleri. Ankara, 1938, s. 872.

[7] Iskit S. R. Türkiyede matbuat idareleri ve politikaları. Ankara, 1943, s. 41—42.

[8] Там же, с. 69.

[9] Türkiyede matbuat rejimleri, s. 142—143, 145.

[10] Iskit S. R. Türkiyede matbuat idareleri, s. 76.

[11] Türkiyede matbuat rejimleri, s. 852—853, 856.

[12] Там же, с. 861—863.

[13] Iskit S. R. Türkiyede matbust idareleri, s. 117.

[14] АВПР, ф. Азиатский департамент, «Пресса», д. 375, л. 1—6.

[15] Дополнительным указанием на это время издания плакатов служит то, что они помещены в одну папку с первым номером измирской сатирической газеты «Кокорок» («Кукареку») за 16/29 августа 1324/1908 г.

[16] Риза-паша (1844—1920) был освобожден из-под ареста после того, как 13/26 августа 1908 г. возвратил казне 200 тыс. лир деньгами и недвижимостью, незаконно нажитыми при Абдул Хамиде II. См.: Ikinci Meşrutiyetin ilâni ve otuz bir mart hâdisesi. II. Abdulhamidin son Mabeyn Başkâtibi Ali Cevat Beyin fezlekesi. Yayina hazirlayan F. R. Unat. Ankara, 1966, s. 166.

[17] Мемдух-паша (1829—1923) был арестован 18/31 августа 1908 г. — Там же, с. 164, 190.

[18] Хасан Рами-паша (1842—1923) был арестован 5/18 августа 1908 г. и освобожден в начале сентября 1908 г. после того, как внес в казну (фактически в кассу партии «Единение и прогресс») 100 тыс. лир наличными. — Там же, с. 163, 164, 167.

[19] Селим Мельхаме бежал в Европу на итальянском пароходе 29 июля/10 августа 1908 г. — Там же, с. 161.

[20] Рагыб-бей (1850—1909) ушел в отставку 3/16 августа 1908 г. — Там же, с. 190.

[21] Зеки-паша (1849—1914) был освобожден из-под ареста, когда отказался от имений, оцениваемых в 100 тыс. лир. См.: Алиев Г. З. Турция в период правления младотурок, 1908—1918 гг. М., 1972, с. 122.

[22] На плакате он назван Фирари (беглец) Иззет: 31 июля/13 августа 1908 г. он бежал из Стамбула на английском судне (до того скрывался в германском посольстве). Ikinci Mesrutiyet, s. 162.

[23] Эти трое были убиты разъяренной толпой (см. ниже).

[24] Ikinci Meşrutiyet. . ., s. 164.

[25] Голобородько И. И. Турция (М.), 1912, с. 112.

[26] Iskit S. R. Türkiyede matbuat idareleri, s. 159.

[27] См.: Еремеев Д. Е. Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории). М., 1971, с. 172—176.

[28] В. И. Ленин. Государство и революция. — Полн. собр. соч., т. 33, с. 39.

[29] Günyol V. Matbuat. — In.: «Islam Ansiklopedisi», c. VII, Istanbul, 1957, s. 379.

[30] Tunçay M. Türkiyede sol akımlar, 1908—1925. Ankara, 1967, s. 27—28.

[31] Türkiyede matbuat rejimleri, s. 718.

С. Г. Кляшторный

СТЕЛЫ ЗОЛОТОГО ОЗЕРА

(К ДАТИРОВКЕ ЕНИСЕЙСКИХ РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ)

Стелы с древнетюркскими рунами, найденные в междуречье Енисея и Абакана, в межгорных долинах к северу от Джойского хребта и в Койбальской степи, оказались среди первых, что создали великолепную эпиграфическую коллекцию Минусинского музея.

ПАМЯТНИКИ

Сто лет прошло, как крестьянин дер. Иудино (современное с. Бондарево) Е. Ф. Корчаков нашел две каменные плиты, лежавшие в нескольких саженях друг от друга, в версте от небольшого озерца Алтын-кёль, и, вскоре после создания музея (1877 г.) его основатель, Н. М. Мартьянов, перевез обе стелы в Минусинск.[1] Наиболее подробное их описание составил в 1906 г. сибирский краевед-археолог А. В. Адрианов.[2] Первый памятник Алтын-кёля (АК-I) «имеет расширенный и округленный по узким граням верхний конец и узкий треугольный — нижний. Длина плиты 183.5 см, ширина вверху 43.5 см, внизу — 25 см, толщина 20.5 см. Три грани этой плиты покрыты руноподобной надписью, состоящей из 344 букв. Одна из широких сторон плиты представляет гладкую, хорошо сохранившуюся поверхность. На этой стороне вдоль краев идут две строки надписи, разделенные бороздой, причем внутренняя строка в нижней части плиты заворачивается поперек ее, в верхней части обе строки идут вдоль края по закруглению поперек плиты. Внутреннее пространство между строками ничем на плите не заполнено. Надпись по длине плиты тянется 137 см от верхнего ее конца, так что нижний конец плиты, предназначавшийся для вкапывания (около 56 см), был свободен от надписи. На этой стороне находится 149 букв. Они врезаны довольно глубоко и хорошо сохранились; высота букв 5 см, толщина штриха 3 мм. По узким граням плиты надпись идет в три строки, разделенных двумя бороздами. Она проходит, не прерываясь, и через закругленную верхнюю часть плиты и по длине занимает

такое же место, как и на широкой грани. Надпись на правом боку плиты сохранилась хуже, она стерлась, а на закругленном верху буквы едва видны и лишь кое-где; . . . здесь всего сто букв. Зато надпись левого бока сохранилась чрезвычайно отчетливо; буквы в 5—6 см высотой врезаны глубоко, при ширине штрихов в 5—6 мм, только нижняя третья строка, для которой на сколотом боку не нашлось места, имеет буквы ниже и частью переходит на заднюю грань. Надпись этой стороны состоит из 95 букв».[3]

Второй памятник Алтын-кёля (АК-II), случайно расколотый при ремонте музея на две части, «представляет плиту из плотного красновато-темносерого песчаника, таким же способом, как и предыдущая, отделанную, т. е. с закругленным верхним концом; только у этой плиты нижняя часть более широкая, чем верхняя. Длина плиты 105 см, ширина вверху 45 см, внизу 62 см, толщина 20 см. На широкой грани этой плиты, вдоль обоих краев и по закруглению вверху расположена надпись на 147 см в длину, в одну строку плохо сохранившихся букв, а под бороздой идет вторая строка едва заметных букв и только с левой стороны. . . По обоим узким ребрам плиты и по закругленному верху идут две строки букв, разделенных средней бороздой; здесь надписи глубже врезаны и лучше сохранились, особенно на левом боку».[4]

Как видно из описания, обе стелы типологически предельно близки друг другу, что подтверждается и палеографическим анализом памятников. В то же время они весьма отличаются от других стел с руническими надписями, обнаруженными в долине Енисея. Именно формальные признаки заставляют полагать, что стелы Алтын-кёля, установленные рядом, были изготовлены в одно время, по единому «шаблону», мастером (или мастерами) такой «камнеписной» школы, которая просуществовала очень недолго и не получила распространения на Енисее.[5]

Основные стилистические приемы этой школы: 1) закругление верха плиты и расположение надписи а) на широкой грани — в виде прямоугольника с закругленными углами, из одной или двух строк, обрамляющих незаполненную внутреннюю поверхность плиты; внутренняя поверхность дополнительно обрамлена строчной направляющей бороздой, служащей верхним или нижним основанием знаков; б) узкие грани разлинованы прямыми строчными бороздами, задающими высоту знаков. 2) Надпись располагается на трех гранях, оставляя незаполненной тыльную сторону, на которую лишь иногда переходит не вместившаяся на боковой стороне часть знаков. 3) Некоторая часть знаков лицевой стороны АК-I расположена бустрофедоном. 4) Оба памятника не несут на себе тамговых знаков, обычных для преобладающего большинства енисейских памятников.

Генетические корни некоторых приемов очевидны — строчные борозды или их наметки характерны для больших памятников Орхона, датируемых третьим—шестым десятилетиями VIII в.

Уже в руническом тексте Карабалгасунского памятника (третье десятилетие IX в.) строчные борозды отсутствуют. Расположение строк бустрофедоном также восходит к ранним памятникам Монголии — Чойрэнскому (начало девяностых годов VII в.)[6] и Ихэ Асхетскому (начало VIII в.).[7] Окаймляющее расположение надписи характерно для Ихэ Ханын-норской плиты (Центральная Монголия, первая половина VIII в.).[8] Все эти приемы, взятые в целом, не выводят нас за пределы первой половины VIII в. и указывают на прямую связь с «камнеписной» школой второго Тюркского каганата.

Лишь некоторые памятники Минусинской котловины (но не Тувы) имеют определенные типологические схождения с памятниками Алтын-кёля. Такова надпись Минусинского музея (Е-42), где на каждой из четырех граней памятника имеется одна строчная борозда. Происхождение этого памятника неизвестно. Таков третий памятник с Уйбата (Е-32), один из наиболее величественных памятников Енисея. На его двух широких гранях видны следы окаймляющей плиту по краю строчной борозды; однако, в отличие от памятников Алтын-кёля, внутренняя поверхность плоскости также заполнена надписью, строки которой не ограничены бороздами. Существующие чтения надписи нуждаются в серьезных коррективах, но, как теперь очевидно, надпись датируется первой половиной VIII в. И, наконец, таков памятник дер. Очура (~Ачура), открытый в 1857 г. в Койбальской степи, примерно в 70—80 км к северо-востоку от Алтын-кёля. Эта стела разлинована по трем граням строчными бороздами; на каждой из трех граней по четыре строки, расположенные бустрофедоном. На тыльной стороне имеется приписка из 11 знаков. Дукт надписи совершенно сходен с дуктом надписей Алтын-кёля. К сожалению, надпись повреждена и сохранилась лишь фрагментарно.

Порядок чтения памятников Алтын-кёля не был предметом обсуждения. При первой публикации В. В. Радлов выделил как начальный наиболее длинный текст лицевой стороны. Х. Оркун и С. Е. Малов эту последовательность чтения повторили. Между тем, формальные признаки позволяют считать, что начальным в обеих надписях был текст левой стороны; знаки двух инициальных строк здесь примерно на 0.5—1 см выше, штрих значительно шире и врезан глубже.[9] Обе надписи открываются одной и той же инициальной фразой, специфичной только для этих двух памятников и укрепляющей предположение об одном авторе обоих текстов.

ТЕКСТ

Отмеченная В. В. Радловым плохая сохранность части текстов (особенно АК-II) и ошибки, допущенные при ретушировании эстампажей, выполненном Н. П. Евстифеевым (Минусинск, 1893 г.), предопределили многочисленные неясности и неточности чтения

надписей.* При обследовании памятников автором в 1972 г. некоторые из ошибок воспроизведения удалось исправить, что позволяет предложить новое чтение и перевод надписей.[10]

АЛТЫН - КЁЛЬ I

Левая сторона:

(1) (*7*) on aj eltdi ögüm a kelürti elimke erdem üčün men jerledim (2) (*8*) elim ökünčüŋe qalyn jaγyqa qyjmatyn tegipen adyryldym jyta (3) (*9*) iniŋizke ičiŋizke ingen jüki ild tüšürtiŋiz

Лицевая сторона:

(4) (*1*) jerdeki bars etigim a erdemligim a bökme[dim] (5) (*2*) atasyz alp ertiŋiz it utsar köč ert(t)iŋiz a inilig bürt uč a bars adyrylma jytu (6) (*3*) [bu?] atymyz umaj begimiz (begmiz) biz uja alp er özin alty er almadyŋ özlük at özin üč qag almadyŋ jyta ezünčüm a közünčüm a adyrylma sečilenmü ögürdim[iz]

Правая сторона:

(7) (*6*) altun šuŋa jyš kejiki artγyl toγ(γ)yl at ud ačun a barsym adyrylu bardy jyta (8) (*5*) tört inelgü ertimiz bizni erklig adyrty jyta (9) (*4*) er erdem üčün inim ečim ujaryn üčün benümin tikė berti

Перевод:

(1) Десять лун она носила (меня), моя мать! Она принесла (меня) моему элю. Я утвердился на земле благодаря моей доблести. (2) Я храбро сражался с многочисленным врагом и покинул мой эль, (оставив) его в раскаянии. Увы! (3) Своим младшим и старшим братьям Вы снимали-сгружали верблюжьи вьюки (с дарами). (4) Тем, что было на земле — моими деяниями и моей доблестью — я, Барс, не пресытился! (5) Без отца Вы героем были! Когда псы преследовали (дичь), Вы проносились мимо кочевий! Сгинь, [дух] смерти со своей младшей братией! О, Барс, не покидай (нас)! Увы! (6) Наше звание. . ., наш бег — Умай (вар.: наше звание таково — мы умай-беги), мы храбрые воины (нашего) рода-племени (вар.: мы родичи, храбрые воины)! Увы! Шестерых мужей с собой ты не взял! Скакуна с собой ты не взял! Трех сосудов с собой ты не взял! О, моя драгоценность! О, мое сокровище! Не покидай (нас)!. . . . . . мы (прежде) радовались. (7) О, дичь золотой черни Сунга, множься! Рождай (свое потомство)! Мой Барс покинул коней и быков, (весь этот) мир, он ушел! Увы! (8) Нас было четверо высокородных. Эрклиг разлучил нас. Увы! (9) Ради моей воинской доблести, ради могущества моих старших братьев и моих младших братьев мне воздвигли (этот) вечный памятник.

* Подлинники эстампажей хранятся в Рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР и использованы при подготовке статьи.

АЛТЫН - КЁЛЬ II

Левая сторона:

(1) (*5*) on aj eltdi ögüm oγlan toγdym erin ulγatym (2) (*6*) elimde tört tegzindim erdemim üčün ynanču alp ačynt[y]

Лицевая сторона:

(3) (*1*) erdem bulsar bodunyγ erk bodunyγ . . . tym eren uluγ a erdemig baturmyš (4) (*2*) erdem elim bulsar bodun esrük jürümedi erinčim ikizime (5) (*3*) qujda qadašyma qunčujyma adyrylu bardym men oγlymqa. . . bodunymqa bökmedim (6) (*4*) sekiz qyrq jašyma. . .

Правая сторона:

(7) (*8*) er erdem üčün tüpüt qanqa jalabač bardym kelmedim (8) (*7*) er erdem bulsar andaγ ermis esiz men altun qyrqa kirtim

Перевод:

(1) Десять лун она носила (меня), моя мать! Я родился мальчиком, я вырос воином. (2) Четырежды я уходил из своего эля и (четырежды) возвращался. За мою доблесть Ынанчу Алп вознаградил (меня). (3) Я (покинул?) доблестный народ булсаров, могучий народ. О, Эрен Улуг! Он погубил (свою) доблесть. (4) Мой доблестный эль, народ булсаров, не ходил растерянным (из-за своих несчастий). Мое горе — своих близнецов, (5) своих подруг-княжен в теремах я покинул! На моих сыновей. . ., на мой народ я не нагляделся! (6) В свои тридцать восемь лет. . . (7) Ради (своей) воинской доблести я ходил послом к тибетскому кагану. Я не вернулся. (8) Доблестные булсары такими вот (героями) были. О, горе! Я ушел в Золотую степь.

Примечания:

АК-1, *стк.* 1: а) О выражении ʻдесять (лунных) месяцев она носила (меня)ʼ см. МЕПТ, 55: Bazin L. Les calendriers turcs anciens et medievaux. Lille, 1974, p. 134; (далее: Bazin, Calendriers); б) Глагол jerle- ʻобживать, осваивать какое-либо местоʼ, ср. ДТС. 258: ʻя освоил (это место) благодаря моей доблестиʼ. ***Стк.* 2:** а) qyjmatyn, вслед за С. Е. Маловым, я перевожу ʻхраброʼ, ср. ДТС 442: ʻя умер, храбро сражаясь с многочисленным врагомʼ. б) öküñč ʻраскаяние, сожалениеʼ, ДТС, 383; Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974, с. 524 (далее: ЭС). ***Стк.* 3:** а) в тексте не iŋez (МЕПТ, 55), а ild ʻспускать, сниматьʼ, синонимично tüšürt-; здесь парное выражение. ***Стк.* 4:** а) Чтение bars отчетливо на всех эстампажах, что отмечает также Д. М. Насилов.[11] Ср., однако, МЕПТ 53. б) etig ʻдело, деяниеʼ ДТС 187. ***Стк.* 5:** а) В тексте не 𐱃𐰽𐰺 atsar (МЕПТ 53), а 𐱃𐰽𐰔 atasyz.

б) Слово it 'пёс' в руническом наборе С. Е. Маловым обозначено в скобках, в транскрипции и переводе опущено (МЕПТ 53). На эстампажах оно отчетливо. в) Замена очевидного на эстампажах 𐰋𐰇𐰼𐱅 bürt на 𐰋𐰇𐰼𐰃 böri (МЕПТ 53) 'волк' совершенно неоправдана. Слово bürt в других рунических памятниках не отмечалось. В памятниках XI в. оно выступает как архаичное. Согласно Махмуду Кашгарскому, bürt 'ночной кошмар', bas bürt tut- 'внезапно схватить кого-либо'. Ср. Clauson, p. 358 (< bür- 'обманом скручивать жертву').[12] К. К. Юдахин регистрирует в киргизском языке *мүрт* 'внезапная смерть', *бүрт кет-* или *бүрт өл-* 'скоропостижно умереть'.[13] Ср. также РО IV, 1400: телеутское *пүртү-* 'истреблять'. Контекст надписи позволяет видеть здесь обозначение духа внезапной (?) смерти; указание на братьев и других 'родственников' божества (духа) обычно для пантеона тюркских народов.[14] ***Стк.* 6:** а) Культ Умай, женского божества плодородия, в древнетюркских государствах модифицировался также в культ покровительницы высших аристократических кругов кочевой знати.[15] б) В тексте не alt²y qyl-, а alt²y er al- в) özlük at 'скакун', ДТС 395, г) В тексте не 𐰼𐰏 erig (МЕПТ 53), а 𐰴𐰏 qag, то есть вин. пад. от qa 'сосуд', ДТС 399. д) Вместо чтения umaj beg biz на неретушированном эстампаже (РА) очевидно чтение umaj begimiz, которое правильно предположил Д. М. Насилов.[16] е) Семантика парного сочетания ezünč (?) — közünč определена по значению второго составляющего — 'сокровище', ДТС 321; ж) Предположительное чтение sečilenmü (?) мне расшифровать не удалось; ögürdim [iz] читается по тексту и неретушированному эстампажу. ***Стк.* 7:** а) Эта строка, в которой все знаки были верно определены и воспроизведены как на эстампажах, так и в исследованиях, читалась, тем не менее, с отступлением от самых обычных норм, что привело к совершенно неоправданным натяжкам в интерпретации. Между тем, она содержит лишь одно трудно идентифицируемое сочетание знаков: [runic], которое мы, с некоторой долей сомнения, интерпретировали в переводе; слово ačun (из согдийского zwn) 'земной мир' необычно для енисейских текстов, однако следует иметь в виду, что в них встречается mar (МЕПТ, индекс) 'наставник, учитель', проникшее в древнетюркский, через согдийский, из арамейского;[17] б) Ср. Е-48, 4: ič jer elki artzun 'пусть множатся косули внутренних земель!' (МЕПТ 94—95). ***Стк.* 8:** а) inel 'высокородный, лицо из ханского рода', ДТС 209, б) erklig, Эрклиг — владыка подземного мира в древнетюркском пантеоне (Эрклиг-хан), заимствовано в монгольский в форме 'Эрлик-хаган' (последняя форма воспринята тюркскими языками Сибири), ср. Clauson, p. 224. В этом тексте (АК-I) слово впервые идентифицировано А. фон Габэн.[18]

АК-II, *стк.* 1: а) Возможности чтения знака в словах elt- (ilt-), el (il), esrük (isrük) приводит А. М. Щербак;[19] б) Ср. в над-

писи д. Очура (Е—26); oɣlan toɣdy 'родился мальчиком'. ***Стк.* 2:** а) Ср. ДТС 549; 'Из своей страны я уходил и возвращался четырежды'; б) [ᛚ]⊙⅄ С. Е. Малов читает (i) čintä 'среди' (МЕПТ 57), предполагая далее лакуну. Однако лакуны здесь нет, и потому очевидно чтение финитной формы глагола (a) čynty 'он вознаградил, оказал милость'. Тем самым определяется и имя государя — Ынанчу Алп; ср. надпись д. Очура, стк. 1: 'Правитель государства Ынанчу Бильге'. ***Стк.* 3:** а) Дискуссию о народе булсар/болсар ('большар') см. у С. Е. Малова, который, однако, сделал попытку интерпретировать это слово иначе, чем этноним. Нам представляется несомненно правильным чтение слова как этнонима, предложенное В. В. Радловым. б) По В. В. Радлову и С. Е. Малову, er atym eren uluɣ 'мое геройское имя Эрен Улуг'. При этом чтении странно выглядит винительный падеж дважды повторенного в начале строки bodunyɣ. Между тем, читаемое В. В. Радловым (е)r на неретушированном эстампаже, как и в оригинале, неразличимо, что заставляет предположить в -tym финитную форму глагола (прош. вр., 1 л.), скорее всего со значением 'покинул'. в) Конец строки С. Е. Малов читает batur män 'я герой'; такому чтению, однако, препятствует винительный падеж предшествующего слова, как впрочем и не характерная для рунических памятников форма batur. На неретушированном эстампаже конечное -ŋ, однако, не читается, заметна лишь часть осевой черты: |𐰢-myš. Поэтому, предпочтительно чтение baturmyš < batur- 'утопить, погубить, скрыть'. Ср. Е-26, 5: erdem ölti 'его доблесть умерла' (МЕПТ 49, надпись д. Очура). ***Стк.* 4:** а) esrük 'пьяный, буйный', ср. ДТС 184, восходит к глаголу isir/esir- 'терять ясность сознания', 'терять память' 'растеряться', ср. РО, I, 1527; ЭС 309—310. б) erinč 'горе, несчастье' (ДТС 178); менее вероятно erinčü 'грех, проступок' (там же); ekiz/ikiz 'близнецы' (ДТС 168); ЭС, с. 252—254. ***Стк.* 6:** Л. Базен полагает, что лакуна в конце строки испортила слово со значением 'умер, погиб' — Bazin, Calendriers, p. 123. ***Стк.* 7:** а) jalabač / jalavač 'посол'; этот же термин в сходном контексте в надписи Уйбат-I (Е-30). Можно отметить, таким образом, что везде, где в енисейских надписях речь определенно идет о посольстве, употреблен термин jalabač, а не elči. Значение 'посол' для последнего термина в енисейских рунических текстах сомнительно. б) Последнее слово С. Е. Малов читает kelürtüm 'я принес, доставил'. Предпочтительнее, однако, хорошо обоснованное чтение Л. Базена kelmedim 'я не вернулся' (Bazin, Calendriers, p. 112). ***Стк.* 8:** а) С. Е. Малов читает в тексте esin Эсин, еще одно собственное имя героя надписи. Предпочтительнее чтение esiz 'о, горе!', 'какая жалость!'. б) Чтение В. В. Радлова, повторенное С. Е. Маловым, qaparqa (?) исправлено Х. Н. Оркуном на qyrqa 'в степь' (Orkun III, 105, 107). Выражение 'ушел в Золотую степь' в контексте надписи синонимично выражению 'ушел в загробный мир'.

ГИБЕЛЬ БАРС-БЕГА

Повествование в АК-II ведется от имени героя эпитафии, в первом лице, и лишь в стк. 3 содержится «авторская ремарка», называющая имя героя и «подтверждающая» факт его гибели. Значительно сложнее построение АК-I. Изложение от имени героя эпитафии (в первом лице) ведется в стк. 1, 2, 4, 9. Как и в АК-II, экспозиционной завязкой, служащей изначальной точкой отсчета времени повествования, является необычное для енисеики сообщение о рождении героя (ср., однако, надпись Тоньюкука). Вся «автобиографическая» часть АК-I заключена в стк. 1—2, причем выделены моменты рождения и гибели в битве с более многочисленными врагами. Здесь же содержится косвенный упрек элю (то есть древнекыргызскому государству или, по крайней мере, его аристократической верхушке), не сумевшему отстоять героя эпитафии.

Свое имя — Барс — герой называет, горюя о том, чем 'не пресытился' он на земле (стк. 4); наконец, в последней строке, еще раз напоминая о своей воинской доблести, герой упоминает тех, чьей волей воздвигнут памятник, — своих братьев. От их имени ведет повествование один из братьев (ср. афф. принадл., 1 л., ед. ч., в стк. 7). Упоминаются щедрость погибшего к братьям (стк. 3), их происхождение из ханского рода (inel) и число — четверо братьев, 'разлученных Эрклигом' (стк. 8), трудный путь покойного к подвигам и его охотничья страсть (стк. 5) — все это вперемешку с заклятьями и призывами к покойному, явно восходящими к традиционным формулам оплакивания. Наиболее сложна авторская атрибуция стк. 6; текст выходит за рамки повествования от лица братьев, и, быть может, рассказ переходит здесь к упоминаемым 'шестерым мужам', уцелевшим в битве; в надписи Уйбат-3 (Е-32) они названы 'шестью доблестными бегами'.[19] По всей вероятности, они являлись правителями шести племен — 'уделов' древнекыргызского эля (ср. Е-1, Е-5, Е-49). По смыслу сообщения этой строки, тело героя, павшего на поле битвы, не было погребено должным образом.

Итак, герой эпитафии пал в неравном бою с многочисленными врагами, причем его эль потерпел жестокое поражение, ибо не только не смог сберечь воина из ханского рода, но даже предать его тело погребению по обряду. Кто был этот воин, имя которого было — Барс, а место, где он жил и погиб, — чернь Сунга? [20]

Рассказывая об обстоятельствах кыргызского похода зимы 710—711 гг., шад тардушей и будущий Бильге-каган второго Тюркского каганата называет имя вождя своих врагов: '. . был Барс-бег. Это мы дали ему титул кагана. И мы дали ему в жены мою младшую сестру — княжну. Но он изменил (нам). И вот каган был убит, а (его) народ стал рабами и рабынями'. (КТб 20): 'проложив дорогу по снегу глубиной с копье и поднявшись на Кёгменскую чернь, мы разбили кыргызский народ, когда он спал. С их каганом мы сразились в черни Сунга. . . Кыргызского ка-

гана мы убили, а его эль взяли' (КТб 36). Аналогичное повествование содержится в собственной надписи Бильге-кагана (БК 27) и в надписи Тоньюкука (Тон 24—28).[21]

Совпадение обстоятельств, места (чернь Сунга) и имени главного героя (Барс) не оставляют сомнений в правильности идентификации описаний орхонских текстов с описанием енисейской надписи. Определяется и дата АК-I (711 г.).

КЫРГЫЗСКИЙ ПОСОЛ В ТИБЕТЕ

Как уже отмечалось, не вызывает сомнений и практическая единовременность сооружения АК-I и АК-II. Между тем, предложена иная датировка АК-II в связи с упоминанием в надписи посольства 'к тибетскому хану'. Л. Базэн полагает, что политические контакты между кыргызами и тибетцами не могли возникнуть ранее сокрушения кыргызами Уйгурского каганата и их появления в Монголии, так как только в период между 840—848 гг. кыргызы были прямо заинтересованы в союзе с тибетцами. Именно к середине IX в. и отнесена интересующая нас надпись (Bazin, Calendriers, p. 112—113).

Оценка обстановки и вытекающая из нее дата здесь базируются на предположении об отсутствии дипломатической инициативы у кыргызского эля до победоносных войн с уйгурами. Между тем, это не так — кыргызский хан с неменьшей настойчивостью искал союзников против грозного врага — государства тюрков — с момента возрождения каганата в конце VII в. Некоторые направления поисков названы Тоньюкуком (Тон 19—21), а одно из них, не отраженное в тюркских надписях, но упомянутое в АК-II, подтверждается перекрестным сообщением китайского источника: в 7-ю луну 5-го года Цзин-лун, то есть в августе—сентябре 711 г., император Жуйцзун получил сообщение, что в Тибете находится прибывшее туда ранее кыргызское посольство, 'не желающее входить в Хань'. Сведения о поведении кыргызов распространились среди северных соседей империи, что серьезно обеспокоило Жуйцзуна.[22] Именно об этом, едва ли не первом кыргызском посольстве в Тибет и рассказывает стела Эрен Улуга, погибшего на чужбине. Здесь же содержится тронное имя Барс-бега — Ынанчу Алп.[23] Если принять отождествление с 'правителем эля', упомянутым в Е-26 (Очура), то более полной формой тронного имени было Ынанчу Алп Бильге.

В заключение отметим, что новая интерпретация енисейских текстов из Хакасско-Минусинской котловины позволяет с высокой степенью достоверности выделить группу текстов, датируемых первой половиной VIII в.: надписи Алтын-кёля, третью Уйбатскую надпись, надпись д. Очура. К этой же группе следует отнести первый памятник с Уйбата (Е-30) и третий памятник с Тубы (Е-37), датируемые Л. Базэном серединой VIII в. (Bazin, Calendriers, p. 108—109). Оба памятника, однако, могут быть отнесены к тому же времени, что и стелы Золотого озера.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О первоначальном местонахождении надписей и обстоятельствах их открытия см.: Клеменц Д. 1) Древности Минусинского музея. Памятники металлических эпох. Томск, 1886, с. 40, 178; 2) Библиография. — Изв. ВСОРГО, т. XXI, № 2, 1890, с. 62; Aspelin J. R. Decouverte des inscriptions de l'Jénissei. II, p. 10—11.

[2] Адрианов А. В. Описание. — ЛО ААН, ф. 2, оп. 2, № 12, с. 179—183.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Издание памятников см.: РА, табл. LXXXI, ХС, XCI; II, pl. XXI—XXII. Публикации текстов см.: ATIM 332—336; Orkun H. N. Eski Türk yazıtları, c. I—IV. Istanbul, 1936—1941 (далее: Orkun), III, 11, 101—111; МЕПТ, с. 52—58 (Е-28, Е-29).

[6] Кляшторный С. Г. Руническая надпись из Восточной Гоби. — In: «Studia Turcica», Budapest, 1971, p. 251.

[7] РА, табл. LXXXIV.

[8] РА, табл. LXXI, LXXIII.

[9] Ср., напр., инициальную строку надписи Тоньюкука (РА, табл. CIX).

[10] Я даю свою нумерацию строк (первая цифра), отмечая также нумерацию С. Е. Малова (вторая цифра курсивом). Пользуюсь случаем выразить признательность Л. Ю. Тугушевой за ценные замечания к предложенному здесь чтению и переводу памятников.

[11] Насилов Д. М. Некоторые замечания к прочтению енисейских памятников. — В сб.: «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. 1971». М., 1974, с. 209.

[12] Divanü Lûgat-it-türk tercümesi. Ankara, 1939, I, 341, II, 10; Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford, 1972.

[13] Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь, М., 1965, с. 168, 543.

[14] Ср., например: Трощанский В. Эволюция черной веры у якутов. Казань, 1902, с. 64; Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев. — МАЭ, т. IV, вып. 2, 1924, с. 1—16. Особого бога смерти отмечает у башкир Ибн Фадлан (X в.), см.: Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу, Харьков, 1966, с. 131.

[15] Потапов Л. П. Умай — божество древних тюрков в свете этнографических данных. — ТС, 1972, М., 1973, с. 285—286.

[16] Насилов Д. М. Некоторые замечания. . ., с. 209.

[17] О влиянии на древнекиргизскую культуру христианства и манихейства, с их согдийской терминологией, выработанной в Средней Азии, см.: Кляшторный С. Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи. — ПВ, 1959, № 5, с. 162—169.

[18] Gabain A. v. Inhalt und magische Bedeutung der alttürkischen Inschriften. — «Anthropos», Bd. 48, 1953, S. 554; Roux J. F. La mort chez les peuples altaiques anciens et medievaux. Paris, 1963, p. 62. Об Эрлике см. Анохин А. В. Материалы по шаманству. . ., с. 1—16.

[19] Щербак А. М. Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения. — ТС, 1970, М., 1970, с. 130.

[20] Новую интерпретацию текста см.: Кляшторный С. Г. Храм, изваяние и стела в древнетюркском погребальном обряде. — ППиПИКНВ, X, М., 1974, с. 69.

[21] Более подробно см.: Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 137—139.

[22] Цэфу юаньгуй, т. 12, цз. 974, с. 11445. Переводом сообщения я обязан любезности Л. Н. Меньшикова.

[23] Об обязательном тронном имени в древнетюркских государствах см. в статье М. Мори в настоящем сборнике.

Х. Короглы

«РОДОСЛОВНАЯ ТУРКМЕН» АБУЛГАЗИ И ОГУЗСКИЙ ЭПОС

Термин «Огузнаме», которым обозначали свой героический эпос огузские племена, встречается впервые в книге Абу Бакра б. Абдаллаха б. Айбека ад-Давадари (нач. XIV в.). Примерно к этой же эпохе относятся уйгурская рукопись «Огузнаме», хранящаяся в Парижской национальной библиотеке, и другая рукопись, упомянутая у Рашид ад-дина, но не дошедшая до нас. Существуют сведения еще о ряде «Огузнаме», составленных в XV—XIX вв. в Средней Азии на чагатайском языке.

Материалом для составления «Огузнаме» служили, очевидно, легенды и предания, передававшиеся изустно. Так, Рашид ад-дин пишет:

«Никто до сих пор точно не зафиксировал деление их по родам, и нет точных названий их. Все, что о них известно, собрано со слов сказителей и знати этих племен, а также из отдельных их книг».[1]

В таких же выражениях сообщает об источниках своего сочинения Абулгази:

«. . .туркменские муллы, шейхи и беки прослышали, что я хорошо знаю историю, и вот однажды все они пришли (ко мне) и сказали: «у нас (в народе) есть много (разных списков) сказаний об огузе (огуз-наме), но нет (ни одного) хорошего; все они (полны) ошибок и друг с другом не сходятся; каждый из них в своем роде».[2]

Сохранившиеся до наших дней «Огузнаме», составленные на территории Средней и Центральной Азии, весьма фрагментарны и не дают полного представления о богатом эпическом творчестве огузов, каким является «Книга моего деда Коркута».[3]

То, что легенды и предания об огузской старине и о Коркуте первоначально складывались в Средней Азии, ныне ни у кого не вызывает сомнения. Но странно, что кроме некоторых фрагментов, намеков и очень глухих сведений об эпической истории огузов в Средней Азии, ничего не сохранилось. Это обстоятельство еще раз подчеркивает значение «Родословной туркмен» Абулгази, использовавшего ранние «огузнаме» для изучения огузского героического эпоса, в частности «Книги».

Интересующие нас сведения об огузских богатырях Абулгази приводит в разделе «О царствовании Кайы-хана, старшего сына Кун-хана».[4] В «Книге» сам Кайы-хан не участвует, есть только упоминание о роде кайы. Видимо, ханство над огузскими племенами в момент переселения их на Кавказское плато и в Малую Азию не находилось у племени кайы. В труде же Абулгази последнее обладает верховной властью почти до конца повествования; более того, и Коркут-ата принадлежит к этому племени (в «Книге» — он из племени баят). Салорам, в отличие от сообщений в «Книге», в «Родословной туркмен», отведены второстепенные роли. Вначале они, вместе с близким им илем имир, были 'беками совета' (*käŋäш bäклäр*) [5], затем визирами в трех поколениях. В дальнейшем, как видно из «Книги», они уже обретают полновесную власть, хотя формально во главе племенных объединений остается Байындыр-хан. В «Родословной туркмен» байындырская знать также показана в роли советников потомков Инал-Явы, и при этом главным советником рода остается Коркут-ата.

В дальнейшем, когда большая группа огузов переселилась в Азербайджан, на Кавказ и в Малую Азию, оба эти иля (салор и байындыр) из подчиненного положения выдвинулись на руководящее. Кроме того, этноним байындыр в «Книге» стал главным правителем огузов, то есть персонифицировался в эпоним.

Естественно, немало потребовалось времени, чтобы сказание об огузских богатырях, сложенное на их ранней родине, столь трансформировалось. В кавказско-малоазиатских версиях нет прямых указаний на раннюю географию, приведенную в «Родословной туркмен»; в «Книге» с большим трудом, путем догадок и предположений можно восстановить кое-какие приметы среднеазиатской среды. Из всего огромного количества древнеогузских персонажей «Родословной туркмен» в «Книге» насчитывается лишь 11 совпадающих имен. В такой же степени незначительно совпадение этнических названий двух памятников. Но и наличие общих имен не всегда выявляет идентичность их функции и их действий, как это показывает следующая схема:[6]

«Родословная туркмен»	«Книга»
1) Айна — хан иля авшара, из-за словоотступничества хана Кол-Эрки пошел войной на него: Кол-Эрки убил сына Айна-хана, захватил его юрты, затем помирился с ним.	1) Айна-Мелек (женщина) упоминается лишь один раз во введении к «Книге» в связи с характеристикой женщины.
2) Байындыр, сын Кок-хана. Он упоминается только три раза в родословной схеме Огуза и его потомков. Никакой властью еще не обладает.	2) Байындыр, сын Кам-Гана. Хан всего огузского иля, присутствует почти во всех сказаниях.

3) Бекдез из иля байындыр, один из советников (инак-бак) Дуйли-Кайы. Упоминается один раз. Кроме того, есть и Бюкдюз, сын Тениз-хана, упомянутый в родословной схеме огузов.

4) Дукер. Это имя встречается трижды: в списке детей и потомков Огуз-хана, где он назван четвертым сыном Ай-хана; в разделе: «О распределении Кайыханом мест между своими младшими братьями и сыновьями»; в эпизоде, когда каждому из внуков Огуз-хана определяют тамгу и онгон. Он получает в качестве онгона (пароля) птицу Коршун.

5) Казан-алп (Казан-бек, Казан-Салор). О нем говорится как о беке, восставшем против Шахмелика.

6) Караджик — один из внуков Огуз-хана, родился от наложницы. Вот почему, когда Кунхан распределял места между своими младшими братьями и сыновьями, он стоял у входа в юрту и держал лошадей.

7) Кутлы Кайалы — один из вождей Мангытов. Кутлу-Тимур — один из сыновей Йомута.

8) Кыпчак. Упоминается в легенде о рождении ребенка в дупле дерева, вследствие чего Огузхан дал ему имя Кыпчак, что, по утверждению Абулгази, означает «дуплистое дерево».

9) Олаш. Упоминается один раз как человек, видавший Огузхана. Он из салорского иля.

3) Бюкдюз Эмен из рода бюгдюр, по прозвищу «Эмен с кровавыми усами». Встретившись с пророком Мухаммедом, он стал проповедовать ислам. Участвует во многих сказаниях как соратник Казана и бек Байындырхана.

4) Дюкер. Упоминается только один раз. Один из беков, «глава тысячи народов».

5) Казан-бек (Салор-Казанхан, Казан, Улаш оглы Салор-Казан) — один из виднейших деятелей огузов после Байындырхана, Беклербеки (бек беков). Участник событий почти всех сказаний.

6) Караджик. Его зависимое положение сохраняется, но он мужественный пастух Казана. Жертвуя двумя братьями, он защищает стада своего хозяина. Терпя от него унижения, остается верным своему долгу.

7) Кутлу-мелек (женщина), как и Айна-Мелек, упоминается во введении к «Книге» в связи с характеристикой женщин.

8) Кыпчак — не собственное имя. Упоминается в связи с эпитетами Кара-Будага, заставившего «изрыгать кровь вооруженного железным луком царя Кыпчака».

9) Улаш — отец Казана, упоминается только в связи с именем последнего.

10) Сельжук-бай — глава многих илей. Он происходит из царствующего уруга Кынык огузского иля. Дал название династии Сельджукидов.

11) Откузли-Урус, сын Казана. Он пассивен.

10) Киян-Сельджук. Упоминается неоднократно как отец огузского богатыря удалого Дундаза.

11) Урузбек, сын Казана. Весьма активен, часто вступает в бой, помогает отцу.

12) Коркут-ата. Он выступает ведущим героем в обоих памятниках. В «Родословной туркмен» — главный советник, в «Книге» — советник и озан.

Большинство перечисленных имен обоих памятников имеет между собой весьма отдаленные связи. Но есть имена, общность которых несомненна: Байындыр, Казан (Салор-Казан), Коркут, Дюкер, Караджик, Бюклюз. В «Родословной туркмен» упоминается также имя Ирек-Серек. В качестве параллели в «Книге» можно назвать разве только схожие имена Экрека и его младшего брата Секрека, сыновей Ушун-коджи. В «Родословной туркмен» Ирек-Серек [7] (одно лицо) только что родился. В «Книге» Ирек и Серек — братья, ближайшие соратники Салор-Казана и активные участники ратных подвигов. Если принять их за Ирек-Серека «Родословной туркмен», то действие, описанное в «Книге», можно назвать дальнейшей эпизацией каких-то исторических событий.

В «Книге» имеется и непосредственное указание на столкновение салоров огузского иля с печенегами. По описанию Абулгази, в ходе этих событий «. . .много илей во главе с Кылк-беком, Казан-беком, Карамен-беком ушло в Мангышлак».[8] Все это предшествовало переселению огузских племен на Кавказ и в Малую Азию. Интересно здесь упоминание имени Караман-бека наряду с Казан-беком. Впоследствии иль караманлу играл немалую роль в колонизации новых земель на Западе, в частности в Малой Азии. Один из сильных представителей этого племени Эмир Яр Ахмед Караман в XV в. был владетелем Ганджи и Барды, [9] а салары в Китае сохранили в своем фольклоре память о приезде Карамана, своего родоначальника.[10]

Абулгази сообщает также о переселении салоров в Ирак [11] (Западный Иран, включающий районы нынешнего Тегерана, Казвина, Хамадана и др.). Характерно, что в этот период некоторые из предков Огурджик-алпа иля салор имеют мусульманские имена, вроде Сулейман-газы и его отца Хейдер-газы, что свидетельствует уже о проникновении ислама в огузскую среду. Правда, наряду с этим говорится также о Миран-Кахене, толкователе снов, а это явно указывает на шаманистическое верование огузов Абулгази. Еще две небольшие детали подчеркивают связь этого раздела сказания «Родословной туркмен» с «Книгой».

Во-первых, начиная с внука Казан-алпа, Хайдар-гази, все перечисленные герои имеют уже эпитет «гази», то есть «борец за веру», что характерно почти для всех персонажей «Книги»; во-вторых, этим эпитетом в «Родословной туркмен» награждаются герои уже начиная с X в., то есть те герои, которые, приняв ислам на Востоке, очевидно, боролись за его торжество на Западе. Эту дату указывает сам Абулгази, который считáет, что Казан-алп жил «триста лет спустя после нашего пророка».

Примерные даты жизни Казан-алпа и Коркут-ата у Абулгази совпадают с датами «Книги», которая также показывает их современниками. В «Родословной туркмен» много внимания уделено и салорскому илю, который занимает главное место в «Книге». Прежде всего обращает на себя внимание то, что в «Родословной туркмен» выделен один из потомков Салор-Казана — Салор-Огурджик-алп. В «Книге» он отсутствует, хотя по «Родословной туркмен» его иль одним из первых поселился в Шамахе (Азербайджан), скрываясь от преследования байындырского иля.[12] Очевидно, эти сведения близки к историческим. Известно, что байындырский иль составлял основу династий Ак-коюнлу в Южном Азербайджане и в соседних с ним странах.[13] Описанное событие в «Родословной туркмен», очевидно, относится к ранней истории байындырова иля, когда он еще находился на пути передвижения в Азербайджан и Малую Азию, где впоследствии встал во главе крупного объединения племен.

Как известно, в «Книге» нет дифференциации илей. Все герои принадлежат огузскому илю. Очень редко упоминаются отдельные родовые понятия (баят, кайы и др.), и то лишь в качестве нисба — определения происхождения героя. Байындыров иль, о котором говорится в «Родословной туркмен», вовсе отсутствует в «Книге», зато в ней представлен Байындыр-хан, глава всего огузского иля. Нужно думать, что на Западе произошла опять-таки трансформация отдельных элементов сказания: этнонимы превращены в эпонимы (например, Байындыр-хан), хотя возможно, что у эпонима Байындыр-хана был исторический прототип среди первых огузских переселенцев. Ответ на вопрос, почему в «Книге» не упомянут иль Огурджик-Салора, можно найти в дальнейшем сообщении Абулгази: иль Огурджик-Салора «. . .хотел поселиться там, (но), боясь байындыров, пошел в Крым. Откочевав оттуда, он перешел реку Итиль и пришел к реке Яик».[14] В дальнейшем все события, связанные с этой, вероятно немаленькой, ветвью салорского иля, происходили в пределах Мангышлака, Балханских гор и реки Амударьи. Важным звеном, связующим «Родословную туркмен» и «Книгу», является образ Коркута.[15]

Сочинение Абулгази, как показало краткое сопоставление его с «Книгой», помимо сведений исторического характера включает много эпических фрагментов. Их часто интерпретируют как памятник огузского героического эпоса.

Проф. Чобанзаде, познакомившись в 1936 г. в Институте востоковедения АН СССР с рукописью сочинения Абулгази, назвал ее «тринадцатым „Огузнаме“», считая эпические фрагменты, помещенные там, добавлением к тем, которые содержатся в «Книге».[16]

Хотя связь между материалами обоих памятников несомненна, толкование проф. Чобанзаде нельзя признать аргументированным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Рашид ад-дин Фазлаллах Хамадани. Джами ут-таварих, т. I, кн. 1. М., 1970 (на перс. яз.).

[2] Кононов А. Н. Родословная туркмен, Сочинение Абу-л-гази хана хиванского. М.—Л. 1958, с. 36.

[3] Книга моего деда Коркута. Пер. ак. В. В. Бартольда, издание подготовили В. В. Жирмунский и А. Н. Кононов. М.—Л., 1925 (в дальнейшем «Книга»).

[4] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 55.

[5] Там же.

[6] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 57.

[7] Серек — один из военачальников в киргизском эпосе «Манас».

[8] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 68.

[9] Петрушевский И. П. Государство Азербайджана в XV в. — В кн.: Сборник статей по истории Азербайджана, вып. I, Баку, 1949, с. 163.

[10] Тенишев Э. Р. Саларские тексты. М., 1964, с. 3 и сл.

[11] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 70.

[12] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 72.

[13] Петрушевский И. П. Внутренняя политика Ахмеда Ак-Коюнлу. — В кн.: Сборник статей по истории Азербайджана, с. 144.

[14] Кононов А. Н. Родословная туркмен, с. 72.

[15] Короглы Х. Шаман, полководец, озан. — СТ, 1972, № 3, с. 48—62.

[16] «Ценная находка». Газ. «Бакинский рабочий» 4 августа 1936 г. Из краткой газетной заметки некоторые турецкие ученые (см., например, Предисловие М. Эргина к «Dede korkut kitâbi», Ankara, 1958, s. 33) сделали вывод о том, что проф. Чобанзаде обнаружил текст неизвестного, тринадцатого «Огузнаме», что является очевидным недоразумением.

Е. И. Маштакова

«СТРАДАНИЯ В КЕШАНЕ» ИЗЗЕТА МОЛЛЫ

Роман-путешествие «Mihnetkeşan» (1824/5 г.) [1] занимает особое место в истории турецкой литературы. Он знаменует собой, в известной мере, завершение переходного этапа от литературы средневекового типа к литературе нового времени, сходной на начальном этапе с просветительской и часто все еще называемой литературой Танзимата. В этом произведении сплетаются традиционные черты и новые веяния, что делает его весьма интересным для изучения.

За немногими исключениями [2] турецкая, равно как и западная, наука не уделяла должного внимания этой книге. В. С. Гарбузова верно заметила, что имя этого писателя незаслуженно забыто и у нас. Она посвятила ему специальный доклад, где впервые выдвинула гражданскую тему как один из основных аспектов в изучении творчества Иззета Моллы,[3] а позднее наметила пути раскрытия этой темы.[4]

Созданное в основном в форме месневи, объёмом около восьми тысяч бейтов, сочинение Иззета Моллы в жанровом отношении можно назвать романом-путешествием. Сюжетными рамками повествования служат события, связанные с вынужденным отъездом автора из столицы в г. Кешан (Восточная Фракия), пребыванием там и возвращением домой, в Стамбул.[5] В эти рамки автор сумел включить много самых разных по содержанию и объему эпизодов и вставных рассказов, письма и документы, подлинные и вымышленные, пейзажные и портретные зарисовки, жанровые сценки и пр. Каждая из этих частей озаглавлена по-турецки или по-персидски в соответствии с содержанием или использованной здесь стихотворной формой (касыда, газель и т. д.). Такая структура определялась, видимо, желанием автора вместить в одно сочинение большой и разнообразный материал, и, надо признать, это ему удалось. Однако обратим внимание на помещенный в конце сочинения тарих (хронограмму), где в заключительных строках читаем: «„Михнет Кешан“ собрал воедино Хюсам; Набело переписал Вахид. . .» (235, 14). Здесь Иззет Молла называет своих помощников, и это никак не умаляет его авторства. Но турецкая исследовательница Ф. А. Тансель делает прямо противоположное

заключение, как можно понять из контекста, в котором она поместила в своей статье процитированный бейт.[6] С нашей точки зрения, только Иззету Молле, очевидцу и главному действующему лицу, могла принадлежать композиция книги, создававшейся, несомненно, по частям, в ходе событий.

Восприятию сочинения его современниками помогали традиции «книг путешествий» и мемуаров, без труда прослеживаемые здесь буквально с первых страниц. В самом деле, «Михнет Кешан» начинается с персидских стихов (месневи в 12 бейтов и мюнаджат в 18 бейтов), прославляющих Аллаха и среди великих мира сего — султана, затем идут стихи в том же духе на двух языках (персидском и турецком), а также молитвы, потом — касыда в честь Махмуда II. Завершается книга подобными же по смыслу и стилю «главами». Все это было привычным для читателя, который, вероятно, и не принял бы произведения без обязательных, этикетных (как называет подобные явления в русской литературе Д. С. Лихачев), вступительных и заключительных стихотворений.

Начав должным образом, автор сообщает, что переходит непосредственно к дестану, то есть к поэме, и к описанию скверного, неправильного положения дел в мире: «Начало дестана и жалоба на мир» (с. 13). Вторая половина заголовка «şikâyet az zaman» представляет собой вариант «şikâyet-i zaman», «şikâyet-i rüzgâr», «aĥvai-i fena-i rüzgâr» и др.[7] Так именовались определенного рода стихотворения, издавна известные и туркам; их включали в свои сочинения хронисты и поэты; вспомним имена историка Мустафы Селяники (XVI в.), поэтессы Михри Хатун (XV в.), популярного у турок азербайджанца Физули (XVI в.) и многих других. Эта традиционная форма жалобы на несправедливость судьбы и неправые порядки в жизни часто преподносилась авторами в обобщенно-абстрактном виде. Иззет Молла наполнил свои стихи конкретным содержанием, имеющим для него глубоко личное значение, помимо общественного. Собственные беды и несчастья он ставит в прямую зависимость от того, что случилось с его покровителем Халетом эфенди. Правда, называя это имя, поэт, опасавшийся новой кары, порой таким образом строит фразу, что слово 'халет' воспринимается и в его прямом лексическом значении 'положение', 'состояние' (с. 8, стк. 8). Там же, где Иззет Молла объясняет мотивы своего участия в попытке освободить Халета,[8] он пишет прямо:

Я питался хлебом благодеяний Халета,
Я старался спасти ему жизнь.

(с. 9, стк. 8)

Однако, как признается он, это, оказывается, означало напрасную борьбу с судьбою (с. 9, стк. 9).

Поэт негодует, что все отвернулись от него, едва он стал опальным. Доказывая свою невиновность, он уверяет, что, будучи

духовным судьею (кади), он не был ни излишне жестоким, ни чрезмерно милосердным. Как положено мусульманину, он препоручает себя богу, но спрашивает Аллаха:

Что все же я сделал миру?
Разве я притеснял стамбульцев?
Чей дом я разорил?
За что же я повергнут в это бедствие?

(с. 9, стк. 4—5)

В живой разговорной манере, прямой речью он передает толки и пересуды, возникшие едва до людей дошла весть о падении Халета и об изгнании Иззета Моллы. Из того же стихотворения узнаем, что между объявлением султанского решения относительно Халета и вручением поэту указа о высылке прошли долгие пять месяцев. В это время Иззет не показывался в обществе, чтобы избегнуть травли. Но все было тщетно.

Он видит причину нападок в том, что открыто обличал казнокрадов и похитителей чужой собственности. 'Я поэт справедливый, приверженец истины' (с. 11, стк. 9), — говорит о себе автор. Но он же признается, что 'иногда позволял себе ошибаться и произносить неправильные слова', а враги доносили об услышанном. Однако сам он не видит в своих высказываниях противодействия государству. Эта мысль подчеркивается неоднократно:

Язык мой побуждал меня к критике, [но]
Мой калем был слишком горд, чтобы творить недоброе.

(с.11, стк. 4)

Такова позиция поэта в его конфликте с сановниками и придворными. 'Приписали мне воображаемую вину. И уволокли насильно Иззета в Кешан (или 'отторгли мою честь')' (с. 11, стк. 2), — жаловался поэт. Кстати сказать, здесь, как и в ряде других стихов, Иззет прибегает к каламбуру: он обыгрывает значение слова, являющегося его личным именем: 'честь, достоинство, почет', а также значение топонимического названия Кешан, означающего в турецком языке 'уволакиваемый, насильственно перетаскиваемый'.

Избранное в качестве сюжетной основы описание путешествия предоставляло автору благодатные возможности для высказывания суждений о жизни страны, быте и нравах общества и позволяло излагать это в свободной увлекательной форме. Последовательность рассказов, видимо, близка к ходу подлинных событий, к тому, что было в действительности. В естественной, географически точной очередности возникают перед читателем картины селений, городов и ряда примечательных мест, которые посетил Иззет, направляясь в Кешан, а также в кратковременных поездках оттуда в близлежащие местности и на обратном пути домой. Все это уже не прежние, заполнявшие средневековую поэзию описания «красивых мест». Здесь представлены зарисовки под-

линной природы Румелии, рассказы об архитектуре и устройстве разных городов — Кешана, Гарма, Сырмы и др., вплоть до крупнейших — Адрианополя, с его дворцами, крытым рынком, знаменитой мечетью султана Селима и проч. Книга Иззета Моллы показывает, что у турок вырабатывается новое отношение к пейзажу в литературном произведении. Очевиднее это станет у более поздних писателей того же столетия.

С подобного рода описаниями, естественно, смыкается показ быта и нравов различных кругов общества. Автор ведет за собой читателя и на пиршество в «высшие» круги кешанского общества, и в дервишеский монастырь в горах, где гостит с друзьями, спасаясь от летней жары, и в усыпальницу чтимого местными жителями святого Азиза, и в монашескую трапезную. Немало ярких бытовых подробностей оживает на страницах книги, где рассказывается о кешанцах, днем соблюдающих великий пост, а ночи проводящих в разгульных пирах, о многих радостных и трагических событиях, связанных с праздником жертвоприношения. Поэт с позиции просвещенного человека неодобрительно отзывается о 'крайностях и излишествах', вообще о взрыве страстей, сопровождавших эти праздники (с. 141—142).

У автора было много встреч в пути и новых знакомств в Кешане. Примечательно в историко-литературном плане, что в повествовании о конкретных личностях в ряде случаев автору удается соединять портретное описание с живой характеристикой данного человека, с рассказом о его жизни. Становятся заметны качественные изменения, отличающие в этом отношении книгу Иззета Моллы от ранее встречавшихся в турецкой литературе жизнеописаний. Можно привести в пример живые, часто сдобренные юмором, иногда грубоватым, «Описание лекаря» (с. 152—154), «Описание караульного, лицом безобразного, скверноголосого» (с. 90—91), два «Сказания о шейхе» (с. 41—42).

Иное дело жизнеописание легендарного святого Азиза, сопровождаемое рассказом о его чудесных деяниях (с. 116—120). Это традиционный показ 'почтенной' фигуры, 'возвышенного' героя. Здесь, по-видимому, возможна связь с фольклорной традицией.

Манера описания какой-либо личности прямо зависит от ее положения в обществе и отношений, в которых с нею находится автор. Так, все связанное с рассказом о великом везире Галибе Мехмед-паше (1823—1824), проездом оказавшемся в Кешане, исполнено традиционности, выдержано в высоком парадном стиле и в конце концов выливается в пространную касыду-панегирик (с. 201-208). Для стихов, посвященных правящему султану Махмуду II, характерно использование традиционных приемов изображения царственных особ, «парадных фигур». Здесь панегирические описания ничем не отличаются от подобных панегириков других поэтов. Но без регламентированных приемов было невозможно обойтись, как и без использования обязательных формул благопожеланий и стандартизованных эпитетов при одном упо-

минании султанского имени. В бо́льшей мере это сказалось в «житии» султана Махмуда и в месневи (выделенном в особую главу), воспевающем 'нравственные достоинства' монарха (с. 133—136 и 183—187). «Служебная» функция панегириков, входящих в эту книгу, очевидна. Не забудем, что перед нами не рассказ о приятном путешествии, а описание ссылки по политическим мотивам. Все пронизано горьким сознанием несправедливости наказания, улавливается не покидающая автора мысль о необходимости добиться скорейшего возвращения домой. Это — главное, что выступает за всеми рассказами о будничных событиях и встречах.

В книге значительное место отведено взаимоотношениям Иззета Моллы с Талаат-пашой, сановником, не чуждым поэзии. Они познакомились через Хюсейна эфенди, уже известного автору ранее по совместной службе в Бурсе, а в описываемое время тоже отбывавшего ссылку сравнительно близко от тех мест — в Гелиболу (Галлиполи). Вскоре после приезда в Кешан у Иззета Моллы завязалась переписка с Талаатом. В книге приводится по пяти писем каждого из них. Эти корреспонденции в стихах, вероятно, далеко отходят от подлинных, некогда существовавших. Лишь одно «Слезное письмо» (Nem al mektub, с. 60—62) примечательно тем, что после 14 бейтов текст продолжается в прозе (25 строк) и завершается полной подписью: Кечеджизаде Мехмед Иззет. Можно предположить, что последняя часть послания цитируется документально точно. Именно этим письмам уделено особое внимание (среди других, единичных, от великого везира Али-паши Янинского, адрианопольского губернатора Сами-паши, адмирала Мустафы-паши и др.). Свои ответы Иззет не приводит. Вообще же в эпистолярной форме написана довольно значительная часть книги. Главным предметом переписки были просьбы поэта о помиловании и отношение к этому султана и двора. Можно полагать, что эти же вопросы обсуждались и в личных беседах Иззета и Талаат-паши, когда тот прибыл в Кешан. Все это описано подробно, с выражением большой симпатии к Талаату, которая, чувствуется, была взаимной.

Другой тон ощущается в рассказе о встречах с видинским губернатором Решидом Мехмед-пашой, который в 1824 г. был назначен сераскером Румелии; осенью 1823 г. по пути из Мореи в Видин он остановился на двое суток в Кешане. Как пишет поэт, Мехмед-паша 'милостиво обошелся' с ним, пригласил на пиршество, устроенное в честь высокого гостя, и смехом отзывался на остроумные шутки Иззета. Последний попросил походатайствовать за него и, получив согласие, со слезами благодарности прощался с везиром.

Ссыльный поэт предпринимал и другие шаги (например, писал панегирики султану и влиятельным лицам), чтобы добиться желаемого или, по крайней мере, узнать положение дела. Помилование пришло к исходу первого года.

После недолгих сборов Иззет Молла выехал из Кешана, и обратный путь обрисован им столь же тщательно, как и первоначальный. Затем говорится о приезде в Стамбул (приведена точная дата: 16 февраля 1824 г.), о встрече с друзьями, об аудиенции у султана. Заканчивают книгу молитва и эпилог, посвященный восхвалению падишаха. Таким образом завершается основной конфликт, двигавший развитие сюжета.

Автор не ограничивается показом перипетий личной судьбы. Он видел их тесную связь с рядом явлений в жизни современного ему общества. Она предстает в рассказах о деятелях столичной и провинциальной администрации, о духовенстве, мелком чиновничестве и простых людях. Среди них у писателя были друзья и враги. О последних он пишет в остро сатирической манере. Во многих стихах чувствуется ироническое отношение автора к объекту изображения. Так, на страницах книги появляются яркие картины уродства и «варварства» провинциальной жизни, беззакония властей и проч. (с. 144). Во всем этом закономерно находят свое выражение критичность и прямота суждений, вообще свойственные Иззету. В конце концов именно за это он и поплатился своей жизнью пятью годами позднее.

В свете сказанного представляется неточным суждение Ф. А. Тансель о том, что юмористические и сатирические истории (различного рода бытовые рассказы и др.) введены автором в сочинение, чтобы «избавить „Михнет Кешан“ от однообразия темы».[9]

Порою в стихах Иззета Моллы появляются ноты отчаяния, отзвуки мрачных мыслей о будущем. Тяготило, видимо, и материально плохо обеспеченное существование: иначе поэт не посылал бы своего верного слугу Мехмеда в Стамбул продавать и без того скудные, кое-какие остававшиеся пожитки (с. 194, стк. 3).

В месневи можно прочесть выразительные строки:

Люди просвещенные знают, что такое наше время:
Надолго оно повергает человека в грусть и печаль.

(с. 194, стк. 5)

Но подобные настроения в общем не характерны для Иззета Моллы. Он был натурой скорее оптимистического склада. В личном плане он мог радоваться даже проблеску надежды на освобождение из ссылки, живо откликался и на события, имевшие, с его точки зрения, общественное значение. Он, например, восторженно встретил весть о том, что пост главы турецких медиков в третий раз занял Бехчет эфенди (ум. в 1833), один из ранних турецких просветителей, «пионеров и организаторов медицинского образования в Турции».[10] По поводу его назначения лейбмедиком Иззет Молла сочинил хронограмму (с. 132). Вообще к этому жанру поэт питал явную склонность: он уделил ему много места в своих двух диванах, где насчитывают до 650 тарихов.[11] В этой же книге шесть хронограмм отмечают даты кончины

шахзаде Ахмеда, рождения шахзаде Абдульмеджида, аудиенции поэта у султана, завершения месневи «Михнет Кешан» и др.

В этом Иззет Молла следовал традиции, равно как и в использовании формы касыды при создании панегириков. В книгу входят также десять рубаи; половина из них посвящена Талаат-паше, причем все они, кроме одного, написаны по-персидски. Трижды обратился поэт к форме кыт'а (стихи по случаю прибытия в Кешан Талаат-паши и др.), сочинил пять газелей. Есть здесь и «техмис из знаменитых бейтов» и «мерсийе» (см. с. 133—136, 223—226, 154—155, 188—191).

Стихи, при создании которых использованы упомянутые стихотворные формы, включены в одно месневи «Михнет Кешан». Как полагают некоторые исследователи,[12] автор стремился таким путем избежать монотонности одного размера — четырехстопного усеченного мутакариба (fâulün-fâulün-fâulün-fâul) в таком большом месневи. Но, помимо этого, не следует, видимо, забывать, что само содержание требовало той или иной стихотворной формы, которая вызывала у образованного читателя необходимые «жанровые представления», определенный настрой в восприятии стиха.

Иззет Молла также часто обращался и к привычному кругу литературных мотивов. Так, в картинах пиршеств в честь именитых гостей или загородных увеселений появляются получившие большое распространение в средневековой поэзии «Слово к виночерпию», «Наставление виночерпию» — Hitab-ı sakî-i şerab, Hitab-ı sakî, Nasihat-ı sakî (с. 73—74, 170—171, 89—90).

Определенные жанровые формы влекут за собой использование традиционных художественных приемов. Здесь закономерно употребление стандартизованных эпитетов, привычных «закрепленных» метафор и т. п. Например, именем легендарного Асафа поэт метафорически называет везира Решида Мехмед-пашу (с. 197, стк. 11) или неоднократно обыгрывает лексическое значение ‘зрелый, умный, идущий верным путем’ его же собственного имени. Об этом везире, «достойном эпохи шахиншаха» (с. 197, стк. 16), говорится:

Если в величии мало подобных ему,
То в храбрости он выше всех, подобно его бунчуку.
(с. 197, стк. 17)

Эти слова относятся к тому, кто тогда командовал султанскими войсками, терпевшими поражение от греческих повстанцев.

Пышные эпитеты и метафоры типа ‘лев’, ‘всадник-дракон’ и т. п., естественно, вплетаются в ткань панегирических описаний, гипербола становится самым употребительным художественным приемом. Вот, например, как представлена с первых же строк картина въезда в город того же ‘героя’ — Решида-паши:

Утром грянул грохот,
От него земля и все вокруг сотрясалось.
Неисчислимые войска заполнили Кешан,

И сердце вмиг все узнало. . .
Тот звук нагнал страху на Небесного Тельца,
И Бык под Землею затрясся.

(с. 197. стк. 5, 6, 8)[13]

Не забывает поэт при случае и традиционные формулы благопожеланий, вроде следующей, султану:

Пусть его величие длится день за днем,
Пусть его слава приводит в смущение Солнце!

(с. 210, стк. 2)

В некоторых разделах книги стихи перемежаются краткими прозаическими вставками. Обычно они построены как одно предложение (иногда — распространенное) в стиле сложной орнаментальной прозы. Автор таким путем как бы подытоживает ранее сказанное стихами, или вкратце излагает содержание последующего раздела, или же связывает части стихотворного рассказа. Можно предположить, что и здесь дает о себе знать традиция, в частности, народных дестанов. Примером могло бы служить большое повествование о любви гречанки к турецкому юноше, слуге Иззета (с. 142—146).

Иззет Молла изыскивал возможность в рамках литературных канонов отзываться на явления живой действительности. Не последнее место в этом принадлежало так называемым вставным рассказам. Включение их в ткань стихотворных и прозаических произведений издавна прослеживается в турецкой литературе.

Вставные рассказы здесь определенным образом сюжетно связаны со всем произведением, но вместе с тем и обладают большой самостоятельностью. Весьма различны по содержанию и разнятся по объему два юмористических рассказа о глупом и плотоядном кешанском имаме (с. 93—94), «Рассказ о любви христианки и волнениях страсти (этой) влюбленной» (с. 142—146, 155—169, 172—175), «Рассказ, написанный Талаат-пашой» (с. 149—150), «Занимательный рассказ об аян-аге» (с. 44), «Удивительный рассказ» (с. 55) и др.

Не только в этих «включениях», но и в повествовательных частях произведения, рисующих путешествие и пребывание в ссылке, видится подлинная Турция того времени, во всем многообразии ее обычаев и особенностей — сама жизнь в ее реальности. Он точно датирует вручение ему султанского указа о немедленном выезде в Кешан — 28 февраля 1823 г. (с. 11, 16—17), затем шаг за шагом описывает последующие события. Слог произведения прост и ясен, лексика в значительной мере освобождена от сложнейших арабских и персидских слов и словосочетаний, вполне понятных лишь знатокам этих языков. При этом автор не чуждается бытовых выражений, иногда — с диалектной окраской, что контрастирует с пышной лексикой панегирических описаний.

Поэтому исследователи причисляют Иззета к выдающимся реформаторам турецкого языка.[14]

Лирическая «открытость» автора придает особую доверительность его интонации, напр. когда Иззет Молла рассказывает о своих переживаниях, вызванных отъездом в края, где у него нет «ни друга, ни утешителя, никого» (с. 13, стр. 9). Тоска по дому не покидает поэта. Одну главу в книге он так и назвал: «Отсутствие писем и переживания» (с. 46—47). Чувства его переданы искренне и выразительно. Может быть, нечасто прежде турецкий поэт так открыто высказывал свою нежность к семье. В книге он нашел место и для своих писем к старшему сыну Фуаду (который впоследствии станет известным деятелем турецкого просветительства). Во времена Иззета Моллы такое выражение интимных чувств было весьма непривычно для мусульманского читателя.

Все же новое, отличающее эту книгу, заключено скорее в круге проблем, занимавших ум и сердце писателя, помимо его собственных личных дел. Широта авторских интересов и оценка фактов и явлений с общественных позиций наполняют старый жанр книги путешествий (сейахат-наме) новым содержанием, а также обогащают его в композиционном отношении. «Мозаичность» выступает здесь в соединении черт публицистических, повествовательных, лирических и др. Эпистолярная форма изложения, широко использованная автором, позволяет ему высказывать свои мысли непосредственно, от первого лица.

Все сказанное нами, думается, дает право поставить вопрос, не следует ли именно с «Михнет Кешан» Иззета Моллы начинать счет романам-путешествиям в турецкой литературе?

Избранная автором жанровая форма, как известно, вообще присуща литературам века Просвещения. Хотя Турция первой четверти XIX в. находилась лишь на пути к своему просветительскому этапу, но идеи его уже проникали в турецкое общество и несомненно оказывали воздействие на художников слова. В этом отношении дальнейшее исследование романа-путешествия «Страдания в Кешане» Иззета Моллы, одного из самых оригинальных и знаменательных произведений турецкой литературы своего времени, представляется нам весьма перспективным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] كيچه جى زاده محمد عزّت ، منظومة المسمىّ بمحنتكشان ، قسطنطينيه ، 1269/1825. Арабская графика допускает вариативность чтения заглавия, что и отражается в литературоведческих работах: Aksoy Ömer Asim. «Mihnetkeşan» mi, «Mihnet-i Keşan» mi? — TD, 1955, c. V, N 51, p. 148—149. Мы присоединяемся к его верному замечанию о том, что «поэт, несомненно, выбрал [это] заглавие, имея в виду [возможность] его двойственного понимания», подтверждение чему находим в самих стихах (с. 70, стр. 14 св.; кстати, по такому же принципу сочинение цитируется и далее). По-русски мы предпочитаем называть книгу «Страдания в Кешане».

[2] Tansel Fevziye A. 1) Keçecizade Izzet Molla, — 60. değum münasebetiyle Fuad Köprülü armağani, İstanbul, s. 131—151 (далее — Тансель. Кечеджизаде Иззет); 2) İzzet Molla — «İslâm ansiklopedisi», t. V, cüz 54, İstanbul, 1953, 1264—1267 (далее — Тансель. Иззет Молла); Tanpınar Ahmet Hamdi XIX. asir Türk edebiyatı tarihi, c. I, İstanbul, 1956, p. 46—47, 54—60.

[3] Гарбузова В. С. Гражданская тема в творчестве Иззета Моллы. — В кн.: «Филология и история тюркских народов. Тезисы докладов. Тюркологическая конференция в Ленинграде». Л., 1967.

[4] Гарбузова В. С. Поэты Турции XIX века. Л., 1970.

[5] Биографию Иззета Моллы см.: Гарбузова В. С. Поэты Турции, с. 11—14.

[6] Тансель. Иззет Молла, 1265.

[7] Не случайно О. Ш. Гёкйай причисляет ее к путевым запискам: Gökyay Orhan Şaik. Türkçede gezi kitapları. — TD, 1973, c. 27, № 258, p. 461, а И. Олгун — к автобиографическим воспоминаниям (Olgun Ibrahim. Ani türü ve Türk edebiyatında ani. — TD 1972, c. 25, № 243, p. 414).

[8] Гарбузова В. С. Поэты Турции, с. 13.

[9] Тансель. Кечиджизаде Иззет, с. 149.

[10] Новичев А. Д. История Турции, II. Новое время, ч. I. Л., 1968, с. 273.

[11] Тансель. Иззет Молла, 1266.

[12] Например, Тансель, Иззет Молла, 1265.

[13] Метафора, возникшая из легендарного представления древних о том, что Земля покоится на Быке.

[14] Menzel Th. Izzet Molla. — EI, Bd. II, Leiden—Leipzig, 1927, S. 611; Płaskowicka-Rymkiewich, Borzęcka M., Łabecka—Koecher. M., Historia literatury tureckiej. Wrocław, 1971, p. 169; Тансель. Кечеджизаде Иззет, с. 147; и др.

М. Мори

БЁГЮ-КАГАН И ПОЦЗЮЙ

В надписи Тоньюкука встречается имя, которое можно транскрибировать как bögqγn (или bügqγn, стк. 34, сев. сторона) или bgüqγn (стк. 50, южн. сторона).[1] В. Томсен в первом случае читает это имя как bög qaγan,[2] а во втором как bögü gaγan, считая первое написание искаженной формой второго, и отождествляет носителя этого имени с Поцзюем, сыном Мочжо (Капаган-кагана),[3] упоминаемым в китайских источниках.[4] После этого объяснение, предложенное Томсеном, становится общепризнанным.[5] Позднее Цэнь Чжун мянь, соглашаясь в обоих случаях с прочтением Томсеном bögü qaγan,[6] отвергает, однако, его мнение об идентичности личности и считает, что bögü qaγan было вторым именем Мочжо.[7] Затем Р. Жиро заявил, что имя в обоих случаях должно читаться, как bög qaγan, где bög, по его мнению, — прилагательное, означающее: 'умный, хитрый',[8] и отождествляет первое bög qaγan с Мочжо или Капаган-каганом,[9] а второе — с Гудулу (Кутлуг, Ильтериш-каган).[10] Но даже после того как были выдвинуты эти новые теории, С. Г. Кляшторный и Л. Н. Гумилев продолжают придерживаться точки зрения Томсена, читая это имя как 'Бёгю-каган' и отождествляя его с Поцзюем.[11] Автор настоящей статьи полагает, что bögqγn — орфографическая ошибка, допущенная либо писцом, либо резчиком, и должно быть написано bgüqγn, то есть так, как оно и дано во втором случае; читается оно в обоих случаях как Бёгю-каган. Нельзя быть полностью уверенным, что эта надпись не содержит других искажений, подобно sbγ (sabïγ), являющемуся искаженной формой sb(sab).[12] В том, что это имя должно читаться как Б ё г ю-к а г а н, автор данной статьи склонен согласиться с Томсеном, Цэнем, Кляшторным и Гумилевым, а не с Жиро, который читает его, как Б ё г - к а г а н.

Вопрос теперь в том, можно ли Бёгю-кагана отождествлять с упоминаемым в китайских источниках Поцзюем, как это делают Томсен, Цэнь, Кляшторный и Гумилев? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть взаимосвязь имен (настоящего и второго), а также титулов до и после восшествия на престол. Кутлуг добился для тюрок независимости от власти танского

Китая и основал так называемый Второй Тюркский каганат. Китайские источники сообщают о его восшествии на престол: «Гудулу. . . затем провозгласил себя кэханем (каганом)» (Тун дянь, цз. 198).[13] Но в них ничего не говорится о титуле, который он принял после восшествия на тюркский престол. В тюркских надписях Кюль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука Кутлуг постоянно упоминается под именем Ильтериш-кагана [14] и никогда не встречается под титулом Кутлуг-каган.[15] Преемником Ильтериш-кагана был его младший брат Мочжо, о котором китайские источники сообщают: «Мочжо был младшим братом Гудулу. Когда Гудулу умер, его сыновья были еще слишком малы. [Мочжо] окончательно узурпировал власть и провозгласил себя кэханем (каганом»)(Тун дянь).[16]

Императрица У Цзэ тянь пожаловала Мочжо титул Цянь шань кэхань,[17] а также второй титул Цянь дэ лиши (Ильтериш) Да Шань и ли гун бао го кэхань;[18] когда в четвертую луну 2 года Кай юань, глава тюрок, направил для заключения брачного союза посольство к танскому двору, он величал себя: «Цянь хэ юн цин да фума тянь шан дэ го бао тянь нань Туцзюэ шэн тянь Гудулу кэханем».[19] Однако почти во всех случаях китайские источники упоминают о нем, как о Мочжо, что является, по-видимому, его именем или титулом до восшествия на престол.[20] В некоторых случаях имя или титул Мочжо входит в качестве составной части в его каганский титул, напр.: Тянь шан дэ го бао тянь нань Туцзюэ шэн тянь Гудулу Мочжо да кэхань,[21] Ашина Цянь деши (Ильтериш) Мочжо Тэн цзю кэхань[22] или Мочжо кэхань.[23, 24] У нас не остается сомнений, что Мочжо было его именем или титулом до восшествия на престол, а Капаган-каган — официальным ханским титулом, о чем мы узнаем из надписи Тоньюкука.[25]

После того как Капаган-каган, или Мочжо, был убит, Кюль-тегин возвел на престол Моцзиляня, принявшего титул Бильге-каган. Китайские источники сообщают: «Цюэ тэцинь (Кюль-тегин), сын Гудулу, объединил племена, бывшие прежде под властью его отца, убил Сяо-кэханя, сына Мочжо, и его младших братьев, а также всех приближенных [Мочжо[и возвел на престол Цзо (читай: Ю) [26] Сянь ван Моцзиляня. Это был Пице-кэхань (Бильге-каган). Пице взошел на престол в 4 году Кай юань. Среди своих соплеменников он был известен под именем Сяо ша (младший шад) (Тун дянь).[27] Ю сянь ван то же самое, что и Ю сян ча[28] или Ю ча.[29] Все это китайская транскрипция титула тардуш-шад.[30] Вероятно, излишне доказывать, что ша в сочетании сяо ша всего лишь другая транскрипция имени шад,[31] которое носил каган до восшествия на престол.[32] Как известно, Бильге-каган был сыном Кутлуга, или Ильтериш-кагана, и старшим братом Кюль-тегина. Имя его — Моцзилянь имело также написание Моцзюй.[33] После возведения на престол он упоминается как Пицэ-кэхань,[34]

или Бицэ-кэхань[35] (китайский перевод его официального титула Бильге-каган) или под своим именем Моцзилянь.[36] Употреблялись и другие имена: Сань ши син тянь шан дэ Пицэ Ша кэхань (Бильге шад каган),[37] Пицэ-кэхань (Бильге-каган), Сяо ша (младший шад),[38] Ту цзюэ кэхань (тюркский каган), сяо ша (младший шад),[39] Ту цзюэ ша (тюркский шад)[40, 41] или просто Сяо ша (младший шад).[42] Этот титул, полученный им до возведения на престол, он носил и после восшествия на трон в сочетании с каганским титулом или без оного. Единственное исключение составляет «Гаочан се ши цзя чжуань» Оуян Сюня, где встречается форма Моцзилянь кэхань, указывающая на официальный каганский титул Моцзиляня.[43] Но поскольку этот источник довольно позднего происхождения и содержит ряд фактических ошибок, мы в дальнейшем не будем его учитывать.

Итак, имя кагана, сменившего Капаган-кагана, или Мочжо, было Моцзилянь, или Моцзюй; до возведения на трон он носил титул Ю сян ча, Ю ча, Юсянь ван, Сяо Ша, или Тардуш шад, а его официальный титул кагана был Бильге-каган (Пицэ-кэхань, Бицэ-кэхань). Его каганский титул Бильге-каган встречается также в надписях Кюль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука.[44]

Мы уже достаточно подробно рассмотрели соотношение имен и титулов до восшествия на престол и каганских титулов, встречающихся в надписях, сделанных в честь трех каганов, правивших в период Второго Тюркского Каганата. Теперь очевидно, что древнетюркские рунические надписи упоминают исключительно их официальные титулы и никогда не называют их имен или титулов, которые они носили до восшествия на престол, в сочетании с титулом каган. Все сказанное относится и к другим каганам. Появляясь в рунических надписях с титулом каган, они соответствуют обычно[45] выражениям китайских источников: «такой-то и такой-то каган». Это происходит потому, что это их официальные каганские титулы, а не имена или титулы, принятые до восшествия на престол. Так, Бильге-каган, сын упомянутого выше Пицэ (Бицэ)-кэханя,[46] соответствует Пицэ Гудулу-кэханю;[47] Инел (Инил)-каган[48] соответствует Ине-кэханю;[49] Истеми-каган[50] — Шидянь ми-кэханю.[51]

Единственным исключением является Бумын-каган, которого вместе с Истеми-каганом в надписях Кюль-тегина и Бильге-кагана называют ӓčй ара ʻпредки тюрокʼ.[52] Мы не смогли найти в китайских источниках сло́ва, точно соответствующего имени Бумын. Можно предположить, что Бумын то же, что и Тумэнь[53, 54] — имя старшего брата Шидянь ми кэханя (Истеми-кагана). Несомненно, что личность, упоминаемая в древних тюркских рунических надписях под именем Бумын-каган, соответствует тому, кого ки-

тайские источники называют именем Т у м э н ь. Однако Т у м э н ь это только имя или титул до восшествия на престол, официальный же титул кагана, по китайским источникам, И л и к э х а н ь (Илиг-каган).[55] Маловероятно, что Т у м э н ь — китайский перевод слова Б у м ы н.

За исключением титула этого кагана, который царствовал в почти легендарные времена,[56] примерно за два столетия до появления надписей, и память о котором сохранилась только в устных преданиях,[57] титулы всех остальных каганов отличны от их имен или титулов до восшествия на престол. О Поцзюе, которого обычно отождествляли с Бёгю-каганом надписи Тоньюкука, китайские источники сообщают: «Во втором году Шэн ли, Мочжо пожаловал своему младшему брату Дусипо титул Ц з о с я н ч а, а сыну Гудулу Моцзюю титул Ю с я н ч а; каждого из них он поставил командовать более чем двадцатитысячными армиями. Мочжо также пожаловал своему сыну Поцзюю титул С я о - к э х а н ь. Положение Сяо-кэханя было выше, чем двух предыдущих, более того, он командовал сорокатысячной армией десяти родов (западных тюрок), включая чумукунь и другие, и носил титул Т о с и - к э х а н ь (каган, утвердившийся на Западе)». (Тун дянь).[58] Поскольку М о ч ж о, Г у д у л у и М о ц з ю й являются либо именами, либо титулами до возведения на престол, логично было бы считать тем же и Д у с и п о и П о ц з ю й. Другими словами, человеку, носившему имя или титул П о ц з ю й, его отцом М о ч ж о или К а п а г а н - к а г а н о м, был пожалован титул С я о - к э х а н ь. Его тюркский титул кагана, не сохранившийся в родном языке, передан в китайских источниках как Т о с и - к э х а н ь. Капаган-каган отдал своему сыну Поцзюю племя чумукунь и другие племена, входившие в конфедерацию дулу, составлявшую восточную часть Западнотюркского каганата, и, дав ему титул Т о с и - к э х а н ь, возложил на него задачу утвердиться на Западе. Так или иначе, П о ц з ю й было именем или титулом до возведения на престол, а не официальным титулом кагана, каковым, как мы уже видели, был Т о с и - к э х а н ь. Следовательно, легко понять, почему титул П о ц з ю й - к э х а н ь не встречается в китайских источниках. В связи с этим необходимо напомнить, что у всех каганов, чьи имена встречаются в рунических надписях, за исключением загадочного Б у м ы н - к а г а н а, официальные титулы совершенно отличны от их имен или титулов до восшествия на престол.

Если мы примем во внимание все эти факты, то придем к неизбежному выводу, что лицо, упомянутое в надписи Тоньюкука под именем Б ё г ю - к а г а н, не является сыном Мочжо (Капаган-кагана), чье имя или титул был П о ц з ю й. Только в том, что Б ё г ю - к а г а н не П о ц з ю й — сын Мочжо, автор настоящей статьи соглашается с Жиро и не согласен с Томсеном, Кляшторным и Гумилевым. Может последовать логичный вопрос,

кто же такой Бёгю-каган, но это слишком сложная проблема, и ее невозможно объяснить в рамках данной статьи. Автор статьи доказывает только, что общепринятое отождествление Бёгю-кагана с Поцзюем — ошибочно, и рад посвятить эту статью семидесятилетнему юбилею акад. А. Н. Кононова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Radloff W. Die Inschrift des Tonjukuk zwischen Nalaicha und der Tola. ATIM, zw. F., с. 16—17, 22—23. Необходимо заметить, что в тексте Радлова эти слова указаны на строках 35 и 51; Orkun H. N. Eski Türk Yazıtları. İstanbul, 1936, s. 112, 116; III, s. 232—233. Оркун читает слово на строке 50, как Бёги-каган; Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 59—60, 63—64.

[2] Thomsen V. 1) Turcica. Études concernant l'interprétation des inscriptions de la Mongolie et de la Sibérie. MSFOu, XXXVII, p. 97; 2) Alttürkische Inschriften aus der Mongolei, ZDMG, vol. 78, 1924—1925, S. 167.

[3] Тон$_{51, 60, 61}$.

[4] Thomsen V. Turcica, p. 97; Alttürkische Inschriften aus der Mongolei, S. 171.

[5] Проф. Хидеми Оногава из Японии также согласен с этой точкой зрения и считает, что Бёг-каган на строке 34 и Бёгю-каган на строке 50 — один и тот же Поцзюй-кэхань; в прим. к имени Бёг-каган он пишет: «Бёг-каган, так же как и Бёгю-каган в надписи Тоньюкука, значит Поцзюй, сын Мочжо». См.: Onogawa H. Tokketsu Hibun Yakuchū. Man-mō-shi Ronsō, 4, Tokyo, 1943, p. 323, 326, 397, n. 226.

[6] Цэнь Чжун мянь. Гуцзюэ вэнь Гуньюйгу цзи гун бэй туцзюэ цзи ши. Peking, 1958, p. 861—862, 873—874, 877.

[7] Там же, с. 874—877.

[8] Giraud R. L'Empire des Turcs célestes. Paris, 1960, p. 62—63; L'Inscription de Baïn Tsokto. Édition critique, Paris, 1961, p. 63—64, 102, 114, 142. Перевод Жиро, по-видимому, опирается на мнение Оркуна, который вслед за Махмудом Кашгарским переводит Бёги, как hakîm, akıllı, bilgili. См.: Orkun, H. N. Eski Türk Yazıtları, IV, Istanbul, 1941, s. 32.

[9] Giraud R. L'Inscription, p. 63, 102.

[10] Там же, р. 64, 114.

[11] Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 37; Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967, с. 462, 467.

[12] Giraud R. L'Inscription, p. 101.

[13] Такой же отрывок встречается в Цзю Тан шу (цз. 194 а); Туцзюэ Чжуань а; и Синь Тан шу (цз. 215а).

[14] КТб 11, БК 10; Тон.$_{7, 48, 50, 54, 59, 61}$.

[15] Китайские источники сообщают, что титул Тутунь чжо (Tudun čor), или Тутунь (Tudun), передавался в роду Кутлуга по наследству. Надпись Тоньюкука указывает однако, что Гудулу до принятия титула Ильтериш-кагана занимал положение шада.

[16] Цзю Тан шу, Туцзюэ чжуань а содержит похожие отрывки. То же самое сообщает и Синь Тан шу, Туцзюэ чжуань а.

[17] Тун дянь, Туцзюэ чжуань; Цзю Тан шу, Туцзюэ чжуань а; Синь Тан шу, Туцзюэ чжуань а.

[18] Цзю Тан шу; Синь Тан шу. В Тун дянь отсутствуют два иероглифа *ли ши*, а в Цзю Тан шу (Цз. 185а) он именуется просто как «Ли гун бао го кэхань».

[19] Цэ фу юань гуй. цз. 185 Вай чэнь бу, Хэ цинь бянь.

[20] Пельо считает, что *Мочжо* является транскрипцией *Бёг чор*: Pelliot P. L'édition collective des oeuvres de Wang Kouo-wei. TP, XXVI,

p. 152. На самом деле, однако, Мочжо до возведения на престол имел титул шад, о чем свидетельствует Тун-дянь, где сообщается: «Гудулу. . . затем стал кэханем (каганом). Он сделал своих младших братьев Мочжо **шадом**, а Дусипо — еху (ябгу)».

[21] Тан гу Сань ши син кэхань гуй ну Сянь ли Пице гун чжу юн чжун цзюнь фу жэнь а-[ши]-на ши чжи шу чжи пин шу.

[22] Янь чжень цин, Кан гун шэн тао бэй мин.

[23] Там же.

[24] Например: Цэ фу юань гуй, (цз. 980), Вай чэнь бу, Тун хао бянь; Цзю таншу (цз. 9), Сюань цзун бэньцзи, б. В цэ фу юань гуй (цз. 979) Вай чэнь бу, Хэцинь бянь отсутствует иероглиф *мо*.

[25] Тон$_{51,\ 60,\ 61}$.

[26] Как указывает Х. Оногава, *цзо сянь ван* подлинника должно быть исправлено на *ю сянь ван* как в Цзы чжи Тунцзянь. См.: Onogawa, H. Tokketsu Hibun Yakuchū, p. 359, n. 87.

[27] Почти такой же отрывок содержится в Цзю Тан Шу. Слова: *Цзо*(*ю*) *Сянь ван* отсутствуют в Синь Тан шу, Туцзюэ Чжуань а.

[28] О том, что Моцзюй был назначен на должность *ю сян ча*, сообщается в «Тун дянь» и в «Цзю Тан шу», где говорится: «Во второй год Шэн ли, Мочжо, своего младшего брата Дусипо назначил на должность цзо сян ча, а сына Гудулу-Моцзюя на должность ю сян ча, каждый из них командовал двадцатитысячной армией». Моцзюй второе имя Моцзиляня, который впоследствии стал Пице-кэханем (Бильге-каган).

[29] *Цзо сян ча* и *Ю сян ча*, содержащиеся в источниках, указанных в прим. 28, соответствуют *Цзо ча* и *Ю ча* в Синь Тан шу.

[30] В надписях КТб, 17, БК 15 приведены слова Бильге-кагана: «Я был шадом над народом тардуш». В данном случае распространенное мнение об идентичности тардуша и яньто, господина тардушей и Се янь то, а также тёлиса и тэлэ — ошибочно.

[31] Синь Тан-шу сообщает: «Моцзилянь, или Пице-кэхань, сначала носил имя Сяо ша». А в Цзю Тан шу (цз. 8) сказано: «Сын старшего брата Мочжо-Сяо ша стал кэханем»; Цзю Тан шу (цз. 93) сообщает далее: «Вскоре Сяо ша унаследовал трон». Все это показывает, что до возведения на трон Моцзилянь (Моцзюй) был шадом.

[32] Существует мнение, что Моцзиляня (Моцзюя) звали Сяо ша (младшим шадом), потому что он был очень молод, когда был назначен шадом. Автор данной статьи считает, что действительная причина была в том, что Тардуш шад управлял Западом и был рангом ниже, чем Тёлис шад, правивший Востоком.

[33] См. прим. 28.

[34] Например: Тун дянь, Туцзюэ б; Цзю Тан шу, Туцзюэ чжуань а; Синь Тан шу, Туцзюэ чжуань б, и т. д.

[35] Например: Цэ фу юань гуй (цз. 975), Вай чэнь бу, Бао и бянь; Цэ фу Юань гуй (цз. 999), Вай Чэнь бу, Цин цю бянь; Чжан сю лин, Си туцюэ бице кэхань шу, а также Си туцюэ кэхань шу и т. д.

[36] Синь Тан-шу, Туцзюэ Чжуань б.

[37] А-[ши]-на ши чжи му чжи пин шу. (Ср. прим. 21).

[38] Например: Кан гун шэн тао бэй мин; Цэ фу юань гуй (цз. 975), Вай чэнь бу, Бао и бянь и т. д.

[39] Например: Цэ фу юань гуй (цз. 964), Вай чэнь бу, Фэн цэ бянь и т. д.

[40] Например: Цэ фу Юань гуй (цз. 992), Вай чэнь бу, Бэй юй бянь; Цэ фу юань гуй (цз. 986), Вай чэнь бу, Чжэн Тао бянь. В последнем сочинении сказано: «Его имя Ша (шад)».

[41] Например: Цэ фу юань гуй (цз. 980), Вай чэнь бу, Тун хао бянь.

[42] Например: Тун-дянь; Цзю Тан шу.

[43] Оуян Сюнь. Гаочан се ши цзя чжуань.

[44] КТМ$_{1,\ 3}$; БК$_{1,\ 2,\ 13}$; Тон$_{50,\ 58,\ 62}$.

[45] Я употребил выражение «обычно» потому, что до сих пор многое о Бумын-кагане остается неясным.

[46] БК$_{1,\ 13}$.

[47] Например: Цэ фу юань гуй, цз. 964, Вай чэнь бу, Фэн цэ бянь и т.д.

[48] Тон$_{31, 45}$.

[49] Цзю Тан шу; Синь Тан шу, формы И цзюй кэхань, встречающаяся в Тун дяне, и И цзян кэхань, в Цзю Тан шу (цз. 103) содержат орфографические искажения.

[50] КТб 1, БК 3.

[51] Цзю Тан шу (цз. 194 б); Синь тан шу (цз. 215 б).

[52] КТб 1, БК 3.

[53] Чжоу шу, Тун дянь (цз. 197).

[54] Синь Тан шу, Ту цюэ чжуань.

[55] Чжоу шу, Ту цюэ чжуань; Суй шу (цз. 94), Ту цюэ чжуань; Тун дянь, Ту цюэ, а. В Синь Тан шу встречается Ту мэнь или кэхань.

[56] Giraud R. L'Empire des Turcs célestes, p. 10.

[57] Giraud R. Там же, с. 19.

[58] Цзю Тан шу содержит те же сведения. О том же сообщает и Синь Тан шу.

Перевод с английского А. Г. Сазыкина

Э. Н. Наджип

ОБ АВТОРЕ И ДАТЕ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА XIV ВЕКА «НАХДЖ АЛ-ФАРАДИС»

Одним из ценных золотоордынско-хорезмских памятников XIV в. является «Нахдж ал-фарадис» — прозаическое произведение религиозно-дидактического содержания. Оно состоит из четырех глав, каждая из которых включает десять разделов. Каждый раздел в соответствии с содержанием начинается хадисом. Первая глава посвящена жизнеописанию пророка и его сподвижников. Вторая содержит жизнеописание первых четырех халифов, членов семьи пророка и первых имамов — глав мусульманского богослужения. В третьей главе излагаются основные законоположения ислама. Четвертая носит назидательно-дидактический характер. В последних двух главах много житейских примеров, представляющих интерес и с точки зрения этнографии, этики, морали и истории культуры.

Среди других памятников XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи является полупрозаическим, полупоэтическим переводным произведением, созданным на территории мамлюкского Египта. «Мухаббат-наме» Хорезми — чисто поэтическое произведение, написанное арабо-персидской метрикой аруз. «Хосрау и Ширин» Кутба тоже поэтическое переводное произведение, написанное размером аруз. Как известно, поэтическое, тем более переводное, произведение имеет меньшую ценность для истории языка. Поэтому объемистое прозаическое произведение «Нахдж ал-фарадис» имеет большое значение для характеристики тюркского языка в XIV в. в том ареале, где создан этот памятник. Важно также, что памятник, охватывая все стороны духовной и материальной жизни того периода, содержит огромное количество лексического материала. Отсюда и необходимость точно установить, где, кем, когда создан этот памятник и к какому времени относится наиболее старая его копия. Об этом памятнике впервые сообщил в 1885 г. татарский ученый Шихаб ад-дин Марджани,[1] о чем очень скоро забыли. Список Ш. Марджани, содержащий сведения об авторе и дате создания произведения и считавшийся тогда единственным, утерян. По всей вероятности, по этой причине произведение начали смешивать с другими, носящими такое же

название. Например, турецкий литературовед Абдулкадыр Карахан отнес его к числу известных мусульманскому миру «Сорока изречениям Магомета» («Кырк хадис»). Ученого, по-видимому, ввел в заблуждение тот факт, что в начале каждого из сорока разделов «Нахдж ал-фарадис» автор приводит одно изречение Магомета, соответствующее содержанию раздела.

Во вводной части «Мирадж-наме», небольшого произведения о вознесении пророка Магомета, переведенного в XIII в. на тюркский язык, говорится, что оно является переводом «Нахдж ал-фарадис». Это замечание переводчика ввело в заблуждение Паве де Куртейля, который «Нахдж ал-фарадис» спутал с упомянутым «Мирадж-наме». Утверждение французского ученого в свою очередь позволило С. Е. Малову заявить, что «Мирадж-наме» есть перевод сочинения «Картины рая» — «Нахдж ал-фарадис». Не этого ли «Мирадж-наме» автором является Али-оглы Махмуд Булгарский (XIV в.), упоминаемый Марджани в его «Истории Казани и Булгар».[2]

Эта ошибка в дальнейшем повторяется. А. Н. Самойлович в своем кратком предисловии к труду Я. Кемаля пишет: «Представляет большой интерес также сделанное мне проф. С. Е. Маловым указание на то, что сочинение „Nehcü-l-Feradis“ упоминается в предисловии к чагатайской обработке „Mirac-name“, изданной французским тюркологом Паве де Куртейлем».[3] Опять смешение двух разного содержания и объема и в разное время написанных произведений.

В предреволюционные годы татарские ученые Г. Азиз и Али Рахим включили в свой учебник по истории татарской литературы отдельные фрагменты из найденных на территории Татарии списков «Нахдж ал-фарадис» и тем самым снова обратили внимание ученых на этот памятник. В библиотеке при мечети «Ени джами» в Стамбуле хранится наиболее старый список этого произведения, зарегистрированный под № 879 («Фазаил аль-Муджизат»).[4] Якуб Кемаль, директор ялтинского краеведческого музея, обнаружил другой, но неполный список этого произведения в Крыму. Фрагменты из этого списка были опубликованы им в 1930 г. в наборе с кратким предисловием А. Н. Самойловича и историко-филологическим введением. К книге были приложены фотокопии нескольких страниц текста.[5] Как видно из опубликованных фрагментов, ялтинский список был не менее ценным, чем стамбульский. К сожалению, этот список в настоящее время утерян для науки безвозвратно. В 1949 г. ныне покойный Б. А. Яфаров защитил кандидатскую диссертацию «Литература камско-волжских булгар X—XIV вв. и рукопись Нахдж ал-фарадис» по материалам двух казанских списков. В 1956 г. Я. Экманн издал факсимиле списка «Ени Джами» с кратким предисловием.[6] Из предисловия было видно, что Экманн в дальнейшем предполагал опубликовать транскрипцию и перевод памятника, а также исследование о его языке, однако этот план остался не реализован-

ным. В 1963 г. Экманн сообщил, что в Париже в Национальной библиотеке обнаружен не известный до сих пор список этого памятника.[7] С. Чагатай поместила в транскрипции в «Образцах тюркских диалектов» фрагменты из ялтинского списка, во втором издании названного труда она публикует фрагменты из ялтинского списка, сверяя их с текстом стамбульского.[8] Краткие фрагменты памятника приведены были Экманном в «Fundamenta»[9] и во втором томе «Истории турецкого языка» А. Джафероглу.[10] Турецкий филолог Кавам ед-дин публикует в одном из томов «Türkiyat mecmuası» большой список уйгурских и кыпчакских слов из стамбульского списка «Нахдж ал-фарадис» (169—250 стр.). Однако как транскрипция, так и переводы его требуют многочисленных поправок. Ряд статей о характерных особенностях языка списка «Ени джами» опубликовал А. Ф. Караманлы-оглу.[11]

В 1963 г. фрагменты из казанских списков публикуются с вводной статьей к «Древнетатарской литературе».[12]

Вот такова краткая история обнаружения, публикации и изучения этого произведения.

Автором данной статьи изучена лексика стамбульского списка, составлена большая картотека в историко-сравнительном плане и лексические материалы памятника включены в его «Исторический словарь XI—XIV в.».

Сведения об авторе, месте и дате написания и снятия копий памятника попробуем установить по материалам отдельных списков.

От утерянного списка Ш. Марджани сохранились лишь краткие фрагменты, в которых имеются очень ценные сведения о дате создания памятника и его авторе. Ш. Марджани сообщает, что отдельные места этого текста (отмеченные многоточием) стерты и не поддаются чтению, кроме того, в тексте встречаются ошибки и пропуски переписчика. Перевод этого дефектного текста: «Второго дня семьсот пятьдесят девятого года в городе Сарае . . . делающий (второй компонент составного имени автора), предавшийся сердцем богу, живущий по повелению бога, совершенный учитель. . . Махмуд бин Али, ас-Сараи по происхождению, из Булгара по рождению и Курдери». Указанная дата 759 г. хиджры соответствует 1357/58 г. нашего летосчисления.

Ш. Марджани ничего не сообщает о том, когда снята была копия, которой он пользовался. Позже удалось восстановить отсутствующий текст списка Ш. Марджани по одному из ленинградских списков.

Я. Кемаль указывает, что ялтинский список неполный и что на первой странице вклеенного листа этого списка имеется текст на арабском языке, где указаны дата снятия копии: «раби аль-ахыр 792 г.» и имя переписчика — Касым бин Мухаммад. Эта

дата соответствует 1389/90 г. Значит, если дату, указанную в списке Ш. Марджани, считать правильной, то ялтинская копия снята была через 32 года после составления оригинала. Как видно из опубликованных фото, ялтинский список написан очень красивым почерком насх, переходящим к почерку сулюс. По сообщению Я. Кемаля, рукопись состояла из 549 страниц, на каждой из которых было по 13 строк.

Основываясь на том факте, что Солхат (Старый Крым) в свое время был одним из мощных очагов культуры и экономики Золотой Орды и что здесь найдено значительное количество ценных рукописей XIII—XIV вв., Я. Кемаль предполагает, что эта рукопись была переписана в Солхате местным переписчиком. В пользу такого предположения говорит и то, что когда в Средней Азии особо распространенным был почерк насталик, в Крыму основным почерком арабского письма был насх — почерк данной рукописи. Что касается Поволжья, то там на каллиграфию вообще особого внимания не обращали, и местные переписчики писали более грубым, невыработанным почерком.

Ялтинский список приближается во многом к стамбульскому, но резко отличается от последнего системой своих диакритических знаков: там, где в стамбульском фатха, в ялтинском кесра, что резко изменяет произношение слов и осложняет вопросы транскрипции.

Существует мнение, опирающееся на анализ качества бумаги (она хорезмского происхождения), орфографии стамбульского списка и систем диакритических знаков, о том, что этот список выполнен в Хорезме. Однако до сих пор ни в Хорезме, ни в других районах Средней Азии не обнаружен ни один список этого труда. Происхождение бумаги едва ли может служить веским основанием в пользу хорезмского происхождения рукописи. Ибо в тот период, когда Хорезм входил в состав Золотой Орды, и при той интенсивной торговле, которая велась Золотой Ордой с различными странами, не только в административном центре государства, но и в других городах могли писать на привозной, в том числе и на хорезмской бумаге (ведь вообще неизвестно, производилась ли бумага в Сарае). Нам кажется, факт распространения этого произведения именно в Поволжье и в Крыму является более важным в решении данного вопроса, чем происхождение бумаги.

Стамбульский список очень хорошо сохранился, он состоит из 222 листов или 444 страниц по 17 строк на каждой, то есть является наиболее полным. Основной текст написан на темно-кремовой бумаге черными чернилами, а названия глав и разделов, а также некоторые собственные имена и выражения написаны красными чернилами. Почерк — разборчивый насх. Харакаты везде, даже над словами, написанными красными чернилами, черные, что свидетельствует о том, что они поставлены позднее, после полной переписки всего текста.

Допустимо, конечно, что автор, хотя он и пишет, пользуясь установившейся тогда орфографией кашгарского тюрки, харакаты ставит все же в соответствии с произношением. Однако неизменный цвет чернил, которыми поставлены харакаты, наталкивает на мысль о том, что сама рукопись могла быть написана в одном месте, а харакаты поставлены позднее или в Хорезме, или каким-либо хорезмийцем в соответствии с его произношением.

В стамбульском списке также нет указаний на место составления, переписки и на имя автора, но он содержит дату переписки и имя переписчика: он переписан в 761 г. хиджры Мухаммадом бин Мухаммад Хосрау аль-Хорезми. Указанная дата соответствует 1359/60 г. Следовательно, этот список исполнен на 30 лет раньше ялтинского. Имеющийся текст помогает уточнить даты снятия настоящей копии и смерти автора. Вот эта запись: «Эта книга завершена в семьсот шестьдесят первом году шестого дня благословенного месяца Джумади уль-аввал до обеда. Составитель этой книги в упомянутое воскресенье отошел от тленного мира в мир вечности».

Следовательно, стамбульский список — современник автора, он переписан при его жизни. Джумади уль-аввал — пятый месяц мусульманского календаря. Первый день этого месяца в 761 г. соответствовал пятнице 20 марта, а шестой день, когда завершена была переписка, — среде 25 марта 1360 г. Автор труда умер за три дня до окончания переписки, в воскресенье 22 марта 1360 г. Таким образом, стамбульский список дает нам возможность не только точно установить дату окончания переписки данного списка, но и день смерти автора произведения.

Из позднейшей записи, сделанной внизу на первой странице, мы узнаем, что рукопись находилась в библиотеке сына Абу-Саида Чакмака (1437—1445) Мухаммад-бая в Египте. Безусловно, она попала в Турцию после падения власти мамлюков и покорения страны османами. На 3, 216 и 444 страницах рукописи сохранилась вакуфная печать «Султан Ахмад-хана Гази султан Махмед-хана». Факт нахождения рукописи в Египте также говорит в пользу поволжского происхождения ее (Поволжье было тогда тесно связано с Египтом). В Казани, в библиотеке Института языка и литературы, хранится рукопись в объеме 536 стр., относящаяся к XVII в. В библиотеке Казанского госпединститута есть еще один список второй половины XVIII в. Как видно, казанские списки более поздние и большой ценности не представляют. В Ленинграде, в библиотеке ЛО ИВАН СССР, хранятся два поздних списка, привезенных сюда в недалеком прошлом из Казани. Ценность рукописи под шифром 344 заключается в том, что она на листе 427б содержит текст, дающий нам возможность уточнить текст списка Ш. Марджани: «Это был восьмой день месяца сафар в году Лошади. Было в (году) семьсот пятьдесят девятом в городе Сарае. Собиратель (автор) этой книги, предавшийся сердцем богу, живу-

щий по повелению господа, совершенный учитель, признающий единого бога Махмуд бин Али, шейх (или из шейхов) Сарая по происхождению, из Булгара по рождению и связанный с Курдером».

В тексте Ш. Марджани не было названия месяца, *сакизинчи* 'восьмой' прочитано как *икинчи* 'второй'; неразборчив был первый компонент слова — *джам ḳылḡучи*; не было слова *шайх*, вместо непонятного *йылḡа* 'году' оказалось *йылḳы* — название седьмого года по двенадцатилетнему животному циклу; отсутствовало очень важное слово *акдан*, указывающее на связь автора с Курдером. Год завершения работы в обоих списках совпадает. 759 г. хиджры и год Лошади соответствовали 1357/58 г. Сафар — второй месяц по лунному исчислению, его первый день соответствовал 13 января, субботе, работа завершена 8-го сафара, то есть 21 января 1358 г. Из списка же «Ени Джами» мы знаем, что автор умер 22 марта 1360 г.

Курдер — название города в Хорезме, о чем сообщает и Якут Хамави. Я. Кемаль в вышеупомянутом предварительном сообщении из этой записи делает вывод о принадлежности автора «Нахдж ал-фарадис» к Курдеру. При этом, ссылаясь на «Табакат», он говорит, что этот город в тот период был одним из центров ученых и теологов. Такого же мнения придерживается Кюпрюлюзаде.[13] Однако последний предполагает, что, быть может, автор, будучи по происхождению из Курдера в Хорезме, в дальнейшем жил и творил в Сарае.

Между тем слово *акдан*, имеющееся в ленинградском списке, наталкивает на мысль искать решение данного вопроса в совершенно ином плане. Нам известно, что среди племен, населявших Золотую Орду, было племя, носившее такое название и кочевавшее в Нижнем Поволжье. У казахов Малой Орды (Киши жус) до недавнего времени существовал род Курдер.

Псевдоним Курдери встречается и у Давлатшаха Самарканди, который в одном тюрко-персидском четверостишии пишет: «Увидев его тюркские стихи, перестали бы писать и раскаялись Лутфи и Курдери, если бы были живы они». Поэт Курдери, быть может, был современником Лутфи, поэта первой половины XV в.

Сопоставительное изучение всех текстов «Нахдж ал-фарадис» позволяет установить: а) автором этой книги был Махмуд бин Али; б) дата завершения книги — 8 сафара 759 г., хиджры — 1357/1358 гг., то есть 21 января 1358 г.; в) ялтинский список переписан в 792 г., в месяце раби аль-ахыр (1389/1390 г.) Касымом бин Мухаммадом; г) переписка стамбульского списка закончена 25 марта 1360 г. (на 30 лет раньше ялтинского), и этот список является прижизненным; д) автор труда умер 22 марта 1360 г.

Время создания «Нахдж ал-фарадис» относится к периоду правления в Сарае Берди-бека, тогда же в низовьях Сырдарьи было создано «Мухаббат-наме» Хорезми.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Марджани Шихаб ад-дин. Мустафад аль-ахбар, т. I. Казань, 1885, с. 15—16.

[2] Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, с. 96—97.

Кемаль Я. Тюрко-татарская рукопись XIV в. «Нехджу-ль Ферадис». Симферополь, 1930, с. 3.

[4] Türkiyat Mecmuası, II. İstanbul, 1928, S. 331—345.

[5] Кемаль Я. Тюрко-татарская рукопись. . .

[6] Nehcü'l-feradis, I. Ankara, 1956.

[7] Eckmann J. Nehc'l-feradis'in bilinmeyen bir yazması, TDAY.

[8] Çagatay S. Türk lehçeleri Örnekleri. Ankara, 1950; 2-е изд. Ankara, 1963.

[9] Philologiae Turcicae Fundamenta, I. Wiesbaden, 1959.

[10] Caferoğlu A. Türk Dili Tarihi, c. 11. İstanbul, 1964.

[11] Karamanli-oğlu A. F. Nehcu'l-feradis'in dil hususiyetleri. İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat Dergisi, XVI—XIX. 1968—1971.

[12] Борынгы татар әдәбияты. Казан, 1963, с. 218—248.

[13] Köprulüzade Mehmed Fuad. Türk edebiyati tarihi. İstanbul, 1926, S. 344—347.

Ю. Немет

К ВОПРОСУ ОБ АВАРАХ

Первую тюркскую державу, которая в древности простиралась от Центральной Азии до Дуная, образовали гунны, наследниками которых через столетие были авары.[1] Это положение я обосновываю в своем еще неизданном исследовании «К истории венгров в IX в.», одна глава которого посвящена заслуженному советскому тюркологу и автору многочисленных выдающихся трудов.

Здесь рассматриваются вопрос о языке паннонских аваров, вопрос о происхождении названия *авар*, а также затрагивается проблема *псевдоаваров*.

Материалы о гуннах мы в основном черпаем из описания двора Аттилы у ритора Приска, а об аварах мы располагаем преимущественно сведениями из франкских хроник. Все эти источники имеют первостепенную важность.

Ко времени прихода венгров на нынешнюю территорию там уже почти не было аваров, во всяком случае они не упоминаются в источниках. Сохранились лишь их погребения, исследованием которых сейчас интенсивно и весьма успешно занимаются.[2] Но на венгерской территории мы не располагаем ни одним аварским языковым памятником, ни одним именем. Я не рассматриваю археологические, этнографические и антропологические теории. Во всех этих дисциплинах накоплен большой материал, высказано много разных мнений; однако эти исследования не могут пока оказать влияния на лингвистические выводы. Во всяком случае, я убежден, что этим дисциплинам в вопросе об аварах еще много предстоит сделать.[3] Разыскания И. Вашари, опубликованные в АОН (XXV, с. 335—347), не дают все же достаточного текстового материала.

Предположение П. Пельо о том, что авары были монголами, хотя это и было высказано без убедительных доказательств, получило всеобщую известность и почти всеобщее признание. Как известно, главное доказательство П. Пельо — множественное число этнонима *тюрк* в китайских источниках, что Р. Груссе суммирует в следующей подробной формулировке: «Китайская транскрипция t'ou-kiue восходит к монгольскому множественному числу türk-üt; китайцы познакомились с тюрками через

посредство жужаней (жуань-жуаней), которые были монголами.[4] Следует вспомнить, что еще И. Маркварт [5] допускал фонетическое тождество t'ou-kiue=türküt».[6]

Едва ли можно утверждать, что эта гипотеза особенно убедительна. Поэтому вполне естественны следующие предположения Я. Харматты: «Впервые официально сообщили о тюрках в китайскую имперскую канцелярию согдийские дипломаты, поэтому следует предположить, что название тюрков установилось при китайском дворе в согдийской форме. . . Уже давно я предположил (AAH, X, с. 149), что для этнонима тюрк можно установить согдийскую форму twrky. Согдийское множественное число от формы twrky могло быть twrkyt=turkit, или turkid, точно отраженное китайской транскрипцией».[7]

Критическое рассмотрение аварской проблемы опубликовано З. Гомбоцем на венгерском языке (MNy 1916). З. Гомбоц, как далее будет изложено подробней, считает, что скудные остатки аварского языка указывают на его тюркский характер. На обоснование этого тезиса и будет направлено дальнейшее изложение.

Здесь я предлагаю список слов, сохранившихся от языка европейских аваров и в большинстве случаев имеющих надежное истолкование. Вначале, как правило, упоминается аварская форма со значением. Отступление от этого принципа делается в крайне сложном случае.

Qaǧan — 'глава государства, властитель'. З. Гомбоц (MNy, с. 100) указывает следующие варианты слова из западных источников: cagan, chagan;[8] cagamus, kaganus; [9] cacanus (Павел Диакон, IV); в испорченных текстах: paganes (MGH, T. II, с. 450), cappanus (Ann. Xant. ad. a. 805; MGH, T. II, с. 224). Ср. еще Дежё Шимоньи (MNy, 1968, с. 438), MGH, I, 117); Cacanus (Моравчик, II, с. 232—χαγάνος), а также Г. Дёрфер.[10]

Bajan — личное имя кагана; 'богатый, сила, состояние' (Моравчик, II, 83; Гомбоц, с. 101; ср. HM Kial 104 [огузской формы Bajan не существует]; Дёрфер II, 259—260, № 714; в ДТС нет). Г. Рамстедт — bajn̥ 'богатый, богач; собственность, состояние и т. п.'; В. Егоров (с. 163) — pujan 'богатый'.

Qatun — 'княгиня, жена кагана'. Шимоньи (MNy, 1968, с. 438): Catun — Рясянен (157a); Xātun — Моравчик (II, 343), Дёрфер (III, 132—141; № 1159) и Аалто.[11]

Tarhan, Tarqan — 'название высокого титула и привилегированного сословия'. Шимоньи (MNy, 1968, м. 438): Tarcan. HM Kial (индекс); Моравчик (II, 299); Рясянен (с. 464): tar-han. См. также Дёрфер (II, 460—474, № 879) и Клосон (с. 539).

Tudun — 'самый высокий (после кагана) титул у аваров, правящий князь' (см. Томашек — Zeitschr. österr. Gymn, 1877; Шаванн, Documents, 263, пр. 4; Рясянен, 496a; Гомбоц, 98—100). Далее З. Гомбоц приводит древнетюркские имена Tudun Yamtar и Kül-Tudun (очень значительный титул), а также имя Uruŋgu Tudun čigši из материалов А. Штейна—В. Томсена. Впоследствии

было обнаружено чрезвычайно важное свидетельство у Махмуда Кашгарского: tuδun 'распорядитель; тот, кто распределяет в селении воду в арыках' (ДТС) с изменением значения.

Происхождение слова ясно: оно произведено от тюркского глагола tut- 'держать, хранить, ловить', хотя иногда его неправильно сопоставляют со словом tojin 'буддийский священник' в уйгурско-китайском словаре.

Очень важны разыскания А. А. Шахматова и А. Самойловича о слове tudun у древних тюрков, аваров и хазаров,[12] что подытожено В. Егоровым (с. 238): «Тăрăн, тăрăм — названия целого ряда (свыше десяти) селений в Чувашии: Чиркĕллĕ Тăрăн (с. Туруново), Вăрманкас Тăрăн, Ытмар Тăрăн и т. д. Волжско-булгарское слово т(у)рун в русских летописях под 1230 г. передается во мн. ч. в форме Турунове» [точнее Трунове! — прим. переводчика].

Juğ[u]ruš 'первый министр' — Гомбоц (MNy XII, 1916, с. 97—98): «Caganus et Jugurrus, principes Hunnorum» — Einh. Ann. ad. a. 782, с вариантами. МК, Брок.: juγruš 'везир, по рангу непосредственно после кагана, для него разбивался черный шелковый шатер'. И. Миккола[13] сопоставляет аварское слово франкской хроники с восточноазиатским. М. Ф. Кюпрюлюзаде, И. Маркварт,[14] ДТС: juγruš.

Kök — личное имя со значением 'синий, голубой'. Моравчик II², 172: Κοχ, kwx (ок. 585 г.) 'аварский посол'. Тюрки действительно знают это имя: мужское имя Gök 'Гёк' (ТРС, с. 199). Мужское имя Köke также отмечено в монгольской среде Г. Рамстедтом; калм. kökö (köke) 'синий' и личное мужское имя. В именах kök-türk, köke-mongol, göklen 'Туркменское племенное название' скрыто понятие «gloriosus, то есть славный».

З. Гомбоц (с. 102): «Тюркское слово kök — название неба и священного небесного цвета — встречается не только в этнонимах kök-türk, kök-čulut, köke-mongol, но и часто в личных именах. Сын легендарного Огуз-хана, согласно тюркской национальной традиции, именовался Kök-Qan; есть также имена: Kök-Böri 'синий волк'; Kök-Taš 'синий камень'» (Дёрфер III, 640—642).

Qam-Saučï «шаман-посол» — наименование министра. З. Гомбоц не занимался этим словом, я же предложил в 1930 г. (НМ Kial 104) объяснение и решительно повторяю его и теперь. У Эйнгарда употреблены формы Canizauci; Camzauci; Cani, zuci, которые следует читать Qam-saučï, где qam значит 'шаман', saučï — 'посланник', часто употреблявшееся в тюркской политической жизни.

Следует отметить большую роль жреческой верхушки в управлении государством как у гуннов, так и у аваров (подобно тому, как в средневековье у нас, а также у монголов).

Solaq — имя аварского посла (около 580 г.), собственно 'левша', возможно 'сидящий слева сановник' (Моравчик, 284; Гомбоц, 101; НМ Kial 103). Очень распространенное имя.

Этимологию слова *авар* я рассмотрел в 1930 г. в НМ Kial 104 (ср. Моравчик II², 53). Его древнетюркская форма *апар*. К старым фиксациям сейчас добавлена новая, особенно важная: biz beš apar (=bⁱzbᵉšᵃpᵃr).[15] Впоследствии выступает форма *авар*, ср.: слав. *обринъ* — *обре*; а в дальнейшем третья форма *авар*.

Авар < *абар* < *апар* — важный и характерный тюркский этноним отглагольного происхождения со значением 'отказывающийся, не слушающийся (также политически)'. О глаголе В. В. Радлов дает следующие сведения: *аба-* (тур., чагат.) 'отказаться, не слушаться' со ссылкой на чагатайско-турецкий словарь Шейха Сулеймана Бухарского: 'запрещать, препятствовать, не покидать'; ср. 'отвергать' в словаре Дж. Редхауза; *ава-* 'запрещать, препятствовать, отклонять, отрицать'.[16]

Этнонимом занимался также П. Аалто (с. 33—34): «Имя *апар* (в орхонских надписях) обычно связывают с аварами. Вслед за Г. Г. Шедером [17] часто обращают внимание на трудности этого отождествления. Я склонен предполагать, что это имя относится к иранской области Абаршехр (Abarshahr, по-армянски Apar ašχ-art, на сасанидских монетах Apr, Aprš, Apršs, в манихейских источниках šahr . . .čē abar) и ее центру, называемых также Нишапур. . .»

Это сопоставление, даже если оно окажется верным, не касается, однако, моего объяснения. Венгерский этимологический словарь [18] принимает мое объяснение с оговоркой talán 'может быть', которую следует снять.

Поскольку здесь идет речь об очень важной черте в структуре тюркских кочевых государств, а мой принцип определения первоначального значения этнонима, положенный в основу моих объяснений, рассматривается иногда предубежденно, я с целью подкрепления своего тезиса приведу еще несколько идентичных или подобных имен.

К этой же семантической группе принадлежит и название трех хазарских племен, которые около 890 г. восстали против хазаров и примкнули к венгерскому племенному объединению — Qovar;[19] ср. чаг. *kon-*'подниматься, встать' (PO). Здесь проявляется то же изменение p > b > v.

У Константина в первом слоге — α, что следует — как это часто бывает — читать как о. В лат. Qowaris (аблатив, Хроника Адмонта, 881 г.) и венг. kovár -o- первого слова регулярно соответствует греческому о (НМ Kil 104; Моравчик II², с. 31).

Старое имя чувашей — *булгар* ясно засвидетельствовано в русских источниках. Имя ал-Булгари известно из волжско-булгарских эпитафий. Многочисленные сведения о нем есть также в исторических памятниках Кавказских булгаров (Моравчик II, с. 98—106), причем в его произношении, в его старом и новом фонетическом развитии, в его семантике нет значительных проблем.

Не подлежит сомнению, что слово с самого начала было тюркским этнонимом, и у нас нет оснований для предположения о его нетюркском происхождении (Моравчик II, с. 98—106, также I, с. 108 сл.).

Мне дважды приходилось обсуждать имя *булгар*.[20] На основе моих прежних разысканий и богатых новых тюркологических источников сейчас я представляю происхождение этнонима следующим образом.

Значительное число древнетюркских этнонимов восходит к аористу — причастию на *-ар*, к ним относится и название *булгар*. ДТС дает следующие важные значения производящего слова *булга-*: «1. перемешивать, смешивать. . .4. возбуждать недовольство, сеять смуту». Производные от этого глагола зачастую употребляются для обозначения мятежных явлений: *булгаk* 'смута, волнение'; *булҕайуk*, *булҕануk* 'волнение, возмущение, смута' и т. д. (Ср. также примеры в НМ Kial).

Имя *булгар* я перевожу как 'тот, кто подстрекает к мятежу', а в качестве этнонима слово имеет значение 'повстанец, мятежник'.[21] И раньше, и теперь этноним объяснялся как тотемическое название (ср. тур. *булган* 'соболь'), что мне представляется невозможным. В Азии этого этнонима не было, он появился лишь после смерти Аттилы как новое политическое наименование. Тотемическое объяснение лингвистически неприемлемо.

Наименование *сувар*, по-моему, также принадлежит к этой семантической группе тюркских этнонимов. Это было название большого города Волжской Булгарии вблизи Булгара. Арабские источники (цит. по рукописи проф. Михаила Кмошке «Gog und Magog») упоминают его многократно: Ибн Хордадбех (124, 154), Ибн ал-Факих (297), Истахри (225), Мукаддаси (355, 361: *сувар* находится рядом с той же рекой). Другой город Сувар назван у Ибн Хордадбеха на северо-востоке Кавказа,[22] но также у булгаров. Оба города названы по тюркскому этнониму *сувар*, *суварин* (МК. Брок, с. 249).

Производящее слово для этнонима — sumaq, sur- : bojun su- 'слушаться' (МК. Брок, у Аталая точнее, чем МК. Брок.) с корнем su-, suw-, подобным ju-, juw- 'мыть' (Рясянен, 209а) с аористом juvar.

Первоначальное значение этнонима *сувар* 'племя покорных, послушных'.[23]

К этой же группе относится и очень распространенный огузский этноним *авшар* 'покорный, верноподданнический' — ср. у Радлова: au̯- 'склониться к тому' (ul aŋar audï, anïŋ ǰağïna au̯dï 'он склонился к нему'), aȗ̯š- 'поддаться, уступить' (см. НМ Kial, 38).

Я уже указывал (НМ Kial 35—36), что тюркский этноним *чăваш* 'чуваш' идентичен с волжско-тюркским словом živaš 'спокойный, скромный, мирный'. То же следует сказать и о киргизском родовом названии žuvaš=*чăваш*. У нижних кумандинцев есть род *чабаш* 'мирный, миролюбивый, медленный'. Все три

последних имени принадлежат к одной семантической группе, представляя собою своеобразные прозвища.

Название *кыпчак*, *кыфчак* (=саг 'сердитый, вспыльчивый человек, которого всякое дело возбуждает') прямо противоположно им. Другие объяснения см. А. Н. Кононов.[24]

(Mergen). Широко распространенное монгольское слово mergen 'стрелок (вероятно, это первоначальное значение), мастер; мудрый, остроумный', которое в качестве личного имени встречается во времени Арпадов (900—1300 гг.) в Венгрии, а также в Адриатике (подробную библиографию см. Моравчик I, с. 72; Дёрфер, с. 496—498, № 363; Шинор, с. 265, и Рашоньи).[25]

Общеизвестны сведения Феофилакта Симокатты и Менандры о том, что европейские авары не были настоящими аварами; они были тюрками, но приняли имя авар, чтобы внушить страх другим народам. Они состояли из частей ονάρ и χοωνι.

Итак, авары были тюркского происхождения и говорили приблизительно на том же тюркском диалекте, что и племя Аттилы, весьма близком к языку орхонских надписей. Ф. Б. Ростопчин [26] подробно рассмотрел подоплеку возникновения и развития одного подобного имени — имени šāh-seven 'которые любят шаха', — что относится к уже более позднему времени (ср. Дёрфер III, с. 315—316, № 1319).

Приведенное здесь объяснение этнонима авар относится также и к проблеме псевдоаваров.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. I—II. Berlin, 1958. I, a. 70 сл. (Далее: Моравчик); D. Sinor. Introduction à l'étude de l'Eurasie Central. Wiesbaden, 1963, p. 265 сл. (Далее: Шинор); Rásonyi. Tarihte türklük. Ankara, 1971; Czeglédy K. Nomad népek vándozlása. Budapest, 1969; Haussig H. W. Die Quelle über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren. — «Central Asiatic Journal», vol. II, 1956, c. 21; Németh. A honfogloló magyarság kialakulasa (Формирование старовенгерского народа). Budapest, 1930 (Далее: HM Kial).

[2] Melich J. A honfoglalaskori Magyarország. Budapest, 1925—1929, p. 413.

[3] Ср., например, в журнале «Antik Tanulmányok» статьи авторов: Szadeczky—Kardoss (1968, c. 84—87); Teréz Olajos (1969, c. 87—90); а также: Tomka P. Les groupes intérieurs du cimetière avar de györ — Téglavető — dülő. — AOH, t. XXV, 1972, p. 313—334.

[4] Pelliot P. L'origine des Tou—Kine, nom chinois des Turks. — «T'oung Pao», vol. XVI, 1915, p. 687.

[5] Marquart J. Untersuchungen zur Geschichte von Eran. H. I—II. Göttingen—Leipzig, 1896—1905, II, c. 252.

[6] Grousset R. Histoire de l'Exterême Oriente, I. Paris, 1929, p. 252—253.

[7] Harmatta J. Irano—Turcica. — AOH, XXV, p. 272—273.

[8] Einhardi Fuld. Ann. ad a. 796.

[9] Einh. Ann. ad. a. 782; Vita Karoli, MGH71, II, c. 450.

[10] Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. I—III. Wiesbaden, 1963—1967. J. III, c. 141—179, N 1161. (Далее: Дёрфер).

[11] A a l t o P. Iranian contacts of the Turks in Preislamic Times. — «Studia turcica». Budapest, 1971, p. 35. (Далее: Аалто).

[12] Ш а х м а т о в А. А. Заметки об языке волжских булгар. — В кн.: Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук, т. V, вып. I (1918), с. 395—397; С а м о й л о в и ч А. Турун—тудун (Еще пример турко-булгарского ротацизма). — Там же, с. 398—400.

[13] M i k k o l a J. Avarica. — Archiv für slavische Philologie, XLV, 1927.

[14] K ö p r ü l ü - z a d e M. F. «Kőrösi Csoma—Archivum», I, Ergänzungsband (1938), 337; M a r q u a r t J. Die altbulgarische Ausdrücke in Inschrift von Catalar und der altbulgarischen Fürstenliste. Оттиск из «Известий Русского арх. ин-та в Константинополе», XV, 1911, с. 15.

[15] Т е н и ш е в Э. Р. Руническая надпись на утесе р. Чарыша. — «Эпиграфика Востока», XII, 1958, с. 64.

[16] Türkiyede halk ağzından Söz Derleme Dergisi, I, AD, Istanbul, 1939.

[17] S c h a e d e r H. H. Iranica. — «Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse». 3. Folge. 1934, N lo. s. 40.

[18] A magyar nyelv történeti—etimologiai szótára, I, Budapest, 1967.

[19] Б а г р я н о р о д н ы й К. Об управлении государством, гл. 38.

[20] Сб. «Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski», II, Cracoviae, 1928; НМ Kial, с. 38, 95.

[21] Even H o v d h a u g e n. Turkish Words in Khotanase Texts (Оттиск из «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», XXIV), с. 186. Впоследствии Bailey (TPNK, с. 202) объяснил слово как булгамачи 'мятежник, повстанец' (от *булга-* 'смешивать, возмущать'). Этимология представляется фонетически неправдоподобной, а само слово не засвидетельствовано в других старейших тюркских текстах. Слово следует считать необъясненным. Однако правильность объяснения Bailey стоит вне всякого сомнения.

[22] «Худуд ал-алам», перевод В. Ф. Минорского, с. 455.

[23] Многие исследователи, например П. Пельо, удивлялись, что этнонимы часто оканчиваются на *-ar*, *-er*, *-ur*, *-ür*. Не говоря уж о том, что концовка *-r* очень распространена в тюркских языках, большая часть из них восходит к аористу-причастию на *-r*.

[24] К о н о н о в А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.—Л., 1958, с. 85, пр. 46.

[25] R á s o n y i L. Tarihte türklük. Ankara, 1971, S. 305 и сл.; «Nyelvtuhamanyi Kőzlőmének», XLVI, с. 466.

[26] Р о с т о п ч и н Ф. Б. Заметки о Шах-севенах. — СЭ, 1933, № 3—4, с. 88—118.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Егоров	— Е г о р о в В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
Клосон	— C l a u s o n G. An Etymological Dictionary of the Prethirteenth century Turkish. Oxford, 1972.
МК. Брок.	— Махмуд Кашгарский, изд. Брокельмана.
Рамстедт	— R a m s t e d t G. J. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
Рясянен	— R ä s ä n e n M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.
MNy	— «Magyar nyelv».
ТРС	— Туркменско-русский словарь. 1968.

Перевод с немецкого И. Г. Добродомова

А. Д. Новичев

ПЕНЧИК. К ИСТОРИИ РАБСТВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Институт рабства был широко распространен в Османской империи, а ранее в государстве Сельджукидов в Малой Азии. Более того, этот институт существовал у племен, создавших это государство, задолго до того, как они вторглись на территории армян и византийцев. Еще в X веке кочевая знать их предков, огузов, — хан и его беки — владели большим числом рабов. Богатство этой знати выражалось в «тысячах, а иногда десятках тысяч верблюдов, коней, овец и баранов», а также в большом числе рабов.[1] Иранские летописцы на основании собственных наблюдений установили, что у огузских кочевых племен, двигавшихся через Иранское плоскогорье, одни были пастухами, жаждавшими новых пастбищ, другие — воинами, стремившимися к власти, к захвату рабов и добычи.[2]

В государстве Сельджукидов в Малой Азии погоня за рабами была одной из важных целей военных походов, предпринимавшихся вождями сельджукских племен, их беями и султанами. Рабов продавали на невольничьих рынках (как рынок невольников особенно выделялась Бурса), их труд применялся в сельском хозяйстве и в сфере домашних услуг, сельджукские султаны создавали из них отряды своей гвардии. В них, как и в отрядах, состоявших из наемных солдат, они видели самую надежную свою опору.[3]

При рассмотрении вопроса о рабстве в Турции следует не упускать из виду, что еще в X в. огузы приняли ислам и тем самым оказались под сильным влиянием мусульманских стран, с которыми они, а затем их потомки соприкасались, и установленных исламом норм жизни, в том числе и широко распространенного в этих странах рабства.[4]

Турки-османы, основавшие новое турецкое государство после распада государства Сельджукидов, в вопросе о рабстве не только продолжали действовать по примеру сельджуков, но и придали этому институту необычайно широкий размах.

Охота за рабами была одной из важнейших причин, побуждавших османов, в первую очередь их знать, к захватническим вой-

нам. Она приняла особенно большой масштаб после того, как молодое Османское государство в начале второй половины XIV в. начало завоевание Балканского полуострова. Сотни тысяч болгар, греков, сербов, босняков и других коренных жителей Балкан христианского вероисповедания обоего пола и любого возраста, воинов и мирных жителей были захвачены в плен и угнаны в рабство. Захватничьи, грабительские войны были главным источником рабства в Османском государстве, превратившемся после завоевания ими Константинополя в крупную сильную империю, владения которой к концу XV в. распространялись на всю Малую Азию и Балканский полуостров. Рабы стали одним из главных резервов пополнения турецкого войска и даровой рабочей силы для султана, членов династии и знати.

К сожалению, институту рабства в Турции историки уделили мало внимания. До сих пор отсутствует монография на эту тему (за исключением работ, посвященных янычарскому корпусу, который до конца XVI в. комплектовался главным образом из захваченных в плен рабов). Даже количество статей, в которых она в той или иной степени анализируется, крайне ограничено. На русском языке, насколько нам известно, нет ни одной.

В настоящей статье кратко рассматривается одна из форм рабства, известная под названием «пенджик», или «пенчик». Предварительно необходимо ознакомиться с терминами, обозначающими рабов и рабынь, которые мы будем употреблять в нашей статье.

Пленные, захваченные во время войн и набегов турками, военнопленные и мирные жители обычно назывались арабским термином ‘эсир’ esir.[5] Изредка для обозначения таких пленных употреблялся термин ‘тутсак’ tutsak.[6] Широко известный старый тюркский термин ‘кул’ kul означал раба вообще — захваченного в плен на войне, купленного, полученного в дар, раба по рождению и др. Такое же обобщенное значение имел и термин «куллук» — kulluk ‘рабство’. В таком же смысле употреблялись и термины «кёле» и «кёлелик» (kölelik).[7] «Кёле» называли раба-мужчину, схваченного во время войны или купленного. Для женщин-рабынь такого рода наиболее употребительными были термины «караваш» (karavaş) и «джарийе» (cariye), особенно последний.[8]

Мы привели лишь часть терминов, обозначавших в Османской империи в средние века (да и позже) раба, рабство. Большое количество таких терминов, притом разного происхождения — тюркского, арабского, иранского, — является одним из важных показателей широкого распространения в Османской империи института рабства, длительного его существования и разнообразия его форм.

Одной из форм рабства был «пенчик». Это название представляло собой видоизменение (применительно к турецкому произношению) иранского термина «пенч-у йек», означающего ‘одна пятая’. Термин «пенчик» стал применяться в турецком законо-

дательстве, в исторической литературе и вошел в обиход.[9] Что же представляла собой форма рабства, обозначенная этим термином?

По закону о пенчике (pençik kanunu) каждый воин — участник войны с христианами (войной считался и разбойничий набег на мирное христианское население на «вражеской» территории с целью угона жителей в рабство и грабежа имущества) — был обязан одну пятую часть своих пленников передать султану. За пленных, признанных годными для службы в войске султана, но оставшихся в распоряжении их собственников (esir sahibi), последние должны были уплатить денежный налог в размере одной пятой цены такого раба. На первых порах она была установлена турецкими властями в размере 125 акче, поэтому налог был равен 25 акче.[10]

За захваченных и угнанных в рабство пленных женщин, детей, стариков их собственник также должен был уплатить налог 'пенчик'. Таким образом, в целом 'пенчик' рассматривался турецкими властями как налог (pençik resmi).

Пленные, захваченные в бою или во время набегов и предназначенные для пополнения одновременно создававшегося янычарского войска, назывались 'пенч-у йек огланы' — penç-ü yek oğlanı или 'пенчик огланы'.

Для характеристики «пенчика» как формы рабства особый интерес приобретает та, притом самая многочисленная, часть пленных, которая оставалась у их собственника. По «Закону о пенчике» пленные мужского пола делились на шесть групп. Каждой из них был присвоен особый термин: 1) «ширхор» şirhor 'грудные дети'; 2) «бечче» beççe 'дитя' — дети с 3 до 8 лет; 3) «гулямче» gulâmce — мальчики в возрасте с 8 до 12 лет; 4) «гулям» gulâm — юноши, достигшие совершеннолетия (то есть половой зрелости); 5) «сакаллы» sakallı — 'бородатые', то есть бреющиеся; 6) «пир» pir 'старики'. Размер налога различался в зависимости от возраста. Учитывались также увечье, инвалидность и пр.[11] На еще большее количество групп делились женщины-рабыни.[12]

Для взимания «пенчика» как в натуре, так и в деньгах был создан специальный аппарат сборщиков. Они находились при отрядах так называемых «акынджи» (akıncı 'совершающий набег'). Эти чиновники вместе с вожаками отрядов акынджи определяли число эсир'ов, ими захваченных, выделяли вожакам принятую долю, а затем взимали установленную долю эсир'ов в пользу султана и налог. Такие чиновники назывались «пенчикчи» (pençikçi). Другие чиновники были предназначены для сбора «пенчика» в рядах армии. Они располагались в местах, где проходили или собирались войска, возвращавшиеся с похода, как, например, Галлиполи, Стамбул и др. Эти чиновники назывались «пенчик эмини» (pençik emini; эмин — доверенный, уполномоченный).[13]

Уплатив налог «пенчик», собственник рабов распоряжался ими по своему усмотрению. Многих из них он продавал на не-

вольничьих рынках. На рабов и рабынь, выставленных для продажи, надевали ярлык, на котором были указаны цена, возраст, приметы и пр. Такой ярлык также назывался «пенчик», а рабы, снабженные такими ярлыками, именовались «пенчикли» (pençikli).[14]

Точная дата введения «пенчика» неизвестна. Турецкие источники содержат разные данные по этому вопросу — 1361, 1362, 1363 гг. Проф. Узунчаршылы склоняется к последней дате.[15] В этом же году произошло крупное событие в истории Турции — создание янычарского войска. Для него и были предназначены рабы — христианские юноши и подростки, прозванные пенчик огланы (pençik oğlanı).[16]

Это было время, когда после вторжения из Малой Азии через Дарданелльский пролив на Галлиполийский полуостров в 1352—1354 гг. с целью покорить и включить в состав Османского государства Византию, Болгарию, Сербию и другие балканские страны, турецкие завоеватели столкнулись со значительными военными трудностями. Племенные и феодальные конные ополчения встретили сильное сопротивление со стороны населения, подвергшегося агрессии, они оказались плохо подготовленными для взятия крепостей. Численность турецких войск также была недостаточной, так как приходилось оставлять гарнизоны в крепостях и городах, чтобы держать в подчинении покоренное население, во много раз превосходившее в числе турок. Помимо этого, султан нуждался в постоянном, регулярном, от него зависевшем войске, которое при внутренних осложнениях могло бы служить для него опорой. Правда, еще при Орхане (1324—1359) были созданы из молодых турок регулярные войска на жалованьи — пехотное (яйя) и конное (мюселлем) по тысяче солдат в каждом (впоследствии их численность возросла). Но ни в количественном отношении, ни по своим боевым качествам они не удовлетворяли потребностей правящих кругов Османского государства. Кроме того, их набор и содержание требовали от казны больших денежных средств.

Эти обстоятельства и навели турецкие власти на мысль о создании регулярного войска за счет пленных христиан, что и было осуществлено в 1363 г. Было создано «новое войско», по-турецки — «йени чери» (yeni çeri), занявшее столь видное место в истории Турции. В Галлиполи, откуда турки с захваченными пленниками возвращались в Малую Азию, был устроен первый пункт для сбора пенчика с воинов. Здесь же были устроены первые казармы для рабов, предназначенных для янычарского войска. Предварительно наиболее развитые, выделявшиеся красотой и хорошим телосложением парни отбирались для подготовки из них слуг при дворе. Рекруты для янычарского войска получили название «аджеми огланов» (acemi oglanı — дословно: ‘необученные парни’), а их казармы — «аджеми очагы» (acemi ocagı). Однако среди

огланов были не только военнопленные, но и эсиры, схваченные на территории, уже завоеванной османами.[17]

На первых порах аджеми огланов сразу направляли в предназначенные для них казармы, зачисляли на жалованье в размере одного акче в день и направляли на работу по обслуживанию перевозок (главным образом войсковых) через Дарданелльский пролив между портами Галлиполи на западном берегу и Ляпсеки на восточном. Лишь после пяти-десяти лет такого тяжелого принудительного труда огланов зачисляли в янычарское войско. Однако турецким властям пришлось изменить этот порядок. Это было вызвано массовым бегством огланов, которые не могли снести тяжелых условий рабского труда. Бегство облегчалось тем, что их казармы находились на Балканах, на болгарской земле и в окружении сородичей или близких им по вере жителей.

В связи с этим власти стали направлять огланов в турецкие, преимущественно сельские, семьи в Анатолии. Здесь они подвергались насильственному отуречиванию и исламизации, использовались как рабы на всяких работах, главным образом по сельскому хозяйству. Только через несколько лет пребывания в турецких семьях огланов, если их после новой проверки признавали годными, записывали в янычары.

Турецкие власти не всегда брали пленников по пенчику для пополнения янычарского войска. В тех случаях, когда они не испытывали в этом нужды, они взимали налог пенчик деньгами. Выбор зависел от них.[18]

Сведения, сообщенные выше о системе «пенчик», позволяют сделать следующие выводы о социальной природе христианских пленников, переданных султану: до передачи они были рабами овладевшего ими турецкого захватчика, после передачи — рабами султана. В таком же качестве они оставались и после записи в «очаг новобранцев», где применение их труда носило рабский характер. Пенчик-огланы, направленные в турецкие семьи в Малой Азии, где они подвергались насильственной ассимиляции и рабской эксплуатации в сельском хозяйстве, также оставались рабами, по крайней мере до того момента, когда их зачисляли в янычарский корпус. Однако зачисляли не всех. Негодных по состоянию здоровья, внешнему облику или по другим причинам направляли на разные принудительные работы. Пленников этой категории следует, по нашему мнению, рассматривать как рабов.

Выше мы говорили о порабощенных христианских пленниках, доставшихся султану по системе «пенчик». Вспомним, однако, что они составляли всего лишь одну пятую общего числа рабов, которыми владел их турецкий собственник. Но ведь остальные четыре пятых, оставшиеся во владении захватчика, также охватывались системой «пенчик», так как последний платил за них налог «пенчик ресми». Хозяин распоряжался ими по своему усмотрению: либо отвозил домой для работы в хозяйстве, либо продавал на рынке рабов.

Таким образом, всю систему «пенчик» следует рассматривать как составную часть института рабства в Османской империи. Эта система обеспечивала султану и всему правящему слою войско янычар, а также слуг при султанском дворе и даровую рабочую силу. Она способствовала и увеличению доли мусульманского населения на Балканах за счет исламизации пленников-рабов.

Так продолжалось до начала XV в. В 1402 г. среднеазиатский завоеватель Тимур, вторгшийся двумя годами ранее в Малую Азию, разгромил войско турецкого султана Баязида I Молниеносного под Анкарой, пленил его самого и трех его сыновей и, направив свои отряды в центральные и западные районы Малой Азии, разорил и опустошил Османское государство, потерявшее способность к сопротивлению. Большую часть его территории в Малой Азии он вернул беям различных тюркских княжеств, которые были вынуждены покориться османским султанам. В 1403 г. Тимур спешно вернулся в свою столицу Самарканд, где в его отсутствие начались смуты. После его ухода в течение десяти лет сыновья Баязида (покончившего с собой в 1403 г. еще в плену) вели междоусобную войну за трон. Победителем вышел Мехмед, ставший султаном под именем Мехмеда I. Вскоре, в 1416 г., на западе Малой Азии, а затем и в районе Дели-Ормана, в Болгарии, вспыхнули крупные народные восстания, главными участниками которых были крестьяне и кочевники в Малой Азии и крестьяне в Болгарии. Идейным вдохновителем восстаний, а в Болгарии и руководителем, был шейх Бедреддин Симави. Лишь с большим трудом турецким феодалам во главе с Мехмедом I удалось выйти из этой борьбы победителями.

Нашествие Тимура и последовавшие затем длительные внутренние смуты сильно ослабили Османское государство. Оно на ряд лет вынуждено было прекратить свои разбойничьи войны и набеги. В связи с этим прекратился и приток пленных по системе «пенчик».

Прошло несколько лет после упомянутых бурных событий, турецкий феодальный класс сумел выстоять, и опять его классовая природа взяла свое — в начале двадцатых годов XV в. он возобновил свои завоевательные грабительские походы против балканских стран и народов, еще не подпавших, полностью или частично, под его власть. Кроме того, ему пришлось неоднократно сталкиваться с попытками уже покоренных народов сбросить с себя иго турецких завоевателей.

В таких условиях султанские власти испытывали недостаток в преданном, регулярном и хорошо обученном войске. К трудностям, о которых говорилось выше, прибавилась еще одна: большая часть пленных, отданных султану по пенчику, в возрасте 15—20 лет, убегала, чтобы избавиться от своих поработителей, а власти должны были обеспечить рабочей силой свои предприятия, где производились вооружение (cebehane), пушки и ядра (tophane), верфи и доки (tersane).[19] Система «пенчик» уже

не могла полностью обеспечить потребности султанской власти. Добавим к сказанному, что султан, его правительство, двор, вся верхушка режима, боровшиеся с еще сильными децентрализаторскими тенденциями среди турецких крупных феодалов за сосредоточение власти в своих руках, особенно нуждались в сильном, регулярном войске, расположенном в непосредственной близости от себя, на которое они могли бы уверенно опираться. Таким войском должен был быть янычарский корпус. Поэтому султан и его правительство проявляли особую заботу о количестве и качестве его пополнения. С этой целью, не отменяя системы «пенчик», они ввели новую, которая, по их мнению, должна была удовлетворить их желания. Эта новая система в законе о ее введении была названа «девширме».

Постепенно система девширме все более вытесняла пенчик в качестве средства, обеспечивающего увеличение численности мусульманского населения на Балканах и надежного пополнения для янычарского корпуса путем насильственной исламизации и туркизации значительной части христианской молодежи. Пенчик же по закону продолжал действовать, но преимущественно уже как денежный налог, взимаемый с собственников эсир'ов.[20]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Якубовский А. Ю. «Китаб-и Коркуд» и его значение для изучения туркменского общества в эпоху раннего средневековья. — В кн.: «Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос». Пер. акад. В. В. Бартольда. Издание подготовили В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов. М.—Л., 1962, с. 120, 128, 129.

[2] Werner Ernst. Die Geburt einer Grossmacht—Die Osmanen. 2. Auflage. Berlin, 1972, S. 26.

[3] Гордлевский В. А. Избранные сочинения. I. М., 1960, с. 120—121; Werner Ernst. Die Geburt. . . , S. 44—45.

[4] О рабстве в арабском халифате в IX—X вв. н. э. см.: Мец Адам. Мусульманский ренессанс, М., 1966, с. 136—142.

[5] Uzunçarşılı I. H. Osmanlı Devleti teşkilâtından Kapukulu Ocakları. Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı. Ankara, 1943, s. 5.

От слова «эсир» произошел ряд других терминов, напр.: «эсирлик» — esirlik — 'плен, рабство', «эсирджи» — esirci 'торговец рабами' Турско-български речник. 2-е изд. София, 1962. Большое распространение термин «эсир» получил на Украине, часто подвергавшейся разбойничьим набегам турецких и татарских охотников за рабами. См.: Крымский А. История Турции и ее литературы от расцвета до начала упадка. М., 1910, с. 24.

[6] Uzunçarşılı I. H. Osmanlı tarihi. I, c. 2. Ankara, 1961, s. 509; esir—tutsak, esirlik—tutsaklık (Türkçe sözlük, 5. b., Ankara, 1969).

[7] «Kul-Hürrieytine malik olmıyan, başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile satın alınan erkek, köle yerinde bir tâbirdir» 'Термин, употреблявшийся вместо «кёле», обозначавший мужчину, лишенного свободы, которым распоряжался и владел другой, покупаемого за деньги'. Такое объяснение термина содержит известный «Словарь османских исторических выражений и терминов» М. З. Пакалына (Pakalın Mehmet Zeki. Osmanlı deyimleri ve terimleri sözlüğü, XIII. fas. İstanbul, 1952, s. 314). Однако изданный Турецким лингвистическим обществом словарь распространяет термин «кул» и на рабынь: «kul-Köle veya karavaş» (Türkce sözlük, s. 475). Все же термин «кул» наиболее часто применялся к рабам-мужчинам.

В словаре Пакалына (на с. 300) термину «кёле» дано такое объяснение: «Köle-Eski zaman muharebelerinde esir edilen yahut bir suretle ele gecip satın alınan erkekler hakkında kullanılır bir tâbirdır». — Термин, употреблявшийся в старое время по отношению к мужчинам, захваченным в плен во время войн или каким-либо образом схваченных и продаваемых.

[8] О термине «джерийе» в словаре Пакалына, разд. III, 259—261, сказано следующее: «Harb neticesinde esir edilen ve yahut para ile satın alınan erkeklere „köle" denilerdiği gibi, kadın ve kızlara de „cariye" denilirdi». 'Подобно тому как превращенных в результате войны в рабов или купленных за деньги мужчин называли «кёле», [таких же] женщин и девушек называли «джерийе»'.

[9] Именно этот термин содержится в первых законах о пенчике.

[10] Подробно об этом см. в законах о пенчике: «Kanun-i penç-ü yek», «Pençik Fermanı», «Vergi alınan Pençik kanunu». Uzunçarşılı I. H. Kapukulu ocakları, s. 86—90. Здесь же на с. 6—7 автор приводит выдержки из летописей Ашыкпашазаде и Орудж-бея о введении пенчика.

[11] По закону о пенчике 916 г. х. (1510) ставки налога были таковы: для первой группы — 10—30 акче, второй — 100, третьей — 120—200, четвертой — 250—280, пятой — 250—270, шестой — 150—200. За гуляма, лишенного глаза или руки, налог был равен 130—150 акче. За рабыню-одалиску (odalik ceriye), имеющую ребенка, взималось 120—150 акче. Kapukulu ocakları, s. 10, 89—90.

[12] Там же, s. 10.

[13] Там же, s. 10.

[14] Цветков П. Турецко-русский словарь. СПб., 1902; Магазаник Д. А. Турецко-русский словарь. М., 1945.

[15] Uzunçarşılı I. H. 1) Kapukulu ocakları, 2) Osmanlı tarihi, c. 1, s. 510.

Пакалын в своем словаре указывает, что в Стамбуле при продаже рабыни (джарийе) взимался налог, который также назывался «пенчик» (разд. III, с. 260).

[16] Uzunçarşılı I. H. Kapukulu ocakları, s. 509.

[17] Uzunçarşılı I. H. 1) Kapukulu ocakları, s. 6; 2) Osmanlı tarihi, c. 1, s. 509.

[18] Uzunçarşılı I. H. Osmanlı tarihi, s. 509.

[19] Uzunçarşılı I. H. Osmanlı tarihi, c. 1, s. 509.

[20] Uzunçarşılı I. H. Kapukulu ocakları, s. 14.

Ю. А. Петросян

ИЗ ИСТОРИИ ТУРЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Значительное оживление общественно-политической жизни Турции после революции 1908 г. привело к появлению многочисленных книг и брошюр, в которых рассматривались важные проблемы экономического, политического и культурного развития страны. Если до революции эти проблемы обсуждались только на страницах эмигрантских изданий младотурок, то после 1908 г. вопрос о путях дальнейшего развития Турции стал предметом оживленных дискуссий в турецкой прессе. Многие видные турецкие общественно-политические деятели и публицисты печатали статьи в газетах, книги и брошюры, в которых излагали свою позицию по вопросам социально-экономического и культурного прогресса, стремясь к анализу его причин и предпосылок.

В политической публицистике Турции периода 1908—1918 гг., так же как и в общественно-политической жизни страны, достаточно четко проявлялись различные течения.[1] Немалую роль как в общественной жизни, так и в политической публицистике тех лет играли так называемые «западники» — довольно разношерстная по своему социальному составу группировка турецкой интеллигенции, которая пропагандировала идею о необходимости «европеизации» Турции. Надо отметить, что определенное влияние Запада на процесс осуществления реформ в Османской империи в XIX—начале XX вв. признавали не только «западники», но и представители других идейных течений — исламисты и тюркисты. Однако характерной чертой публицистических работ «западников» было стремление представить «европеизацию» в качестве панацеи от всех бед, важнейшего инструмента социального и культурного прогресса. Публицисты-«западники» по-разному оценивали значимость культуры Запада для Турции. Одни считали, что Турция должна заимствовать достижения западной культуры во всех областях жизни, другие — что Турция нуждается только в западном опыте в научно-технической области для обеспечения собственного экономического прогресса.

В 1913—1914 гг. в Стамбуле была издана книга под названием «Европеизироваться», автор которой — Тюджар-заде Ибрагим

Хильми — явно ставил своей задачей популяризацию идеи «европеизации» Турции посредством заимствования экономического и научно-технического опыта Западной Европы.[2] Книга Ибрагима Хильми представляет несомненный интерес как весьма любопытный образец политической публицистики одной из группировок «западников». Как по форме изложения материала, так и по языку и стилю эта книга была обращена к достаточно широкой читательской аудитории. Поэтому она заслуживает внимания еще и как источник для изучения пропаганды политической доктрины в Турции тех лет средствами публицистики.[3] Наконец, книга «Европеизироваться» интересна и тем, что она издана накануне первой мировой войны, когда в Турции уже господствовала диктатура «младотурецкого триумвирата», а на первый план общественно-политической жизни выдвинулась пропаганда реакционных пантюркистских и панисламистских идей и концепций. Вместе с тем это был период, когда в результате балканских войн 1912—1913 гг. окончательный крах потерпела османистская концепция младотурок.[4] С новой силой разгорелись дискуссии о путях проведения необходимых для Турции реформ, о роли и соотношении «западных, мусульманских и националистических элементов, которые должны были быть вовлечены в круг новых мер».[5] Такова была обстановка, в которой была издана рассматриваемая книга.

Ибрагим Хильми — публицист, немало ездивший по стране и пользующийся своими личными впечатлениями для характеристики экономического и культурного положения Турции. «Во время моего путешествия по Анатолии и Сирии, — пишет он, — я встречал такие села, которые живут, как в доисторические времена, в эпоху железного и бронзового периодов. Я видел и такие вилайетские центры, которые лишены всех следов цивилизации, страдают в грязи, ведут жизнь жалкую и мучительную. Нет дорог, школ, больниц, садов, нет даже питьевой воды».[6] Оценивая положение страны в целом, автор подчеркивает, что «общественная и экономическая жизнь мусульман находится, разве что только за небольшим исключением в отношении городской жизни, в плачевном состоянии».[7]

Нарисовав эту мрачную картину экономической и культурной отсталости мусульманского населения Османской империи, Ибрагим Хильми с горечью сетует на то, что в результате отсталости и инертности мусульман Османской империи лучшие земельные участки в городах и наиболее важные и выгодные участки ремесла и торговли сосредоточены в руках немусульманских подданных Османской империи или живущих в крупных городах европейцев. Говоря об этом, он ссылается не только на пример столицы империи — Стамбула, — но и на положение в ряде провинциальных центров. «В Румелии и Анатолии, в Аравии и в особенности в Египте, — пишет автор, — земля и недвижимое имущество мало-помалу уходят из рук мусульман и переходят к христианам».[8]

В чем причины такого положения вещей? Подведя читателя к осознанию необходимости постановки этого вопроса, автор так отвечает на него: «Христиане весьма быстро перенимают европейскую цивилизованную жизнь, а мусульманин на эту жизнь смотрит презрительным взглядом. Естественно, что европеизированный христианин (подданный империи, — *Ю. П.*) начинает работать больше мусульманина, лучше него извлекать из жизни пользу. . .»[9]

Таким образом, автор книги формулирует для читателя идею о том, что «европейская цивилизация» — инструмент экономического и культурного прогресса. Но он тут же поспешно, как бы опасаясь раздраженной реакции читателя-мусульманина, которому адресована книга, поясняет, что «европеизация», за которую он ратует, это не та «европеизация», которую некогда называли «френклешмек» [10] и от которой с презрением отворачивались, считая это превращением в неверных. Успокаивая читателя, Ибрагим Хильми пишет, что в настоящее время «европеизация» нечто совершенно иное. Разъясняя свое понимание этого термина, автор ссылается на следующее высказывание одного из своих единомышленников: «Под словом „европеизация“ нужно понимать следующий, обычный в нашем языке, смысл — перенести, насколько это возможно, на Восток экономическую и общественную жизнь Запада, сделать Восток, подобно Западу, способным к применению знаний и наук, сделать Восток индустриальным, оборудовать здесь университеты, фабрики, верфи. . ., театры, обсерватории. . . Одним словом, вывести Восток из состояния сна и бездействия».[11] Наконец, стремясь совсем уж успокоить читателя-мусульманина и внушить ему доверие к своим аргументам, автор подчеркивает, что стремление к «европеизации» никак не означает какой-либо склонности к христианству; речь идет исключительно об использовании достижений Европы в области экономики и культуры. При этом Ибрагим Хильми делает даже экскурс в область истории, ссылаясь на то, что мусульмане в прошлом получили немалую пользу от достижений греческой цивилизации, а позже сами мусульмане создали высокую по уровню цивилизацию.[12] Вместе с тем автор достаточно решительно подчеркивал, что ныне между Европой и Азией — пропасть, которую необходимо заполнить во что бы то ни стало, ибо далее невозможно мириться с таким экономическим и культурным отставанием Азии от Европы.[13]

Идея о том, что «европеизация» никак не угрожает исламу, пронизывает всю книгу Ибрагима Хильми. Он всячески стремился убедить читателя в том, что каждый мусульманин должен стремиться к распространению среди мусульман достижений Европы в различных областях знания.[14] «Разве японцы стали христианами, — восклицает автор, — оттого, что они четырьмя руками ухватились за новую европейскую культуру».[15]

Вместе с тем Ибрагим Хильми в своей книге подчеркивал необходимость обновления и некоторых традиционных мусульманских институтов. В частности, он писал о целесообразности ре-

организации шариатской системы судопроизводства, резкого улучшения деятельности медресе, которые должны были стать, по его словам, подлинными «храмами знания».[16]

Значительный раздел книги автор посвятил проблеме «европеизации экономической жизни». Он подчеркивал, что «мы наиболее нуждаемся, в сущности, в европеизации в области экономики».[17] Ибрагим Хильми сетовал в своей книге по поводу крайне низкого уровня развития сельскохозяйственного производства. «Мы не приспособили, — писал он, — к новым методам ведения сельского хозяйства даже крестьян окрестностей столицы. Обработку полей мы ведем примитивными орудиями. . . Естественно, что наше земледелие прозябает в жалком и бедном состоянии. . . .» Говоря далее о низком уровне промышленного производства, автор подчеркивал, что дело не только в отсутствии нужной современной техники. Эти машины создает человек — его ум, развиваемая им наука. А в этой области мы отстаем, отмечал автор, поскольку не живем и не работаем, подобно европейцам. Ибрагим Хильми протестовал против отсталости и косности в самом образе жизни мусульман, упрекал их в том, что они сторонятся науки и знаний, активной человеческой деятельности. Автор подчеркивал, что европейцы видят в непрерывной деятельности и получении ее результатов смысл жизни.

Недовольство и огорчение у автора рассматриваемой книги вызывал и тот факт, что в Османской империи торговля целиком находилась в руках европейцев и немусульманских подданных Порты. Поясняя читателю, что именно с помощью торговли идет обычно купля и продажа продукции сельского хозяйства и промышленного производства, автор подчеркивал, что Турции приносит немалый ущерб тот факт, что мусульманская часть населения страны — его большинство — отстранилась от участия в торговых операциях. Для примера он обращается к положению в Измирском вилайете, где большинство земледельцев или ремесленников в ковровом производстве — мусульмане. Но поскольку все торговые операции по вывозу продукции земледелия или коврового производства в Европу ведут торговцы — европейцы и местные христиане, — мусульманское население лишается многих выгод от результатов своего труда.

Стремясь подчеркнуть свою мысль о том, что сам по себе ислам не является препятствием на пути экономического и культурного развития Османской империи, автор вновь ссылался на свои личные впечатления. Он обращал внимание читателей на то, что, внимательно ознакомившись во время путешествия по Сирии с жизнью богатого города Дамаска, он лично убедился в том, что «наиболее богатый и благоденствующий слой Дамаска составляют мусульмане». Причина этого положения в том, что 80% местного населения активно занимаются сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. В руках жителей Дамаска наиболее значительные торговые центры мусульман даже в Египте. «Если бы в Дамаске, —

восклицал автор, — была большая торгово-промышленная школа, если бы торговцы Дамаска были европеизированы, нет сомнения в том, что город Дамаск мог быть Лионом или Манчестером Азии».[18] Если бы, утверждал автор, ткани, производимые ныне на нескольких тысячах ткацких станков и пользующиеся хорошим спросом в Азии и Африке, производились бы на больших фабриках, оборудованных паровыми машинами, то город Дамаск и его окрестности задыхались бы от богатства.

Ибрагим Хильми настойчиво убеждал читателя в том, что экономический и культурный прогресс Турции возможен при условии тщательного изучения и использования всех экономических и научно-технических достижений Европы. Он призывал изучать экономическую жизнь Европы и применять ее достижения с учетом конкретных особенностей Турции. В этом, говорил он, суть процесса «европеизации нашей экономики».

Вместе с тем Ибрагим Хильми обращал внимание на то, что простое заимствование методов ведения сельскохозяйственного и промышленного производства недостаточно для обеспечения прогресса. Он подчеркивал, что процесс «европеизации» должен затронуть сферу воспитания детей в семье и школе в духе воспитания деловой предприимчивости. Необходим также прогресс в изучении различных наук, иностранных языков.

Ибрагим Хильми писал, наконец, о том, что необходимо не только изучать новинки европейской техники, но и научиться разбираться в том, какова взаимосвязь политики и экономики в европейских странах, в чем состоит экономическая конкуренция различных стран и т. д.[19]

В книге Ибрагима Хильми немалое внимание уделялось проблемам, связанным с реформами различных государственных ведомств. Автор подчеркивал, что хотя высшие ведомства Османской империи внешне уже давно «европеизированы», реформы коснулись лишь формы, а не существа их деятельности.[20] В специальном разделе книги «Европеизация государственных ведомств» автор сетовал на то, что все внимание уделяется преобразованию и развитию военного ведомства, укреплению армии и флота, тогда как развивать следует в первую очередь такие ведомства, как департаменты общественных работ и просвещения. Ибрагим Хильми подчеркивал, что если силы и средства тратить прежде всего на всестороннее развитие экономики, то армия и флот со временем также получат необходимое развитие.[21]

Книга Ибрагима Хильми достаточно типичный образец пропаганды общих идей «европеизации» Турции. Автор следует общей концепции «западников», которые пропагандировали «вестернизацию» в экономической жизни, считая ее противоядием от болезней, которые сделали нацию «больным человеком Европы».[22] Подобно большинству турецких публицистов-«западников» той поры, автор очень далек от понимания подлинных социально-экономических причин отсталости полуфеодального и полуколо-

ниального государства. Предлагаемые им «рецепты» решения экономических проблем Османской империи носили предельно идеалистический характер. Вместе с тем стремление автора книги привлечь внимание читателя к этим проблемам, пробудить в нем желание задуматься над их решением, заставить его пересмотреть некоторые из традиционных для турка-мусульманина воззрений на окружающий мир — все это в конкретных исторических условиях Турции начала XX в. имело определенный положительный смысл. Такие публицистические работы, рассчитанные на образованные слои турецкого общества той поры, способствовали дальнейшему формированию турецкой интеллигенции, распространению интереса к проблемам экономики и культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. об этом: Гасанова Э. Ю. Идеология буржуазного национализма в Турции в период младотурок (1908—1914). Баку, 1966, с. 21—63; Berkes N. The Development of Secularism in Turkey. Montreal, 1964, p. 347—428; Tunaya T. Z. Türkiyenin siyasî hayatında batılılaşma hareketleri. Istanbul, 1960, s. 75—99.

2 Tüccar-zade Ibrahim Hilmi. Avrupalılaşmak. Istanbul. Der-i-saadet, 1332 (ар. шрифт).

3 В известных нам работах по проблемам «вестернизации» Османской империи эта книга не используется и не упоминается. Возможно, что она представляет собой библиографическую редкость, сохранившуюся, в частности, в фондах библиотеки ЛО ИВ АН СССР. Если же турецкие авторы, в частности Т. З. Туная, не привлекали эту книгу, считая ее образцом «массовой пропаганды» идей «европеизации», то она тем более интересна для изучения форм и методов этой пропаганды.

4 См. об этом: Гасанова Э. Ю. Идеология буржуазного национализма.. , с. 27—31.

5 N. Berkes. Development of Secularism in Turkey, p. 359.

6 Ibrahim Hilmi, Avrupalılaşmak, s. 44—45.

7 Там же, с. 44.

8 Там же, 57—58.

9 Там же, с. 59.

10 Термин «френк» означал в турецком языке европейца, иностранца. «Френклешмек» — подражание европейцам, иностранцам — весьма непочетное для верующего турка-мусульманина занятие. В это слово в период борьбы за реформы в Османской империи в XIX в. обычно вкладывался презрительный смысл. Для постоянно подстрекаемых мусульманским духовенством против буржуазно-либеральных реформаторов фанатичных масс мусульман в понятии «френклешмек» сосредоточивалось все чуждое традициям и нормам жизни мусульманского общества.

11 Ibrahim Hilmi, Avrupalılaşmak, s. 40—41.

12 Там же, с. 41—42.

13 Там же, с. 44.

14 Там же, с. 148.

15 Там же, с. 164.

16 Там же, с. 137.

17 Там же, с. 90, 91, 92—93, 95.

18 Там же, с. 95.

19 Там же, с. 97.

20 Там же, с. 110.

21 Там же, с. 114.

22 Berkes N. Development of Secularism in Turkey, p. 394.

И. В. Стеблева

К АНАЛИЗУ ТИПА ПОВЕСТВОВАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ИЗ «ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК» МАХМУДА АЛ-КАШГАРИ

Исследователи, предпринимавшие группировку стихов (четверостиший и двустиший), которые приведены Махмудом ал-Кашгари в качестве примеров к тюркским словам в «Диване», ставили перед собой трудную задачу. Хотя ориентирами при этом совершенно верно избирались единство числа слогов в стихотворных строках и единство рифмы, установить правильный порядок следования стихов внутри групп оставалось делом достаточно сложным. После М. Ф. Кёпрюлю, осуществившего частичный подбор стихов из «Дивана»,[1] полную группировку стихов сделал К. Брокельман, исходя из их общей тематики, а также количества слогов в стихотворных строках и рифмы. Однако он не пытался установить правильный порядок следования стихов, считая это невыполнимым, и в своей публикации расположил стихи из «Дивана» в той последовательности, в какой они были даны в рукописи.[2] Несмотря на спорность выбора того или иного порядка следования стихов, если он не обоснован достаточно вескими аргументами, естественное стремление вернуть поэтическим произведениям из «Дивана» логическую связность повествования, представить их не как конгломерат, а как единое литературное целое, побудило А. Фитрата предложить свою группировку стихов, в которой порядок их следования был избран субъективно.[3]

В связи с тем что К. Брокельман не ставил перед собой цель определить правильный порядок следования стихов, а их группировка, осуществленная А. Фитратом, никак не аргументировалась, считалось, что проделанная в этой области работа неудовлетворительна, что стихи требуют перестановки и т. п.[4] Нужно сказать, однако, что требование перестановки стихов, не основывающееся на четко сформулированных принципах, остается таким же субъективным, как и то, что уже было сделано А. Фитратом. Поэтому вполне очевидной кажется необходимость определения тех законов построения литературного произведения, которым должны быть подчинены тексты, дошедшие до нас в составе «Дивана».

Здесь прежде всего следует допустить, что Махмуд ал-Кашгари, странствуя по землям, населенным тюркоязычными народами, записал связные тексты, которые затем использовал в своем сочинении в отрывках, как иллюстрации к тюркским словам. Поэтому реконструкция композиции поэтических произведений из «Дивана» может опираться на опыт исследования структур литературных произведений, вплоть до самого современного.

Необходимо также предположить, что композиция поэтических произведений из «Дивана» может иметь аналогию в более ранних сочинениях тюркоязычной литературы.

Результаты сопоставления поэтических текстов из «Дивана» (XI в.) с орхонскими текстами (VIII в.) оказываются важными не только для реконструкции композиции интересующих нас сочинений, поскольку дают возможность вернуть тюркоязычной поэзии утраченные произведения. Они важны и потому, что свидетельствуют о сохранении специфики повествования, выявленной в ранних повествовательных текстах, в последующей традиции, — что позволяет говорить о непрерывности литературного процесса в тюркоязычной словесности.

Анализ техники повествования в Малой и Большой надписях в честь Кюль-тегина и в Надписи в честь Тоньюкука, — текстах достаточно пространных и почти не имеющих лакун, — позволяет установить общие для них законы построения текста, продиктованные не только логическими ограничениями (стремлением к связности текста), но и существовавшей в древности традицией создания повествовательного текста, выработавшей свой определенный стиль, понимаемый как система взаимосвязи формы и содержания и рожденный совокупностью культурных и исторических условий существования древнетюркской литературы. Пользуясь терминологией семиологического исследования текста, предусматривающего как анализ техники повествования, так и выявление общих законов его построения,[5] можно сказать, что для орхонских текстов характерна элементарная последовательность повествовательных единиц — функций, образующих в цепи последовательности рассказ. Каждый логико-семантический (повествовательный) цикл, наблюдаемый в данных надписях, имеет однотипный набор элементов повествования, выступающих в качестве реализаторов трех функций: 1) функции инспирирования действия (делающей возможным действие в виде события или поступка); 2) функции реализации действия (осуществляющей эту возможность в виде события или поступка); 3) функции финализации действия (завершающей действие в виде конечного результата).

Сравнительный анализ техники повествования в Малой и Большой надписях в честь Кюль-тегина (автор один и тот же) дает возможность убедиться в том, что бо́льший объем текста, вызванный бо́льшим количеством и разнообразием отраженных в надписи тем, не приводит к появлению других средств построе-

ния повествования и тем самым — к возникновению качественно новых структур, а ограничивается количественным накоплением одних и тех же, повторяющихся элементов повествования (зачин, развертывание содержания цикла, концовка), неизменно сохраняющих элементарную последовательность трех функций, неразрывно связанных между собой как на уровне любого повествовательного цикла (ограничивающегося микросюжетом), так и на уровне более крупных смысловых отрезков текста (рассказов) или всей надписи в целом, которые каждый в своем случае является также повествовательным циклом, но в разной степени укрупненным посредством накопления однотипных повествовательных единиц.

Сравнительный анализ техники повествования в надписях в честь Кюль-тегина и в Надписи в честь Тоньюкука (авторы разные) позволяет сделать вывод о том, что особенности построения повествовательного текста относятся не к области авторской специфики, а к сфере существования общепринятой традиции создания повествовательного текста. Поэтому представляется возможным заключить, что повествовательный цикл с обязательными тремя элементами повествования, реализующими три функции, группирующиеся в элементарной последовательности, формирует наиболее архаический тип повествования в тюркоязычной словесности. Следует обратить внимание на то, что в нашем случае полностью отсутствует альтернатива «или — или», то есть появление одного элемента повествования неизбежно влечет за собой появление второго и третьего элементов, что предопределяет жесткую детерминацию сюжетных узлов. Специфика древнетюркского повествовательного текста состоит и в том, что повествование в силу традиции неизменно сохраняет элементарную последовательность функций, не образуя сложных последовательностей.

Предположение о сходстве композиционной структуры поэтических произведений из «Дивана» с особенностями композиции древнетюркских сочинений позволило сопоставить стихи из «Дивана», посвященные военно-героической тематике и являющиеся достаточно пространными повествованиями об определенных событиях («Битва с тангутами», «Битва с уйгурами», текст V), [6] с орхонскими текстами.

Характерной чертой Большой надписи в честь Кюль-тегина и Надписи в честь Тоньюкука является повествование от первого лица, причем содержание надписей подразделяется на три части: предысторию (пространную или краткую) событий, в которых участвует главный герой, рассказ о конкретном участии главного героя в событиях и заключение содержания надписей с указанием на выдающиеся заслуги главного героя надписи в описываемых событиях (в заключение входит также оплакивание кончины героя).

Если рассмотреть разбросанные по «Дивану» четверостишия, которые по метру и рифме, а также по содержанию (хотя последнее не всегда столь очевидно) могут быть отнесены к «Битве с тангутами», то оказывается возможным сгруппировать их по тем же разделам, которые наличествуют в упомянутых орхонских текстах. Сначала в «Битве с тангутами» описывается вражда хана тангутов с беком Катунсини (восемь четверостиший), затем говорится о главном герое (восемь четверостиший), затем сообщается об итоге военных событий с акцентом на превосходстве героя над врагом (четыре четверостишия); повествование ведется от первого лица. Аналогично этому оказалось возможным сгруппировать и четверостишия, относящиеся к тексту V из «Дивана», также посвященному военно-героической теме: первая часть текста посвящена предыстории событий, в которых участвует главный герой (шесть четверостиший), вторая часть описывает деятельность главного героя в событиях (пять четверостиший), в третьей части содержится подведение итогов войны, сопровождающееся превознесением заслуг героя (четыре четверостишия); повествование также ведется от первого лица. Однако сходство данных текстов из «Дивана» с орхонскими сочинениями этим не ограничивается. Если проанализировать каждую из выделенных тематически групп четверостиший, то оказывается возможным расположить в них четверостишия в той же последовательности повествовательных единиц, которую мы видели в орхонских текстах. Каждая часть «Битвы с тангутами» и текста V из «Дивана», повествующая о событиях, имеет завязку — начало развития сюжета, — представляющую собой рассказ о военном конфликте (для первых частей текстов, содержащих предысторию событий) или рассказ о начале военной деятельности главного героя (для вторых частей текстов, в которых описывается участие в событиях главного героя); развитие сюжета, включающее описание битв (без участия главного героя для первых частей текстов и с участием главного героя для вторых частей текстов); развязку конфликтной ситуации, подводящую итог военных действий (без участия главного героя для первых частей текстов и с указанием на личные заслуги главного героя во вторых частях текстов). Третьи части текстов, в которых описывается исход войны и превосходство главных героев над врагом, примыкают к финалам вторых частей анализируемых текстов, разрастаясь в самостоятельные повествования с той же последовательностью повествовательных единиц. Таким образом, повествование в данных группах четверостиший формируется посредством реализации трех функций, также расположенных в элементарной последовательности: функции, делающей возможным действие в виде события или поступка, функции, осуществляющей эту возможность действия в виде события или поступка, функции, завершающей действие в виде конечного результата. За недостатком места ограничимся одним небольшим примером реконструкции композиции «Битвы с уйгурами» — текст имеет троичное

строение, эквивалентное повествовательному циклу орхонских текстов. «Битва с уйгурами» содержит шесть четверостиший, которые представляют собой завязку (четверостишие 1) — сообщение о начале военного похода (функция инспирирования действия), развитие сюжета (четверостишия 2—4) — описание течения этого похода (функция реализации действия), развязку (четверостишия 5—6) — подведение итогов похода (функция финализации действия).

1. Укрепив на конях бунчуки,
   на уйгуров и татов,
   на воров [и] скверных собак
   мы полетели как птицы.

2. Взметнулось красное знамя,
   поднялся черный прах.
   Подоспело [племя] ограк.
   Сражаясь с ним, мы задержались.

3. Мы крепко подвязали [коням] хвосты,
   многократно восславили бога,
   погнав коней, мы настигли [их].
   Обманув [их], мы снова бежали.

4. Сев в лодки,
   мы переправились через реку Ила [Или?].
   Направившись в сторону уйгуров,
   мы завладели страной Мынглак.

5. Мы хлынули [на них], как поток,
   мы появились у городов,
   мы разрушили буддийские храмы,
   мы нагадили на идолов.

6. Мы напали [на них] ночью,
   мы устроили засады со всех сторон.
   Мы обрезали им чубы.
   Мы вырезали мужей Мынглака.

Так же как и в орхонских сочинениях, поэтические тексты из «Дивана», посвященные рассказам о героике военных событий, имеют только элементарную последовательность трех функций и жесткую детерминацию сюжетных узлов. Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что в данных поэтических произведениях из «Дивана» сохраняется архаический тип повествования, обнаруживаемый в древнетюркских повествовательных текстах. Механизм сюжетосложения функционирует по строго определенным законам традиционного для тюркоязычной словесности построения повествования.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Millî tetebbular mecmuası, II, 4, с. 71 (ар. алф.).

[2] Публикацию стихов см.: Brockelmann C. Altturkestanische Volkspoesie, I. — «Asia Major» (Hirth anniversary volume), 1923, p. 3—24; то же, II — «Asia Major», vol. 1, 1924, p. 24—44. О принципе группировки стихов см.: Altturkestanische Volkspoesie, I, 2.

[3] Фитрат А. Энг эски турк адабиёти намуналари. Самарканд—Тошкент, 1927 (арабск. шрифт).

[4] См., например: Gandjeï T. Überblick über den vor- und frühislamischen türkischen Versbau. — «Der Islam», Bd. 33, H. 1—2, 1957, S. 146.

[5] Бремон К. Логика повествовательных возможностей. — В кн.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 108—135.

[6] См. публикацию стихов из «Дивана» и их перевод в кн.: Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI в. М., 1971, с. 113—145, 244—252.

Э. Трыярский

ЕЩЕ РАЗ О МЕТОДИКЕ ИЗДАНИЯ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ

Заглавие этой статьи, которой я имею большую честь и радость отметить юбилей академика Андрея Николаевича Кононова, может вызвать некоторое сомнение у исследователей других отраслей и даже у тех тюркологов, которые непосредственно не связаны с работой над древнетюркскими памятниками. В самом деле, спустя 80 лет после эпохи больших открытий древнетюркских памятников, расшифровки рунического алфавита и публикации серии блестящих изданий памятников этого письма, возвращение к методологическим проблемам — занятие, которое может показаться излишним. Однако опыт последних лет показывает, что это не совсем верно.[1]

Нетрудно заметить, что всесторонний интерес к древнетюркским памятникам Монголии и других стран не только не угас, но что, напротив, возникла его новая волна.[2] Разумеется, общеизвестные надписи в бассейне рек Орхона, Онгина и Тола занимают привилегированное положение и навсегда останутся первостепенными источниками для любой филологической работы по тюркологии. Главное состоит в том, чтобы иметь в своем распоряжении тексты максимально точные, снабженные подлинными переводами.

К этой цели, а также к открытию новых текстов направлены усилия тех исследователей, которые понимают актуальность лозунга «ad fontes». Ярким примером могут здесь послужить новые издания, подготовленные П. Аалто,[3] Р. Жиро,[4] Т. Текином,[5] Дж. Клосоном,[6] А. фон Габен,[7] исследования Л. Базена,[8] С. Г. Кляшторного,[9] Л. Р. Кызласова,[10] И.-Р. Мейер,[11] В. М. Насилова,[12] О. Прицака,[13] А. М. Щербака [14] и др.[15] Что касается новых находок, то тюркологи прежде всего обязаны специалистам по другим отраслям (Л. Исл,[16] П. Поуха,[17] И. Шуберт [18]). Первоочередные заслуги в этой области принадлежат монгольским ученым.

Стремление к подготовке новых изданий рунических текстов является естественным результатом быстрого развития всей тюркологии, характеризующегося углублением понимания истории развития отдельных тюркских языков, сравнительным исследо-

ванием, новыми исследовательскими методами, открытием неизвестных рукописей, а также открытием в последнее время нового тюркского языка или диалекта.[19] Особое значение для уточнения рунических текстов имеют работы по диалектологии и лексикологии. Достаточно вспомнить постоянно развивающиеся исследования по древнеуйгурскому языку,[20] особенно издания текстов манихейского [21] и буддийского содержания.[22] Важную роль играют, разумеется, енисейские (тувинские и хакасские) надписи, которые, по всей вероятности, заслуживают бо́льшего внимания, чем им уделялось до сих пор.[23] Здесь можно возлагать надежды на последние открытия новых текстов этого типа, сделанные Н. Сэр-Оджавом и С. Г. Кляшторным.

Стремление к максимально точной датировке рунических текстов порождает зачастую смелые предложения переоценки исторического и культурного значения отдельных памятников. Приведем два примера. Новое издание Онгинского памятника, подготовленное Дж. Клосоном, передвигает почти на сорок лет его датировку и, таким образом, лишает его значения самого древнейшего памятника этой группы, каким он считался в течение многих десятков лет.[24] В новом издании надписи из Ихэ-Хушоту авторы пытаются доказать, что этот памятник посвящен памяти не одного сановника и вождя Кюли-Чура, а трем лицам, носящим то же имя.[25]

Понятно, что главное внимание исследователей все еще привлекают пространные тексты из Центральной Монголии, но следует подчеркнуть, что предметом живого интереса являются также и мелкие рунические надписи.[26]

Известно, что надписи составляют лишь один из элементов могильных ансамблей, подвергнутых изучению специалистами по истории Монголии и исследователями древнетюркской культуры. И в этой области, требующей сотрудничества археологов-историков, историков искусства, этнографов, можно заметить проявление особого интереса. Мы имеем в виду, главным образом, исследования каменных изваяний,[27] декоративных элементов и символов религиозных верований,[28] писаниц [29] и др. Несмотря на развивающуюся специализацию, в большинстве случаев мы имеем здесь дело с исследованиями синтетического характера, принимающими во внимание многие аспекты этих сложных проблем.

Оживление в этой группе работ связано с новым этапом археологических исследований. Прежде всего здесь следует назвать результаты работ чехословацко-монгольской экспедиции над памятником Кюль-Тегину, а также блестящие открытия монгольских ученых: акад. Б. Ринчена, Н. Сэр-Оджава, Х. Пэрлээ, Ц. Доржсурэна, Х. Лувсанбалдана, А. Лувсандэндэва, Г. Намхайдага и др. Открытия монгольских ученых, которые иногда работали вместе с зарубежными специалистами, такими как П. Поуха, И. Шуберт, С. Г. Кляшторный, А. П. Окладников, а также некоторые находки, обнаруженные местными жителями

(араты, водители и т. д.), доставили очень ценный для науки материал в виде надписей, фрагментов изваяний, писаниц и др.[30] Трудно переоценить значение этих единственных в своем роде свидетельств тюркского периода в истории Монголии. Нет никакого сомнения в том, что без участия и без усилий монгольских ученых дальнейшие плодотворные исследования памятников древнетюркского периода не были бы возможны.

Особое значение имеют, разумеется, сенсационные открытия новых больших памятников из Монголии, которые или уже дождались своих изданий, как Сэврэй и Бугут,[31] или же все еще ждут дешифровки, как Тариат.[32] Так же и меньшие надписи, обнаруженные в Монголии за последние годы, обращают на себя внимание тюркологов.[33]

С другой стороны, необходимость самой точной обработки и оценки нового материала, а также мотивированная перспектива новых открытий заставляют нас напомнить о фундаментальных принципах издания этого материала.

Прежде всего речь идет об общеизвестных, но на практике — по причинам как объективного, так и субъективного характера — не всегда соблюдаемых методических правилах, без чего ценные памятники не могут войти в научный оборот.

Ясно, что элементарной обязанностью издателя как рунических, так и других текстов являются сбор и представление, по возможности, полной документации. В связи с этим думается, что сегодня, как и несколько десятилетий назад, базой для издания рунических надписей должен быть, при недоступности оригинала, тщательно сделанный оттиск (эстампаж), поскольку только он представляет собою подлинную и в то же время рельефную копию оригинала в натуральную величину. Современная техника дает возможность снимать копии не только бумажные, но и изготовленные из пластмассы (латекс). К сожалению, этот последний материал пока еще как будто не применялся при снятии копии с рунических надписей.

Подчеркивая первостепенность оттисков, мы склонны приписывать фотоснимкам (часто репродуцированным в уменьшенном виде) лишь второстепенное, вспомогательное значение. Но даже и эту роль они могут исполнять только в случае их достаточной четкости. В связи с этим хотелось бы отметить, что этому условию не отвечают, к сожалению, многие изданные в последнее время фотографии рунических надписей. Не совсем понятно, для чего надо вновь печатать фотоснимки, худшие по качеству, чем снимки тех же объектов, сделанные много лет тому назад.

Понятны самые лучшие намерения лиц, фотографирующих рунические надписи, получить четкие отпечатки. Но одновременно следует предостеречь от окрашивания вырезанных в камне букв белой или голубой красками, как это зачастую случается. Здесь может таиться причина возможных ошибок, поскольку фо-

тограф или лицо, готовящее текст к фотографированию, наткнувшись на знаки со стертыми или необычными контурами, проявляют естественное желание восстановить данный фрагмент текста, что может чрезвычайно отрицательно сказаться на качестве издания. Ведь не следует забывать, какой вред и затруднения принесли и все еще приносят некоторые подрисованные тексты В. В. Радлова.

Нельзя также забывать, что существуют своего рода каменные палимпсесты — камни, особенно небольшие по размеру, употребленные в качестве сырья для многократных надписей.[34] При помощи обыкновенной фотографии очень трудно или даже невозможно выделить надписи, относящиеся к различным временам.

Практика показывает на многочисленных примерах, что нельзя придавать большого значения ручным копиям, особенно снятым посторонними лицами, которым известны лишь общие черты рунических знаков. Вероятность наличия ошибок здесь очень высока и употребление таких копий может привести к неправильной интерпретации текста. В связи с этим хотелось бы высказать пожелание, чтобы лица, копирующие древнетюркские надписи, сами пытались читать эти тексты, поскольку чужая копия для другого исследователя часто является бесполезной. Следовательно, с другой стороны, можно было бы даже требовать, чтобы сами издатели знакомились с оригиналами издаваемых ими надписей. Приведенный ниже пример может наглядно показать опасность, вытекающую из незнания оригинала. Более десяти лет тюркологи всего мира ожидают издания не известных до сих пор фрагментов надписи в честь Кюль-Тегина, обнаруженных главным образом чехословацко-монгольской экспедицией.[35] Вопрос стал актуальным только в последнее время, а именно в связи с двумя независимыми друг от друга изданиями. В недавно вышедшем ценном альбоме находится репродукция надписи, высеченной на каменной черепахе памятника в честь Кюль-Тегина.[36] Можно предполагать, что это снимок чертежа, основанный на ручной копии, которая сделана издателем альбома. Но во время XIII сессии Постоянной международной конференции алтаистов было внесено предложение о чтении некоторых рунических фрагментов, в том числе и надписи на каменной черепахе памятника Кюль-Тегина.[37] Следует подчеркнуть, что второй издатель не был знаком с репродукцией, ранее напечатанной в альбоме, но имел в своем распоряжении удачный снимок оригинала, на основании которого он сделал транскрибированный текст. Сравнение обоих текстов очень поучительно, поскольку оно ярко показывает возможность ошибок, угрожающих даже тщательным изданиям. Одна из упомянутых репродукций этого краткого, насчитывающего лишь 50 знаков текста, содержит около 10 знаков, не фигурирующих на другой репродукции, и частично наоборот. Понятно, что только при детальном изучении оригинала можно решить этот вопрос.

Ко всем открывателям древнетюркских памятников и к издателям рунических текстов хотелось бы обратиться с горячим призывом о более точной, чем это имело место до сих пор, публикации подробного описания всех обстоятельств, связанных с этим открытием, указанием времени, места, состояния и положения объекта, кто и каким образом сделал открытие и т. д. Именно здесь фотоснимки и всякого рода наброски приобретают свое особое значение. Все эти детали могут помочь при характеристике или при идентификации находки.

Хорошим примером помощи, которую могут даже в наше время оказать тюркологам и неспециалисты, но ответственные исследователи других отраслей, являются результаты работ экспедиции геологов ГДР в аймаке Баян-Хонгор. Сделанные наблюдения и опубликованные фотографические материалы, представляющие тамги, писаницы и рунические надписи, настолько удачны и достоверны,[38] что оказалась возможной попытка научного издания надписи.[39]

Здесь не место подробно рассматривать методы исследований древнетюркских памятников в археологическом аспекте.[40] Но хотелось бы сказать о перспективах исследовательской работы по древнетюркским памятникам в случае, если она была бы подкреплена самой современной техникой. В частности, мы имеем в виду технику светлой и сферической фотографии, химико-физические методы датировки керамики (например, с помощью поляризационных и стереоскопических микроскопов), разные приборы для обнаружения предметов, находящихся в земле, и др. Может быть, тогда можно было бы надеяться обнаружить головы других каменных изваяний, найти все обломки Онгинской надписи,[41] получить точную документацию для всех надписей из Тайхэр-Чулу (Хойто-Тамир) и т. д.

Наконец, говоря об организации работ по древнетюркским памятникам, надо отметить, что в этой области ощущается недостаток библиографической информации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. вариант настоящей статьи в кн.: «Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал», II, Улаанбаатар, 1973, с. 170—175.

[2] Constantin Gh. L. The first Mention of the Yenesei Old-Kirghiz Inscriptions: the Diary of the Rumanian Travaller to China Nicolaie Milescu (Spathary), 1675. — «Turcica», II. Paris, 1970, p. 151—158; Щербак А. М. В. В. Радлов и изучение памятников рунической письменности. — ТС, 1971, М., 1972, с. 54—63; Tryjarski E. 1) On the Archaeological Traces of Old Turks in Mongolia. — «East and West», N. Ser., vol. 21, 1—2 (March—June), Rome, 1971, p. 121—135; 2) Orkun Türklerinin âbidelerine dâir düşünceler (Some Remarks on the Monuments of the Orkhon Turks). — In: «Türk kültürü El—Kitabi», c. II, 1[a], İstanbul, 1972, p. 29—43; Кондратьев В. Г. К восьмидесятилетию дешифровки тюркской рунической письменности. — СТ, 1974, № 1, с. 58—62.

[3] Aalto P., Ramstedt G. J., Granö G. J. Materialien zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei. — JSFOu, 60, 1958; Aalto P.

G. J. Ramstedt's archäologische Aufzeichnungen und Itinerarkarten aus der Mongolei vom Jahre 1912. — JSFOu, 67, 1966, S. 1—19; Studia Asiae, — «Festschrift für Johannes Schubert», I, 1968, S. 7—21.

[4] Giraud P. 1) L'Inscription de Bain Tsokto. Paris, 1961; 2) L'Empire des Turcs célestes. Les règnes d'Elterich, Qapghan et Bilgä (680—734). Paris, 1960.

[5] Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968 (Uralic and Altaic Series, vol. 69).

[6] Clauson G. 1) The Ongin Inscription. — JRAS, 1957, October, p. 177—192; 2) Turkish and Mongolian Studies. London, 1962.

[7] Gabain A. von. 1) Alttürkische Grammatik. 2-е изд. Leipzig, 1950, S. 247—257; 2) Das Alttürkische. — PhTF, I, 1959, S. 21—45; 3) Alttürkische Datierungsformen. — UAJ, XXVII, 1955, S. 191—203; 4) Die alttürkische Literatur. — PhTF, II, 1964, S. 211—243.

[8] Bazin L. La littérature épigraphique turque ancienne. — PhTF, II, 1964, c. 192—211.

[9] Кляшторный С. Г. 1) Древнетюркские рунические памятники как источники по истории Средней Азии. М., 1964; 2) К исторической оценке Улангомской надписи. — ЭВ, XIV, 1961; 3) Тоньюкук—Ашидэ Юань-чжэнь. — ТС, К 60-летию А. Н. Кононова. М., 1966; 4) Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии (по материалам полевых исследований в Монголии, 1968—1969 гг.). — ТС, 1972. М., 1973.

[10] Кызласов Л. Р. 1) Новая датировка памятников енисейской письменности. — СА, 1960, № 3, с. 93—118; 2) О значении термина балбал древнетюркских надписей. — ТС, К 60-летию А. Н. Кононова, с. 206—208.

[11] Meyer I. — R. Bemerkungen über Vokal- und Schriftsystem der Runentürkischen. — AO, XXIX, 1—2, 1965, c. 183—202.

[12] Насилов В. М. Язык орхоно-енисейских памятников. М., 1960.

[13] Pritsak O. Das Alttürkische. — Handbuch der Orientalistik, Bd. 5, 1. Leiden—Köln, 1963, S. 27—52.

[14] Щербак А. М. 1) Несколько слов о приемах чтения рунических надписей, найденных на Дону. — СА, XIX, 1954, с. 269—284; 2) Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumara (au Caucase du Nord) et le problème de l'alphabet runique des Turcs occidentaux. — AOH, XV, c. 283—290; 3) О рунической письменности в юго-восточной Европе. — СТ, 1971, № 4, с. 76—82.

[15] Tuna O. N. On the Phonetic Values of the Symbols ×, ⊗, [illegible], used in Some of the Texts in Kök-Turkish Script. — CAJ, 1966, XI, 4, c. 241—263; Hazai G. Sur un passage de l'inscription de Tonyuquq. — Turcica, II, c. 25—31; Хабичев М. А. О древнетюркских рунических надписях в аланских катакомбах. — СТ, 1970, № 2, с. 64—69; Németh J. The Runiform Inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the Runiform Scripts of Eastern Europe. — ALH, XXI, 1—2, 1971, c. 1—52; Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности. Алма-Ата, 1971; Кобешавидзе И. Н. К характеристике графики и фонемного состава языка орхоно-енисейских надписей. — СТ, 1972, № 2, с. 40—46; Тенишев Э. Р. Перебой s/š в тюркских рунических памятниках. — В кн.: «Структура и история тюркских языков». М., 1971, с. 289—295; Кузнецов П. И. Бессоюзные придаточные предложения с формой на -duk в памятниках орхоно-енисейской письменности. — СТ, 1971, № 4, с. 62—67; Сейидов М. А. К вопросу о трактовке понятий jer sub в древнетюркских памятниках. — СТ, 1973, № 3, с. 63—69; Байчоров С. Надписи хумаринского городища. — СТ, 1974, № 4, с. 89—93.

[16] Jisl L. 1) Výzkum Külteginova památniku Mongolské Lidové Republice. . . — Archeologické rozhledy, 12, 1, 1960, c. 86—115; 2) Vorbericht über die archäologische Erforschung des Kültegin Denkmals durch die tschechoslovakisch-mongolische Expedition des Jahres 1958. — UAJ., 32, 1—2, 1960, S. 65—77; 3) Prvni československo-mongolská archeologicka expedice. — «Nový Orient», 1959, 14, c. 172—173; 4) Wie sahen die alten Türken aus? — UAJ, 40, 3—4, 1968, S. 181—199.

[17] Poucha P. 1) Třináct tisíc kilometrů Mongolskem. Autem, parolodi a letadlem. Praha, 1957; 2) 13.000 Kilometer durch die Mongolei. Leipzig, 1960.

[18] Schubert J. Ritt zum Burchan-Chaldun. Forschungsreisen in der Mongolischen Volksrepublik. Leipzig, 1963; Ср.: Tryjarski E. Die heutige Mongolei und ihre alten Denkmäler. — UAJ, 36, 1966, S. 154—158.

[19] Мы имеем в виду исследования западногерманских тюркологов по халаджскому языку, см.: Doerfer G. 1) Das Chaladsch — eine archaische Türksprache in Zentral-Persien. — ZDMG, 118, 1968 — S. 79—112; 2) Khalaj Materials. Bloomington, 1971 (Uralic and Altaic Series, v. 115); Tezcan S. Zum Stand der Chaladsch. — В кн.: «Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker». Protokollband der XII. Tagung der PIAC 1969 in Berlin. Berlin, 1974, S. 613—619.

[20] Насилов В. М. 1) Древнеуйгурский язык. М., 1963; 2) Язык тюркских памятников уйгурского письма XI—XV вв. М., 1974; Yamada N. 1) Tamgha- and Nischan-Form of Uighurian Contract discovered in East Turkestan. — В кн.: «Труды XXV Международного конгресса востоковедов», т. III. М., 1963, с. 321—323; 2) Uigur Documents of Sale and Loan Contracts Brought by Otani Expedition. — In: «Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», 23 (1964), 1967, p. 71—118; 3) On the Manuscripts from East Turkestan Preserved in the Library of Istanbul University; Especially on Uighur Documents. — «Bulletin of the Society for Western and Southern Asiatic Studies», Kyoto University, 20, 1968, p. 11—29 (на яп. яз., введение на англ. яз.); 4) Four Notes on Several Names rof Weights and Measures in Uighur Documents. — В кн.: «Studia Turcica», Budapest, 1971, p. 491—498; Насилов Д. М. 1) Прошедшее время на -jük/-juq в древнеуйгурском языке и его рефлексы в современных языках. — ТС. К 60-летию А. Н. Кононова, с. 92—104; 2) В. В. Радлов и изучение древнеуйгурских памятников. — ТС 1971, М., 1972, с. 64—101; Hazai G., Zieme P. Ein uigurisches Blockdruckfragment einer Einleitung zum Vajracchedikāsūtra. — AOH, XXI, 1, 1968, p. 1—14; Hamilton. J. Un acte ouïgour de vente de terrain provenant de Yar-Khoto. — «Turcica», l, 1969, p. 26—52; Geissler F. et Zieme P. Uigurische Pañcatantra—Fragmente. — «Turcica», II, 1970, p. 32—70; Tekin Ş. Uygur Edebiyatinin Meseleleri. — «Türk Kültürü Araştırmaları» II, Ankara, (1965), 1970, p. 26—67; Tezcan S., Zieme P. Uigurische Brieffragmente. — «Studia Turcica», p. 450—460; Zieme P. 1) Ein uigurischer Landverkaufsvertrag aus Murtug. — «Altorientalische Forschungen», l, 1974, S. 295—308; 2) Ein Turfanfragment einer türkischen Erzählung. — Там же, S. 367—368. Из работ по истории уйгуров можно указать: Mackerras C. The Uighur Empire (744—840) according to the T'ang dynastic histories. Canberra, 1968 (Australian National University. Centre of oriental Studies. Occasional paper, 8); Gabain A. Das Leben im uigurischen Könichreich von Qočo im 9—14. Jahrhundert. I—II. Wiesbaden, 1973.

[21] Дмитриева Л. В. Хуастуанифт (Введение, текст, перевод). — В кн.: «Тюркологические исследования». М.—Л., 1963, с. 214—232; Zieme P. 1) Beiträge zur Erforschung des Xᵛāstvānīft — MIO, XII, 4. 1966, S. 351—378; 2) Die türkischen Yosīpas—Fragmente. — Там же, XIV, 1, 1968, S. 43—67; 3) Zwei Textergänzungen zu A. von Le Coq «Türkische Manichaica aus Chotscho. III». — RO, XXXII, 2, 1969, 7—18; 4) Türkçe bir mani şiiri (Ein manichäisch-türkisches Gedicht). — TDAY — «Belleten», 1969, с. 39—51; 5) Ein manichäisch-türkisches Fragment in manichäischer Schrift. — AOH, XXIII, 2, 1970, 157—165.

[22] Tekin Ş. 1) Kuanşi im Pusar (Ses Işiten İlâh). Erzurum, 1960; 2) Zur Frage der Datierung des uigurischen Maitrisimit. Über die neuentdeckte Abschrift des Textes aus Hami. — MIO, XVI, 1970, S. 129—132; 3) Abhidharma-kośa-bhāṣya-ṭika tattvārtha-nāma. The Uigur translation of Sthiramati's commentary on the Vasubandhu's Abhidharmakośaśāstra, 'Abidarim Koşavardi Şastr, I. New York, 1970; Hazai G. Ein buddhistisches Gedicht aus der Berliner Turfan—Sammlung. — AOH, XXIII, 1,

1970, S. 1—21; H a z a i G. und Z i e m e P. Fragmente der uigurischen Version des «Jin'gangjing mit den Gāthās des Meister Fu» nebst einem Anhang von T. Inokuchi. Berlin, 1970; R ö h r b o r n K. Eine uigurische Totenmesse. Text. Übersetzung, Kommentar. Berlin, 1971; H a m i l t o n J. R. Le conte bouddhique du bon et du mauvais prince en version ouïgoure. Paris, 1971; T e z c a n S. Das uigurische Insadi—Sūtra. Berlin, 1974.

[23] Б а т м а н о в И. А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959; Б а т м а н о в И. А., А р а г а ч и З. Б., Б а б у ш к и н Г. Ф. Современная и древняя енисеика. Фрунзе, 1962; Б о р о в к о в А. К. Енисейские надписи на сосудах. — В кн.: «Тюркологические исследования». М., 1963, с. 190—196; Н а с и л о в Д. М. О некоторых памятниках Минусинского музея. — НАА, 1963, № 6, с. 124—129; С е й д а к м а т о в К. Древнетюркские надписи в горном Алтае. — В кн.: «Материалы по общей тюркологии и дунгановедению». Фрунзе, 1964, с. 95—101; Т е н и ш е в Э. Р. Древнетюркская эпиграфика Алтая. — ТС. К 60-летию А. Н. Кононова, с. 262—265; А м а н ж о л о в А. С. Илийские рунические надписи. — ВЯ, 1969, № 3, с. 147—151; К л я ш т о р н ы й С. Г., С а м б у И. У. Новая руническая надпись в Улуг-хемском районе. — ТНИИЯЛИ, уч. зап., вып. XV, 1971, с. 245—249; А р с л а н о в а Ф. Х., К л я ш т о р н ы й С. Г. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья. — ТС, 1972, с. 306—315; В а с и л ь е в Д. Д., К л я ш т о р н ы й С. Г. Руническая надпись Йир-Сайыр. — СТ, 1973, № 2, с. 105—110.

[24] C l a u s o n G. The Ongin Inscription, p. 191—192.

[25] C l a u s o n G., T r y j a r s k i E. The Inscription at Ikhe -Khushotu. RO, XXXIV, 1, 1971, p. 7—33.

[26] Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.). Фрунзе, 1962; T r y j a r s k i E. L'inscription turque runiforme d'Arkhanen, en Mongolie. — UAJ., 36, 3—4, 1965, p. 423—428; A a l t o P., T r y j a r s k i E. A Runic Tombstone Inscription Presumably from Minusinsk. — RO, XXXIV, 1, 1971, p. 35—38.

[27] См., например, Ш е р Я. А. Каменные изваяния Семиречья. М.—Л., 1969, с. 130—136; J i s l L. Balbals, Steinbabas und andere Steinfiguren als Äusserungen der religiösen Vorstellungen der Ost-Türken. Prag, 1970.

[28] E s i n E. 1) «And» the Cup Rites in Inner-Asian and Turkish Art. — В кн.: «Forschungen zur Kunst Asiens» (In memoriam Kurt Erdman). Istanbul, 1970, p. 224—261; 2) Otüken illerinde, M. S. sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda Türke âbidelerinde san'atkâr adları. — «Türk Kültürü El-Kitabi», c. II, 1[a], p. 44—58 (англ. пер.; p. 59—73).

[29] О к л а д н и к о в А. П. Петроглифы Ангары. М.—Л., 1966; О к л а д н и к о в А. П., З а п о р о ж с к а я В. А. Петроглифы Забайкалья, ч. I. Л., 1969; R i n t c h e n B. The Tsagan Gol Petroglyphs. — JSFOu 67, 1966, p. 3—5; Studia Asiae. I, 1968, p. 221—222; A a l t o P., T r y j a r s k i E. Dessigns rupestres aux environs d'Arvaïkher (d'après les copies de M. Namkhaïdagva). — JSFOu, 68, 2, 1968, p. 1—20; Д о р ж Д. К истории изучения наскальных изображений Монголии. — В кн.: «Монгольский археологический сборник». М., 1962, с. 45—54.

[30] О работах монгольских ученых по древнетюркским памятникам см.: С э р - О д ж а в Н. 1) Археологические исследования в Монгольской Народной Республике. — «Монгольский археологический сборник». М., 1962, с. 5—10; 2) Изучение древнетюркской письменности в МНР. — В кн.: «Les dessins pictographiques et les inscriptions sur les rechers et sur les stèles en Mongolie recueillis par Rintchen». Улаанбаатор, 1968, р. XI и сл.

[31] К л я ш т о р н ы й С. Г. Руническая надпись из Восточной Гоби. — «Studia Turcica», 1971, p. 249—258; К л я ш т о р н ы й С. Г., Л и в ш и ц В. А. 1) Сэврэйский камень. — СТ, 1971, № 3, с. 106—112; 2) Une inscription inédite turque et sogdienne: le stèle de Servey (Gobi méridional). — JA, 1971, стр. 11—20; 3) Согдийская надпись из Бугута. — В кн.: «Страны и народы Востока», X, М., 1971, с. 121—146; 4) The Sogdian Inscription of Bugut revised. — AOH, XXVI, 1, 1972, p. 69—102.

32 Краткое сообщение о новонайденной большой рунической надписи из Тариата см.: Сэр-Оджав Н. Археологическая наука в МНР. — В кн.: «Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал», II, с. 141; Zieme P. Neue Funde zur Geschichte der Türken in der Mongolei. — «Das Altertum», 18, 1972, S. 255—258 (см. снимки каменной черепахи с надписью, сделанные д-ром Э. Ховдхаугеном).

33 Кляшторный С. Г. «Монета с рунической надписью из Монголии». — ТС, 1972, с. 334—338; Hamilton J. et Tryjarski E. L'Inscription turque runiforme de Khutuk-ula. — JA, 1974 (в печати); Tryjarski E. and Aalto P. Two Old Turkic Monuments of Mongolia. — В кн.: «Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen». Helsinki, 1973, p. 413—420.

34 Ср.: Clauson G. Turkish and Mongolian Studies, p. 71.

35 Jisl L. Kül-Tegin anıtında 1958'de yapılan arkeoloji araştırmalarının sonuçları. — «Belleten», c. XXVII, sayı 107. Ankara, 1963, p. 384—410; ср.: Tryjarski E. The Present State of Preservation of Old Turkic Relics in Mongolia and the Need for their Conservation. — UAJ, 38, 1966, p. 170.

36 Rintchen B. Les dessins pictographiques et les inscriptions sur les rechers et sur les stèles en Mongolie. . ., p. 40.

37 Ср.: Matuz J. Trois fragments inconnus de l'Orkhon. — Turcica, т. IV, 1974.

38 Lauer D. Archäologische Beobachtungen aus dem Bajan-Chongor-Aimak der Mongolischen Volksrepublik. Felszeichnungen und Inschriften. . . (mit 40 Abbildungen und dem Umschlagbild). — «Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift», 13, 1, 1972. S. 1—37.

39 Ср.: Hamilton J. et Tryjarski E. L'Inscription turque runiforme de Khutuk-ula.

40 См. также: Maina D. Archäologische Studien in der zentralen Mongolei. — «Wissenschaftliche Zeitschrift Martin—Luther—Universität», 12, Gesellsch- u. sprachwiss. R., Halle, 1963, S. 847—888; Волков В. Бронзовый и ранний железный век северной Монголии, Улан-Батор, 1967; Jettmar K. IlK Türklerin arkeolojisi. — «Türk Kültürü El—Kitabi», p. 7—14; Baykara T. Kültegin anıtına dair bazı notlar. — «Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi», c. V, cüz 1—4. Istanbul, 1973, p. 223—228.

41 Tryjarski E. Zur neuren Geschichte des Ongin—Denkmals. — В кн.: «Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker», S. 629—630.

Э. И. Фазылов

ЗАМЕЧАНИЯ О РУКОПИСИ И ЯЗЫКЕ «АТ-ТУḪФА»

Арабоязычные филологические трактаты — один из важных источников для изучения истории формирования тюркских литературных языков и их сравнительно-исторического освещения — все еще недостаточно изучены, не подвергались тщательному лексическому анализу.

К таковым относится и «Ат-туḫфа» — уникальный памятник XIV в., хранящийся в Стамбуле, в библиотеке Баязида, в отделе Велийеттина, под № 3092.

Рукопись написана почерком насх, арабские слова выделены черными чернилами, а тюркские — красными. Каждый лист (их 90), размером 26 × 17.5 см (заполненная часть — 18 × 11 см), использован с обеих сторон, пагинация — только с одной стороны; следовательно, общее количество страниц — 180. На каждой странице по 13 строк, в каждой строке в среднем по 7 слов. Все тюркские слова, за исключением некоторых, находящихся вне текста, снабжены необходимыми огласовками. Огласовка арабских слов встречается только спорадически для облегчения чтения отдельных арабских слов, которые графически воспроизводятся одинаково, но читаются по-разному и передают разные значения (см. ркп. 11б4, 11б5, 16б6, 16б8, 19б7 и др.).

Судя по факсимиле, эта рукопись в целом сохранилась хорошо, хотя некоторые ее места испорчены и трудно читаются. Поля некоторых страниц исписаны записями, стихотворениями, не относящимися к тексту, часть из них не поддается расшифровке (напр. стр. 1а, 2а, 38а, 81б, 89б, 90а). Между стр. 78б и 79а текста имеется какой-то пропуск: стр. 78б кончается словами يقول بي ‘говорят: би...’, а стр. 79а начинается словом تثنية ‘двойственное число’.

Турецкий исследователь Бесим Аталай, ссылаясь на сведения другого исследователя, пишет: «В книге Хикмета Турхана Даглыоглу, посвященной Шемсеттину Сами, говорится, что „Ат-туḫфа“, над переводом которого работал Шемсеттин Сами, состоит из 212 страниц. Это показывает, что покойный (т. е. Шемсеттин Сами,— *Э. Ф.*) имел дело с полным списком рукописи».[1]

В сведения Даглы-оглу вкралась досадная неточность,[2] что ввело в заблуждение Б. Аталая. Дело в том, что Шемсеттин Сами в 1902 г. начал переводить «Ат-туҳфа» по фотокопии рукописи из библиотеки Баязида, данной ему Неджипом Асымом. Его перевод записан в тетрадь, имеющую 212 страниц.[3] Таким образом, рукопись была одна и та же, и другими списками наука пока не располагает.

Это сообщение, а также наличие повторов (45а2) и вставок при пропусках на полях страниц рукописи (49бМ, 54бМ, 73бМ, 74аМ, 76бМ и др.) дают основание полагать, что рукопись была рабочим экземпляром, над которым автор продолжал постоянно работать. Существовал ли переписанный набело экземпляр «Ат-туҳфа», не установлено.

Анализ материала «Ат-туҳфа» позволяет высказать мнение, что рукопись, видимо, была написана в Египте, а ее автор либо был родом из Сирии, либо долгое время жил в Сирии.

На первой странице рукописи содержится помета, сделанная другим почерком, об Абул-Ķāсиме ибн Аҳмаде ибн Муҳаммаде ибн Муханне ал-Ханāфӣ, однако она не дает основания считать его автором сочинения.

В конце последней страницы рукописи имеются стихи:

وكم لله من لطف خفى * يفوق خفاه عن فهم الزكى
وكم عسر عادالله يسرا فروج لوعةالقلب الشجى

Как много у Аллаха тайной благодати,
Ее скрытость недоступна пониманию Закийа.
Как много затруднений отвращает [от нас] Аллах,
От мук и страданий избавляя печальную душу.

Значение слова الزكى 'чистый', 'непорочный', 'острый', 'проницательный' и его несогласованность с предшествующим словом 'фахм' дают нам некоторое основание считать его в данном стихе именем собственным. Это предположение подкрепляется и содержанием стиха. Таким образом, можно заключить, что автором труда был некий Закийа, сведений о котором нет в других источниках. Возможно, в заглавии труда — игра слов: Закийа — 'чистый' — 'имя собственное'. Но заглавие книги «Ат-туҳфа аз-закӣйа фи-л-луға ат-туркӣйа» следует переводить: «Искренний подарок по тюркскому языку».

На той же странице есть помета, отмеченная дважды, об убийстве (15 числа III месяца 904 г. х./1498 г.) султана Насыра Мухаммеда Кайтабая, сына Ашрафа Кайтабая. Султан Ашраф Кайтабай правил в Египте с 1469 по 1495 г. Затем престол правителя перешел к его сыну Насыру Кайтабаю, который на этом посту пробыл всего три года, а в 1498 г. был убит.

В 985 г. х. рукопись принадлежала некоему Мухаммеду Абдуллаху, о чем имеется запись на последней странице.

Автор «Ат-туҳфа» упоминает имя «великого наставника ученого Абу Хаййана» (ркп. 1б), трудами которого пользовался при напи-

сании своего сочинения. Этим и объясняется совпадение многих слов, способов объяснения правил тюркского языкового строя, а иногда и содержания приведенных предложений в «Ат-туḫфа» и «Китāб ал-идрāк ли-лисāн ал-атрāк». Остается неустановленным, был ли знаком автор «Ат-туḫфа» с «Диваном» Махмуда Кашгарского и с «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского.

Среди имен собственных, встречающихся в «Ат-туḫфа», упоминается и имя знаменитого героя Kündoγdy (41а9) из «Кутадгу билиг». Случайно ли это совпадение?

Анонимный труд состоит из краткого фонетического экскурса (лл. 2а3—3а9), словаря (лл. 3а9—38б11) и грамматики (лл. 38б12—90б13).

Словарь памятника «Ат-туḫфа» составлен по правилам арабского алфавита: сначала даны арабские слова, затем их тюркские эквиваленты. При расположении арабского материала алфавитная система местами нарушена (лл. 6а5, 22б6), иногда опущен арабский перевод тюркского слова (л. 13б11). Словарная часть рукописи состоит из 29 глав, а грамматическая — из 64.

По сообщениям турецких ученых Х. Т. Даглы-оглу и А. С. Левенда,[4] сочинение «Ат-туḫфа» было переведено известным турецким лексикографом Шемсеттином Сами, но перевод не был издан.

О рукописи и языке «Ат-туḫфа» имеются высказывания М. Ф. Кёпрюлю И. А. Зайончковского.[5] В 1942 г. ориенталистом Т. Халаши-Куном[6] этот памятник был издан факсимиле, ставшим уже библиографической редкостью. Фототипическое издание Т. Халаши-Куна является образцовым. Однако, по-видимому по вине переплетчиков, начальные страницы данного издания перепутаны, то есть после стр. 2б идет 6а и 6б, а затем — 3а—5б и 7а. Далее все страницы расположены по порядку. Размер текста факсимиле близок к размеру текста оригинала.

В 1945 г. турецкий ученый Бесим Аталай издал турецкий перевод «Ат-туḫфа». К изданию приложена фотокопия рукописи, к сожалению дефектная, что послужило поводом для возникновения полемики.[7]

И, наконец, третьей по счету публикацией этого памятника является узбекский перевод, осуществленный Салихом Муталлибовым.[8] В узбекском издании имеются пропуски в переводе рукописи и неточности.[9]

Материалы «Ат-туḫфа» использованы многими тюркологами. Заслуживает внимания статья О. Притцака, посвященная сравнительному анализу памятников кыпчакского языка XIII—XIV вв.[10]

Под руководством А. Н. Кононова мною совместно с моей ученицей М. Т. Зияевой подготовлено новое издание «Ат-туḫфа», которое будет содержать введение, перевод текста, глоссарий, грамматический указатель и факсимиле.

В «Ат-туḫфа» уделяется внимание фонетическим явлениям языка кыпчаков, туркмен и др. и приводятся примеры на чере-

дование глухих согласных, уподобление согласных фонем, выпадение или вставку звуков, а также имеются сведения о лабиализации, делабиализации, метатезе, регулярно даются фонетические соответствия $\gamma \sim v$, $j \sim z$ и др.

В рукописи отмечены случаи нарушения сингармонизма как в словах, так и в аффиксах: ajdynlik آايْدِينْ لِيك 'свет' (38б2—3); ṭaŋlik طَانْك لِيك 'удивление', 'изумление' (24б2); jaqsyçäräk 'хорошенький', jamançäräk 'плохонький' (55а).

Имеются случаи колебания в орфографии отдельных слов: صَارْتْ — سارْتْ — سارْطْ 'простой люд' (24а11), 'оседлый', 'горожанин' (12а3).

В некоторых случаях начертания арабских слов не согласуются с общепринятыми в средневековье нормами (3б13, 4а13, 16б8, 17б10, 23б6, 24а11, 24б11 и т. д.).

Отмечаются и другие графические особенности, например в передаче долгот в начале и в конце тюркских слов, аффиксов прошедшего категорического времени и т. д.

К специфичным морфологическим показателям «Ат-тухфа», не отмеченным или частично отмеченным в языке памятников XIII—XIV вв., относятся:

1) аффикс принадлежности 3 л. ед. ч. -u/-ü: ḃi quluny töjdiräsidir 'бек побьет своего раба' (78б1);

2) аффиксы род. пад. -nyn/-nin: bu suşynyn qardaşy 'брат этого водоноса' (80а13); binin quly 'раб бека' (80а9); исходного падежа -dan/-dän/-tan/-tän: jyldan 'с года' (90а12); bidän 'от бека' (82б1); aṭtan 'с коня' (82а1); türktän 'из тюрков' (79а8);

3) показатель уменьшительности -çuq/-çük: äçäkçük 'осленок' (45б7); itçük 'собачонка' (45б8);

4) аффикс, образующий имена места -(a)ǰaq/-(ä)ǰäk: ṭuraǰaq 'место стоянки' (48б1); jataǰaq 'место для сна' (48б2);

5) аффикс -raq/-räk со словом iŋ образует абсолютную превосходную степень прилагательных: iŋ arṭyqraq 'самый превосходный из [превосходных]' (55а11); iŋ äksikräk 'самый плохой из [плохих]' (55а12); аффикс уменьшительности -çäräk : jamançäräk 'плохонький' (11а1);

6) количественные числительные: dört — 4 (60а7), ḃäç — 5 (60а7), jädi — 7 (60а7), säkiz — 8 (60а7), ṭaquz — 9 (60а8), otuz — 30 (60а9), ālli — 50 (60а9), aṭmyş — 60 (60а10); собирательные числительные на -av/-äv: ikkäv 'двое' (61а10), üçäv 'трое' (61а10); разделительные числительные на -ar/-är : üçär 'по три' (61а13), dörtär 'по четыре' (61а13); на -ṣar/-ṣär : alṭyṣar 'по шесть' (61б1), jädiṣär 'по семь' (61б1);

7) местоимение личное 2 л. ед. ч. в форме säŋ : säŋ mi käldiŋ 'ты ли пришел?' (56б11); 1—2 л. ед. ч. в дат.-направит. падеже имеет форму maä 'мне' (45а1, 85а7—8), ṣaä 'тебе' (44б11); ука-

зательные местоимения lik 'тот' (41б7), oç 'вот' (42а4), allar 'те' (87а5), mu 'этот' (41б7), mullar 'эти' (41б8), причем указательное местоимение bu в вин. пад. имеет форму munu (81а3), в дат.-направит. -muvar (40б12), а также muvarlara 'этим' (41а2), ol — форму anar (40б13), ary 'там' (41б10); вопросительное местоимение ṣäjn 'как, каким образом' (30а8), qajdasa 'где-либо', 'куда-либо' (89а12); возвратное местоимение känsi 'сам' (81б2), kändi 'сам' (81б1); определительное местоимение timä 'всякий', 'каждый' (64б8); неопределенное местоимение näsnä, nästä 'нечто' (20б11), ajry / äjrik 'другой' (89а13);

8) в глагольной системе показателем повелительно-желательного наклонения выступает для 1 л. ед. ч. -ajym/-äjim: alajym 'возьму-ка я' (50б10); -alym/-älim : alalym 'возьму-ка я' (50б10), kälälim 'приду-ка я' (56а13); 2 л. ед. ч. — -γyn / -γun: ṭurγun 'вставай' (50а12), ṭurmaγun 'не вставай' (50а13); -qyn / -qun: jatqyn 'ложись' (50а12), ṭuṭqun 'задержи' (64а9—10); -kin/-gin : kätkin 'уходи' (65б10); kälgin 'приходи' (65б10); -sänis + -nä: kälsänisnä 'вы обязательно придете' (71б12); для 1 л. мн. ч. -alyq/-älik: alalyq 'возьмем-ка мы' (50б10), kälälik 'придем-ка мы' (72а3); -malyq: almalyq 'не возьму-ка я' (51а7); условное наклонение на -sa/-sä с глаголом i- 'быть' образует формы на -dysa, то есть -dy + isä: bi turdysa ṭurar-män 'если бек встал, я встану' (63а8—9); -arsa, то есть -ar + i- + -sa/-sä: bi ṭurarsa ṭurma 'если бек встанет, [ты] не вставай' (64б2); -γajsa: bi ṭurγajsa ṭurar-män 'если встанет бек, встану и я' (63а10); -massa, -myṣsa: bi ṭurmassa ṭurma 'если бек не встанет, не вставай' (64б3), bi ṭurmyṣsa quly ṭurmyṣtur 'если бек встал, то его раб тоже встал' (64б4—5); в изъявительном наклонении наличествует форма на -äriz : käläriz 'мы идем' (71а10—12); -yrym: alyrym 'я беру' (43б4); -yryz: alyryz 'мы берем' (43б4); ämän kälämän 'я приду', -äbiz: käläbiz 'мы придем'; на -ävüz: kälävüz 'мы придем' (61а10); на -im: kälim 'я пришел'; на -ik: kälik 'мы пришли' (71а10—12); на -jjurur / -jjürür: jumruqlajjurur 'он бьет кулаком' (74б4), baṣlajjurur 'он начинает' (74б3—4), kätmäjǰürür 'он не уходит' (74б11); на -a + jur/-ä + jür, -a + jurur/-ä + jürür: kätäjürmän 'я ухожу' (75а11), jatajur 'он лежит' (74б1), käläjürsiz 'вы идете' (75а10); -äjürür: käläjürürmän 'я иду' (75а10—11); -ämidir: bi kälämidir 'идет ли бек?' (56а2), kälämidirsän 'идешь ли ты?' (56а7—8); -ajim / älim для 1 л. ед. ч.: käläjimmi (56а12), kälälimmi 'иду ли я' (56а13); -älik для 1 л. мн. ч.: kälälikmi 'идем ли мы?' (55а13); отрицательная форма 1 л. ед. ч. на -man: alman 'я не возьму' (82б11); на -a + dyr / -a + dir / -ä + dur / -ä + dür: küládürmän 'я смеюсь' (75а9), kälädirbiz 'мы идем' (71а7), kälädirsän 'ты идешь' (71а6), bildim kim bi külädür 'я узнал, что бек смеется' (69б3—4); aladyr-män, aladyrbiz, aladyrsän, aladyrsiz, aladyr, aladyrlar (43б12); на -j + dyr / -j + dir / -j + dur / -j + dür: jumruqlajdurmän 'я бью кулаком' (53а10); на -asy / -äsi: alasymän 'я возьму' (46б7), alasybiz 'мы возьмем' (46б7), kätäsimän 'я уйду' (71б2—3); -asydur : bi tanda turasydur 'бек встанет на рассвете' (66а12); отрица-

тельная форма на -majdur: oqmajdur 'он не читает' (74а 8М); -mäjdir: külmäjdir 'он не смеется' (74а9); на -ajaq / -äjäk: bi tanda turajaq 'бек встает на рассвете' (66а13); -asar / -äsär: käläsärmän 'я приду' (54а3), käläsärbiz 'мы придем' (54а4). Прошедшее время на -dy / -di имеет форму для 3 л. ед. ч. на -z̤y, -ṭy: ojanz̤y 'проснулся' (4б9), jyzyṭṭy 'разорвал' (36б1); для 1 л. мн. ч. на -dyq / -dik, -duq / dük, tuq / tük: aldyq 'мы взяли' (43б2), käldik 'мы пришли' (40а3), ṭutulduq 'мы были задержаны' (47б8), uruştuq 'мы дрались' (59а2); прошедшее время на -ubturduq: örä ṭurubturduq 'мы стояли прямо' (67б2—3); на -ubturdum: örä turubturdum 'я стоял прямо' (67а2); прошедшие времена в значении настоящего на -ubtur: bi ṭurubtur 'бек стоит' (66а12); -muştur: oranladym bini ṭurmuştur 'я предполагал, что бек стоит' (78б7); аналитическая форма на -muş idi: kaşka bi olṭurmuş idi 'о, если бы бек сидел' (69а4);

9) причастие на aγan / -ägän: kälägän 'постоянно приходящий' (47а3), icägän 'много, часто пьющий' (47а3—4); на -[ä]vçi / -uçy / -üci: külävçi '[много] смеющийся' (77а4), jaṭuçy 'постоянно лежащий' (62б6); показатель причастия действительного залога будущего времени -sy / -si: ālasy 'взявший' (46б8); страдательного — -ubtur: ṭuṭulubtur 'задержанный' (48а1); форма на -dyγ / -dig: aldyγylar 'взявшие' (букв. 'те, которые взяли') (43а2), käldigüm 'мой приход' (75а8); -dig: şätük jädigi 'то, что съела кошка' (43а3—4); -tik: kättiküm 'мой уход' (75а8);

10) деепричастия на -av / -äv: ötmäk jijäv käldi 'он пришел, кушая хлеб' (76а4—5), āṭ minäv kätti 'сев на коня, он уехал' (76а5); на -γaş / -gäş, -qaş / -käş: ṭurγaş 'после того как он встал' (74б13), çyqqaş 'после того как вышел' (65а), kälgäş 'после того как он пришел' (74б13); -ajyn / -äjin: āṭ minäjin 'сев на коня' (76а6—7);

11) имя действия на -ç: sanҫyç 'удар, вонзание копьем, ножом' (33б1), içiç içtim 'я пил питье' (49а11);

12) наречие на -läjin: käldükümläjin 'после моего прихода' (75а8), kättükümläjin 'после моего ухода' (75а8);

13) послелоги: ötri 'ради, для' (59а13), kibik 'подобно' (22а1), syŋar, çylajyn 'подобно' (88б12), ajruq 'иной, другой' (26а10), biläsincä 'вместе' (67**а3**);

14) союзы: ta 'тоже, также' (68б1), çaq 'когда' (65а12), nä... nä 'ни...ни' (52а1—2), äräjnä 'но, однако' (81а1), näkisä 'что бы ни было' (65а6), qajdasa 'куда бы ни...' (89а13), basa 'если не' (90а3);

15) частицы: ā̈vät 'да' (36а11), ā̈räjnä 'да' (36а10);

16) междометие: ābu, ābav 'для выражения удивления' (84а4) и т. д.

«Ат-тух̮фа» содержит богатый лексический материал, включающий большое количество синонимов, антонимов, омонимов; часто встречаются слова, не засвидетельствованные в других письменных памятниках XIII—XIV вв. Лексический состав «Ат-тух̮фа»

не однороден, на что указывает наличие помет «туркмен» (167), «татар» (10), «в др. диалектах», «в некоторых языках, кроме татарского» (20). Основным же материалом памятника, по мнению автора, послужил «кыпчакский язык», который состоял из диалектов различных тюркских племен. Видимо, этим объясняется наличие в «Ат-тух̣фа» пометы «кыпчак» (13).

Разумеется, нельзя идентифицировать языки и диалекты, помеченные в филологических трудах средневековых авторов «кыпчак», «туркмен», «огуз», «татар» и др., с современными туркменским, казахским, татарским, киргизским, турецким, узбекским и другими языками.

Согласно подсчетам М. Т. Зияевой, лексический состав памятника состоит почти из 3600 слов, из них 1729 — существительные, 1185 — глаголы, 313 — прилагательные, 92 — числительные, 53 — местоимения, 42 — наречия, 33 — союзы, 28 — послелоги, 10 — частицы, 6 — междометия. Также отмечено несколько звукообразоподражательных слов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Atalay Besim. Ettühfet-Zekiyye fil-Lugat-it-Türkiyye. Istanbul, 1945.

[2] Dağlıoğlu Hikmet Turhan. Şemsettin Sami. Hayatı ve Eserleri. Istanbul, 1934, S. 58.

[3] Levend Agâh Sırrı. Şemsettin Sami. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969, S. 98.

[4] Dağlıoğlu Hikmet Turhan. Şemsettin Sami. Hayatı ve eserleri, Istanbul, 1934, S. 58; Levend A. S. Şemsettin Sami. Ankara, 1969, S. 98.

[5] Körösi Csoma—Archivum. Zeitschrift für türkische Philologie und verwandte Gebiete. Kölet 15. Budapest, 1922; Zajączkowski A. Note complementari sulla lessicografia arabo—turca nell epoca dello Stato Mamelucco. Publ. dell Inst. Univers. Orient. di Napolo, Annali N. S., vol. I. Roma, 1940, S. 149—162.

[6] Halasi-Kun T. La langue des Kiptchaks d'après un manuscript arabe d'Istanbul, Part. II. Reproduction Phototypique, Bibliotheca Orientalis Hungarica IV. Budapest, 1942.

[7] Halasi-Kun T. Philologica, I — «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih—Coğrafya Fakültesi Dergisi», Ankara, 1947, c. V, No. 1, S. 1—37; Atalay Besim. Ettühfet-üz-Zekiyye çevirmesinin tenkidi dolayisiyle. «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi», VI, Ankara, 1948, No. 1-2, S. 87—126; Halasi-Kun T. Philologica, I—II. «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi», c. VI, 1948, No. 1—2, SS. 87—126; c. VII, 1949, No. 1, SS. 415—465; № 2, SS. 603—644.

[8] Аттух̡фатуз Закияту филлуғатит туркия. Туркий тил (кипчоқ тили) ҳақида ноёб туҳфа. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Ташкент, 1968.

[9] Дониёров Х. Нодир ёдғорлик — ШЮ, 1969, № 7, с. 222—226; Шукюрли А. Об узбекском переводе «Ат-туҳфат уз-закийя фил-луғат-ит-туркийя». СТ, 1970, № 1, с. 100—105.

[10] Pritsak O. Das Kiptschakische. PhTF, I, 1959, S. 76.

П. Циме

О ВТОРОЙ ГЛАВЕ СУТРЫ «ЗОЛОТОЙ БЛЕСК»

Исследовательские интересы юбиляра тесно связаны с изучением памятников древнетюркской письменности, поэтому мы сочли возможным предложить небольшое дополнение к исследованию сутры Суварнапрабхаса. Эта статья является лишь небольшим кирпичиком большой темы. Остается надеяться, что когда-нибудь могут быть форсированы публикация и освоение всего текста в целом.[1]

Пожалуй, самым объемистым среди имеющихся уйгурских письменных памятников буддийского содержания является сутра Suvarṇaprabhāsa, сутра «Золотой блеск». Она была переведена с китайского на уйгурский язык в X в. Сынгку Сели Тутунгом, уроженцем Бешбалыка. Известно большое число списков этого сочинения, самым полным среди них является рукопись из селения Вуншиг (Ганьсу), завершенная в 1687 г., хранящаяся в рукописном * собрании Института востоковедения АН СССР в Ленинграде.[2] Менее полные, но более древние списки находятся в Берлинском турфанском собрании Центрального института древней истории и археологии АН ГДР.

Указанное А. фон Габен число из 6 списков[3] в ходе дальнейших исследований увеличилось. Возможно, что целый ряд до сих пор неидентифицированных фрагментов текстов из Берлинского собрания будут признаны частями сутры Суварнапрабхаса. То, что до нас дошло множество рукописей, а также (в Берлинском собрании) и ксилографов сутры, следует объяснить тем, что этот текст сторонниками веры всюду воспринимался как своего рода общий компендиум буддийского учения. Относимы ли все известные или еще подлежащие распознаванию списки рукописей, а соответственно и ксилографов, к переводу Сынгку Сели Тутунга, об этом пока можно лишь строить предположения, однако это весьма вероятно.

Во второй главе (I книга) излагается жизненный путь будды Татхагата. Интересную главу составляет история, в которой брахман Каундинья выпрашивает у Будды реликвию (останки).

* В оригинале статьи: 'в турфанском'.

Принц Личчхави Сарвасаттаприядаршана отвечает брахману, что он, чтобы заслужить (ее), вначале должен выслушать сутру «Золотой блеск». На повторную просьбу о реликвии принц Личчхави отвечает брахману, что реликвия Будды будет представлена только в том случае, если произойдет что-либо невероятное. Каундинья узнает об этом и воздает хвалу Будде. Принц излагает в стихах — гатха, что это за невероятные события.[4]

Ленинградский список 1687 г. содержит в I книге часть, взятую из другого буддийского сочинения, которая изначально не относилась к сутре «Золотой блеск». Подготовители издания В. Радлов и С. Е. Малов в качестве второго приложения в ленинградское издание включили также фрагменты из одной неполной рукописи, относящейся к первой книге сутры «Золотой блеск», где мы обнаруживаем самую большую часть этого раздела: Suv 692_1—694_{17}. Начало этого раздела содержится в представленных здесь фрагментах из Берлинского собрания.

Ниже мы хотим весь раздел, насколько он сохранился, представить в транскрипции и переводе.

T III M 192 (U 3285)[5]

recto

(1) [sar] ïγ önglüg q̈ušγač-qy-a-l [ar ...
(2) [qar]a q̈arγa-lar tägšilip yomq̈ï ...
(3) q̈ltï ymä čambu atlγ sögüt ïγ[ač ...
(4) tal sögüt-nüng yimiši tuγmaq̈ï [bolsar ...
(5) azu ymä q̈ltï mirnu sögü[t ...
(6) ambar atl-γ yimiš ïγač ...
(7) bo muntaγ osuγluγ bolmaγuluq̈ tanglančïγ ...
(8) antaγ uγrï yïq̈ï bolup yomq̈ïn barča ...
(9) inčip yänä burxan-nïng tüz ät'öz ...
(10) näčäkätägi tiläsär näng idi bulγa[lï umaz]

verso: baštïnq̇ï ülüš toq̇uz q̇ïrq̇ ptṙ[6]:

(1) q̈ltï birök näčädä mụyüz baq̈a-nïng ...
(2) tụụ̈-lüg yumšaq böz toq̈ïp örklüg ...
(3) q̈ïšq̈ï tumlïγ öd-lärdä anï kädgäli bul[tuqsar]
(4) ančada timin tilägülük ol tngri tngrisi b[urxan šaririn][7]
(5) q̈ltï birök näčädä čïpïn-nïng [čïvan-nïng aṭaq[8]-qy-a-larï üzä]
(6) idiz q̈alïγ ïsïrq̈a iḍip bütü[rgäli bultuqsar]
(7) ol qalïγ-lar yrpï üzä ïrγ[almaγuluq boltuq-ta]
(8) ančada timin tilägülük ol tngri [tngrisi burxan šaririn]
(9) q̈[lt]ï birök suvdaq̈ï čaluk atlγ q̈ur[t-qy-anïng]
(10) [aγ]ïzï ičindä näčädä yụrüng ti[šläri törüsär]

Suv. 692

(12) -läri törüsär : ol tiš-läri uṣayu
(13) süngü učï täg boltuq-ta : ančata

(14) timin tilägülük ol tngri tngrisi
(15) burxan šarir-in : qltï [birök näčätä] tavïšγan
(16) baš-ïnta mṳyüz ünüp : ol mṳyüzüg
(17) qavšurup ṣatu iḍgäli bultuqup : ol
(18) ṣatu üzä yarmanïp tngri
(19) yir-ingä aγdïnγalï boltuq-ta anča-
(20) ta timin tilägülük ol tngri tngri-
(21) si burxan šarir-in : sïčγan-qy-a
(22) birökči bo ṣatu üzä aγdïnïp asuri-
(23) lar čärigin sïγalï buzγalï uγuluq

Suv. 693

(1) ärsär : aṣu ymä ay tngri-ning
(2) tilgän-in köšitgäli küč-i yitsär :
(3) ančata timin tilägülük ol tngri
(4) tngri-si burxan šaririn : qltï
(5) birök näčätä singäk[9]-käy-ä bor bä'gni
(6) ičip äsürüp : känt soṣaq sayu tüzü-
(7) tä käzä yapa tägṣinip : ärüš
(8) üküš äv barq itgäli usar ančata
(9) timin tilägülük ol : tngri tngrisi
(10) burxan šarir-in : aṣu ymä qltï
(11) birök äšgäk irinin näčätä bimba
(12) atlγ yimiš täg qïṣïl önglüg
(13) bulḍuqup käṭ uz oynayu yïrlayu
(14) bütigäli uduq-ta : ančata timin
(15) tilägülük ol : tngri tngri-si burxan
(16) šarir-in : qltï birök bo yirtinčü-tä
(17) qarγ-a-lï ügi-li ikägü : qayu öṭdä
(18) tüṣülüp bir uy-a-lïγ bolsar-
(19) lar anta munta učduq-ta yaγï-
(20) lašmadïn idärišdüktä : ančata timin
(21) tilägülük ol tngri tngrisi burxan
(22) šarir-in : qltï birök näčätä saγrï
(23) yapïrγaq-ï tigm-ä yapïrγaq ot
(24) üzä kušatri köligälik iḍip

Suv. 694

(1) yaratïp bütürgäli bolγu ärsär : ol
(2) köligälik üzä yänä uluγ yiil-ig
(3) yaγmur-uγ särgürgäli boltuq-ta ančata
(4) timin tilägülük ol : tngri tngrisi
(5) burxan šarir-in : qltï birök
(6) uluγ bäṭük king alqïγ kimi ičintä
(7) tälim üküš äd tavar ärdini-lär birlä
(8) tolu urup suv-suz quruγ yir-lärtä
(9) näčätä yorïγalï bultuq-sar ančata
(10) timin tilägülük ol tngri tngri-si

(11) burxan šarir-in : qltï birök näčätä
(12) sämirgük atlγ qušγač-qy-a-lar
(13) gantamadin atlγ uluγ taγ-ïγ tumšuq-
(14) ï üzä kötürüp : orun orun sayu
(15) ongay-qy-a iltü kötürü učduq-ta
(16) ančata timin tilägülük ol : tngri
(17) tngrisi burxan šaririn tip titi :: |

Перевод

1,36

[После того как он изложил это, принц сказал брахману следующие стихи — гатха]:

Если в быстротекущих водах реки Ганга вырастет белый лотос,[10] (1) (если) птички желтого цвета (примут белую окраску),[11] (2) если черные вороны изменятся (и станут) красными (3), если также дерево, называемое джамбу (Hend.)[12] [. . .] (4) принесет плоды ивы[13] [. . .] (5) или же если дерево мирну[14] [станет] плодовым деревом, называемым амбра,[15] (7) для таких (Hend.) невозможных, удивительных [вещей. . .], (8) если такое обстоятельство[16] могло бы случиться (Hend.), при всем том сколько бы раз ни просили об останках благородного тела Будды, ничего добиться невозможно. . .

(Оборотная сторона, 1) Если из [шерсти. . .] (2) черепахи соткут мягкую, как пух, хлопчатобумажную ткань[17] и с веревкой (?)[18] (3) и если в холодное зимнее время можно будет носить ее, (4) в этом случае тотчас следует просить об останках бога богов Будды.

(5) Если из лапок комара (Hend.)[19] можно построить многоэтажный дворец,[20] его этажи будут прочными и не будут шататься, в этом случае тотчас нужно просить об останках бога богов Будды.

(9—10) Если во рту у червя, живущего в воде, называемого джалука,[21] [вырастут] белые [зубы] (Suv. 692, 12) и эти зубы станут длинными, (13) как острие копья, в этом случае (14) следует тотчас просить об останках бога (15) богов Будды.

(15—21) Если на голове зайца вырастут рога и можно будет, соединив эти рога, установить канат и, взбираясь по этому канату, подняться в страну богов, в этом случае следует тотчас просить об останках бога богов Будды.

(21—Suv. 693, 4). Если маленькая крыса[22] заберется по этому канату и сможет разбить войска асура (Hend.), или если ее силы хватит на то, чтобы заслонить диск луны, в этом случае следует тотчас просить об останках бога богов Будды.

(4—10) Если муха выпьет вина (Hend.) и захмелеет и, странствуя по всем[23] городам и деревням будет в состоянии воздвигнуть большое число (Hend.) домов-дворов, в этом случае следует тотчас просить об останках бога богов Будды.

(10—16) Или же, если [появится] осел с таким алым цветом губ, как у плодов, называемых бимба, который, весьма искусно играя [на музыкальном инструменте] и исполняя песни, сможет танцевать, в этом случае следует тотчас просить об останках бога богов Будды.

(16—22) Если на этом свете ворона и сова вдвоем будут дружны между собой и [поселятся] в одном гнезде и будут летать туда и сюда, не враждуя, и следовать друг за другом,[24] в этом случае следует тотчас просить об останках бога богов Будды.

(22—Suv. 694,5) Если из лиственного растения, называемого кожаные листья (?),[25] можно будет соорудить дождевой зонт (Hend.)[26] и с помощью этого зонта защититься от сильного ветра и дождя, в этом случае тотчас следует просить об останках бога богов Будды. (5—11) Если на большом (Hend.), просторном (Hend.) корабле, наполненном большим количеством (Hend.) товара и драгоценностей, можно будет ехать по безводной, сухой земле, в этом случае тотчас следует просить об останках бога богов Будды.

(11—17) Если птички [. . .][27] большую гору, называемую Гандхамадана,[28] клювом поднимут и будут летать, легко перенося ее с места на место (Hend.), в этом случае тотчас следует просить об останках бога богов Будды.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Наиболее ясно выразил пожелание тюркологов K. Grønbech, когда писал в своей рецензии на A. v. G a b a i n. Türkische Turfantexte, VIII: «Пусть этот внушительный ряд TT (= Türkische Turfantexte) в скором времени будет продолжен, и, таким образом, нам, если выразить особенно горячее пожелание тюркологов, будет подарено долгожданное издание сутры «Золотой блеск». (Oriens, 9 [1956], 115).

[2] Уйгурским наборным шрифтом издана В. В. Радловым и С. Е. Маловым: Suvarṇaprabhāsa (Сутра Золотого блеска). Текст уйгурской редакции (Bibliotheca Buddhica 17). СПб, 1913—1917. Частично переведен на немецкий язык В. Радловым, изд. С. Е. Малов в Bibliotheca Buddhica, 27. Л., 1930. Ср. также: Д м и т р и е в а Л. В. Древнетюркские материалы (уйгурским письмом) в Институте востоковедения АН СССР. — В кн.: «Страны и народы Востока», VIII. М., 1969, с. 226.

[3] G a b a i n A. v. Die alttürkische Literatur. — In.: Philologiae Turcicae Fundamenta, II, 225.

[4] Обо всем сочинении в целом см. немецкий перевод китайского текста: N o b e l J. Suvarṇaprabhāsottama-sūtra. «Сутра золотого блеска». Санскритский текст Махаяна-буддизма. Китайская версия I. I-tsing'a, с переводом, предисловием и примечаниями. Leiden, 1958, S. 26—28.

[5] Фрагмент одного широкоформатного листа книги в форме потхи размером 23,5 (полная ширина, вероятно, равна 30)X 20 см. Диаметр потхи-окружности равен 4,3 см. Круг потхи и строки 1—2, 7—10 на оборотной стороне так же, как строки 4 (от слова burxan)—8 обведены (выписаны) красной тушью.

[6] Нумерация страниц выполнена мелким шрифтом. Буква q̇ имеет одну точку в противоположность двум точкам в тексте. Кроме того, исходный -r в ptr выглядит так, что, пожалуй, следует рассматривать это случайным.

[7] Дополнения в строках 4—10 по Suv. 692_{2-12}.

[8] В издании В. В. Радлова и С. Е. Малова: Suv. 692_4 atlγ.

[9] В издании: singär.

[10] Дополнения в [ ] даны по переводу Нобеля.

[11] Ср.: Нобель 26, прим. 4: = Золотой дрозд.

[12] čambu скр. jambu 'розовая яблоня (Eugenia Jambolana или иная разновидность)' (Monier-Williams M. A Sanskṛit-English Dictionary. Oxford, 1899, 412 б). Прекрасное описание «розовой яблони» можно найти у Г. Майстера в его описании путешествия 1692 г. Ср. также монг.: čambu modun — в кн.: Poppe N. The Twelve Deeds of Buddha. A Mongolian Version of the lalitavistara. Wiesbaden 1967, p. 99. По H. W. Bailey (Medicinal Plant Names in Uygur Turkish в: Fuad Köprülü Armağani. İstanbul 1953, 56 в Heilk. II 3_{134}), вместо čmlu следует читать č(a)mbu; но все же это место остается непроверенным.

[13] tal sögüt 'ива', ср.: Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford, 1972, p. 489; а также Дмитриева Л. В. Названия растений в тюркских и других алтайских языках. — В кн.: «Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков». Л., 1972, с. 188, 205.

[14] Под mirnu (слово выписано весьма отчетливо) скрывается обозначение для финиковой пальмы или чего-либо подобного. В китайском тексте стоит 渴樹羅 = скр. kharjūra (406 В 3 в приложении Нобеля), ср. скр. kharjūra «. . .дикая финиковая пальма. . .» (Monier-Williams, 337с).

[15] ambar «амбра», имеется в виду амбровое (или Amber) дерево (= Liquidambar); относится к семейству растений Hamamelis и из его коры добывается Styrax. По поводу этого слова ср.: «ср.-перс. ambar ['mbl,'nbl/ар. 'anbar] серая амбра (Mackenzie D. N. A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1971, p. 8, а также: Moattar F. Ismā'il Čorğānī und seine Bedeutung für die iranische Heilkunde insbesondere Pharmazie. Marburg/Lahn 1971, Nr. 127, 291—292), возможно также из скр. ambara «. . .ароматическое вещество (Амбра). . .» (Monier-Williams 83 b). В современных тюркских языках, в том числе в ново-уйгурском (Хотан) ambar 'амбра, духи' (Малов С. Е. Уйгурские наречия Синь-цзяна. М., 1961, с. 94). В китайском тексте в этом месте стоит «Mango» (=скр. āmrā), ср. Nobel, 27 (кит. 406 В 3).

[16] По поводу yïq 'случай, возможность' ср.: Tezcan S. Das uigurische Insadi-Sūtra, Berliner Turfantexte III. Berlin, 1974, прим. 143.

[17] Ср. Kāšγarī: är böz toqïdï 'мужчина ткал хлопчатобумажную ткань' (Clauson, 467); Hamilton J. R. Le conte bouddhique du Bon et du Mauvais Prince en version ouïgoure. Paris, 1972, p. 132.

[18] örklüg?, возможно örk 'веревка' (для пасущегося животного) (Clauson 221); здесь используется в более широком значении.

[19] čïpïn 'комар', ср. Clauson 838 (под [словом] siŋek), DTC 145 содержит čibin по Suv. 660_{13} čibin-käy-ä и 147 čïbun по отрывку из Qutadγu Bilig. По G. Doerfer'у (Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, т. III, № 1066), в качестве древнейшей формы должна быть принята čïpun. Но так как более древняя форма здесь представлена в виде čïpïn (cipin?), можно склоняться к тому, чтобы представленную в QB форму čïpun принять в качестве вторичной (лабиализованной). Вторая составная часть здесь представленного словосочетания čïvan (čivän?), вероятно, является вариантом только что рассмотренного слова. В современных языках такие пары обозначают видовое [явление], ср.: Branos H. W. Studien zum Wortbestand der Türksprachen. Leiden, 1973, S. 24. «Тип 'муха' + другая разновидность мухи, комар, слепень и т. д. = '(летающие) насекомые' каз., к.-калп. šïbïń-širkey, кирг. šïmïn-čirkey, тув. ïmïraa-seek, чув. śăna-păvăn».

[20] ïsïrqa (дворец), у Клосона и в ДТС отсутствует, ср., однако: Gabain A. v. Maitrisimit II. Berlin, 1961, прил., 83, стк. 5 сн.

[21] čaluk (ср. ДТС 144 čälük) 'пиявка' < скр. jalukā 'пиявка' (Monier-Williams 416a), ср. также: Moattar F. Ismā'il Ğorğānī. . ., № 124, [p. 289].

[22] sïčγan может обозначать как 'мышь', так и 'крысу', ср. Clauson 796.
[23] yapa 'весь, целиком, повсюду', ср. BTT III 276.
[24] idäriš- реципрокальная форма от idär- 'преследовать' (Clauson, 67). Здесь имеет место намек на традиционную непреодолимую вражду между воронами и совами, ср. Pañcatantra 3. Книга «Война ворон с совами».
[25] saγrï 'кожа, шкура' (ср. Clauson, 815); здесь в переносном значении, по-видимому, служит обозначением какого-либо вида дерева с крупными листьями. По ДТС saγrï II является обозначением какого-то растения. В китайском тексте в этом месте стоит «[скр. >] дерево palāśa» (Butea frondosa), ср. Nobel, 27.
[26] Относительно kušatri, происхождение которого неизвестно, ср. G. Kara, P. Zieme, BTT VIII (в печати), прим. A 458. По A. v. Gabain (Alttürkische Grammatik. изд. 3-е. Wiesbaden, 1974, S. 346): küžätri < скр. kṣattra 'балдахин, тент [для] почитаемых [лиц]' неясным остается *-u-(-ü-)* первого слога.
[27] sämirgük,* возможно, заимствованное слово, но откуда? Clauson (830) приводит simürgük по Qutadγu Bilig и Kāšγarī и считает его отглагольным именем от simür- (Clauson., 829—830). ДТС наряду с этими формами цитирует приводимую здесь sämirgük и дает в качестве перевода: «Название мифической птицы, Семург». Можно ли на самом деле представить новоперсидское sīmurγ + тюркский уменьшительный суффикс (+ük); ср.: A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik, § 57? Это весьма маловероятно, так как, помимо фонетических трудностей, на пути стоят также соображения семантические, потому что мифическая птица sīmurγ связывается в представлении с грифом, коршуном, как указано выше, то есть с большими птицами, в то время как sämirgük, напротив, обозначает маленькую птицу, наподобие соловья. Правда, по вышеизложенному пояснению, появление уменьшительного суффикса эту трудность, по крайней мере частично, устранило бы. Что касается фонетической стороны, то следует указать на палатальную форму — mürg (соотв. -mirg-); в парс. mwrg 'птица' (среди прочих Sundermann W. Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer, BTT IV, Berlin, 1973, Z. 1150). Дальнейшие (другие) доказательства в тюркских языках не найдены.
[28] gantamadin < скр. gandhamādana 'Название горы (образующей границу между Ilāvṛita и Bhadrâśva, к западу от Meru, известной своими благоухающими лесами)' (Monier-Williams 345b); ср. также ДТС, 194.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

BTT	— Berliner Turfantexte.
Clauson (Клосон)	— Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford, 1972.
M. Monier Williams	— M. Monier-Williams. A Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1899.
Nobel (Нобель)	— J. Nobel, Suvarṇaprabhāsottama-sūtra. Das Goldglanz-Sutra. Ein Sanskrittext des Mahāyāna-Buddhismus. I. I-tsing's chinesische Version, übersetzt, eingeleitet, erläutert. Leiden, 1958.

Перевод с немецкого Л. Ю. Тугушевой

* Автор статьи это слово переводит «Schneidervogel». (Прим. переводчика).

S. Kakuk

W. RADLOFF'S BRIEFE AN UNGARISCHE GELEHRTE

Die ungarische Orientalistik entwickelte sich aus den dem Ursprung und der Urgeschichte des ungarischen Volkes und der ungarischen Sprache gewidmeten Forschungen. Das Studium unserer finnisch-ugrischen Sprachverwandten und unserer türkischen Beziehungen im Laufe der frühen Geschichte der Ungarn erforderten eine Zusammenarbeit mit den russichen Orientalisten. Diese Zusammenarbeit war besonders eng in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo es galt die grundlegenden Fragen des Ursprunges der ungarischen Sprache, seines finnischugrischen bzw. türkischen Charakters zu klären und seine frühesten geschichtlichen Beziehungen aufzudecken. Das war die Epoche, in welcher sich die ungarische Sprachwissenschaft entwickelt hat und in der sich auch die internationale Turkologie entfaltete.

In diesen, an Entdeckungen reichen Jahren brachten die hervorragendsten russischen und ungarischen Sprachforscher einander verständlicherweise ein grosses Interesse entgegen. Ein sprechender Beweis für dieses wechselseitige Interesse sind die in der Handschriftsammlung der ungarischen Akademie der Wissenschaften aufbewahrten nahezu 800 Briefe, welche von russischen Gelehrten an ungarische Sprachforscher geschrieben wurden.[1]

In den Folgenden möchte ich mich mit jenen Briefen beschäftigen welche W. Radloff, der hervorragende Turkologe des XIX. Jahrhunderts an ungarische Sprachforscher geschrieben hat.

In der Handschriftsammlung der Akademie befinden sich 19 Briefe von Radloff, von denen 11 an József Budenz, 2 an Armin Vámbéry, 5 an Bernát Munkácsi und 1 an Ede Mahler gerichtet sind. Der erste wurde am 5. Juli 1884 in Kazan, der letzte am 20. Februar 1904 in Petersburg geschrieben. Sie fallen in jene ereignisvolle Periode von Radloffs Leben, in welcher er von Kazan nach Petersburg übersiedelte, wo er dann eine überaus reiche wissenschaftliche und organisatorische Tätigkeit entfaltete. Damals erschienen nacheinander seine bedeutendsten Werke, und zwar «Aus Sibirien», die Bande V—VIII und X. der «Proben», «Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus», der I. und II. Band

seines grossen Wörterbuches, der «Kutadgu Bilig», der «Atlas», sowie «Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei». Die Briefe — insbesonders die an J. Budenz gerichteten — geben uns einen Einblick in die Fachgeheimnisse, in die gemeinschaftlichen und persönlichen Sorgen des grossen Gelehrten.

Bevor wir uns den Briefen widmen, scheint es angebracht einiges über jene ungarischen Wissenschaftler zu sagen, an welche die Briefe gerichtet sind, um Radloffs Beziehungen zu ihnen auch von dieser Seite zu beleuchten.

József Budenz (1836—1892), einer der besten Sprachforscher seiner Zeit war die leitende Persönlichkeit der damaligen ungarischen Sprachwissenschaft.

In dem Kampf um die Frage des finnisch-ugrischen bzw. türkischen Ursprungs der ungarischen Sprache, in welchem lange Jahre hindurch unnötig viel Energie aufgezehrt wurde, war Budenz der grosse Gegner von A. Vámbéry und es gelang ihm auch die finnisch-ugrische Theorie zu einem endgültigen Sieg zu verhelfen. In seiner eingehenden Kritik von Vámbérys ungarischen und türkisch-tatarischen Wortvergleichungen (1871), stellte Budenz die Beziehungen der ungarischen und türkischen Sprache klar; der Existenz einer ural-altaischen Grundsprache darf wohl angenommen werden, von einer eigentlichen türkisch-ungarischen Verwandtschaft kann jedoch nicht die Rede sein. Die türkischen Elemente des ungarischen Sprachbestandes sind Entlehnungen, und die älteste Schicht dieser Entlehnungen stammt aus dem Alttschuwaschischen.

Die Tätigkeit von Budenz bezog sich in erster Linie auf die Erforschung der ugrischen Sprachen. Seine beiden bedeutendsten Werke sind das Magyar-Ugor Szótár (=Ungarisch-Ugrisches Wörterbuch) (1873—1881) und Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana (=Vergleichende Morphologie der ugrischen Sprachen) (1884—1894). Nicht weniger bedeutend sind einige in der Zeitschrift «Nyelvtudományi Közlemények» erschienenen Arbeiten, welche zu der Entwicklung der altaischen Studien in Ungarn wesentlich beigetragen haben. Budenz bearbeitete die von Reguly gesammelten tschuwaschischen Materialien, gab die von ihm mitgebrachten tschuwaschischen Werke und usbekische Materialien aus Chiva, sowie jakutische Materialien heraus, stellte auf Grund der Grammatiken von Schmidt und Kovalevskij, eine kurze Grammatik der mongolischen und der mandschurischen Sprache zusammen. In seiner schon erwähnten Arbeit über Vámbérys ungarisch-türkischen Wortvergleichungen erwies er sich als ein guter Kenner der türkichen Phonetik und des türkischen Wortschatzes. Obwohl sein Hauptgebiet die ugrischen Sprachen waren, war er auch in der Altaistik und in der Turkologie bewandert. Ausser der Ähnlichkeit ihrer hervorragenden menschlichen Eigenschaften, fühlten sich Budenz und Radloff auch durch die Verwandtschaft ihrer Interessekreise und ihrer Kentnisse aufs innigste verbunden.

Was den in Budapest aufbewahrten Radloff-Briefen einen besonderen Wert gibt, ist, dass wir in ihnen die wissenschaftliche Tätigkeit und zahlreiche wichtige Momente des Lebens ihres Verfassers zwischen 1884 und 1890 kennen lernen können.

Das Verhältnis zwischen Radloff und A. Vámbéry war bei weitem nicht so ungestört. Der wissenschaftliche Weg der beiden Gelehrten kreuzte sich des öfteren, und in mehreren grundlegenden Fragen waren sie verschiedener Meinung.

Ármin Vámbéry (1831—1913) spielte in der ungarischen und internationalen Turkologie eine bedeutende Rolle, seine wichtigsten Werke sind allgemein bekannt. Trotz des bahnbrechenden Charakters seiner Tätigkeit stand er, als Sprachforcher, nicht auf dem Niveau seiner grossen Zeitgenossen. Das fühlte und wusste auch Radloff, der gerade mit Budenz, dem Gegner von Vámbéry, freundschaftliche Beziehungen pflegte. In den an Budenz geschriebenen Briefen spricht er öfters von Vámbéry, stellt ihn jedoch nicht immer in ein günstiges Licht.

Trotz allem wusste Radloff die Kenntnisse von Vámbéry zu schatzen, was schon daraus hervorgeht, dass er in seinem «Versuch» dessen «Čagataische Sprachstudien» verwendet und sich in seinem Vorwort auf die Hilfe von Vámbéry beruft.

Radloff und Vámbéry kannten sich persönlich, vermutlich standen sie auch im Briefwechsel. Leider befinden sich in Budapest nur zwei Briefe von Radloff an Vámbéry. Der eine trägt weder Ort noch Datum, aber auf Grund seines Inhalts kann festgestellt werden, dass er 1884 in Wien verfasst wurde. Den anderen Brief in welchem er Vámbéry über die baldige Erscheinung des ersten Bandes seines Wörterbuches berichtet, schrieb Radloff 1888 in Petersburg.

Bernát Munkácsi, einem ehemaligen Schüler von Budenz, brachte Radloff genauso freundschaftliche Gefühle entgegen wie Budenz.

B. Munkácsi (1860—1937) war 25 Jahre alt, als er seine erste Reise nach Russland antrat um dort unsere finnisch-ugrischen Sprachverwandten aufzufinden. In 1885 weilte er bei den Wotjaken, in 1888 bei den Wogulen. Besonders bei seiner zweiten Reise fand er eine bedeutende Unterstützung seitens V. Rosen, Tolstoi, Baudouin de Courtenay und vor allem Radloff, der ihm Empfehlungsbriefe mitgab. Seine Beziehungen zu den von ihm hochgeschätzten russischen Gelehrten hielt Munkácsi während seines langen Lebens aufrecht. Dies bezeugen die etwa 250 Briefe, die er von seinen russischen Freunden erhielt.

Munkácsis wichtigstes Arbeitsfeld war die Finno-ugristik und die Ossetologie, aber er betätigte sich auch erfolgreich auf dem Gebiet der türkischen Linguistik, Ethnographie und Ethnogenesis. Er bereicherte unser Wissen über die türkisch-ungarischen sprachlichen Kontakte, indem er zahlreiche neue Etymologien von Lehnwörtern entdeckte, und hat den Verdienst die Aufmerksamkeit auf die Bulgar-türken und das kaukasische Gebiet gelenkt zu haben.

B. Munkácsi zusammen mit I. Kúnos war Redakteur der zum erstenmal in 1900 erscheinenden ungarischen orientalischen Zeitschrift «Keleti Szemle», welche bis zum Jahre 1922 eines der wichtigsten Organe der ungarischen Orientalistik war. Seine organisatorischen Fähigkeiten kamen auch auf einem anderen Gebiet zur Geltung: Munkácsi gründete und leitete das Ungarische Komité der «Internationalen Gesellschaft für Mittel- und Ostasien», welche ausgezeichnete Kontakte mit dem Russischen Komité der «Gesellschaft» aufrechterhielt. Dank der Zusammenarbeit der beiden Komités konnten in den folgenden Jahren zahlreiche ungarische Wissenschaftler Studienreisen in Russland unternehmen, wiez. B. W. Pröhle im Bezirk von Ufa und im Kaukas, J. Mészáros beiz. den Tschuwaschen, J. Németh bei den Kumüken und den Balkaren.

In seinen an Munkácsi geschriebenen Briefen beschäftigt sich Radloff mit dessen Studienreise nach Russland und der geplanten russischen Ausgabe von Munkácsis volkssprachlicher Sammlung, sowie, in einem Brief aus 1904, mit der Gründung des «Ungarischen Komités».

Der letzte vom. 2. Februar 1904 datierte Brief von Radloff ist an Ede Mahler adressiert. E d e M a h l e r (1857—1945) beschäftigte sich einige Zeit mit Astronomie und der Geschichte des Kalenders, um sich später dem Studium der Geschichte der Völker des Ostens zu widmen. Seine Bekanntschaft mit Radloff stammt aus dem «Ungarischen Komité», in welchem er eine bedeutende Rolle spielte.

Aus seinen an die ungarischen Gelehrten gerichteten Briefen lassen sich einige wichtige Momente des Lebens und der Tätigkeit von Radloff rekonstruieren.

Die ersten zwei Briefe schrieb Radloff an Budenz und zwar am 5. Juli und am 30. August 1884 aus Kazan. Die zeitlich verhältnismässig nahe beieinander liegenden Briefe befassen sich natürlicherweise mit denselben Fragen. Zu dieser Zeit arbeitete Radloff am zweiten Teil seiner «Vergleichenden Grammatik der nördlichen Türksprachen», nämlich an der Morphologie, am sprachlichen Material des Codex Cumanicus (sein diesbezüglicher Artikel erschien in 1884) und der Faksimile-Ausgabe des «Kudatku Bilik» (sie sollte erst in 1890 erscheinen). Im zweiten Brief schreibt er ausserdem ausführlich über seine tschuwaschischen Sprachstudien, und erwähnt hierbei, wie wichtig es wäre die alttürkischen Elemente der ungarischen Sprache systematisch zu bearbeiten. Er führt einige phonetische Probleme, an welche im Laufe dieser Bearbeitung geklärt werden müssten. Diese Frage kommt im fünften Brief noch einmal zur Sprache, wo Radloff, hauptsächlich auf die Bitte von A. A. Kunik, eine Liste der türkischen Lehnwörter von Budenz verlangt.

Die nächsten drei Briefe wurden im Dezember 1884 in Wien geschrieben. Radloff war im Oktober nach Wien gefahren um dort die zur Faksimile-Ausgabedes Kutadgu-Bilig notwendigen Arbeiten

in die Wege zu leiten. Während seines Wiener Aufenthaltes wurde er in Petersburg zum ordentlichen Mitglied der Wissenschaftlichen Akademie erwählt. Die Wahl war entscheidend positiv, aber doch nicht ungestört. In der Novembernummer des ŽMNP erschien aus der Feder von V. D. Smirnov eine strenge Kritik der «Phonetik der nördlichen Türksprachen». Über diese Kritik berichtet Radloff in seinem vierten an Budenz geschriebenen Brief, und erzählt nebenbei auch über seine Bekanntschaft mit Fr. Miklosich und Fr. Müller.

Ein kurzer undatierter Brief an Vámbéry dürfte auch aus der Zeit seines Wiener Aufenthaltes stammen. Er dankt Vámbéry für die Einladung nach Budapest, der er leider nicht genüge leisten kann. Er berichtet, dass die Vorbereitung der Faksimile—Ausgabe des Kutadgu Bilig ziemlich gut voranschreite, und verspricht Vámbéry ihm unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Petersburg die Korrekturbögen des fünften Bandes der «Proben», eines karakirgisischen Epos zuzuschicken. (Das Werk erschien in 1885).

Aus 1885 sind zwei an Budenz gerichteten Briefe erhalten geblieben, beide aus Petersburg. Im ersten (27. April) dankt er Budenz für die Zusammenstellung über die türkischen Elemente der ungarischen Sprache, und entwickelt seine Ansichten über die tschuwaschische Sprache: das Tschuwaschische ist demnach ursprüngliche in ugrisches Idiom, welches sich in zwei Phasen (VII.—VIII. Jh. und XIII. Jh.) turkisierte. Eine dem Tschuwaschischen ähnliche isolierte Sprache ist das Jakutische. Im zweiten Brief (26. November) teilt Radloff seinem Kollegen mit, dass er sich derzeit mit der Einleitung des Kutadgu Bilig beschäftige, und darin alles zusammenzufassen gedenke, was man über die Uiguren überhaupt wissen kann. Er überblickt die Geschichte der alten Türkvölker und kommt so, im Zusammenhang mit den Hunnen, Avaren und Onoguren, auf den Namen U n g a r zu sprechen, über welchen er die Meinung von Budenz hören möchte.

Die nächsten Briefe (4 an Budenz, 1 an Vámbéry und eine Wisitenkarte an Munkácsi) stammen aus 1888 und 1890. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht in dieser Zeit sein grosses Wörterbuch (in seinen Briefen nennt er es «Lexicon»), dessen erste Bände er im Begriff ist zu veröffentlichen (Erscheinungsjahr vyp. 1, 1888, vyp. 2, 3. 1889, vyp. 4. 1890). Wie aus den Briefen hervorgeht, schickte er Budenz und Vámbéry regelmässig alle Korrekturbögen.

In seinem am 22. Juni 1888 in Sillamäggi geschriebenen Brief gedenkt er mit warmen Worten seiner Wahl zum Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften:

«Die Wahl zum auswärtigen Mitglied der Ungarischen Akademie, die mir der Herr Präsident schon vor meiner Abreise nach Sillamäggi mitgetheilt hat, hat mich herzlich erfreut, besonders da ich weiss, dass Sie es gewesen, der mich vorgeschlagen, und Ihre Anerkennung meines Strebens der Wissenschaft zu nützen, mich

mit Stolz erfüllt. Ich werde mich bemühen mich dieser Anerkennung würdig zu beweisen».

In demselben Brief bittet er Budenz I. Kúnos eine Korrektur seiner «Osmanischen Texte» zukommen zu lassen. Der Text von Kúnos werde im VIII. Band der «Proben» erscheinen, und es wäre gut, wenn Kúnos noch weitere Materialien schicken könnte. (Dieser VIII. Band erschien 1899).

Aus 1888 stammt auch der zweite an Vámbéry gerichtete Brief, in dem er ihn über das Erscheinen des ersten Heftes und die Sendung der Korrekturbögen des «Lexicon» unterrichtet. Wenn es Vámbéry nicht zur Last fällt — lesen wir da — werde er ihm auch die weiteren Korrekturen zuschicken. Er selbst sei nach wie vor sehr unzufrieden mit der alphabetischen Reihenfolge des «Lexicon»'s, die ihm von Schiefner aufgedrungen worden war.

Im selben Jahr, also 1888, schickte Radloff jene Visitenkarte nach Ungarn, auf dessen Rückseite folgender Satz steht: «Kommen Sie bitte gleich zu uns, ich habe schon Ihre Papiere erhalten. Herr Dr. B. Munkácsi und Pápai». Wie bekannt, fuhren Munkácsi und Pápai tatsächlich in diesem Jahr nach Russland und unternahmen eine Studienreise zu den Vogulen. Auf das von Munkácsi gesammelte sprachliche Material finden wir zahlreiche Hinweise in den späteren Briefen.

In dem am 29. September 1890 aus Petersburg geschickten Brief, der zugleich der letzte bei uns aufbewahrte Radloff-Brief an Budenz ist, teilt er ihm mit grosser Freude mit, dass die Faksimile-Ausgabe des Kutadgu Bilig endlich erschienen ist und hoffentlich auch die Textausgabe in Bälde herauskommen wird (sie erschien in 1891). Daselbst wird auch die Studienreise von I. Kúnos nach Konstantinopel erwähnt, zu welcher die Russische Akademie dem Gelehrten eine Unterstützung von 400 Rubel bewilligt hatte.

Aus 1894 stammen zwei Briefe an Munkácsi, beide über die Petersburger Ausgabe der von Munkácsi gesammelten vogulischen Volkdichtung und seines vogulisch-deutsch-ungarischen Wörterbuches gewidmet. Nachdem der Plan der Veröffentlichung von der Akademie angenommen wurde, bittet Radloff Munkácsi ihm das Manuskript so bald wie möglich zuzuschicken, damit die notwendigen Verfügungen getroffen werden können. Ein Honorar wird man dem Verfasser zwar nicht zahlen können, dagegen erhält er 50 bis 100 Freiexemplare, und er wird auch auf eine andere Weise unterstützt werden, so wie z. B. auch Kúnos Hilfe zu seiner Studienreise nach Konstantinopel bekommen hatte.

Die nächsten Briefe sind 9—10 Jahre später in 1902 bzw. 1904 entstanden.

Jener vom 15. Januar 1903 wurde aus Petersburg an Munkácsi geschrieben und befasst sich mit Fragen der türkischen Phonetik. Auf die Bitte von Munkácsi erörtert Radloff das anlautende *h* in den türkischen Sprachen. Im zweiten Teil des Briefes beschäftigt er sich mit einem Artikel von Thomsen (KSz II S. 241—259), in

welchem dieser Radloffs Lesungen in der Ausgabe des Kutadgu Bilig, und besonders die Bestimmung der stimmhaften bzw. stimmlosen Konsonanten kritisiert.

In den aus 1904 stammenden Briefen (einer an Munkácsi, ein anderer an Mahler adressiert) handelt es sich um die Gründung, die Aufgaben und die Organisation des in 1904 in Leben gerufenen «Ungarische Komité»'s der «Internationalen Gesellschaft für Zentral- und Ostasien», dessen Sekretär Munkácsi geworden war. Ihn unterrichtet Radloff in seinem am. 8. Januar geschriebenen Brief über die Aufgaben des Ungarischen Komités. Er bittet Munkácsi ihm die Namenliste der Mitglieder und die Arbeitspläne des Komités zukommen zu lassen, und informiert ihn gleichzeitig darüber, dass mit der Gründung des Ungarischen Komités alle früheren diesbezüglichen Aufträge sich nun erübrigen. Ede Mahler wird, als Mitglied des Komités, in einem vom. 2. Februar datierten Brief im wesentlichen von denselben Dingen informiert.

Unter den an Munkácsi adressierten Briefen befindet sich ein in Briefform zusammengefalteter Bogen, auf dessen erster Seite die Aufmerksamkeit der Verehrer von Radloff auf dessen nahen 75. Geburtstag gelenkt wird. Der russische Wortlaut ist der Folgende:

«5-го января 1912 г. исполнится 75 лѣтъ со дня рожденія академика Василія Васильевича Радлова. Ученики и почитатели маститого ученого считаютъ долгомъ довести объ этом до свѣдѣнія лицъ и учрежденій, которые пожелали бы въ этотъ день привѣтствовать его въ той или другой формѣ. Никакого офиціального чествованія не предполагается».

Diese wenigen Radloff-Briefe bestätigen überzeugend die bedeutende Rolle, die Radloff in der internationalen Orientalistik spielte, sie dokumentieren die befruchtende Wirkung seiner menschlichen Persönlichkeit, seiner wissenschaftlichen und organisatorischen Tätigkeit auf ungarische Sprachwissenschaft und die ungarische Turkologie.

FUßNOTEN

[1] Über die russischen Beziehungen der ungarischen Orientalistik veröffentlichte L. Rásonyi in 1962 eine, viel wichtiges Material enthaltende Skizze: Russian Connections of Hungarian Oriental Studies. Budapest, 1962.

1. BEILAGE. RADLOFF'S BRIEF AN BUDENZ

Wien den 3[ten] Dez 1884

Hochgeehrter Herr!

Sie verzeihen gütigst, wenn ich Ihren letzten Brief unbeantwortet gelassen, ich bin aber jetzt schon bald zwei Monat unterwegs und heimathlos. Ich will daher auch heute die Beantwortung des mir

über Ihre Meinung von den Textvarianten mitgetheilten noch verschieben und nur ein kurzes Lebenszeichen geben und persönliche Midtheilungen [sic] machen. Seit einem Monat bin ich in Wien und besorge das Facsimile des «Kudatku Bilik», das jetzt rüstig fortschreitet. Dasselbe wird auf Photolithographischem Wege hergestellt und es vortrefflich ausgeführt, dass so besser zu lesen sein wird als das Original selbst. Ich lege Ihnen hier eine kleines [sic] Probe [früher «Specimen»] bei, die Ihnen einerseits beweist, dass das Buch gar nicht so unleserlich geschrieben ist, wie Vámbéry angibt und wie man nach der von ihm wiedergegeben Seite meinen sollte. Es scheint fast als habe er diese Seite ausgewählt um seinen Ruhm zu erhöhen; andererseits kann ihnen die Druckprobe auch eine Idee von der von mir besorgten Ausgabe geben. Die Schwierigkeit im Lesen besteht gar nicht in der Unleserlichkeit sondern darin, dass der Abschreiber (im 15 Jahrhundert) offenbar nicht mehr Uigurisch verstand und daher sich beim Abschreiben oft geirrt hat, so nimmt [?] er offenbar fehlerhaft das Zodiakbild der Jungfrai tokti bašy statt bugdai bašy [Weizenähre] wie im Rabgusi angegeben u. s. w. Ich habe mich jetzt schon so gut eingelesen, dass mir selten Schwierigkeiten beim Lesen aufstossen.

Was meine Person betrifft, so werde ich von hier nicht mehr nach Kasan zurückkehren, sondern von jetzt ab in Petersburg leben, da ich am $\frac{7}{19}$ Nov. zum ordentlichen Mitgliede der Akademie der Wissenschaften gewählt worden bin. Die Wahl war in der Klasse einstimmig und in der allgemeinen Sitzung mit 24 gegen 3 Stimmen. Es ist also seit Jahren das erste Wahl wo der Parteiruf: hier Russisch, hier Deutsch! nicht aufs Panzer geschrieben. Es ist zwar auch nicht ohne Intriguen abgegangen. So hat der Docent des Osmanischen bei der Petersburger Universität Smirnoff in Auftrage einer gewissen Sippe im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung eine niederträchtige Kritik meiner Phonetik erscheinen lassen. In der er von Anfang bis Ende immer meine Person angreift um meine Autorität zu unterminiren. Gott sei Dank hat das Wahlmanoeuvre vollkommen Fiasco gemacht.

In Wien lebe ich wie ein Einsiedler. Ich habe bis jetzt von hiesigen Gelehrten nur Bekanntschaft von Miklosich und Fr. Müller gemacht, die beide zu alt sind, um mit ihnen in einen näheren Verkehr zu treten. Ich sitze daher meist zu Hause und arbeite und gehe einige Male in der Woche mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern, die ich mit mir genommen habe, ins Theater. Na es ist so auch besser, so kann ich mich ganz meiner Arbeit widmen.

Sie wollten die Freundlichkeit haben und mir einzelne Hefte zusenden. Dies würde jetzt am Besten unter der Adresse der Akademie nach Petersburg geschehen. Besonders würde ich mich freuen, wenn ich das Erste Heft Ihres Ugrischen Wörterbuches erhalten könnte, da ich nur das Schlussheft besitze.

Hat Herr Vámbéry schon Etwas über meine Angriffe verlauten lassen?

Doch ich will für heute schliessen. Ich bleibe hier in Wien etwa bis zum 31. Dezember, und werde bis dahin meine Wohnung beibehalten.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ganz ergebenster
Radloff

z. Z. Wien VII
Burggasse 45

2. BEILAGE. RADLOFFS BRIEF AN VÁMBÉRY

Petersburg den $\frac{5^{ten}}{14}$ Feb 88

Hochgeehrter Herr!

Durch meine Freunde veranlasst, habe ich mich mit Widerstreben endlich an die Veröffentlichung meines Lexicons gemacht. Ich nenne es nur einen «Versuch eines Wörterbuchs der Türksprachen» und möchte dadurch bezeugen, dass das Wörterbuch durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen will, sondern nur alles das bieten will, was ich im Laufe der Jahre gesammelt habe und was ich sonst in Lexicons aufgezeichnet finde. Da ich nun mögliche Correctheit und Vollständigkeit erstreben möchte, so sende ich an mehrere Gelehrte Correcturbogen, damit sie auf denselben in ihren Sammlungen vorkommenes [sic] Sprachmaterial hinzufügen möchten oder auch auf Ungenauigkeit oder Fehler aufmerksam machen. Es wäre mir lieb, wenn Sie, hochgeehrter Herr, mit Ihren Kenntnissen meine Arbeit unterstützen würden. Ich erlaube mir daher Ihnen die ersten Correcturbogen zu zusenden, und Sie zu bitten, auf denselben etwaige Bemerkungen oder Nachträge einzutragen. Beleg-Stellen aus osttürkischen Schriftsteller könnten in arabischen Schrift eingefügt werden sonst könnten Sie sich der von Ihnen angenommenen Transcription bedienen. Ich würde natürlich jeden von Ihnen gemachten Zusatz dank Beifügung von [Vámb] bezeichnen und ausserdem in der Einleitung Ihrer Mitwirkung gebührend Erwähnung thun. Falls Sie einwilligen, meine Arbeit durch Ihre Mithülfe zu fördern, so würde ich Ihnen die Correcturbogen regelmässig zusenden. Hoffentlich schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab und benachrichtigen mich über Ihre Entschliessung. Sollten Sie einwilligen, so bitte ich ergebenst die Correcturen möglichst schnell zurück zusenden, damit ich Ihre Bemerkungen bei der nächsten Correctur benutzen kann. Wie Sie sehen, habe ich alle Wörter streng alphabetisch geordnet. Die Anordnung meines Alphabets gefällt mir nicht sonderlich, sie ist mir vot jahorn von Schiefner oktroyirt worden, als ich den ersten Versuch dieses Lexicons vor 20 Jahren der Akademie vorstellte.

1) Vocalen a, ä, e, o, ö, ы i, y, ӱ, ө, ӧ.

2) Consonanten k, к, h, ҕ, т, ӈ, j, ʝ, J, н, р, л, l, т, д, ч, ҵ, ц, ʒ, с, з, ш, ж, п, б, ф, в, w, м.

In der Hoffnung, dass Sie im Interesse der Wissenschaft, die wir alle dienen, meine Bitte nicht abschlagen, verbleibe ich mit collegialischem Grusse

Ihr ergebenster
W. Radloff

Petersburg. Wasil. Ostrovs. 7 Linie H. 2
Gebäude der Akademie der
Wisenschaften.

3. BEILAGE. RADLOFFS BRIEF AN MUNKÁCSI

St. Petersburg den $\frac{\text{26 Dez 1903}}{\text{8 Jan 1904}}$

Hochgeehrter Herr!

Zu meiner Freude habe ich ersehen [!], dass sich jetzt auch ein Ungarisches Komité der «Association Internationale etc.» konstituirt hat. Da das Status der Association (Bulletin № 1 pag 3) bestimmt, dass die nationalen Komité's vollständig selbstständige Körperschaften bilden, kann sich das Centralkomité nicht in die Programme der nationalen Komité's einmischen. Ihre Programme stimmt in den Absätzen a, b, c vollkommen mit den Statuten der Association überein, und kann somit als Glied der Association fungieren. Auch unser Russisches Komité kann sich nicht streng an die geographische Begrenzung des Centralasiatischen Gebietes halten, dies beweist der Umstand, dass wir im vorigen Jahre ein Reisestipendium zur Erforschung des Nogai-Dialektes der Krym bewilligt haben.

Ich ersuche Sie deshalb mir sobald als möglich die Mitglieder Liste des Ungarischen Komités nachzuschicken, damit ich die Veröffentlichung derselben zugleich auch die Anzeige von den Programmen in Bulletin № 3 veranlassen kann. Ich werde von jetzt ab alle die Association betreffenden Schriftstücke an Ihre Adresse absenden und bitte Sie das Centralkomité über die Thätigkeit des Ungarischen Komités auf dem Laufenden zu erhalten.

Was Ihre Bemerkung über Herrn A. Herrmann betrifft, so erlaube ich mir Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Herr A. Herrmann auf dem XIII. Kongresse in Hamburg in Gemeinschaft mit Herrn Vámbéry zum Vertreter Ungarns designirt worden ist, und

dann derselbe in dieser Eigenschaft volkommen berechtigt war, mit den Centralkomité in Verbindung zu treten. Nach Konstituirung des Ungarischen Komités hört laut IV des Statuts der Association die Thätigkeit dieser Vertreter auf und das Centralkomité hat natürlich jetzt nur noch geschäftliche Beziehungen mit dem Ungarischen Komité zu unterhalten.

Das Kudatku Bilik werde ich Ihnen sobald als möglich zusenden.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster
W. Radloff.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПР — Архив внешней политики России.
АДД — Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
АКД — Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
ВАН — Вестник Академии наук СССР.
ВЯ — Вопросы языкознания.
ДАН — Доклады Академии наук СССР.
ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
ЖС — «Живая старина». Период. изд. Отделения этнографии имп. Русского географического общества.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения имп. Русского археологического общества».
ЗКВ — «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии наук (Академии наук СССР)».
ИАН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. Отделение языка и литературы.
Изв. ВСОРГО — Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Иркутск.
ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук СССР.
ИСГТЯ — Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков.
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия.
КСИНА — Краткие сообщения Института народов Азии Академии наук СССР.
ЛО ААН — Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР.
МЕПТ — Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.—Л., 1952.
МСЭ — Малая советская энциклопедия.
НАА — «Народы Азии и Африки».
НДВШ ФН — Научные доклады высшей школы. Филологические науки.
ОЗ — «Отечественные записки».
ПВ — «Проблемы востоковедения».
ПП и ПИКНВ — Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Л.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т I—XXV. СПб.—Пг. 1846—1921.
РА — Атлас древностей Монголии, изд. В. В. Радловым. Т. I—IV, СПб., 1892—1899.
РО — Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I—IV. СПб., 1893—1911.
СА — «Советская археология».
СВ — «Советское востоковедение».
СТ — «Советская тюркология». Баку.

СЭ — «Советская этнография».
ТИЯЗ — Труды Института языкознания Академии наук СССР.
ТНИИЯЛИ — Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.
ТС — Тюркологический сборник.
Тюрк. языки — «Языки народов СССР», т. 2, Тюркские языки. М., 1966.
Атлас II — Inscriptions de l'Orkhon, recueillis par l'Expédition finnoise 1890 et publiées par la Société Finno-Ougrienne, Helsingfors, 1892.
ШЮ — «Шарқ юлдузи». Ташкент.
ЭВ — Эпиграфика Востока.
ЭСБЕ — Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 1—41, доп. т. 1—2. СПб., 1890—1907.
ALH — Acta linguistica Hungarica
AO — Acta Orientalia (Lugduni Batavorum)
AOH — Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AAH — Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.
APAW — Abhandlungen der Preussischen Akadeime der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Berlin.
ATIM — Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. SPb.
CAJ — Central Asiatic Journal. The Hague—Wiesbaden.
EI — Enzyklopädie des Islams.
GiPh — «Grundriss der iranischen Philologie», hrsg. von W. Geiger und E. Kuhn. Bd. I—II. Strassburg, 1895—1904.
II — Inscriptions de l'Ienissei. Helsingfors, 1899.
JA — Journal Asiatique. Paris.
JAOS — Journal of the American Oriental Society.
JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society. London.
JSFOu — Journal de la Société Finno-ougrienne. Helsinki.
KSz — Keleti Szemle. Budapest.
MGH — Monumenta Germaniae Historica.
MIO — Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Berlin.
MSFOu — Mémoires de la Société Finno-ougrienne. Helsinki.
PhTF — Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden.
RO — Rocznik Orjentalistyczny. Warszawa.
SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Berlin.
TDAY — Türk dili araştırmalar yıllığı. Ankara.
T'P — «T'oung Pao, ou Archives concernant l'histoire, les langes la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale». Paris—Leiden.
UAJ — Ural-altaische Jahrbücher. Wiesbaden.
ZDMG — Zeitschrift der deutsch morgenländischen Gesellschaft. Leipzig.

Сиглы памятников

БК — Памятник Бильге-кагану.
Е (Е1 — Е85) — Енисейские памятники.
КТ ($КТ_м$, $КТ_б$) — Памятник в честь Кюль-тегина
КЧ — Памятник Кули-чуру.
ЛОК — Легенда об Огуз-кагане, XIII в.
МК — Словарь Махмуда Кашгарского.
МЧ — Памятник Моюн-чуру.
О — Онгинский памятник.
Тон — Памятник в честь Тоньюкука.
KP — уйгурская версия о царевичах Kalyāṇaṃkara и Pāpaṃkara.

USp — уйгурские юридические документы XII—XIV вв.

XX — Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki. Atebetü'l-hakajik. R. Arat. İstanbul, 1951 (A, B, C — разные списки).

Названия языков, диалектов и говоров

аз. — азербайджанский
алт. — алтайский
англ. — английский
ар. — арабский
арм. — армянский
бараб. — барабинский
барт. — бартангский
башк. — башкирский
ваз. — вазири
вах. — ваханский
венг. — венгерский
волж.-булг. — волжско-булгарский
гаг. — гагаузский
герм. — германский
греч. — греческий
гунн. — гуннский
гянд. — гянджинский
др.-греч. — древнегреческий
др.-ир. — древнеиранский
др.-кит. — древнекитайский
др.-осм. — древнеосманский
др.-тюрк. — древнетюркский
дцсл. — древнецерковнославянский
з.-ках. — закатальско-кахский
зыр. — зырянский
ишк. — ишкашимский
к.-балк. — кабардино-балкарский
к.-калп — каракалпакский
каб.-перс. — кабули (кабульско-персидский)
каз. — казахский
каз.-тат. — казанско-татарский
камас. — камасинский
кар. — караимский
караб. — карабахский
караг. — карагайский
кар.-балк. — карачаево-балкарский
кач. — качинский
кет. — кетский
кирг. — киргизский
кит. — китайский
койб. — койбальский
коман. — команский
кор. — корейский
коряк. — корякский
кр.-тат. — крымско-татарский
кум. — кумыкский
куманд. — кумандинский
курд. — курдский
курм. — курманджи
кыпчак. — кыпчакский
кюер. — кюерикский
лат. — латинский
леб. — лебединский
маньч. — маньчжурский
мар. — марийский
монг. — монгольский
морд. — мордовский
мундж. — мунджанский
нем. — немецкий
н.-нем. — новонемецкий
н.-перс. — новоперсидский
нан. — нанайский
нах. — нахичеванский
негид. — негидальский
нен. — ненецкий
нивх. — нивхский
ног. — ногайский
ноокат. — ноокатский
орд. — ордубадский
орм. — ормури
орок. — орокский
ороч. — орочский
орош. — орошорский
орх. — орхонский
осм. — османский
пар. — парачи
перс. — персидский
полов. — половецкий
польск. — польский
рус. — русский
руш. — рушанский
саг. — сагайский
сал. — саларский
салыр. — салырский
сар. — сарыкольский
сиб. — сибирский
скр. — санскритский
согд. — согдийский
сойон. — сойонский
солон. — солонский
ср.-булг. — среднебулгарский
ср.-кит. — среднекитайский
ср.-осм. — среднеосманский
ср.-перс. — среднеперсидский
ст.-аз. — староазербайджанский
ст.-тур. — старотурецкий
ст.-узб. — староузбекский
тадж. — таджикский
тат. — татарский
текин. — текинский
телеут. — телеутский
тоф. — тофаларский

тув. — тувинский
тур. — турецкий
турк. — туркменский
тюрк. — тюркский
уд. — удэгейский
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
уйг. — уйгурский
укр. — украинский
ульч. — ульчский
фин.-уг. — финно-угорский
франц. — французский
хак. — хакасский
хинд. — хиндустани
хорезм. — хорезмийский
чаг. — чагатайский
чжурч. — чжурчженьский
чув. — чувашский
тек. — текинский
шор. — шорский
шугн. — шугнанский
эрсар. — эрсаринский
эвен. — эвенский
эвенк. — эвенкийский
юкаг. — юкагирский
ягн. — ягнобский
язг. — язгулямский
як. — якутский
яп. — японский

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЮРКСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

TURCOLOGICA

К семидесятилетию академика А. Н. Кононова

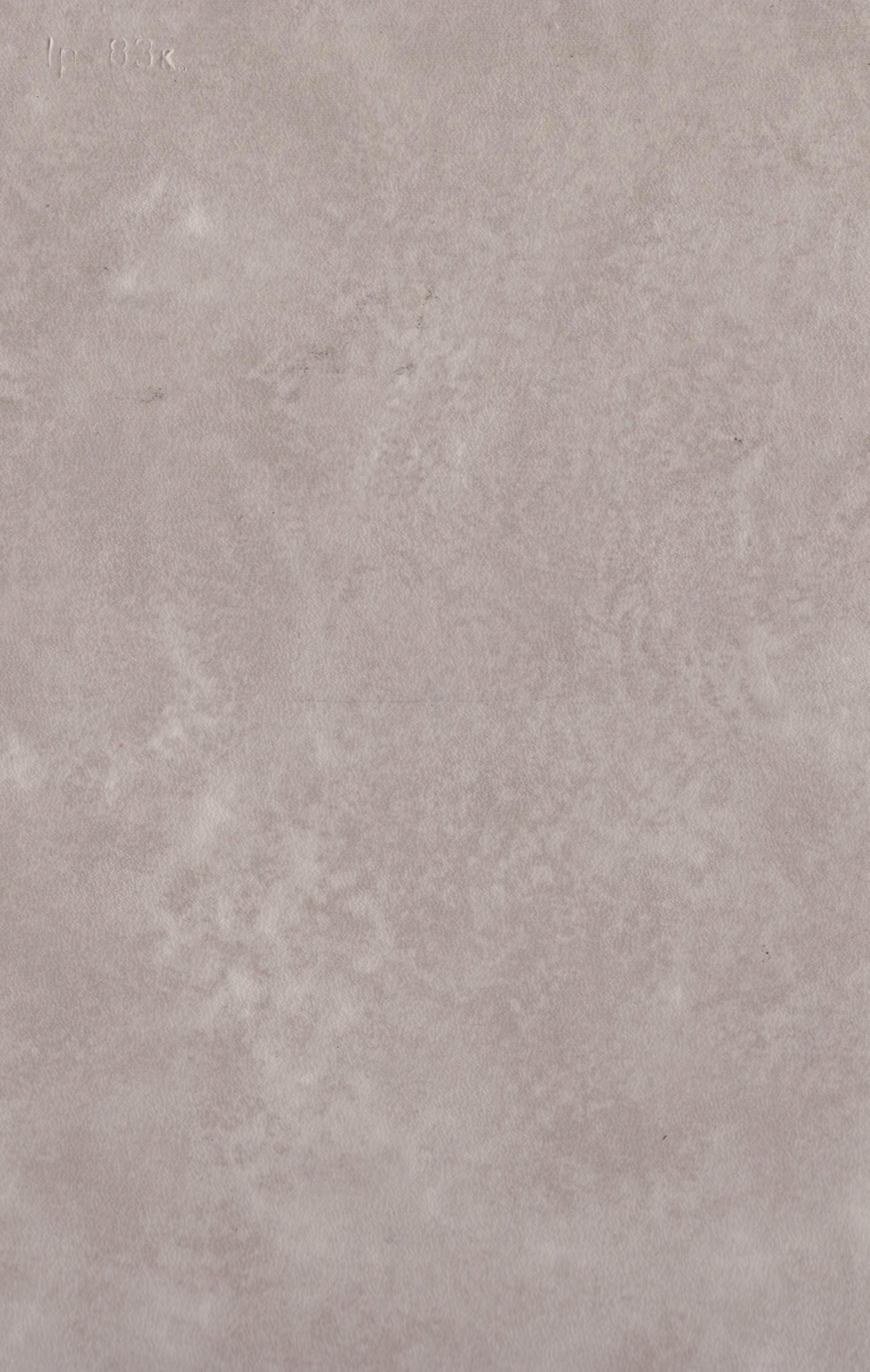
Утверждено к печати Советским комитетом тюркологов, Отделением литературы и языка, Институтом востоковедения АН СССР

Редактор издательства Н. П. Рычкова. Художник М. И. Разулевич
Технический редактор М. Н. Кондратьева
Корректоры Э. В. Коваленко, Ф. Я. Петрова

Сдано в набор 10/XI 1975 г. Подписано к печати 9/IV 1976 г. Формат 60×90 1/16. Бумага № 1. Печ. л. 22 3/4 + 1 вкл. (1/8 печ. л.) = 22.87 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 25.34. Изд. № 6275. Тип. зак. № 625. М-38261. Тираж 2400. *Цена 1 р. 83 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-я тип. издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12


1р. 83к.